А.С. БАЙЕТТ

ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ



ТА, КОТОРАЯ СВИСТИТ

18+

Приключения тела и разума,
напоенные энергией и жизненной силой.
Для взыскательного читателя —
восторг от первой до последней страницы.

Scotsman

Та, которая свистит

Антония Сьюзен Байетт

Аннотация
А. С. Байетт. Та, которая свистит. Роман
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
Благодарности

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Долгожданный заключительный роман «Квартета Фредерики», считающегося, пожалуй, главным произведением кавалерственной дамы ордена Британской империи Антонии Сьюзен Байетт. Тетралогия писалась в течение четверти века, и сюжет ее также имеет четвертьвековой охват, причем первые два романа («Дева в саду», «Живая вещь») вышли еще до удостоенного Букеровской премии международного бестселлера «Обладать», а третий и четвертый – после.

Итак, Фредерика Поттер – бывшая йоркширская школьница и кембриджская выпускница, бывшая жена херефордширского сквайра, а теперь мать-одиночка посреди психоделического «свингующего Лондона»

1960-х – продолжает жить в окружении художников-бунтарей, писателей и поэтов. Преподавания в художественном училище и занятий литературной критикой ей уже недостаточно, и она ввязывается в новую авантюру: становится ведущей научно-популярной телепрограммы «Зазеркалье», каждым ее выпуском опровергая старую поговорку: «Женщине свистать – что наседке летать: тоже негоже». Тем временем устроенная Северо-Йоркширским университетом всеохватная конференция «Тело и мысль» грозит обернуться студенческим бунтом, а в старинной усадьбе Дан-Вейл-Холл харизматичный проповедник, именующий себя Джош Агниц, учреждает натуральный манихейский культ…

Впервые на русском!

А. С. Байетт
Та, которая свистит
Роман

A. S. Byatt
A Whistling Woman

* * *

Copyright © 2002 by A. S. Byatt
All rights reserved
© В. И. Фролов, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Азбука», 2025
Издательство Азбука®

* * *

Пожалуй, самое важное, что можно сказать о моих книгах, это что приключения интеллекта играют в них не меньшую роль, чем наблюдения за обществом и отношениями между людьми. Меня восхищает – и возбуждает – любое интеллектуальное любопытство (естественнонаучное, языковое, психологическое), а также литература как сложная, огромная, взаимосвязанная система. Сочинительство и теоретические рассуждения для меня суть проявления страсти, как и любая другая человеческая деятельность.

А. С. Байетт

Леди Антония – один из величайших британских литераторов; поставить рядом с ней практически некого.

Atlanta Journal-Constitution

В ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия.

Marie Claire

Эта теплая, эксцентричная, ностальгическая, интеллектуальная сага о друзьях и семье рисует достоверный портрет Британии 1960-х.

St. Louis Post-Dispatch

Приключения тела и разума, напоенные энергией и жизненной силой. Для взыскательного читателя – восторг от первой до последней страницы.

Scotsman

Нечасто приходится видеть, чтобы британский писатель осмелился продолжить с того места, на котором остановилась Вирджиния Вулф, и госпожа Байетт – отрадное исключение.

New York Times

Байетт выстраивает сюжет, занимательный, как классический детектив, но в первую очередь читателя поражает запредельное качество письма: живой, чувственный язык, стройная система метафор, естественная игра ума.

Literary Review

Масштабная, хитро устроенная и неудержимо занимательная история о лихорадочных экспериментах и поиске новых путей, об интеллектуальном любопытстве, искрящем в зазоре между идеями и религией, наукой и телевидением, истеблишментом и анархией, контркультурой и традиционными академическими структурами, визионерством и безумием.

The Observer

Возбуждающий, берущий за душу роман, полный научных открытий и этических конфликтов.

Vanity Fair

Смелая, остроумная и абсолютно живая дань памяти бурным 1960-м.

Entertainment Weekly

Завершая великолепный «Квартет Фредерики», Байетт в увлекательном сюжете реализует свое привычное «восхищение любым интеллектуальным любопытством».

Independent

Антония Байетт – английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.

TimeOut

Интеллект и кругозор Байетт просто поразительны.

Times Literary Supplement

Байетт препарирует своих персонажей решительной рукой, но бережно: как добрый хирург – скальпелем.

Тони Моррисон (лауреат Нобелевской премии по литературе)

Роман идей, метафор и многочисленных аллюзий… Идеальный финал нашей любимой тетралогии.

The Economist

Здесь, как и во всех лучших книгах Байетт, груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.

The Baltimore Sun

Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» – богатейшее полотно, где каждый найдет что пожелает: подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову… Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.

The Times

Настоящий пир для литературных гурманов. Препарируя человеческие страсти и конфликты, Байетт закручивает интригу похлеще любых детективов.

Daily Telegraph

Роман открывает новые пути и полон новой энергии. Пружина сюжета раскручивается неумолимо, внушительный ансамбль персонажей работает как часы.

Spectator

Всепоглощающий, поистине головокружительный читательский опыт.

Washington Post Book World

Выдающийся роман идей и эксперимент в области культурной палеонтологии. Эта книга не просто свистит, а поет.

The Atlanta Journal-Constitution

С характерной щедростью, едкостью и мудростью Байетт пытается ответить ни больше ни меньше как на вопрос: что это вообще значит – быть человеком?

Vogue

Острый критический взгляд и подлинная эмпатия, грандиозный охват и внимание к мельчайшим деталям, эмоциональная прямота и прихотливая интеллектуальная игра…

Miami Herald

Байетт на пике формы. Она, как никто, умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.

Denver Post

Блистательные романы эпического масштаба, подобные удивительным живым гобеленам.

Entertainment Weekly

Богатое авторское воображение и неисчерпаемый набор литературных приемов гарантируют: скучать читателю не придется.

Philadelphia Inquirer

Захватывающие, прихотливо выстроенные, невероятно изобретательные романы.

Houston Chronicle

Только Байетт способна так непринужденно разбавить юмором атмосферу мрачного предчувствия, а деконструкцию классических произведений насытить романтикой и ревностью.

Charlotte Observer

Виртуозная демонстрация максимального стилистического диапазона, идеальный писательский слух.

San Jose Mercury News

Развернутые описания у Байетт резонируют подлинной поэзией.

The Philadelphia Inquirer

Единоличным, можно сказать, усилием Байетт опять выводит британскую литературу на первые роли.

Dallas Morning News

Литература для Байетт – удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и злодеи абсолютно достоверны. Не книги, а настоящее пиршество.

Town & Country

Романы для тех, кто не боится разгневаться, взволноваться и даже, возможно, обогатиться.

St. Louis Post-Dispatch

Творчество Байетт всегда отличали беспощадный ум и зоркая наблюдательность. Ее героев не спутаешь ни с чьими другими.

Orlando Sentinel

Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.

Scotsman

Поразительная внимательность к вещам и людям.

London Review of Books

Искусно и изобретательно Байетт режиссирует огромным «актерским составом», и каждый персонаж у нее – многогранная, вдумчивая личность.

Los Angeles Times Book Review

Антония Байетт – один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу.

Daily Telegraph

Байетт принадлежит к редким сегодня авторам (другой пример – Дон Делилло), для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих… Байетт населяет свои книги думающими людьми.

The New York Times Book Review

Байетт, подобно Эросу, «вдыхает жизнь в застывший, неорганический мир» и побуждает нас влюбляться в язык снова и снова.

The Independent

Перед вами – портрет Англии второй половины XX века. Причем один из самых точных. Немногим из ныне живущих авторов удается так щедро наполнить роман жизнью.

The Boston Globe

Байетт – Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже! Пестрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.

Elle

«Квартет Фредерики» – современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.

Entertainment Weekly

Байетт – несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается лишь следить затаив дыхание за хитросплетениями судеб в ее романах.

Newsday

Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.

Hartford Courant

Герои Байетт останутся с вами еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу.

New York Times

Читая русских писателей, многое понимаешь о том, что такое роман. Русская классика поразительна, и если читаешь ее в юности, кажется, что ты ничего похожего никогда не напишешь. Именно поэтому нельзя ее не читать – она открывает иные горизонты. Мне нравятся развернутые, сложные предложения, и я питаю самые нежные чувства к словам… Я пишу ради языка и еще – ради сюжета.

А. С. Байетт

* * *

Стиву Джонсу и Франсес Эшкрофт

Женщине свистать – что наседке летать:
Тоже негоже.

Как любила говорить моя бабушка по материнской линии

– И как раз, когда я нашла самое высокое дерево в лесу, – продолжала Голубка (она уже кричала), – и как раз, когда уже стала надеяться, что вздохну хоть на минуту, – не тут-то было! Прямо с неба на меня сваливаются, проклятые! Ах ты, змея!

– Да я же не змея – говорят вам, – сказала Алиса. – Я просто… я просто…

– Ну что ж ты? Говори, говори! – насмешливо сказала Голубка. – Еще ничего не успела придумать, да?

– Я… я девочка, – сказала Алиса, не вполне уверенно, не будем скрывать: ей, бедняжке, вдруг сразу вспомнились все ее сегодняшние превращения.

– Так я тебе и поверила! – ответила Голубка с величайшим презрением. – Не мало повидала я на своем веку разных девочек, но чтобы у девочки была та-а-а-кая шея! Нет, не на дуру напала! Ты змея – вот кто ты такая![1]

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес

Здесь, возле струй, в тени журчащих,
Под сенью крон плодоносящих, Душа, отринув плен земной, Взмывает птахою лесной; На ветку сев, щебечет нежно, Иль чистит перышки прилежно, Или, готовая в отлет, Крылами радужными бьет[2].

Эндрю Марвелл. Сад

---

[1] Примечания: 1
Перевод Б. Заходера.

[2] Примечания: 2
Перевод Г. Кружкова.

I

— …Это уж последнее дерево, — сказал дрозд.

То был приземистый терновник, ветки его под ветром сложились в щепоть, указующую в ту сторону, откуда они пришли.

— Прежде, — продолжал дрозд, — последним было другое дерево, подальше, а еще раньше вон там стоял чахлый лесок, все деревья от ветра скорчились. Пустошь наступает.

Они вгляделись в стальные сумерки. Пригорок, в который некогда впивался корнями лес, был едва различим.

— Сейчас туда никто ни ногой, — рассказывал дрозд. — В былое время до наступления зимы захаживали. Но зимы сделались долгими. И люди боятся свистал. Когда светло, от них там прохода нет.

— Край, который мы ищем, лежит по ту сторону. Так выходит по ландкартам и летописям, — сказал Артегалл. — Отправимся в путь поскорее, покуда зима не настала.

— И покуда охотники нас не настигли, — добавил Марк.

— Не было примеров на моем веку, чтобы кто-то туда уходил или оттуда являлся.

Дрозд взъерошил пятнистые перья. Век дрозда, птички тщедушной, но густоперой, был не так чтобы очень долог, а границы его угодий не так чтобы очень обширны.

— Какова она, эта местность? — спросил Артегалл.

— Кустарник да камень, мох да лишайник, глубокие бочаги да заледеневшие реки. Зверье там, сказывают, белое, шныряет по снегу, прячется в норах. А в бочагах водятся скользкие серые головастики. А лишайник там будто бы съедобный, только на вкус скверный. Но это с чужих слов, сам я там не бывал.

— А кто такие свисталы?

— Кто их увидит, тому конец. Чего там: и услышать их — опасность смертельная. Они летают, скользят по воздуху, словно серые тени, издают такой звук… такой…

— Какой?

— Сказывают, вроде свиста, пронзительный и такой тонкий, что, кажется, не всякое ухо расслышит, но слышат, похоже, все. Откликаются же собаки на такой свист, который ты и звуком не назвал бы. А эти твари — их голос проницает

слух любого существа — человека и птицы, медведя и горной индейки. Проймет даже эту вашу каменную рептилию, даром что спит как убитая.

Артегалл взглянул на Камнедрака, который с самого празднества в Последней Деревне не подавал признаков жизни.

— Вот бы его пробудить, — сказал Артегалл. — Мне его совет не помешал бы.

— Если его разбудят свисталы, — отвечал дрозд, — не услышать тебе его совета. Одни косточки от тебя останутся, да и те обглоданные.

Они засветло соорудили близ последнего дерева навес и раскинули шатры. Ночь гудела и выла, в воздухе раздавался стеклянный перезвон и мерное гулкое уханье, в трепещущих сухих ветвях последнего дерева бушевал порывистый ветер. И еще один звук раздавался: пронзительный, вроде свиста, человеческого, нет ли — не понять. Говорят, рассказал Марк, черепахи и дельфины у себя в теплых голубых водах южных морей умеют переговариваться пением.

— А здесь ветер — клыки да когти, колет и режет, — сказала Доль Дрозди.

Они поужинали вяленым мясом и сладким изюмом: припасов почти не осталось, провизия истощалась быстро.

Поутру налетела и закружила пурга, даль заволокло пеленой мелкого сыпчатого снега. Стали совещаться, кому идти на разведку, кому оставаться на месте. Марк спросил Артегалла, не попадалась ли ему в географических книгах карта этих мест. Кое-какие карты Северной Империи он видел, ответил Артегалл: обширные пространства неясных очертаний, изображены также несколько рек и множество баснословных тварей, кто о двадцати лапах, кто с крючковатыми когтями. Начертание гласило: Белая Пустыня. Были там, помнится, одна-две тропинки, ведущие непонятно куда, и стрелки, указующие за северные пределы карты. Страницы были богато изукрашены по краям: узоры из золотых яблок, да багряного вишенья, да изумрудных листов винограда. И железные топоры, и жаркие искры.

Доль Дрозди припомнила Марку, как он, паж, насмехался над молодым принцем, когда в самом начале, еще на юге, тот, заточенный в учебном покое своей белой башни, усердно заучивал разные разности из книг по истории, географии, охотницкому делу. Как эти знания пригодились им в странствиях по лесам, помогли выслеживать добычу, добывать пропитание, как умение Артегалла говорить на других языках позволило

им изъясняться с чужеземцами. Марк же научил принца ловить руками форель, добывать мед лесных пчел и, болтая в тавернах с солдатами, прикидываться простачком. Больше они не принц, служанка и мальчик для порки, а трое спутников, крепкие, зоркие, заматерелые, в звериных шкурах; они умеют растворяться в лесу, как лисы, укрываться в траве, как зайцы, пробегать по холмам волчьей побежкой.

При такой стуже продолжать путь ночью, по звездам — дело немыслимое, сказал Марк. И тут за воем ветра и стуком ветвей они первый раз различили свист: звук забирал вверх, снижался, и снова делался выше, выше, и вот уже раздавался в мозгу, минуя слух. И дрогнуло сердце у Доль Дрозди: угораздило ее, сумасбродку, завести двух зеленых юнцов на край света в поисках королевства, которое, может, только в легендах и существует. И подумалось Марку, что дальше пути не будет: идти дальше — ослепнуть от снега или окоченеть от холода, а следом неотступно мчатся охотники, выгоняют их из убежища, как пернатую дичь. И подумал Артегалл: ужасный звук, еще немного — и мозг не выдержит. Но звук затих и перестал их терзать. И придумал Артегалл скатать из овечьего руна шарики и заткнуть

уши, скрытые меховыми капюшонами.

Наутро мальчики пустились на разведку, а Доль оставили под деревом.

— Если мы через три дня не вернемся, ступай обратно, — велел ей Артегалл. — Тебя одну, без меня, солдаты не тронут.

— Вот еще! — возразила Доль. — Я тогда пойду за вами, и будь что будет. Я теперь следопыт бывалый.

В трескучий мороз мальчики пробирались по угрюмой заледенелой местности, поросшей однообразным кустарником, и через милю-другую убедились, что без помощи слуха не обойтись: хруст наста подсказывал, где под снегом скрываются глубокие рытвины, к тому же приходилось прислушиваться, не раздастся ли где треск ветвей, звук шагов, шелест крыльев. Среди зарослей можжевельника и вереска высмотрели они что-то вроде козьей тропы, которая делалась чем дальше, тем шире. Они побрели по ней, и Марк приметил по обочинам камни покрупнее: может, их тут нарочно разложили, чтобы никто не сбился с пути. Тучи сгущались, нависали все ниже и ниже. Мальчики осмотрели камни и обнаружили, что на них что-то выцарапано: не то стрела, не то трехпалая птичья лапа на одном камне, на

другом. Если попадется еще один, решили они, надо будет вернуться за Доль, взять провизию и следовать этим путем. Поднялся ветер и обдал их колкой ледяной крупой. В этом ветре послышалось им пение. Поначалу они про это друг другу ничего не говорили — думали, так в голове отдаются шаги или пульсирует кровь. Наконец Марк спросил:

— Слышишь, как в ветре кто-то поет сладкозвучным голосом?

— Стало быть, и ты слышишь? — удивился Артегалл. — Голос тонкий, высокий, вроде флейты или чего-то такого.

— Может, это льдистое подобие миражей в пустыне?

— Может, голоса свистал?

— Или духов их жертв?

С трудом передвигаясь, побрели они дальше, тропинка становилась все неразличимее. Камни-указатели больше не попадались. Ветер выпаливал в путников мерзлым снегом.

Марк, шедший позади Артегалла, пробормотал:

— До чего заунывное пение… Сил нет, какое заунывное…

С этими словами он как подкошенный рухнул

на снег.

Артегалл обернулся, и стройная мелодия у него в голове сменилась переливчатым свистом. Неловко перебирая пальцами в меховых перчатках, он достал шерстяные шарики, заткнул уши и опустился на колени возле тела друга. Но шерсть заглушила свист не вовсе, он превратился в шепот или тихий визг. И тут появились они: одно, два, три, пять, восемь, тринадцать, выплыли из полумрака, раскинув серые крылья, почти что сливаясь с тучами, вытянув, как лебеди в полете, точеные шеи, выставив позади, как цапли, длинные ноги, разрезая воздух кривыми, как ятаган, яркими клювами цвета червленого золота. Они опустились наземь, расселись вокруг путников, и Артегалл с ужасом увидел, что выше клюва у них лица человеческие: брови дугой, из-под них смотрят темные зоркие человечьи глаза, перья на макушке не то покрывают шевелюру, не то сбегают вниз длинными волосами, разметавшимися по плечам; лапы, впившиеся когтями в мерзлые камни, — как у птиц, но выше колен — человечьи ноги, и заметно, что тела их, туго запахнувшиеся в серые крылья, тоже человечьи, женские, с высокой грудью и тонкой талией, поросшие белым пухом. Артегалл все видел и

слышал, но пошевелиться не мог.

И пустились свисталы приплясывать: выпятили грудь, неловко переступали когтистыми лапами, кланялись, изгибали шею, так что она походила на грациозную змейку, указывали клювом на двух человеческих существ, застывших в густых сумерках на белой земле, — приплясывали и пели. Грозный свист не утихал, но за ним Артегалл различил пение, только слов не мог разобрать. Прислушался как к говору птиц — лишь гогот да шип. Прислушался как к женской речи — тарабарщина из обрывков слов. И увидал он, что звуки их песни льдистыми нитями опутывают тело приятеля, ткется из них стеклянистый саван и отвердевает стеклянным гробом. И чувствует он, что эта кудель спеленывает и его по рукам и ногам, и стряхнуть ее нету мочи. Шевельнулось в уме, что ему непременно надо постичь их язык, поговорить, иначе конец. Он принялся вслушиваться в пение так жадно, как ничего в жизни не слушал, и разобрал, что язык их — такое же чудовищное двуединство, как их облик: в нем срослись слова из речи пернатых и речи носящих кожаный покров — слова, вылетающие из клювов и из ротового отверстия. Он расслышал их говор, он смог мысленно построить

этот язык, каким-то жутким образом рассекая и сращивая, как отделял бы от куртки половины кожаного нагрудника и связывал между собой: две половины мозга связывались тороками мысли.

— Смилуйтесь, — с трудом вымолвил он на этом диковинном, новом ему языке, — смилуйтесь… девы-птицы… птицы-девы… Смилуйтесь, добрые души… Этот человек — он тоже добрый…

Пощады, молил он униженно, слезно, отчаянно, пощады…

И молвила одна свистала:

— Он нас слышит!

— Слышу…

— Он понимает, что наш свист — это речь!

— Понимаю, свисталы, слышу, говорю… Этому языку научил меня повелитель змей, — добавил он по-птичьи. — Не губите нас, мы заблудились, мы не хотим зла, — добавил он по-человечьи. — Я вас слышу, а вы меня, — повторил он на их наречии.

Словно бы лезвие рассекло ему мозг пополам и засело так, что соединяло обе половины.

Тогда свисталы перестали петь, собрались в круг и, склонив головы, принялись пересвистываться. Потом они приблизились к Артегаллу, и одна с сомнением, негромко просвистела:

— Мы отнесем тебя в надежное убежище, там переночуешь. Мы тебя не тронем. Слышишь?

— Слышу.

— И приятеля твоего отнесем. Он цел и невредим. Очнется.

Три пары когтистых лап подхватили Марка и понесли прочь. Артегалл почувствовал, как чешуйчатые лапы впились и в его меховые одежды, как он взмывает ввысь — холод проник под капюшон — и свисталы мчат его на север, в темную даль, где гуляет ветер. И больше он ничего не помнил.

Очнулся он в глубокой пещере подле яркого костра. Марк спал рядом, льдистый кокон его уже растаял. Женщины-птицы расселись на уступах по стенам и чистили хищными клювами серые перья. Они угостили Артегалла похлебкой в высокой крынке — горькой серой жижицей. Они окружили его и забросали вопросами: кто он, откуда. Артегалл рассудил, что лучше отвечать без утайки, и признался: он Артегалл, принц Харены. Когда в столичную гавань вторглась черная армада, он со своими спутниками бежал на север — в живых остались лишь он, его служанка Доль Дрозди и Марк. Там, на севере, если верить преданиям, правит родич его отца Хамраскир

Квельд-Ульф, и Доль уверяла, что там они найдут надежную защиту от соглядатаев и убийц, подосланных Мормореей из Барбасанга, — но, может, северная держава всего лишь легенда, прибавил он с сомнением. Он слышал о ней от Доль, когда она прятала его в корзине с грязным бельем. Доль клялась, что это чистая правда, но за время изнурительного пути уверенности поубавилось. Как знать, может, дальше и нет ничего — лишь ледяная пустыня да пляшущие холодные огоньки.

— Есть там такая страна, — произнесла свистала по имени Хванвит. — В долине средь ледяных гор, что лежит за этим краем. Называют ее по-разному: Хофгарден, Харреби, Веральден — Веральденом зовем ее мы. Испокон века там правят могущественные чародеи. Они умеют, когда пожелают, превращаться в волков и медведей и в этом обличье рыщут по бесплодным пустошам, обходят дозором рубежи своих владений, беседуют с духами ветра, слышат пришествие и отступление льдов. Оборотнями в Веральдене бывают только мужчины. Женщины долину не покидают, они учительствуют, прядут, ходят за садами и цветниками — все в долине да в долине. Нам же хотелось на волю, хотелось летать что есть духу, спорить с ветрами, бросить вызов

снегам и мраку. Прельстив юнца, постигающего науку оборотничества, мы вызнали эти тайны, изготовили себе пернатое одеяние и ночью пустились летать с буйными ветрами. Покуда не взошло солнце, возвращались, пролетев над горной преградой, в долину, заплетали разметавшиеся волосы, надевали платья и туфельки и как ни в чем не бывало услаждали пением деревья в саду. Но нас выследили: сыскалась доносчица, и нам объявили, что мы себя опозорили. Разъяренная толпа сожгла наши платья перед городскими воротами, хотели было сжечь и нас. Мы вселили в их души опаску, уязвили рассудок их свистом, и все же они ославили нас негодяйками и нечестивицами и прогнали прочь, точно стадо гусей. Вот и живем мы здесь, где не живет ни одна живая душа, скрываемся от охотников и снежных орлов. Речи наши никто не слышит, и мы озлобились на весь свет. Ты первый, кто нас услышал.

Так они беседовали до глубокой ночи. Артегалл учтиво выслушал рассказ свисталы про их злоключения и изгнание, а потом вновь завел речь о своем: верно ли, что в Веральдене правит его родич Хамраскир Квельд-Ульф? Кажется, так, отвечали они, но от города они стараются держаться подальше.

— Впрочем, путь мы укажем, — обещала Хванвит. — Перенесем через ледяную пустыню, добудем вам пропитание. Ибо самая страшная опасность у вас на пути — не мы, а вековечные недруги человечества: холод, голод, мрак. Сколько уж кружим мы над этим краем — ни разу не видели, чтобы кто-то прошел из конца в конец. Хочешь — покажем груды костей, людей, вмерзших в лед и спящих там мертвым сном, останки бóрзых коней, ездовых собак. Мы было с путниками заговаривали, но всем, кроме тебя, пение наше несло только гибель. Уж ты расскажи Хамраскиру Квельд-Ульфу про нас и наши невзгоды — если сумеешь добраться.

И Артегалл, осмелев, спросил, не желает ли она снова сделаться женщиной. Нет, отвечала Хванвит, ни на что не променяет она трепет крыл на ветру и вольный полет среди туч в поднебесье. Но если в Веральдене ее примут с миром, она бы не прочь вернуться и, как бывало, попивать вино в кругу родных.

На другой день Доль Дрозди увидела, как в небе, затянутом хмурыми тучами, мчатся стрелой какие-то тени: одна, две, три, пять, восемь, одиннадцать, восемнадцать, — две, которые что-то несли, летели ниже других. Доль разли-

чила длинные шеи, острые-преострые клювы и выхватила из костра возле Последнего Дерева раскаленный железный прут: если уж суждено расстаться с жизнью, пусть эти твари дорого заплатят. И тут сверху донесся голос Артегалла: он велел ей не обижать свистал, они друзья, они помогут перебраться через ледяные просторы.

И девы-птицы понесли путников дальше, поделив ношу между собой и переговариваясь в полете ворчанием и шипением. Пролетали над унылыми кустарниками и замерзшими болотами, ночевали в подземных пещерах. Часто Артегалл подолгу беседовал с Хванвит, и все же Доль Дрозди свисталам не доверяла. Они казались ей злобными, желчными, вспыльчивыми, вздорными: того и гляди бросят на произвол судьбы и улетят восвояси. Ресницы у них шелковые, брови дугой, но взгляд нестерпимо нечеловеческий. О ней, Доль, они судили по каким-то неведомым ей законам и понятиям. Сейчас они помощницы и защитницы, но как знать, не вздумают ли они по каким-то своим соображениям напасть, заклевать, оглушить. Доль заметила: куда бы ни шел Артегалл, Хванвит не сводит с него глаз, а изящные птичьи головы ее сестер повернуты в ее сторону. Но что они при этом думают, Доль

догадаться не могла.

Через много дней тягостного пути они различили сквозь волнистый холодный туман огромный горный кряж: каменные плечи-утесы и ледяную главу-вершину. Подлетев ближе, увидали они высокие каменные вехи, а дальше резные ворота — все это указывало на едва приметную излучистую дорогу, убегающую в ущелье. Свисталы опустили путников наземь и, потягиваясь и хлопая крыльями, закурлыкали, как видно с облегчением.

— Дальше нам нельзя, — сказала Хванвит. — Под страхом смерти. А вы ступайте в ущелье. Держите ухо востро и оказывайте уважение всякой твари, будь то хоть телки, хоть волки: здесь все не то, чем представляется.

Путники поблагодарили свистал. Артегалл хотел было обнять Хванвит, но та отпрянула и выгнула длинную шею.

— Я вас никогда не забуду, — пообещал Артегалл. — Никогда.

— Увидим, — отвечала Хванвит.

Вереи ворот обвивал резной узор из разнообразных изображений: волк и дракон, альбатрос и змея, улитка и заяц и, самое удивительное, бабоч-

ки на ветвях: откуда они в этом холодном краю? Друзья, поторапливаясь — ибо уже спускалась ночь, — вступили в ущелье. Свисталы в полумраке заметались, как стрелы, потом заклубились, как пчелиный рой, и — только их и видели.

Пробираясь в густеющем мраке по горной тропе, путники замечали, что по склонам вспыхивают и гаснут огоньки, точно сторожкие глаза или потайные фонари, подающие какие-то знаки. Своей охотой в ловушку лезем, думал Марк, ступая бесшумно и стискивая рукоятку кинжала. Впереди чернели кручи, звезды струили свой свет все скупее. Тропа, виток за витком, забирала вниз, к самой сердцевине горной страны. Пройдя изрядное расстояние, путники устроили привал, раскинули шатры из звериных шкур, улеглись вповалку и заснули будким сном.

Разбудил их крик петуха — звонкий, задорный, многократный: птица приветствовала невидимую зарю. Но вот над горами мутно забрезжила золотистая полоса. Когда совсем рассвело, друзья увидали, что расположились в теснине меж черных обледенелых базальтовых скал, а впереди, заслоняя долину, белеют стены города, по которым, кукарекая, расхаживает черный петух. Между зубцами стены на путников смотрели

человеческие лица. Решетчатые ворота с блестящими петлями на вереях из цельных стволов были заперты огромными засовами. При начале пути Артегаллу воображалось, как в конце его он возгласит: «Я Артегалл, сын Барбадории, принц Харены и Южных Островов, прибыл навестить своего сородича!» Но он сказал:

— Мы три изнуренных странника, не согласитесь ли дать нам приют?

Дружно залились криком петухи, распахнулись тяжелые ворота, и Артегалл, Марк и Дрозди, отощавшие путники, закутанные в рваные шкуры, неся с собой Камнедрака, вступили в этот небывалый город.

Время, пространство — все здесь было иное. Широкие белые улицы, окна домов нараспашку, с балконов сбегают вьюнки, унизанные цветами — алыми и золотистыми, синими и лиловыми, деревья подставляют листву — друзья глазам не поверили — лучам летнего солнца. Камнедрак, который после минутного пробуждения у праздничного костра оставался неподвижной ношей, яростно задергался, расправил крылья и хвост, заморгал, повел ноздрями, ловко выскочил из заплечного мешка Марка и давай откалывать такие коленца, каких от него не ждали. Они

прошли множество прекрасных улиц, за ними уже следовала толпа, но близко не подходила. Теплая одежда стесняла движения, и Доль Дрозди скинула капюшон и шапку, сняла тяжелый плащ, и Марк с Артегаллом последовали ее примеру. Идти стало легче, холодная кожа упивалась солнечным светом. Наконец они очутились на просторной площади, где высился чертог с колоннами, играли струями выстроившиеся кру́гом фонтаны, сновали стрижи. На ступенях у входа в чертог стоял высокий-превысокий человек — такого великана Артегалл в жизни не видывал — с черной как смоль бородищей, черными кудрями, собранными, как виноградные гроздья, черными глазами, глядящими из-под кустистых черных бровей. Черное одеяние его было расшито узорочьем: то ли змеистые вьюнки, то ли вьющиеся змеи, зеленые с золотом, а еще алмазные цветы, блестящие аспидно-синие звезды, и солнца, и луны, и золотые яблоки. При бедре тяжелый меч в чеканных ножнах. Он сошел по ступеням и прижал к груди Артегалла, потом Марка, потом заключил в крепкие, но учтивые объятия Доль Дрозди.

— Добро пожаловать, — сказал он. — Привет вам, Артегалл, и Марк, и мистрис Доль. Мы вас

ожидали. Я Хамраскир Квельд-Ульф, в этом городе вам рады, здесь вы в безопасности. Помойтесь с дороги, поешьте, а потом расскажете мне о своих приключениях. — И повторил: — В этом городе вы в безопасности.

И они в первый раз за все время странствий почувствовали, что от гнездившегося в душе страха нет и следа. Правду он говорит: здесь они в безопасности.

— На этом все. — Агата подняла глаза на собрание слушателей. — История заканчивается.

Воцарилось напряженное молчание.

— Все? — раздался голос Лео.

— Да, все.

Стояло лето 1968 года. Совместные чтения сказки Агаты начались два года назад, проходили — почти без пропусков — каждое воскресенье и продолжались вплоть до этого дня. История вилась долгими запутанными тропами и казалась нескончаемой. Среди первых слушателей были: дочь Агаты Саския, которой теперь исполнилось полных восемь лет, и Лео, сын Фредерики Поттер, которая снимала вместе с Агатой дом на Хэмлин-сквер в Кеннингтоне. Чуть позже к ним присоединились дети Аджьепонги с другого конца площади — Климент и Тано, сокращенно

от «Атанасий». Чаще всего присутствовала и сама Фредерика, регулярно заходил Дэниел Ортон, священник (облачения он не носил), зять Фредерики. По роду занятий — слушатель, работал в телефонной службе психологической помощи при церкви Святого Симеона в Сити. То и дело заходили послушать еще двое — братья-близнецы Оттокары: Джон, знаток языков программирования, и Пол, предпочитающий имя Заг, солист группы «Заг и Зигги-Зигги-Зикотики». И вот все они были удивлены и даже оскорблены тем, как жестоко и неумолимо Агата использовала свои полномочия автора и рассказчика. Она закрыла тетрадь, на лице — привычное сдержанно-мягкое выражение.

Лео свирепо нахмурил рыжие брови:

— Это не все. Мы еще столько не знаем. Что со свисталами? Этот сородич Артегалла — он какой? И где его отец? Мы ждали, ждали, ждали, хотели узнать, а ты говоришь…

Саския в изумлении открыла рот. Ни звука из него, но бледная кожа побагровела и пошла пятнами. И тут раздался вой, полный первобытной ярости. Из зажмуренных глаз брызнули слезы, покатились по щекам. Агата коснулась ее плеча. Саския отшатнулась и уткнулась головой в грудь

Дэниела, а тот обхватил ее своими большими руками.

— Почему? — только и смог выговорить Тано.

— Почему на этом месте? — спросил Климент.

Конец не понравился никому. Он поразил ударом предательского кинжала. Агата была потрясена силой общего смятения, но, не сказав ни слова, сложила руки на книге.

— Именно так я всегда и хотела закончить, — произнесла она уверенно, но не без трепета в голосе.

— Всем чаю!

Дэниел направился в кухню. Ставя чайник, он слышал голос Лео, ясный, совсем как у матери:

— Но ведь это не конец, то есть это не *настоящий* конец.

— А какой он, *настоящий*? — произнесла Фредерика. — В конец всегда меньше всего веришь…

— Нет, нет, нет, — слышался голос Лео на фоне рыданий Саскии. — Бывает хороший конец, а этот не такой, это не все…

Была у них не то чтобы семья: две женщины и дети, учащиеся в одном классе Начальной школы Уильяма Блейка. Они сошлись ради удобства. Фредерика сбежала от мужа и с трудом добилась развода. Обе были с притязаниями, но Агата до-

стигла большего, быстро поднявшись в иерархии государственной службы — надежное место под солнцем, кабинет с собственным телефоном и секретарем. Личная жизнь держалась в тайне. Никто ничего не знал об отце Саскии, а Агата изредка ехидно замечала, что, только работая на британской государственной службе, женщина может быть не замужем и иметь троих детей, ни перед кем не отчитываясь. Но, кроме Саскии, других не было, а в нежелании Агаты говорить о личной жизни было что-то неестественное. Впрочем, Фредерике это подходило, ведь в компании женщины иного склада она нет-нет да и выложила бы все свои тайны. Или почувствовала бы соперницу. Но сдержанность и сухость Агаты раскрывали лучшие стороны Фредерики. В быту они друг друга поддерживали. Лео время от времени ездил в загородный дом к отцу. Фредерика и Агата помогали друг другу с детьми, с покупками, с приобретением книг, с новым хозяйством. И рождался своеобразный домашний уют. Лео и Саския дружили, а ссор было гораздо меньше, чем обычно между родными братом и сестрой. Агате и Фредерике тоже было проще, чем если бы они были сестрами. Дэниел, муж умершей сестры Фредерики, Стефани, часто об этом думал, но не

знал, видит ли это Фредерика. К Агате никогда не приходили никакие родственники. В общем, все складывалось лучше, чем обе женщины изначально предполагали и надеялись…

Позже, готовя Лео ко сну, Фредерика думала о настоящих концовках. От каких концовок хочется плакать слезами счастья? В ее случае — от воссоединения родителей и детей, разлученных опасностью. Скажем, как в финале «Питера Пэна», когда дети возвращаются в свою комнату и в реальный мир. Или кульминация «Мы не собирались в море»[3], когда папа неожиданно появляется в голландской гавани, по ту сторону бурливых волн. Она облила водой крепкую спину сына, уткнулась носом в его влажные огненные волосы и подумала о Саскии, у которой не было отца — ни имени, ни истории, ничего. Даже вновь обретенный дядя, подумала Фредерика, кажется, чересчур для Агаты. Но что же будет с воскресеньями? Придется вернуться к чтению. Рассказчица из нее плохая. Интересно, а не думала ли Агата свою сказку издать? Показать бы

[3] Примечания: 3

Приключенческий роман британского журналиста и разведчика Артура Рэнсома (1884–1967). Входит в цикл книг «Ласточки и амазонки», снискавший автору славу детского писателя. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Руперту Жако. Издатель, быть может, даже уговорил бы Агату написать продолжение…

Концовки. Фредерика ждала своего возлюбленного, гадая, чем закончится их роман. Ей стало казаться, что между началом их романа («роман» в этом значении — словечко старомодное, но слово «отношения» раздражало ее все сильнее) и непрестанным гаданием, как, почему и когда он закончится, есть только один, почти эфемерный миг благодати. Именно этот миг и зовется влюбленностью, и именно он — источник той ясной целеустремленности, той безличной и сосредоточенной энергии, которая так желанна, когда ее нет, и так пугающа, когда мы ее ощущаем. Уж в тридцать три года женщина знает, что именно вера в то, что это состояние может длиться вечно, больше всего и мучает. Днями, неделями, месяцами, в зависимости от обстоятельств, рассуждала Фредерика, натягивая белую хлопковую ночную рубашку и расчесывая рыжие волосы, мы и шагу не ступим, не видя перед собой образа любимого лица, не осязая в фантазиях любимого тела, а потом, в один прекрасный день, — все, ничего от любви не осталось. А что ее убивает? Бывает так (она погасила все огни, кроме прикроватной лампы, накинула покрывало): оказывается, мы

сами или наш возлюбленный не соответствуют идеальному образцу, сложившемуся в голове задолго до того, как двое встретились. Мне нужен мужчина сильнее меня: утихомирит, образумит, обнадежит. Он, Джон Оттокар, хотел бы таким быть, а получилось так, что это я его успокаиваю и утешаю. Но тогда моя Любовь иссушается, и остаются только теплота и симпатия (она посмотрела в зеркало на свои угловатые очертания, скривила рот в гримасе, коснулась светлых волос). Любовь — это танец. Фигуры, фигуры — у дружбы их нет. Любовь всегда история выдуманная. Нечто непререкаемое, суровое, ярое (сама жизнь?) требует, чтобы мы верили в Любовь для его — не наших! — целей. И мы вступаем в сговор. Она вспомнила, как играла молодую Елизавету I, королеву-девственницу, которая была сильна тем, что находила безопасность в отстраненности и уединении.

Все это метафизика, думала Фредерика, ожидая, когда постучат в окно в коридоре цокольного этажа, на котором они жили. Защита на тот случай, если он не появится — а мы всегда этого боимся, даже если нам все равно.

Но месяц назад, полгода назад я не думала словами о том, что такое любовь. Я думала о его губах,

заднице, ладонях. Такие, как я, слишком много думающие, всегда так рады, так благодарны, по крайней мере сначала, когда их вдруг одолевают мысли о губах, руках, глазах.

И когда стук раздался, она, выглядывая наружу, ощутила знакомый трепет. Бледная шевелюра, широкоскулое лицо, долговязое тело, улыбка сквозь стекло. Но вот вопрос: кто перед ней — любовник или посягатель? Сквозь стекло Джон и Пол казались Фредерике одним лицом. Иногда она не могла отличить их и без всякого стекла: замешательство длилось несколько мгновений, а иногда, когда хитрости Пола срабатывали, и дольше. Пол был третьим на их встречах, зримым или незримым. Пол слушал шаги, когда они входили и выходили. А мысли о нем — потому что Пол решил, что так и должно быть, — перемешивались в постели с запахом секса и витали в последующей тишине.

Фредерика и Джон использовали тайные знаки, установленные без слов, по которым она узнавала, что перед ней возлюбленный. И вот он дышит на стекло и выводит заглавную букву «Л», которая, Фредерика знала, означает не «Любовь», а «Лео».

Пожалуй, рано или поздно Пол, бесшумный и

ловкий, как кошка, узнает, подглядывая через перила, и об этом. Она открыла дверь, в комнату хлынул ночной воздух, а Джон раскрыл объятия. И это был он — не ее образ возлюбленного, не ее представление о Джоне Оттокаре, а трудный, запутавшийся, со взъерошенными волосами и набухшим членом живой мужчина. Она опустила штору, в четыре руки они быстро раздели его и уложили на кровать.

Потом разговаривали. В основном в темноте — Джон отдыхал от работы, да и Фредерика старалась, чтобы в жизни Лео его не было слишком много. Так было лучше. Беда (кто знает) могла случиться, если бы Лео слишком привязался к Джону или, наоборот, невзлюбил его. Или если бы Джон счел Лео помехой либо обязанностью, или ей бы не понравилось, как он разговаривает с мальчиком. Они достигли той стадии (начала конца?), когда многое, о чем говорилось, было повторением сказанного раньше. Джон был человеком немногословным, порой даже совсем бессловесным. Красноречие его было красноречием кончиков пальцев и языка. А также новых языков электронно-вычислительных машин — Фортрана и Кобола, но в математике Фредерика ни бум-бум. На этот раз Джону было

что рассказать. Ему предложили должность в Северо-Йоркширском университете. Писать компьютерные программы для ученых. Заведовать собственным отделом.

— Но это значит, что придется жить там.

— Да.

Фредерика почувствовала, как подступает тревога.

— Когда начинаешь? — произнесла она с нарочитым деловитым спокойствием.

— Известить надо за три месяца. Специалист им нужен как можно скорее.

Я ему больше не нужна, он уезжает, хочет все закончить — начала брать верх грубовато-простоватая часть Фредерики. И такая концовка — в ее представлении о его представлении — это же катастрофа!

— Мы не сможем видеться, — то был уже голос ее рассудка.

Но он начал говорить в то же мгновение и слова эти едва расслышал.

— Это большой шаг вперед. Много ответственности, но и много места для моих идей.

Думаешь о себе, пронеслось в уме, но она сдержалась. Только повторила:

— Мы не сможем видеться.

— Как сейчас — нет. Но разве плохо? Ведь куда мы идем, Фредерика?

— Никуда. — Резкость все-таки вырвалась. — Если ты вот так уезжаешь на другой конец страны.

— Я надеялся, что сильно ты переживать не будешь.

Быстрого, но честного ответа в голову не приходило. Сильно ли она переживает? Сейчас она как оставленный в лесу ребенок.

— Но если ты против, мы что-нибудь придумаем, — сказал он нерешительным, чужим голосом. — У тебя же там родственники. Это же не край света.

— Но я оттуда *сбежала*. Бросила Север. И живу *здесь*.

— Ну хорошо… — ответил он спокойно и бессмысленно.

Перед Фредерикой предстали все ее различные «я»: девочка, женщина, мать, любовница, одиночка. Сплетались и извивались, как змеи в тесном горшке. Она сменила тон:

— Хотела узнать, пойдешь со мной и Лео в воскресенье в Естественнонаучный музей? Ты ему рассказываешь то, чего я не могу…

— Не получится. У «Тигров духа» встреча. Пол хочет, чтоб я был.

— Почему ему всегда нужен ты? У него есть «Тигры», психотерапевтическая группа, его «Зигги-Зикотики». Почему всегда именно ты?

— Ты же знаешь. Я часть самой первой группы, из двух людей.

Вот об этом они говорили всякий раз, когда встречались.

— А что важно тебе, всем безразлично. И квакерам, и музыкантам, и психоаналитикам.

— Да. Но видишь ли, я из нас сильный. Как бы ни казалось со стороны.

— И это дает им право смотреть на тебя сквозь призму него?

— Я сам так на себя смотрю, Фредерика. Борюсь с этим, но безуспешно. Так было всегда.

— Знаю.

— Если не хочешь, чтобы я ехал в университет, я останусь.

— Я не могу тебе приказывать. Выбирай, как лучше для тебя.

Они не ссорились, но обоим было горько. Джон Оттокар больше не пытался заговорить, прикоснулся к ее груди, животу. Она повернулась к нему, и они еще раз отдались друг другу.

На следующий день Фредерика думала о том, что останутся только воспоминания-ассоциа-

ции. Его лицо за стеклом, четыре ноги как две пары ножниц. Почему мне так больно, ведь я не уверена, что для боли есть причина, ведь я могу представить себе жизнь без него очень ясно и точно?

Означало ли раздражение, что то наконец была Любовь?

Она подумала о Лео. Сын другого мужчины, уже частично сведенного к воспоминаниям-ассоциациям. Но Лео и ее сын. Отношения у нее с Лео странные: в ее худеньком теле нет места для материнской заботы и ласки. Но она горячо и безоговорочно признавала в нем личность и эту личность уважала.

Если будет нужно, иногда приходила мысль, она может даже умереть за Лео. Глупо о таком думать: или случится, или нет. Но она готова, и это изумляло.

II

Улиток лучше всего наблюдать на рассвете, после дождя. Свет вокруг Гунгингап-Скара был будто насыщен водой, трепетной, переливчатой. Долины, пальцы исполинской перчатки, расходящиеся от Миммерс-Тарн, окутывались завесами и покрывалами влажного тумана, испаряющегося завитушками. Пробираясь сквозь эту влажную атмосферу, исследователи, как бы хорошо они ни знали местность, с удовольствием ощущали, что холмы текут, меняя форму, как волны, что будто из шерсти или пены внезапно выплывают крупные камни и перекрученные ветром изгороди, а ведь еще мгновение назад ничего не было. Капли воды на колючках и чертополохе, как призмы, переливались разноцветными огнями. А по мокрому дерну, по сухим каменным стенам плавно скользили улитки, плетя замысловатую сеть из серебристых лент: раковины блестели от воды, голубовато-серые полупрозрачные тела сверкали выделениями, тонкие рожки покачивались, пробуя воздух и разведывая обстановку. Нарядные раковины пестрели цветами: неж-

но-лимонные, розовые, черные с зеленоватым отливом, с темными спиралями, с кремовыми спиралями, с темными полосами на золоте, серовато-белые, как призраки. Большинство из них были *Cepea nemoralis* с густо-черной мантией, но у некоторых — очень схожих с ними, но немногочисленных — мантия была белая, и они относились к виду *Cepea hortensis*. На некоторых можно было различить блестящие голубые, зеленые или малиновые точки, поставленные последней группой ученых, чтобы отслеживать передвижение и дальнейшую судьбу.

Популяции улиток у Дан-Вейл-Холла и прилегающих известняков Гунгингапа изучали несколько поколений, начиная с работавшего в викторианские времена викария Ричарда Ханманби и школьного учителя, выдающегося конхилиолога-любителя Джозефа Манна. Лук Люсгор-Павлинс и Жаклин Уинуор пытались исследовать генетические особенности и биологическое разнообразие этих созданий, которые любезно носили свои истории-иероглифы на хрупких домиках, свернутых на спине. Они сравнивали частоту появления одной, двух и трех полос, темных и светлых раковин с данными их предшественников. Во времена Ханманби и Ман-

на улитки были известны под именем *Helix,* а не *Cepea, hortensis* и *nemoralis*. Ханманби считал, что *nemoralis* и *hortensis* — разные виды. Манн уже сомневался. Он видел, что эти существа живут вместе и перемешиваются, но не раз наблюдал большое число обоих видов вперемешку высоко в ветвях буковых деревьев.

«Целью моей — в случае с теми особями, которые находились слишком высоко на деревьях, я прибегал к помощи полевого бинокля, поскольку благоразумие есть лучшая часть доблести, — было выяснить, являются ли брачные союзы между этими двумя видами обычным явлением или нет. В одной буковой аллее, покрытой раковинами, я насчитал шестьдесят счастливых пар, двадцать пять из которых были *hortensis,* а прочие — *nemoralis*. За все время наблюдений я не видел ни одного случая такого скрещивания — „черноротые“ неизменно спаривались с „черноротыми“, а „белоротые“ — с „белоротыми“. Существует также более мелкая разновидность *H. hybrida,* с розовым или коричневатым ртом, которую я вообще никогда в спаривании не наблюдал».

Цель диссертационного исследования Жаклин Уинуор (а работа была уже почти завершена) — выяснить, повлияли ли на изменения в попу-

ляциях — меньше полосатых раковин, больше одноцветных — наследственность и естественный отбор или непосредственные изменения в окружающей среде. Способствовала ли пестрота леса появлению полос? Какое влияние оказало недавнее сокращение популяции дроздов? Лук Люсгор-Павлинс более глубоко занимался генетическими вопросами, но полевая работа с популяциями улиток велась уже несколько лет и давала возможность выявить некоторые интересные (пусть и аномальные) закономерности.

Они споро работали вместе, бесшумно передвигаясь по влажной земле, отмечая количество и местообитание особей того или иного цвета и формы. Они работали на уровне улитки и со скоростью улитки, опрашивая кустики, переворачивая камни. Жаклин остановилась, чтобы сосчитать, собрать раковины, побитые и выковырянные дроздом у наковаленки, — преобладали темные и полосатые, в том числе несколько с зелеными пятнышками, которые были замечены не в лесу, а в живой изгороди между полем с курятниками и болотом. Лук двинулся дальше, в поле. И когда солнце рассеяло туман и прогрело землю, он почувствовал запах гари. Кто-то развел у стены огромный костер, опалил все поле и

глубоко прожег землю. По краям пожарища были разбросаны обломки обугленных, просмоленных досок. Лук поднял две или три едва заметные почерневшие раковины, которые буквально рассыпались в пальцах. Очень неприятно, что бы это ни было. Как раз в том месте стены, где улитки особенно любили собираться и впадать в спячку. Он изучал, помимо прочего, возвращаются ли они в одни и те же места. Позвал Жаклин. Она подошла, и взгляд ее замер.

Для них пепел, пузырящаяся пропитка, выжженная земля были вандализмом и осквернением. В работе был важен каждый дюйм, а пожар уничтожил почти половину поля. Лук произнес:

— Да уж, скажется на результатах.

— Подумаешь, несколько улиток.

— Но в этой стене их было много.

Жаклин присела на камень. Лук положил руку ей на плечо. Руку она убрала и достала тетрадь. Начала набрасывать рисунок пожарища. Лук поднял взгляд и различил вдалеке фигуру, идущую через поле. Невысокая женщина в бриджах, а с ней — черно-белая овчарка и барашек. Шла она, неловко прихрамывая. Уже различая ее лицо, они заметили синяки и опухшие губы. Она несла корзину с яйцами, которые были аккуратно сложены

в ряды, но, очевидно, только что из курятника. То была Люси Нигби, хозяйка Дан-Вейл-Холла и владелица земли, на которой они находились.

— Доктор Павлинс. Жаки. Доброе утро. — У нее был приятный голос.

О следах побоев не было сказано ни слова.

— Своим костром вы здорово подпортили нам исследование, — заметил Лук.

— Это не я. Помогала, конечно. Но это Ганнер. Он сделал для птиц новую батарею из гофролистов, там, где пойменный луг. И старые курятники мы сожгли. Они уже гнили. Об улитках я подумала, но ведь их полно повсюду! И здесь — не больше, чем где-то еще.

— Ну, на самом деле из-за того, что здесь стена…

— Ох, простите. Но Ганнер…

Она не договорила, да все и так понятно. Она позвала собаку по кличке Ширли и барашка по кличке Тобиас. Притрусили вместе. «В курятнике много яиц». Веко Люси быстро набухало вокруг глаза, и казалось, она подмигивает. Жаклин решила о курах ничего не говорить. Люси мрачновато заметила:

— Думаю, вы в своих исследованиях можете назвать Ганнера стихийным бедствием.

— Я бы предпочел живых улиток.

— Бедствие-то стихийное, что ему до ваших занятий, — ответила Люси Нигби и продолжила путь к дому.

Дом стоял в окончании самого длинного пальца «перчатки», рядом с озером Миммерс-Тарн, темным и глубоким, с берегом, заросшим камышом. Люси, урожденная Холдсуорт, получила имение по наследству. Она вышла замуж за Ганнера, потомственного мореплавателя из Стейтса, что к северу от Уитби. Он приехал помочь ей управляться с конюшней. Теперь же он управлял всей фермой, на которой разводили в основном овец местной породы, а еще кур, уток и гусей. Недавно он установил индюшачьи загоны, походящие на исправительные учреждения. Они сдавали в аренду пони для экскурсий. Худеньких таких. И Люси была женщиной худенькой, увядающей красоты. У них было трое детей: Карла, Эллис и Энни.

— Иногда, — сказал Лук, — мне кажется, что весь наш проект ничем не увенчается.

— Ну, он просто может стать бессрочным, только если кто-то не истребит всех улиток ядерной бомбой или чем-то еще.

— В любом случае собираем данные для твоей

диссертации.

— Знаю. Я думала…

Лук до сих пор чувствовал непреклонность ее пальцев, смахивающих его руку.

— Я хочу попросить Лайона Боумена стать моим научным руководителем. Хочу заняться фундаментальной наукой. Изучать физиологию памяти. Можно было бы поработать с гигантскими нейронами у улиток, изучить проводимость… Хочется чего-то такого… максимально *точного*.

— Понятно. А чего вдруг?

— Не знаю. Просто кажется, что этим надо заниматься. Опять же Конрад Лоренц. По крайней мере, мысли эти пришли мне в голову, когда я читала его. Он отстаивал важность инстинкта, спорил с современными представлениями о том, что все — продукт окружающей среды, воспитания, а не врожденных рефлексов. И мне хочется в этом разобраться. А он писал — я читала, — что мы совершенно не знаем физиологических механизмов, лежащих в основе обучения. Вот оно, подумала я, мое следующее поприще. А Боумен как раз долго изучал зрение голубей.

— Звучит занятно, — отозвался Лук. — Правда, Боумен — неприятный человек.

— Это не важно.

— Важно. Всегда важно. Это стоит учитывать. Я буду скучать.

— По мне? Я все равно буду приезжать к улиткам.

— Я давно хотел тебе сказать…

— Не надо.

— Ты же не знаешь, что…

— Все равно. Не надо.

Лук протянул руку. Жаклин отстранилась, слегка, ровно настолько, чтобы их тела не могли соприкоснуться. Брачные игры наоборот, подумал он, ритуальный акт избегания, отточенный ею и опознанный им. Он вспомнил работы Лоренца по поведению животных. Не идущие на контакт самки, как правило, кусаются, царапаются или рычат. Эта же просто сделала шаг-два в сторону. Признаки вполне однозначные — она его не хочет. При этом Лука, как ученого, удивляло то, насколько сильно, учитывая недвусмысленную ясность ее скрытых сигналов, хочет ее он.

Она вновь принялась вырисовывать в блокноте выжженную землю. Он стоял у стены и смотрел на пустошь. Он часто думал, что можно было бы стать объектом своего рода научного эксперимента по изучению неудавшейся любви или неисполненного желания. Научное объяснение

его собственного поведения таково: самцы похожих видов — бабуинов, шимпанзе — не думают ни о чем, кроме секса и соперничества, и они самок в кучу сгоняют и принуждают. Но это никак не объясняло его уверенности в том, что Жаклин для него — та самая, единственная, его неспособности поступить рационально и найти другую, более покладистую, более отзывчивую. А Жаклин стала для него единственной сразу, хотя в момент их знакомства была еще совсем девочкой, опрятной, но ничем не примечательной. Вероятно, эти механизмы сродни импринтингу. Феромоны сводят с ума от желания, но при чем тут годы ожидания без всякой надежды? Он вспомнил о птенцах лебедя, которые вылезают из скорлупы и принимают за своего родителя гуся, утку или сумку-тележку с гудком.

Он рассматривал барашка Люси Нигби, Тобиаса, который вырос у нее буквально на руках и, конечно, считает себя чем-то средним между человеком и овчаркой. Но люди, искавшие безнадежной любви, обычно находят ее, когда уже достаточно самостоятельны. Быть может, какая-то примитивная клетка мозга ждет, когда ее воспламенят черты лица, абрис бедер, тембр голоса, уже заложенные в голове с рождения и

ждущие своего часа? Движения у Жаклин — быстрые и аккуратные, карие глаза смотрят прямо и живо, но она — не Елена Прекрасная, не властительница самцов своего вида, притягивающая, как мед — шмелей или свет — мотыльков. Еще один ее ухажер — вялый и замкнутый, нервная мужская версия того самого ритуального избегания. Жаклин «всегда» была привязана к Маркусу Поттеру, еще до того, как он, Лук, с ней познакомился. Маркус — мужчина, которому женщина нужна, чтобы проверять, не застегнул ли он рубаху не на ту пуговицу, не надел ли разные носки. Невнятный, тщедушный, бледный. В постели он, нет сомнений, способен лишь на беспомощные тычки. Жаклин, конечно, уже не девственна, но это произошло не с Маркусом Поттером. Еще тайна. С другой стороны, она смотрела на него с нежностью или надеждой…

Другая любопытная сторона неудачной любви — способность противостоять разуму — разумному наблюдению за инстинктивным поведением — и терпеливо ждать изменения обстоятельств. Лук встречал не так уж много случаев — да был ли хотя бы один? — когда объект безнадежных страстей вдруг делал кульбит и начинал любить отвергнутого. Да, бывают печально-покорные

решения смириться со вторым сортом (как у мужчин, так и у женщин): все нормально, но целые пласты самых пылких, потаенных «я» любящего и любимого навсегда остаются в дремлющем состоянии. Откуда он все это знал? Наблюдал. Можно проводить эксперименты с человеческой любовью ровно так же, как с обезьянами или кроликами, синицами или оленями. Можно, подобно врачам-героям, заразить или привить себя различными штаммами этой болезни (понять бы только, как их «собрать»). Хотел ли он излечиться? Нет, он хотел получить Жаклин. Он не без язвительности подумал, что и чистый разум, и слепой инстинкт самосохранения (не говоря уже о необходимости разнести свое семя и стать предком) требуют отказа от этой явно бесполезной затеи. Солнце поднялось выше над пустошью, и Лук с любовью посмотрел на Жаклин, сидящую в выгоревшей траве и вереске.

Жаклин пыталась сосредоточиться на рисунке. Она не любила никого расстраивать. И больше других — Лука. Впрочем, мысли эти шли по касательной к ее сосредоточенности на идее электрической проводимости и практических способах изучения деятельности гигантских нейронов. Жаклин Уинуор, как и Фредерика Поттер,

была женщиной целеустремленной. Но к своим устремлениям она пришла почти случайно, одно зацепилось за другое. Она выросла в пригороде Калверли, в семье провизора и воспитательницы, которые радовались ее хорошим оценкам в школе, но никогда не говорили: «Ты поступишь в престижный университет», а тем более «Ты станешь ученым» или «Ты будешь совершать открытия». Ей казались полезными уроки природоведения, а то, что Жаклин с головой ушла в изучение природы, характеризовало ее как добрую, бесхитростную, увлеченную натуру. Родители Жаклин и сама она считали это интересным увлечением на досуге. В конце концов, она выйдет замуж и родит детей, и это увлечение окажется кстати, чтобы учить детей познавать мир. Жаклин, в отличие от Фредерики, не всегда была лучшей в классе и никогда к этому не стремилась. Но училась она хорошо, и стало ясно, что надо поступать в университет — этого ждали в школе, да и в Жаклин к тому времени проснулась подспудная тяга к знаниям.

При этом в голове у нее все еще мелькала стандартная картина: встретит «правильного мужчину» и сочетается с ним браком в буйстве свадебной фаты и органной музыки. А пока она

училась — отчасти из физиологического любопытства, отчасти потому, что так полагалось, — и поддерживала бесцельную, но глубоко укоренившуюся связь с Маркусом Поттером, с которым она не спала и по отношению к которому испытывала отчаянную материнскую ответственность в сочетании с уважением к его герметичному, гудящему математическому уму. Маркус был не совсем от мира сего, не совсем настоящий, и Жаклин, по мере того как она начинала понимать масштаб своих собственных устремлений, начала подозревать, что выбрала его именно по этой причине. Он был настолько невероятным претендентом на место среди цветов, фаты и органа, не говоря уже о с нежностью приготовленных ужинах при свечах или гигиенических процедурах в ванной, что она могла продолжать работать, ставить на первое место экзамены, диссертацию, улиток, а теперь и физиологию памяти, не считая себя ненормальной. Ей нужно было казаться ненавязчивой и обычной. И ни о чем таком не думать. Работа идет лучше (по крайней мере, если вы женского пола), если никто на вас не обращает внимания.

Школьница Фредерика знала, что станет *кем-то,* знала, что на нее будут смотреть, слава

коснется ее, люди будут узнавать на улице. Она хотела всего — любви, секса, интеллектуальной жизни. Она попыталась создать семью, родила Лео и как могла зарабатывала себе на жизнь. Жаклин считала себя существом менее приметным, чем блистательная сестра Маркуса. Но она начинала ощущать неумолимую силу собственной любознательности, желания узнать еще что-нибудь, а потом еще и еще. Это ощущение жило в глубине ее души светозарным драконом, которого нужно питать, а пренебрегать им опасно… Следующим шагом было объяснить все Лайону Боумену. А Луку она хотела сказать: «Ты для меня слишком хорош. Я не смогу уделять тебе нужного внимания». Но лучше промолчать. Лук, с надеждой подумала она, перенесет все на другую, и тогда они смогут спокойно жить дальше.

Луку снился один и тот же сон о Жаклин. В нем она была — во всяком случае, в отдельных фрагментах — бурой птицей. Чаще всего чудесной, дымчатой, коричневато-черной самкой дрозда с острым золотым клювом и золотыми глазками — у настоящей Жаклин они карие. Часто птица эта была размером с крупного фазана, гордая и быстрая. Она появлялась среди *Cepea nemoralis,* когда он ждал Жаклин в привычном обличье, и

принималась собирать ракушки и складывать на камне-наковаленке. Он знал (сон был простой), что ему не следует подкрадываться, и все же подкрадывался, а она наблюдала за ним, склонив набок головку в темных перьях и сверкая золотым клювом. Иногда, не часто, птица вытаскивала улиток из раковин, и они, извиваясь и вытягиваясь, свисали с клюва. Однажды он обхватил ее руками, и на миг показалось, что она почти угнездилась, теплая и пушистая. Затем он почувствовал, как сердце бьется все быстрее, и понял, что должен отпустить ее или убить, и проснулся, мучимый необходимостью принять решение. Сон очень простой, размышлял он. Но простое толкование не годится. Бурые перья, настороженность, лапки-прутики, гул крошечного встревоженного сердечка изменили его, изменили ее образ. Он размышлял об этом и с научной точки зрения. Если ей все-таки удастся проникнуть в хранилища памяти мозга, узнает ли она, как в черепе спящего мужчины женщина превращается в птицу?

III

Рано утром вице-канцлер был уже на ногах — как обычно. Он сидел за громадных размеров письменным столом (а роста он был неимоверно высокого, без малого два метра) и смотрел на то, что мыслил «своей» лужайкой, пускай и знал, что это не так. Для жилья ему предоставили крыло первого этажа Лонг-Ройстона, особняка Елизаветинской эпохи, который был передан университету его владельцем Мэтью Кроу. Часть здания по-прежнему принадлежала ему. Одно из окон выходило на террасу, на которой в 1953 году Фредерика, в сорочке и юбке с фижмами, важно расхаживала, играя юную Елизавету в «Астрее» Александра Уэддерберна. Из другого окна — за живой изгородью из тиса, которая граничила с «его» садом, — взору сэра Герарда Вейннобела открывались поросшие травой косогоры и башни университета, соединенные дорожками, скверами и узкими каналами. Было видно и Башню Эволюции, спираль из стекла и стали, и Башню Языков — сооруженный из кирпича род зиккурата.

Он задумал конференцию на тему «Тело и мысль». На столе были разложены аккуратно составленные списки предполагаемых докладчиков (и слушателей). Конференцию он мыслил всеохватной. Будут лингвисты, философы, биологи, математики, социологи, медики. Должны также быть и физики: нельзя не затронуть вопрос о том, как с точки зрения современной физической науки наблюдатель влияет на объект наблюдения и меняет его. Эмбриологи, психологи, психоаналитики, фрейдисты, юнгианцы, кляйнианцы. Он улыбнулся про себя. Ему хотелось получить когнитивно-биологическую «теорию всего», на его веку даже отдаленно невозможную. Надо бы позвать и религиоведов. Среди его предков были голландский теолог-кальвинист и иудейский богослов. Он же сделал себе имя и как математик, и как грамматист-новатор. Вейннобел был твердо убежден, что университету пристало соответствовать названию, сиречь быть универсальным учреждением по изучению всего на свете. Увлеченно, искусно, с кропотливой настойчивостью он разработал революционный учебный план, в согласии с которым *все* студенты обязательно изучали научные дисциплины, более одного иностранного языка и по крайней мере один из

видов искусства.

Наверное, на конференции должны присутствовать и художники. Хотя художники, как правило, плохо изъясняются, не могут точно и без глупостей объяснить свои идеи.

Не то чтобы искусство его не интересовало. На другой стороне лужайки, поблескивающей каплями росы на траве и паутинках, стояло творение Барбары Хепуорт[4] (купленное университетом по его настоянию). Большой белый овальный камень с зияющими отверстиями. Каждое из них было перетянуто нитками-проволоками, тени от которых покоились на гладкой поверхности. Сквозь центральное отверстие можно было различить мрачные очертания тисов. Он познакомился с Хепуорт в Хэмпстеде в 1938 году, только прибыв из Голландии, уже готовящейся к войне. Говорили о математике. Она попыталась объяснить свой интерес к созданию форм со сквозными отверстиями: ее занимало то, как воздух и свет проходят через непоколебимый камень. Она описывала приятное ощущение от плавного погружения руки в чрево спиралевид-

[4] Примечания: 4

Барбара Хепуорт (1903–1975) — английская художница и скульптор. Одна из крупнейших фигур абстракционизма.

ного туннеля.

У постамента он увидел несколько белых веерохвостых голубей: их грудки — какое милое совпадение — повторяли изгиб мрамора. Затем он заметил абиссинскую кошку своей жены, Бастет, которая ощетинившейся тенью притаилась за люпинами. Голуби в испуге взлетели. Ему нравилось наблюдать за их движениями в воздухе. Нравился свет, пробивающийся сквозь беспримесную белизну их хвостовых перьев. Те, что уцелели, были научены горьким опытом собратьев. Урок выживания прошли. Бастет исправно находила и пожирала птенцов.

Книги он хранил в другом месте. В кабинете висели офорты Рембрандта и полотна Мондриана. Часть из них («рембрандтов») он привез из Голландии, а другие купил после войны, когда стоили они еще недорого. Он предпочитал одинокие фигуры, предающиеся размышлениям в глубокой тени: стариков с густыми бородами, морщинистых, невозмутимых старух. Любимой, пожалуй, была картина «Студент за столом при свече» — беспроглядная тьма и пылкий огонек. Выгравированный натюрморт у него был только один, изображавший коническую раковину *Conus marmorens*: ближе всего к глазу зрителя

расположена спираль, а поверхность выполнена таким узором, будто на нее наброшена темная сеть. У него также имелась копия работы, известной как «Фауст». Старик в шапочке смотрит из мрака комнаты на брезжущий из окна свет, куда указует таинственная рука. Там в воздухе парят три концентрических круга, этот свет рассеивающих. Внутренний разделен на четыре сектора, в которые вписаны литеры божественного имени INRI[5]. На внешних же начертано:

+ ADAM + TE + DAGERAM + ARMTET + ALGAR + + ALGASTNA +

Никто до сих пор эту надпись разгадать не смог. Дед Вейннобеля, каббалист, тоже пытался и тоже был посрамлен. У него самого время от времени рождались в голове идеи на этот счет, но все неудачные.

В Хэмпстеде в 1938 и 1939 годах был и Мондриан, рисовал аскетичные черно-белые решетки с вписанными в них красными, желтыми и синими прямоугольниками. Он считал, что всё — вся сумма вещей — может быть представлено этими тремя цветами, а также черным, белым и серым,

---

[5] Примечания: 5

Iesvs Nazarenvs Rex Ivdæurom (*лат.*) — Иисус Назорей, Царь Иудейский. См. Ин. 19: 19–20.

в пределах пересечений вертикалей и горизонталей. Эти цвета были знаками для символического отображения всех остальных цветов в мире: пурпура, золота, индиго, пламени, крови, земли, ультрамарина, даже зеленого, которого Мондриан не выносил. Прямые линии олицетворяли чистоту духовного взора. Они символизировали пересечение бесконечного плоского горизонта и бесконечной вертикали, стремящейся от земли к источнику света. Им была чужда трагическая прихотливость ужасающих в своей конкретности изгибов плоти или изменчивой луны. Вертикальная линия была натянута, являя собой существующее во всем напряжение. Горизонтальная линия — вес и тяготение. Крест же был встречей вертикали и горизонтали, неотъемлемой формой духа. Движение морских волн, обвод звездного неба — все можно представить при помощи маленьких пересечений. Диагонали, по мнению Мондриана, не были абстрактными по своей сути, и от них следовало отказаться. Он никак не мог добиться устойчивости химического качества своего красного цвета и часто менял его. Вейннобел находил эту систему, ее рукотворную чистоту и непримиримость прекрасными до безумия. Существует множество триад «пер-

вичных» цветов, из которых по определенным историческим причинам Мондриан выбрал одну. Таков был его взгляд на царство необходимости, на строительные блоки вселенной. Теория всего.

Как и Рембрандт, Мондриан олицетворял страну Вейннобела и особый склад мысли его народа. Упрямая точность, простроченная крайностями духа. Англичане же, среди которых он жил, к крайностям не склонны. Он это уважал, но понимал и силу, и опасность такой неосознанности. Йоркшир, чем-то похожий на его край, он любил и здесь чувствовал себя как дома. Вопреки всем различиям.

* * *

Начальник отдела по делам студентов Винсент Ходжкисс пришел в девять утра: по разным делам, в том числе конференции «Тело и мысль» (заметил, мол, название можно придумать и поизящнее, в ответ на что Вейннобел подчеркнул предельную точность своего варианта). Ходжкисс был философом, изучал Витгенштейна. Вейннобел восхищался им за то, что он в равной степени занимался и математическими идеями последнего, и его философией языка. Осанистый, в очках, неспешно лысеющий, Ходжкисс гово-

рил не много и слова подбирал выверенно. Они принялись обсуждать формат и структуру конференции. Вейннобел сообщил, что уже подумал о «звездных» докладчиках — *primi inter pares*[6] — и готов с Ходжкиссом поделиться. «Как с деканом по делам студентов и человеком с блестящими организаторскими способностями».

— Думаю, — начал Вейннобел, — что нам по силам устроить историческую встречу, историческую дискуссию. Полемику между Хедли Пински и Теобальдом Эйхенбаумом.

Пински был еще молодым американским ученым, а область своих изысканий называл когнитивной психолингвистикой. Он использовал компьютеры для исследования того, что он именовал глубинными и универсальными структурами языковой способности. Эйхенбаум был много старше, немец, называл себя этологом. Он исследовал импринтинг у щенков собак, лис и волков, изучал групповое поведение крысиных колоний, волчьих стай, косяков рыб. Оба сходились в идее о врожденности некоторых биологических структур, но не в том, каких именно; также разнились их взгляды на процесс научения

---

[6] Примечания: 6
Первых среди равных (*лат.*).

и модели развития человеческого и других типов обществ. Прошлое Эйхенбаума было омрачено подозрениями в компромиссах с фашистами (в Шварцвальде на протяжении всей войны он продолжал преподавать, упрямо рассуждая при этом о выживании сильнейших). В вопросах политики Пински был демократом: регулярно присутствовал на церемониях сжигания военных билетов и повесток (не своих, поскольку был почти слеп) и примыкал к тем, кто мечтал переписать уставы университетов, списав в утиль весь накопившийся интеллектуальный балласт. По его мнению, все можно было построить заново, с нуля, в блеске беспредельной новизны. Эйхенбаум, в свою очередь, сочувственно цитировал слова Конрада Лоренца о том, что для уничтожения культуры, на становление которой ушли столетия, достаточно всего двух поколений.

Едва ли они могли друг другу понравиться. Винсент Ходжкисс заметил, что не исключает выступлений студентов против них обоих. Против Эйхенбаума — из-за приписываемых ему политических взглядов, против Пински (с политической точки зрения безупречного) — из-за его бескомпромиссной позиции по поводу врожденности интеллекта. Ему уже сообщили, что в студгородке

— пришлые, ветераны парижских протестов и движения за создание альтернативных форм образования (называемых «антиуниверситеты»).

Вейннобела идея антиуниверситета заинтересовала.

— В теории — да, любопытно, — отозвался Ходжкисс, — но на практике выйдет беспорядок и путаница. Кстати, уже известно, примут ли Пински и Эйхенбаум наше приглашение?

— Я взял на себя ответственность и написал обоим. Кажется, удалось их заинтриговать. Вот письма…

По ходу разговора он что-то искал в сетчатом лотке для документов. Все бумаги в нем были сложены аккуратно, но, переворачивая одну за другой, он чувствовал, как пальцы становятся липкими и чернеют. Страницы были покрыты какой-то черной жижей. Они слиплись, с них капало. Винсент Ходжкисс следил, как Вейннобел пытается разделить бумаги, и в конце концов предложил помощь. Вейннобел достал один лист и положил на бювар.

— Чудеса какие-то, — с оксфордским выговором, который северянам казался чересчур жеманным, произнес Ходжкисс. — Что с ними случилось?

Вейннобелу удалось отлепить еще пару не поддающихся чтению страниц.

— Кажется, сделано это нарочно, — заметил Ходжкисс, смотрящий теперь с чистым любопытством. — Какой-то проказник-студент?

— Едва ли, — отозвался Вейннобел. — Я думаю, что злоумышленник мне известен. Не ломайте голову.

Он стучал по бювару почерневшими пальцами. Лицо не выдавало никаких эмоций. Ходжкисс наблюдал, как Вейннобел аккуратно отделяет от слипшейся массы лист за листом. Предложил бумажные салфетки.

— Надеюсь, там не было ничего важного.

— И важное, и нет. Личная переписка. Последняя статья Пински.

Он опустил конверт в корзину для мусора. Его почерневшее содержимое было тщательно разглажено и сложено в бессмысленно аккуратную стопку, подколотую кухонной шпажкой.

— Черная магия!

— Не совсем так. Назовем это колкостью. Прошу вас, не берите в голову. Это исключительно мои заботы.

— Разумеется, — кивнул Ходжкисс.

Как только Ходжкисс ушел, Вейннобел отпра-

вился на поиски супруги. Почерк был ее. Не в первый и не в последний раз. Такого рода штучки были предвестниками действий куда более серьезных. Бумажкам он уже не удивлялся. «Я прочитала твои письма. Я все знаю» — гласило послание. Но черная жижа была в новинку. Дело касалось его работы, и это уже не шутки.

Нашел он ее в туалетной для гостей — комнате с бледно-розовыми занавесками и обоями с изображением фантастических цветков розового, золотого и терракотового оттенков в духе времен короля Якова. Она стояла на захлопнутом унитазе с еще влажной кистью в руках. Рядом стул, на нем — большая банка с густой черной краской. Она уже закрасила две стены и почти весь потолок. На ковре чернели мазки и жутковатый отпечаток голой ступни. На Еве была черная хлопчатая хламида, поверх нее — белый комбинезон вроде врачебного, тоже измазанный краской. Это была крупная, плотная женщина с темными волосами, подстриженными ровной бахромой, как на древнеегипетских изображениях. Оба запястья украшали золотые браслеты с брелоками. К высохшей части потолка были приклеены, составляя некий узор, маленькие светящиеся звездочки. Герард Вейннобел узнал

созвездие Скорпиона. Он пригнулся, проходя в низкий дверной проем.

— Ева, что ты делаешь?

— Ты же видишь. Придаю блеск. Беру и нарезаю маленькими звездочками. Пытаюсь вдохнуть жизнь в эту усыпальницу.

— Черный блеск? — Вопрос Вейннобела был настолько же глуп, насколько справедлив.

— Выглядит современно и очень стильно. Я создаю ослепительную темноту. Поверх всего — звезды. Там — Рак, тут — Козерог. А над бачком — Овен. Ни у кого нет ничего подобного. Остается использовать имеющиеся таланты на пользу дома, в котором я живу и в котором я хозяйка, — сказала она, глядя на него своими большими разноцветными, золотым и карим, глазами. — Я думала, ты будешь рад, что я придумала себе творческое занятие.

Никогда нельзя было исключать того, что она говорит всерьез.

— Знаешь ли, есть вещи… Часть этого дома только передана нам, и мы не можем делать все, что заблагорассудится…

— Я здесь живу. Вот помру, и все это бездушное убранство восстановят в несколько часов. Мне тут жить, Герард. Я хочу, чтобы все было

исполнено смысла, даже сортир. — Она взмахнула кистью. — Я представила себе грот, а вместо сводов — звездное небо. — Уголки ее полногубого рта с грустью опустились. — У тебя, Герард, отсутствует воображение. Ты — человек с захлопнутой душой.

— Возможно, — отозвался вице-канцлер.

— А храм любви стоит на яме выгребной[7], — произнесла Ева, глядя на его реакцию. Ее лицо блеснуло острой мыслью. — Дорогой, ты завтракал? Совсем забыла. Позавтракаем вместе, и потом ты вернешься к своим бумажкам, а я — к украшению дома.

Вейннобел уже позавтракал, но сказал, что еще не успел. Подав руку, он помог ей спуститься с пьедестала. Кисть скользнула черным по его бледно-голубому галстуку. Они вместе прошли в столовую, и леди Вейннобел, напевая что-то под нос, принялась нарезать хлеб слишком толстыми для тостера ломтями. В электрической кастрюльке подогревался бекон. Собаки леди Вейннобел, две бордер-колли О́дин и Фригга, засуетились, помахивая хвостом.

---

[7] Примечания: 7

«Но храм любви стоит, увы, на яме выгребной» — строка из стихотворения У. Б. Йейтса «Безумная Джейн говорит с епископом» (перевод Г. Кружкова).

— Попроси у папочки корочку от бекона, — сказала Ева Вейннобел Одину, у которого, прямо как у его тезки, было бельмо: голубоватый глаз не двигался, карий расчетливо бегал. Один был серо-голубого и золотистого окраса, с белой гривой и хвостом-пером. Фригга — черно-белая. Оба были с жирком и вкрадчиво повизгивали, как уличные собаки, вынужденные сидеть в доме. — Мамочка про вас помнит. — Ева Вейннобел положила им бекон и поджаренные тосты. — Вам бы хороших жирных почек. Надо поговорить с поваром.

— Тебе бы, Ева, почаще и подольше с ними гулять, — заметил Герард Вейннобел. — Таким собакам нужно двигаться.

— Знаю, дорогой. Ты уже говорил. Я все время хожу с ними туда-сюда. Постоянно. Я ведь в собаках разбираюсь, так, дорогие мои?

Один скорчил гримасу. Фригга смиренно опустила морду. Герард Вейннобел прихлебнул черного кофе. Он знал, что с собаками она не гуляла, не пойдет и сейчас. И все это — звезды, краски, собаки, хищная абиссинская кошка Бастет, уничтожающая голубей, — его вина. Что делать, непонятно. Он во многом зависел от любезности других людей: домработницы, секретаря, врача. Что же, можно жить и с черной,

звездчатой туалетной комнатой. Надо только попросить домработницу незаметно убрать антикварное кресло. Почистить ковер. Возможно, даже обсудить с леди Вейннобел новый ковер, сочетающийся с черными стенами.

С Евой Селкетт он познакомился во время войны, когда работал в Блетчли[8]. Ему было тридцать четыре года, близкие отношения он пережил только одни — в Голландии, с еврейской девушкой-искусствоведом. Ее расстреляли в Амстердаме. Еве было двадцать четыре, она работала стенографисткой. Происходила из семьи англичан, обосновавшихся в Александрии. Она рассказала ему, что она египтолог и пишет диссертацию по иероглифам — именно так она оказалась связана с кодами и шифрами. Исследования, по ее словам, проводились в Оксфорде, и она собиралась там работать, но из-за войны исследования проводились в Александрии. В 1942–1943 годах она была красива — с копной темных волос, тут закрывавших лоб, а там скатывающихся по плечам. Она говорила мало и производила впечатление барышни печальной

[8] Примечания: 8

В период Второй мировой войны в особняке в Блетчли располагалось главное шифровальное отделение Великобритании Правительственная школа кодов и шифров.

и замкнутой. Затем она рассказала, что вся ее семья погибла во время немецкого вторжения; что она тоже потеряла возлюбленного; что она очень больна, но теперь ей лучше. За совместными ужинами она слушала его, время от времени вставляя загадочную и уместную цитату. Из Йейтса и Вогана, Юнга и Гермеса Трисмегиста. Вейннобел, от природы немногословный, в те дни говорил немало: сложив велосипеды, они сидели в поле, попивая теплое местное пиво и наблюдая за пролетающими самолетами. Он очень кратко рассказал ей о Лилиане. Говорил о Мондриане, Хепуорт, Науме Габо, духовном значении горизонталей и вертикалей. Она — тихо и убедительно — рассказывала о символизме чисел и духовных формах. Это витало в воздухе среди дешифровщиков — платонов мир чистой математики. Из-за своего роста он был неловок с женщинами. Он побаивался ее мягкой, теплой красоты. Однажды они прижались к воротам, она взяла его руку и положила себе на грудь, поверх хлопковой рубашки. Через неделю или две она произнесла: «Когда мы поженимся, у нас будет голубятня и голуби». В те дни казалось, что будущее наступит скоро. Он хотел детей. Он хотел затеряться в изгибах ее жаркой кожи.

Поженились быстро — приглашать было некого, во всяком случае, он так думал. Позже он узнал, что и сиротство Евы, и степень по египтологии — все было не совсем так, как она рассказывала. Медовый месяц они провели в загородном доме в Оксфордшире.

Вейннобел быстро понял, что разочарован (потом возникло и слово «обманут»). И пытался преодолеть разочарование. После войны он работал в университетах Дарема и Лондона. Трудился. Ева полнела. Время от времени он надеялся, что тяжелеет она из-за беременности, но детей не было. Он сбежал в изучение спиралей Фибоначчи и сопоставление порядка слов в предложениях на нескольких языках. Однажды Ева, в белой ночной рубашке, шагнула вниз из окна их дома в Дареме и упала, пролетев через ветви яблони, сломав запястье и нос. Сказала тогда, что она Селкет, богиня-скорпион. Она была пьяна. И больна. Пробовали все средства — юнгианский анализ, групповые сеансы в «Седар маунт», санатории. Она рассказывала всем, кто готов был послушать, что стала жертвой амбиций мужа, его поглощенности собой, его земного успеха. Она рассказывала всем, что у него любовницы в разных уголках мира. В глубине своей кальви-

нистской души Герард Вейннобел верил в нее, хотя здравый ум мог с привычной ясностью изложить противоположные доводы.

* * *

Неподалеку, в больнице «Седар маунт», на краю кровати сидел человек. Он пытался построить план. Сейчас ему следовало находиться в Комнате Общения. Считалось желательным, чтобы по возможности все общались в группах. Ему также предстояло собеседование с психиатром, доктором Пертом Спорли. Подобное случалось редко, и нужно было извлечь максимум пользы.

Он смотрел, как кровь струится по стенам и аккуратно затекает за края линолеума. Сегодняшним утром кровь была беспримесно красной. Она прорывалась сквозь обои (моющиеся, виниловые, с веселым узором из двухмерных подсолнухов) маленькими яркими потеками и пузырьками. Оттуда струйками стекала вниз, сливаясь в прозрачную красную полосу у основания стены. По краям, как это бывает с кровью, сворачивалась и коричневела. На кромке линолеума слегка пульсировала, будто ее выкачивала из-под половиц какая-то кровеносная система. Он видел, как она пропитывает белый, кем-то оставленный носок.

Внутри покой. Кровь в то утро казалась явлением занимательным. Он бы и хотел с кем-то поделиться. Все-таки здесь она или нет? Сам он точно ее видел, отмечая вязкость и текучесть. Нет, он не выдумывает. Это не проекция его душевного состояния, ведь он спокоен, никакой кровожадности. Это не метафора.

С другой стороны, если поднять намокший носок, то в руках, верно, будет белая ткань, а не красные капли. В определенных состояниях пульсирующего возбуждения он видел, как кровь дождем падает с неба, широкими полосами прорезая воздух. Порой он терял, терял, терял голову, терял, как говорили медбратья, хладнокровие.

Если не сказать про кровь — а он мог говорить или не говорить о чем захочет, — то можно убедить их выпустить его оттуда, и он вырвется за ограду. Вырваться определенно хочется. Ведь у него есть цель. И жизни надлежит течь дальше, к этой цели, а не вращаться вокруг якоря. На него возложена обязанность жить своей жизнью, а он этого не делал. Те, кто говорил с ним, разъясняли это, не слишком терпеливо, снова и снова. Голоса, как и кровь, были рядом, но не он издавал эти звуки, и не он ими управлял. Они не похожи на гул разговоров в Комнате Общения. Но звучат

не в голове. Он прислушивался к ним. Знал, что никто другой их не слышит.

Таблетку спрятал в носок. Голова должна быть ясная. Голова его была и старой, и молодой. Волосы — белесая копна. Борода — жесткая, огненно-черная, со стальным отливом. Человек он был большой, высокий. И вот он сидит на краю кровати и ждет, и смотрит на кровь.

IV

Фредерика хотела учить и потому учить перестала. То было лето 1968-го: студенты ходили маршами, устраивали собрания, мастерили знамена, обсуждали природу вещей. Административные здания баррикадировали. Писались пространные документы с неисчетными параграфами с требованиями свободы от гнета идеологии и навязанных системой взглядов, а также возможности лучше подготовиться к «тотальной среде» (таким словосочетанием их авторы описывали мир, в котором нужно работать). К недавно введенным курсам гуманитарных наук с особой неприязнью относились студенты творческих специальностей из Художественного училища Сэмюэла Палмера. Туда входили не только философия, социология и психология, но и Фредерикина литература. Однажды под дверь кафедры гуманитарных наук просунули записку: «Мы *требуем*, чтобы такие дисциплины, как литература и философия, *концептуально смыкались* с Технологией производства ювелирных изделий».

Прошлое до́лжно упразднить. Кто-то положил все принадлежащие Алану Мелвиллу слайды с Вермеером в кислоту и выставил их с подписью: «Леди исчезает»[9]. Заведующий кафедрой гуманитарных наук и специалист по Блейку Ричмонд Блай был во многом на стороне студентов. Во время бурлящего страстями разговора с ними, который длился тридцать шесть часов и в ходе которого он призывал их стать «тиграми гнева», изжив «лошадей поученья»[10], он согласился с тем, что авторитарные лекции должны остаться в прошлом, все встречи студентов и преподавателей следует превратить в свободные обсуждения, обмен мнениями, а такие мудреные и малоинтересные вещи, как семинар Фредерики по метафизической поэзии XVII века, можно упразднить. Ее уроки современной литературы превратились в бесконечные попытки нащупать первопричины необходимости изучать словесность в художественном училище. Самоочевидного ответа у нее не было, но она никогда не сомневалась в том, что лучше чем-то интересоваться, чем не интересоваться, будь то

---

[9] Примечания: 9

«*Леди исчезает*» (1938) — шпионский триллер Альфреда Хичкока.

[10] Примечания: 10

Аллюзия на «Пословицы Ада» Уильяма Блейка.

литература, ботаника или ядерное деление. Впрочем, самой ей интересоваться таким преходящим явлением, как студент, становилось все труднее — особенно если студент этот не учится, а только болтает на занятиях. Она предложила выбирать из современной литературы одну конкретную тему и вместе ее обсуждать. Кто-то сказал: «Любовник леди Чаттерли». После долгих споров было принято. Семинар начался. Фредерика села не на место преподавателя, а в конце аудитории. Молчание. Слово никто не берет. Она спросила, прочитал ли кто-нибудь книгу. Похоже, никто. А если и прочитал, то все равно молчит. Она встала и произнесла:

— Если бы у нас была лекция по этой книге, мне пришлось бы глубже ее изучить. И кто-то из вас что-нибудь да вынес. А так делаем вдох и ждем обеденного перерыва. Мне есть чем в жизни заниматься. Я ухожу.

Она сверлила их взглядом. Они глядели в ответ неодобрительно и непреклонно. Она вышла из аудитории и направилась по коридору к кабинету Ричмонда Блая.

— Опять проблемы? — спросил он с чем-то похожим на удовольствие, чувствуя наэлектризованность ее гнева.

— Да нет. Я просто увольняюсь. Прямо сегодня.

— Перестаньте, Фредерика, ну что за косность такая. В какие времена мы живем! Неужели вы ретроградка, неужели вы *отсталая*? Мы многому можем научиться у молодежи, вдохновиться их страстью.

— Да, но я-то хочу учиться другому. Я оказалась не в том месте и не в то время. Согласна: в *этом* я отстала. Но вечно, что ли, оставаться двадцатилетним? Чему-то учиться мне нужно, но не тому, каково сейчас быть студентом.

— Хорошо, — спокойно произнес Блай. — Прямо сегодня?

— Прямо сегодня.

Зачем? — думала она потом. Она правда хочет чему-то научиться, и она правда хороший преподаватель, ведь больше ее интересуют не студенты, а книги, о которых она им рассказывает. То есть и студенты ей, конечно, тоже интересны, но в порядке приоритета. Однако чему учиться? Чем заниматься? В планах диссертация по метафоре, которая теперь, впрочем, невозможна — матери-одиночке грант на исследования никто не даст. Вот Агата, она на работе принимает настоящие решения, меняющие жизнь людей. Но Агата как-то обмолвилась,

что чувствует, будто сливается с работой, что отождествляется со службой, нравится ей это или нет. Слишком четко определена. Фредерика же — хотя и по ее собственному мнению, и по мнению других, «блистательна» — конструкция бессвязная, лишенная архитектурного замысла. Она перебирала варианты. Нужно действовать, есть проблема отсутствия денег, и, возможно, она нарочно создала этот финансовый кризис, чтобы себя подтолкнуть. Как и большинство вольнонаемных, она полюбила вскрывать конверты с чеками. Чеки от газет за небольшие рецензии. Чеки от Руперта Жако. Чеки за факультативы. Розовые чеки, серые чеки, чеки цвета утиных яиц — хватит на брюки для Лео, пару колготок, роман Айрис Мердок, средство для мытья посуды, яблоки, розы, вино.

Чем же заменить чеки из художественного училища? Чем вообще люди занимаются? Она расспросила друзей: Тони Уотсона, у которого теперь была своя колонка в «Нью стейтсмене», и Алана Мелвилла. Тони обещал поговорить с редактором. Алан сказал, что полностью разделяет ее решение, но помочь ничем не может. Она поговорила с поэтом Хью Роузом, который работал на полставки в «Бауэрс энд Иден». Хью рассказал,

что в издательском деле женщин почти нет, хотя есть женщины-авторы, и он всегда полагал, что она рано или поздно станет писательницей. Фредерика заметила, что в их обители писательница — Агата Монд и вот бы Хью уговорил Агату отправить сказку Руперту Жако.

— Она ее закончила, — сказала Фредерика. — Потом придется писать продолжение. Саския и Лео так и ждут. А я для них сказки написать не могу. Я, похоже, не писательница.

— Но ты пишешь, — возразил Хью. — Я же знаю.

— Это не писательство, это игра. — Фредерика как будто защищалась.

Хью был единственным, кому она показала свою книгу из вырезок, выписок, выкроек и банальностей, которую назвала «Наслоения». Показывала она ему только некоторые фрагменты, как иллюстрации к шуткам или литературным тезисам.

— По форме очень современно, — сказал Хью. — Как у Берроуза и Джеффа Наттолла, только все равно по-другому, потому что это ты.

— В ней есть очень личные кусочки — кусочки меня. Всего в несколько строк. — Их она показывать не стала.

Еще до возникновения замысла у нее уже было название — «Наслоения». Так она обозначила свои усилия проживать жизнь раздельными пластами, не пересекающимися друг с другом. Секс, литература, кухня, преподавание, газета, *objets trouvés*[11]. Лео она в «Наслоения» не включала, но не потому, что он не был частью ее раздробленной жизни, а потому, что сам он не был раздроблен. Однако в последнее время она стала вставлять случайные отрывки из тех книг, с помощью которых пыталась научить его — с большим опозданием — читать. Как заинтересовать мальчика со словарным запасом искушенного подростка тем, что мама мыла раму?

Она достала тетради и показала Хью. Последней записью была подборка граффити из училища Сэмюэла Палмера.

Включись. Настройся. Забей.

Искусство — это оргазм, сметающий стены Гражданственности и рамки Буржуазности и разрывающий цепи Капитала.

Студячейки для подготовки к тотальной среде.

Преподаватель = угнетатель.

---

[11] Примечания: 11
Находки (*фр.*).

Требуем концептуальной смычки литературы с Технологией производства ювелирных изделий.

Заткнись и внемли переменам.

Шевели причиндалами, а не мозгами. Языки — для влажных услад, а не сослогов.

Вместо Шекспировых пьес глотайте грибы. И пусть безумие умнеет[12].

Каждый день красьте стены тем, что под рукой.

Хью перелистывал страницы. Фредерика нервно ерзала. Он улыбался, смеялся. Обратил внимание на вырезки из Лоуренса и Форстера.

— А это — из писем адвоката моего мужа.

— Выходит этакий личный «Ицзин», — подытожил Хью. — Даже не личный, а особый, неповторимый. Могу показать Руперту?

— Они еще не закончены.

— Но ведь в этом их суть!

Фредерика сдалась. Хью был частью ее системы наслоений. Приятель, даже друг, если говорить о писании и чтении. В круг возможных любовников он не входил. Да он и сам об этом вроде не помышлял. Она же, стараясь об этом не думать,

---

[12] Примечания: 12

Аллюзия на ставшую крылатой строку из стихотворения поэта-сентименталиста Томаса Грея (1716–1771) «Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise» («Где глупость — благодать, безумство — умным быть»).

не могла не думать о Джоне. Который принял предложение по работе и начинал с ближайшего осеннего семестра.

* * *

Тем же, кто снабдил Фредерику настоящей работой и чеками, было суждено стать Эдмунду Уилки.

Уилки, который все еще профессионально интересовался работой мозга и природой восприятия, каким-то образом сумел влиться в тогда еще скромный, до странности открытый всем ветрам и безначальный мир телекомпании Би-би-си. У людей были хорошие идеи (впрочем, и плохие), которые они воплощали на практике без лишних бюрократических проволочек. Одной из программ, у истоков которой он стоял, была своеобразная литературная викторина под названием «Комки». Идея была проста. Четверо отгадывающих, председатель и актер садились за стол. Актер зачитывал цитаты, а отгадывающие пытались понять, из какого они произведения. В то время многие полагали, что именно так будет развиваться телевидение или, по крайней мере, такой будет одна из его отраслей: культурным, послеобеденным упражнением для ума, своего

рода снукером или теннисом для книгочеев. У Фредерики телевизора не было. Она уже начала понимать, что больше так нельзя: Лео плакал от обиды, ведь его друзья могли смотреть «Бэтмена» и «Доктора Кто», а он — нет. В этом она не была необычной. Она не считала телевидение чем-то значимым, несмотря на восторженные речи своего друга журналиста Тони Уотсона о том, что отныне все выборы будут выигрываться и проигрываться на маленьком экране. Пусть и несколько смутно, но она понимала, что грешно проводить вечера, тупо уставившись в экран, будь то новости, сатира, дискуссии или что-то еще. Все это можно лучше и быстрее пережить другими способами. А еще был старый добрый высокомерный страх стать частью *массы*. Которая, как считали продюсеры «Комков», очень любит угадывать авторов литературных цитат и обсуждать их.

Уилки сказал Фредерике, что она может попробовать влиться в коллектив, снявшись в пробном прогоне.

— Не так-то просто отыскивать женщин для участия в программе, — объяснил он. — Играть им не по душе. Ты пишешь рецензии. Пойдешь у нас как журналистка.

Программы записывались блоками по четыре штуки: иногда в Телевизионном центре, иногда в Манчестере. На съемочной площадке царила непринужденная атмосфера. А еще создавалась иллюзия насыщенной культурной жизни, которая протекала как на экране, так и за его пределами. Фредерика угадала «Сад» Марвелла, «Влюбленность» Генри Грина, «Сентябрь 1939 года» Одена и непонятный отрывок из «Чувства и чувствительности». Ей не удалось угадать кусок из Байрона, с которым она никогда не ладила, и из «Домби и сына», что ненадолго ее раздосадовало. К своему удивлению, пробы она прошла. Уилки сказал ей: «Ты не боишься камеры. Редкий случай. Ты просто говоришь что думаешь».

Фредерика призадумалась, боится ли она камеры. Если и не боится, то только потому, что не воспринимает всерьез. Со стороны она себя не видела и видеть не жаждала. Приходили небольшие чеки. Она ездила в Манчестер в вагоне, полном поэтов, историков и мыслителей, и слушала их разговоры о том, как писать о войне.

Как-то Уилки обмолвился, что хочет пригласить ее на прослушивание для новой передачи, которая частично посвящена телевидению как таковому, его роли и влиянию. На все — от поли-

тики до науки и искусства.

— Я записал тебя на прослушивание. Вести интервью, задавать вопросы. Ты отлично справишься.

— Сомневаюсь. Я не умею брать интервью.

— Но ты не боишься. И быстро соображаешь. Лучше, чтобы этим занималась умная женщина. Мужчины будут вести себя серьезнее.

— Вот уж вряд ли.

— Все равно приходи на прослушивание. Ради интереса. А там посмотрим, как сложится.

— Ох, не знаю.

— А чем еще ты сейчас занимаешься, Фредерика?

— Не знаю.

— Ну вот видишь…

Новый проект Уилки назывался «Зазеркалье». Прослушивание проходило не в Телевизионном центре, а в Ислингтоне, в каком-то большом складском помещении, возможно временной студии. Туда Фредерика отправилась без особого настроения, а значит, и без подготовки. На ней была темно-зеленая блузка с белым воротничком и манжетами. Поучаствовав в «Комках», она поняла, что не стоит надевать черное и полосатое. Она также поняла, что не нужно слишком

доверяться барышням с маленькими лоточками косметики, румянами, губками, подводками для глаз и густой тушью для ресниц. В зеркале она казалась себе какой-то взбешенной куклой. Что-то шевельнулось в памяти. Что? Кто? Злая королева из диснеевской «Белоснежки». Сказали, что из-за освещения кожа будет казаться белой. В полумраке сидело около десяти кандидатов: журналисты, писательница, актриса. То были времена, когда программы обязательно вели сладкоречивые дамы с безукоризненно уложенными волосами и поставленной речью или мужчины, исполненные достоинства и особой телевизионной важности.

Прослушивания проходили в парах. Фредерика с удивлением и даже раздражением обнаружила в составе команды Би-би-си Александра Уэддерберна, который, как оказалось, перешел с радио на образовательное телевидение. Он объяснил Фредерике, что члены каждой пары будут брать интервью друг у друга:

— Сначала А будет брать интервью у Б, а потом наоборот, по пять минут. Мы старались ставить мужчин с женщинами и наоборот. Вас, боюсь, облюбовал Микки Бессик. Поп-поэт.

— Знаю. Лео декламирует его стихи в школе.

— Он был в нашем комитете по преподаванию английского. Ужасно самоуверенный. Впрочем, это можно использовать во благо.

Фредерика кивнула. Микки Бессик оказался симпатичным молодым человеком с накрененной набок копной золотистых кудрей. На нем была футболка с «Призраком блохи» Блейка, окруженным кольцом значков. «Фродо жив». «Занимайтесь любовью, а не войной». «Хо Хо Хо Ши Мин». «Ради-о! — активные о! — садки». «Психиатрия убивает». «Угнетение — общий закон для тигра и вола»[13]. «Долой школьные обеды». Двигался он, будто чем-то побрякивая.

Бросили монетку, кто первый. Фредерика проиграла. Задумайся она об этом, решила бы, что это скорее плохо, ведь у второго вопрошающего уже будет образ его визави. Они сидели в креслах с тканными спинками, лицом друг к другу. Поэт дружелюбно и шаловливо ухмылялся. Фредерика наблюдала. И вот прозвучал хлопок.

— Когда вы начали писать стихи?

— Я напевал что-то уже в коляске. Да, она стала моей колесницей из огня, тучей, на которой

---

[13] Примечания: 13

Аллюзия на строку из «Бракосочетания Рая и Ада» Уильяма Блейка.

я умчал[14]. Все вокруг было поэзией. И до сих пор так.

— Учителя в школе, должно быть, в вас души не чаяли?

— Да, я был любимчиком. Сыпал стишками. Но потом система меня смолола.

— Система?

— Все, к чему они принуждают. Что убивает воображение. Факты, цифры, короли и королевы, меры и весы, яйца, скелеты и прочее. Глыбы говна. Ой! Мне вообще такие слова можно употреблять?

— Не знаю. Не думаю. А хоть в чем-то, на ваш взгляд, есть что-то хорошее?

— Послушай, подруга, меня закрыли в психтемнице. Что я там испытал!

Пять минут, подумала Фредерика, пора с образования переключиться на его стихи. Но я его зацепила, а он, как бабочка, распахнул крылышки солнцу.

---

[14] Примечания: 14

Аллюзия на поэму «Иерусалим» Уильяма Блейка.

Где верный меч, копье и щит,
Где стрелы молний для меня?
Пусть туча грозная примчит
Мне колесницу из огня.

(Перев. С. Маршака)

— Итак, чему же, по-вашему, надо учить молодежь?

— Ничему. Надо дать им свободу. Чтобы сами поняли, *чему* учиться, *когда* учиться. Изучать только то, что *хочешь* изучать.

— А наука? В ней технические знания необходимы…

— Видишь ли, голуба, наука — это зло. Из-за этой науки планета уничтожит сама себя. Может, мы погибнем в ядерном грибке. Или всю земную кору выжгут напалмом, а птиц небесных и рыб морских изживут пестицидами. Да уж. Наука служит двум господам: человеческой жадности и человеческой чванливости. Никакой науки детям. Надо их учить человеческим вещам: заниматься любовью, рисовать картины, писать стихи, петь песни, медитировать. У меня есть стихотворение против науки. Прочитать?

— Давайте, если оно не слишком длинное.

Фигуры в белом с сердцем из металла,

За ширмой стен, с надвинутым забралом

Творят из стали смерть стальною дланью,

Скрывая солнца свет, небес зерцало.

В лесах же, под дождем, слепым от солнца,
Танцуют дети – молодая кровь!
Цветы и корни собирают в кольца,
Поют и целостность сплетают вновь.

Фигуры в белом же исходят злобой,
Они детей стальною цепью вяжут.
От институции сбеги, попробуй!
Кто лишь дерзнет, того тотчас накажут.

Но день настал, и гнев блестит в глазах:
Дети рвут цепи, закипает кровь!
Халаты белые сгорят в кострах,
И выйдут люди в дождь нагими вновь.

Расскажут дети людям про любовь,
Играть научат, как во дни былые.
И люди вспомнят правду древних слов,
Дождем омыты, снова молодые.

— Итак, вы считаете, молодежь сможет спасти мир от ученых?

— Я не считаю, я *знаю*. Они уже спасают. На

наших глазах. Естественно и спонтанно. Радиоактивный всплеск бомбы будет бит выплеском оргазма. Достаточно просто не прогибаться. И полностью менять сознание. *Мы построим все заново.*

— Значит, надо менять политику?

— Политика — это начало. Уберем всех этих зомби в темных пиджаках. Только петь, говорить, слушать — и все в ярких тонах. Никаких стравливающих дебатов, только совместная медитация. Тогда прорвемся.

— Но есть трудные вопросы, требующие трудных решений. Перенаселение. Нехватка продуктов питания.

— Если изменить *ментальность,* голуба, то изменится все. Новые ткани, новые цвета, новые стили. И новые способы… Ну выращивать что-нибудь. Новые способы делить между собой то, что имеем. Да, вот так.

— Но ведь молодость дается не навсегда?

Поэт нахмурился:

— Посмотрим. Мы, я так думаю, однажды поймем, что по-настоящему быть молодым — это, так сказать, пребывать в истине, в *истине* молодости. Я из тех, кто считает первичным сознание. Мы стареем и умираем, потому что подспудно сами

этого хотим, но не можем противостоять, потому что не знаем как. Но ничего, научимся. Научимся жить в бесконечности, ведь из нее мы и пришли.

— СНЯТО!

К беседе Микки Бессик подготовился еще хуже Фредерики. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Немного покачавшись туда-сюда, начал нараспев:

— Итак, о чем вы хотите поговорить?

— Могу поделиться своими мыслями об образовании. Они совсем другие. Я уверена, что знания необходимы и что получить их можно только путем обучения. Просто так, без усилий, ничего не придет.

— Ну вот, передо мной ханжа. Так я и думал. Я сразу понял. Ты, наверное, его переела.

— Чего?

— Образования.

— Что было, то было. Я окончила университет, изучала литературу. И я вот считаю, что свое мнение хорошо иметь, когда уже знаешь, что́ и как думали до тебя.

Поэт раскачивался все быстрее, не открывая глаз: крик-крак, крик-крак. Процедил сквозь зубы:

— Фигня все это. История. Прошлое. Дурь, дурь,

дурные видения. Будто сношаешься с трупом, подруга как там тебя. А сношаться надо с живыми. Еще и еще. Вот как я. И оттуда берутся стихи, стихийные разливы, как некто изрек[15]. Ты небось думала, я ничего такого не знаю.

— Ваши стихи мне нравятся. Занятные. И мой сын так думает.

Спинка кресла замерла.

— Вы только послушайте! Остановись, мгновенье! Пойте хвалу Господу! Ликуйте, звезды! Дамочке понравились мои стихи! Валяй во все колокола! Эта спесивая грымза соблаговолила похвалить мои стихи!

— Вы вообще знаете, кто я?

— Ох, смутно. Училка, вроде того. Спесивая грымза, занудная зазнайка — я таких повидал.

— Но именно одна из *таких*, какую вы сейчас должны…

— Какую! Вы только послушайте. Спесивая грымза снизаходит. Вот ее ход. «Какую» вместо «которую»! Щеголяет местоимениями. Ты, разумеется, думала, что и такого я тоже не знаю? Что ж, меня это выучить вынудили. Но грамматика — это пустышка.

---

[15] Примечания: 15

«Поэзия — это стихийный разлив могучих чувств». Так писал английский поэт-романтик Уильям Вордсворт (1770–1850).

— А вы в своих стихах с ней управляетесь очень изящно.

— Как-как? *Изящно?* Мои стишата, значит, *изящные*. Ну ты и трепло!

— Трепло как раз вы. Но стихи неплохие.

Кресло качалось с запредельной скоростью.

— СНЯТО! — прозвучал голос Александра.

Поэт вовсе откинулся на спину и лежал, просунув ноги через раскладные опоры. С благостным выражением на лице.

Позже Уилки пригласил Фредерику в Телевизионный центр посмотреть вместе отснятое интервью. Они сидели в помещении без окон и смотрели на стоящий в углу ящик. Уилки рассуждал:

— Как я и говорил, у тебя есть одно свойство — ты не боишься камеры. Посмотри на других, включая твоего не в меру словоохотливого визави: мышцы шеи напряжены, глаза опущены. Как под взглядом Медузы. Но у тебя этого нет. Посмотри.

Фредерика возразила, что, возможно, держалась свободно, потому что предусмотрительно решила на себя не смотреть. Если она хочет стать в этой области профессионалом, заметил Уилки, смотреть придется и сохранять при этом невоз-

мутимость.

Она с трудом себя узнавала. Камеры были благосклонны к ее костлявым формам и большому рту. Песочный цвет лица они сделали более насыщенным, волосам придали темно-рыжую глубину, а бровям, тщательно прорисованным и подправленным гримерами, — дугообразный изгиб. Взгляд Микки Бессика, в сравнении с его веселой ухмылкой, казался маловыразительным. Глаза же Фредерики на экране блестели заинтересованностью и задором. Губы таинственно кривились.

— Помнишь, в постановке, когда я играла Елизавету, были строчки из детской песенки. Там старушке обрезали платье. Господи помилуй, это же не я!

— Но и никто иной. Ты — личность в полном смысле слова. У тебя есть все, включая способность — в которой я тебе всегда отказывал — слушать других.

— Все мы растем, меняемся. Я преподаю. Я воспитываю сына.

— В общем, работу тебе даем. Решили единогласно.

— Но я не хочу быть личностью на экране.

— Ой, Фредерика. Хочу, не хочу… За этим буду-

щее. В конце концов, почему хотя бы на время не попробовать? У меня вот тоже две жизни: мои научные исследования и эта работа. Чего ты вообще хочешь?

— Не знаю. Руперт Жако обещал издать мою книгу из кусочков и обрывков. Говорит, подходящий момент. Книга очень своевременна. Не уверена, что он понимает. И это даже не книга, не настоящая книга, я не писатель. Меня учили писателей ставить на место. И в чем-то Микки Бессик прав.

— Ну ладно. Можем заплатить тебе аванс. Программа еще несколько месяцев будет готовиться. Будем много еще чего обсуждать, и я очень надеюсь на твой вклад, как тут говорят. Окажешься в авангарде новых форм мышления, возможно, даже нового вида искусства.

Он прокрутил пленку в начало и снова запустил. Фредерика всматривалась в свое лицо. Ей нравилось — Бессик декламировал свой манифест юности, — что это лицо не девочки, а женщины. Собранное, внимательное, повзрослевшее. Привлекательное — даже для его обладательницы. Непривычное ощущение!

Уилки объяснил свою идею «Зазеркалья». Фредерика позже подумала, что впервые уделила

ему все свое внимание, как и он впервые обратился к ней с полной серьезностью, будто она больше не благодарный слушатель его острот или спарринг-партнер в шутливой пикировке. В 1953 году он стал ее первым мужчиной, но произошло это непринужденно (так она и хотела) и продолжения не имело. Он всегда слыл человеком выдающимся, специалистом по восприятию и познавательным способностям. А теперь он еще и известный создатель телепрограмм. На прослушивании — она запомнила — на нем была розовая рубашка с белым воротничком, насыщенно-розовая, с галстуком в мелкую черно-белую клетку, создающую оптически многозначную картинку. У очков же теперь была тяжелая квадратная оправа. Темные волосы стали длиннее. Немного полноват для такого стиля, но впечатление приятное.

Телевидение, очень серьезно говорил Уилки, изменит сознание всех нас. В больших и малых масштабах. В первом смысле все более очевидно. Всем, кто имел к этому непосредственное отношение, уже было ясно, что политика будущего будет вестись в этих маленьких ящичках. «Нужно научиться *очаровывать* людей, хотя твое лицо — всего несколько дюймов в поперечнике, а ты

рассуждаешь о домашней стряпне, размере груди или каше, которую надо запихнуть в рот орущему чаду…» Искусство слова никуда не денется. Но чтобы всколыхнуть массы, теперь придется работать с каждым в отдельности и, как это называют, заочно. «Выглядеть все будет честнее, а по сути станет куда как коварнее», — заключил Уилки.

И тогда телевидение изменит наш мир. Именно благодаря телевидению американцы поняли, что война во Вьетнаме невозможна. Оно показывало им сожженные напалмом джунгли или, скажем, как голодают на другом краю земли. Маклюэн подобрал меткое словосочетание: «глобальная деревня». Он считал, что планета сжалась. По мере того как мы будем двигаться дальше, мы все чаще будем говорить о «планете», ведь из космоса она кажется маленькой, цельной, одинокой, с голубыми вихрями, охристыми и зелеными пятнами.

Фредерика согласилась: уже заметно, как в современных романах все бóльшую роль играет этот ящик, мерцающий в углу комнаты, этот проводник потусторонней жизни с солдатами и танками или чужими раковинами на чужих кухнях. В литературе XIX века его аналогом был очаг — те угли, в которых герои Диккенса видели

фантастические образы, вокруг которых, млея от тепла, собирались и читали вслух, или рассказывали истории, или просто жили.

— Ты все еще мыслишь в категориях большой прозы, — заметил Уилки. — Но говоришь ты правильно. Мне вспомнилась Платонова пещера, с огнями и тенями.

— Роман никуда не денется.

— Поглядим.

— Нам нужны образы, созданные языком.

— Пусть так. Но мы вступаем в эпоху зрительных образов, язык будет вторичен. Пока же телевидение приютило пасынков других видов искусства. Кукольные шоу для детей, бытовые драмы, втиснутые в три комнаты с кухней, низкопробные эпические картины, бездушные чтения стихов после полуночи.

Черно-белый галстук Уилки вздымался вместе с практически отсутствующим животиком, закрытым розовой рубашкой. Он едва ли не заклинал Фредерику:

— Теперь у нас есть цвет. Понимаешь? Цвет. Будем показывать фильмы о живописи и фильмы о фильмах, но нужно создавать произведения, предназначенные специально для просмотра на маленьком светящемся экране, изображения

из пурпурных, зеленых и голубых пикселей. И предметом этого искусства станет все, что можно помыслить в цвете: от губ политиков до лунных кратеров, от кровяных телец под микроскопом и постепенного роста эмбрионов до распускания цветов и посадки лесов — все это с развитием технологий можно будет сплести в грандиозный живой гобелен. А еще телевидение может и должно рассказывать о себе, и тут очень к месту твой образ мерцающего в углу очага. Вот как меняется восприятие мира! Можно анализировать наши реакции на стимулы: идет ли речь о распознавании младенцами лиц либо ласточками — клюва или о людях на диванах, которых побуждают хотеть, скажем, мороженое в стаканчике с шоколадной глазурью. Показывать и, если надо, одновременно осмыслять. Какой толк в бесконечных мюзиклах и черномазых госпелах, в полумесяце амфитеатра и телесно-химическом взаимодействии с живой аудиторией, когда можно дать крупным планом круглых червей и бесконечно создавать новые формы при помощи бесконечно разнообразных кубов света?

«Зазеркалье», продолжал Уилки, станет первой телевизионной программой о телевидении. И речь, разумеется, не о болтовне критиков. Речь о

новой форме мышления.

— А пока, раз уж ты становишься лицом и голосом моего проекта, у тебя должен быть телевизор, — заключил он. — Новый цветной телевизор. И вы должны смотреть всё — от спорта и мультфильмов до сводок из Вьетнама.

Фредерика спросила о цвете. Черно-белые фильмы, пусть это и парадоксально, пока казались более сложными. Цвет же резковат. Как и на фотографиях, черно-белое кажется более аналитичным.

Уилки согласился: Леонардо тоже с подозрением относился к цвету, считая его преходящей иллюзией. Линии, свет и тени ему казались более весомым отображением реальности.

— Но нравится нам это или нет, — продолжал он, — теперь в нашей жизни будут светящиеся ящики, наполненные цветными мозаиками. И скоро люди забудут, как это произошло, как у них эти ящики появились, каково было без них. Я распоряжусь, чтобы тебе доставили телевизор.

— Лео будет рад.

* * *

Потом — гораздо позже, — когда Фредерика, чувствовавшая себя старой в тридцать лет, уди-

вилась тому, что не чувствует себя старухой в шестьдесят, она оглядывалась на это время юношеских потрясений и переворотов как на что-то очень далекое и давно завершенное, в то время как мягкие, неопределенные, полные осторожных надежд пятидесятые будто бы еще длились.

Во-первых, в историческом плане требуется всего несколько десятилетий, чтобы осознать, что поколения, которые моложе «молодых», разрастаются как грибы; что если молодые шестидесятых не помнили Войны, то после них быстро появились поколения, которые уже не помнили Вьетнама, а после них — те, что не помнили Фолклендов. Макияж, прически, головные платки, побрякушки на пальцах рук и ног стали казаться чем-то диким и одновременно старомодным, хотя поколение Лео испытывало ностальгию по «свободе», которую так часто провозглашали и воспевали, что она, должно быть, существовала во время о́но и в каком-то другом месте. А быть может, думала Фредерика, учитывая, насколько скудны ее собственные точные воспоминания о том времени, так всегда случается с воспоминаниями у тридцатилетних, невзирая на то, было тебе тридцать в 1868-м или 1968-м? Почти нет сил от устраивания не только своей жизни, поис-

ков в ней смысла, но и жизни молодых, которая зависит от твоей, уже немолодой энергии. Представление о молодости казалось плотным ковром из ассоциаций и ритмов: Т. С. Элиот, вкус первых в жизни бананов, дынь, китового мяса, омаров, экзаменационные вопросы, воссоздающиеся в совершенно не относящихся к делу деталях, мелкие унижения, ужасное, расфокусированное, неудовлетворенное сексуальное желание. Ковер пятидесятых был соткан из цветов, из тонких нитей, даром что в голове он мерцал в основном синим, или коричневато-желтым, или сизым. А шестидесятые были рыболовной сетью, сплетенной до ужаса свободно и вяло, и попадались в нее лишь редкие яркие пластиковые предметы, а все остальное прорывалось и уносилось обратно в безразличный океан.

Она вспомнила ноги Джона Оттокара. Два лица по ту сторону окна, его и Пола.

А еще она помнила первые недели цветного телевидения. Не из-за слов Уилки о нем, а из-за самого цвета. Она сидела перед телевизором на краешке матраса или смотрела лежа, свернувшись калачиком. Вот что она помнила о телевидении в шестьдесят лет:

Теннис на зеленой траве с белыми фигурами

и геометрическим абрисом корта, постоянное движение, вместившееся в геометрию ящика.

Программа, в которой камера следила за рисующей рукой, за движениями глаз по объекту, рук по бумаге, за тем, как черно-белые, казавшиеся ненастоящими края, контуры и тени вырастают из ничего, а заснятое лицо становится разложенным на элементы узором из точек.

Образовательная программа о работе с микроскопом с подготовленными слайдами с гелем аквамаринового и фиолетового цветов.

Первые цветные передачи снукера: блеск розового шара, безупречный небесный отлив синего, траектории киновари, как слоновая кость, белый биток, зеленое поле стола, расширяющее ракурс.

Фильм, снятый герпетологом на Амазонке: ему удалось при помощи цвета показать смертоносного хозяина тех краев, прячущегося в гниющих лесных зарослях, золотистую ядовитую жабу среди сверкающих капель воды на глянцевых дрожащих листьях, взмахи голубых крыльев бабочек Морфо в кронах деревьев, роение армии муравьев, безупречную маскировку пчел…

И конечно, шлейфы дыма и столбы пламени в джунглях Вьетнама.

Все это она вспоминала, когда рядом уже не

было своей одежды и мебели, написанных ею рецензий, давно съеденных обедов, питаемых некогда надежд.

Но лучше всего из того времени она помнила женщину, которая читала так легко, как летает птаха, которая учила этому вполне умеющего изъясняться восьмилетнего мальчика, взиравшего на простейшие слова так, будто перед ним полные ловушек лабиринты. Как они с Лео вот так сидели, как в детстве для самой нее слова будто вытанцовывались в смыслы, сплетаясь в геометрические фигуры, как осколки в калейдоскопе. Она помнила — как помнила вкус меда или ванили, — как споро усваивались *ча, цы, съ,* а потом были *грусть* и *груздь, съест* и *съезд,* и упоительная логика порядка, и чувство, будто все это уже знаешь и только разворачиваешь, как ковер, и танцуешь. А что происходит в голове умненького мальчика, не умеющего читать, понять ей было трудно. Что он видит или *не* видит? Какие связи не проводит? Она пыталась мыслить по аналогии: у нее, например, никогда не складывалось со счетом, точка в десятичной дроби не вставала на свое место, но стоило вместо разума включить здравый смысл, и все выходило как надо. Правда, уже во взрослой жизни. Но

воображение никак не хотело представить того, чего не мог видеть он. Помочь она не могла. В школе сказали, что скоро все выйдет само собой, но она не верила. Токи в голове замкнуло. Все получится. Неужели она не сможет — для него? Ведь она почти любого могла научить видеть в стихе то, о чем тот и не подозревал. Но увидеть то, чего не видел Лео, она не могла.

Что вы помните из 1968 года? Джунгли, снукер и недвижное светлое лицо. Хмурится, и гордые глаза наполняются слезами.

V

В конце летнего семестра Жаклин Уинуор встретилась с Лайоном Боуменом по поводу научной работы у него в лаборатории. Ему около сорока лет, яркий мужчина с шапкой глянцевых темных волос, длинными ресницами и большими карими глазами, круглыми румяными щеками и пухлыми губами, которые с полным правом можно назвать красными. Изучал зрительную зону коры больших полушарий у котят и голубей.

Жаклин сообщила, что хочет заниматься физиологией памяти. Хочет исследовать, как меняются нейроны после научения, как воспоминания хранятся в клетках. У нее даже зародилась идея эксперимента — серии экспериментов — с улитками, ведь у них гигантские нейроны, которые относительно легко препарировать и изучать. С улитками можно проделать нечто в духе Павлова: приучить к шоку (как показал Кандель на примере улитки аплизии) или привить определенные вкусовые предпочтения. Жаклин была намерена исследовать вызванные обучением пред- и постсинаптические изменения. Еще одна

задача — изучение нейротрансмиттеров и электрических сигналов.

Лайон Боумен в возможность обучить улиток не сильно верит. Нейроны, конечно, сулят множество открытий. Если она собирается измерять потенциалы действия, понадобятся сложные математические вычисления. Насколько у нее с этим хорошо? Всем своим видом он давал понять, что юная натуралистка, похоже, недооценила трудности перехода к суровой лабораторной работе.

Жаклин заявила, что об улитках знает много, разводила их и уже пыталась приучить есть и, напротив, не принимать определенную пищу. Доказательства у нее имеются: она протянула ему записи. Да, с математическим аппаратом будет непросто, но можно освоить.

— Зачем изучать память таким образом? — поинтересовался Боумен. — Ведь можно оттолкнуться от работ Джейкобсона и начать изучать память по молекулам РНК. Или, возможно, был прав Унгар, и она передается по белковым цепочкам?

Жаклин пояснила, что ее всегда интересовала идея Хебба о том, что при запоминании мозг на самом деле создает новые связи, новые упрочен-

ные соединения между получившими стимул нейронами. Он представлял мозг системой мигающих лампочек, строящих электрические связи, из-за которых вспышки становятся более четкими и продолжительными. Родилась у него эта идея в 1949 году, когда об изучении нейронов и синапсов не могло быть и речи. Но теперь это возможно и даже не так сложно. Надо проверить, был ли он прав. Растет ли мозг и формируется ли он самостоятельно. «Ну и?..»

Жаклин продолжила мысль, ссылаясь на изящные эксперименты японского нейроэтолога Хагивары и работы Дж. З. Янга о глазах и мышлении осьминога. Она описывала мир, в котором хотела оказаться, и делала это, по ее мнению, в официальной и наукообразной манере. Лайон Боумен перебирал бумаги. Увы, но у него в лаборатории никто улитками не занимается, и он назвал Сан-Диего и Плимут.

Жаклин как будто со стороны услышала свой голос:

— Может получиться интересный физиологический эксперимент — выяснить, что́ такого мы видим в глазах людей, когда понимаем, что им неинтересны. Как с фотографиями. В какой-то момент лицо мертвеет, и, если вы щелкнете сразу

же после этого, фотография будет мертвой. Понятия не имею, что это. Глаза ведь если живы, то живы по-настоящему. Как нам понять, смотрят они или не смотрят?

— Что ж, ясно. Я не смотрю на вас. Вернее, я смотрю, но не обращаю на вас внимания.

— Да. И речь именно о *моей жизни*.

— А почему ваша жизнь должна заботить меня больше, чем жизнь любого другого кандидата, скажем, более квалифицированного?

— Оснований нет. У вас. Я… я чувствую, что вы думаете, мол, занудная вечная отличница. Но нет. Я одержимая. Я много работаю. Я хочу настоящей науки. Такой, какой занимаетесь вы.

— Мой ограниченный опыт все же говорит, что одержимые женщины в коллективе не приживаются.

— Им просто не дают раскрыться. Но я прошу взять меня не потому, что я одержима. Вам просто надо *увидеть*.

— Я вас вижу. — Он рассмеялся. — И еще, мисс Уинуор. Женщины часто исчезают, не сделав и половины работы. Физиология, видите ли. Откуда мне знать, что и вы к таким не примкнете?

— Знать нельзя, но со мной этого не случится.

— У вас есть спутник жизни?

— Нет.

Почему нет, он спрашивать уже не будет. Она ждала. Между ними шла некая игра взглядами и едва заметными непроизвольными движениями и, возможно, запахами, которая никогда бы не началась, будь она мужчиной. Жаклин пыталась воспринимать свой пол — и ей удавалось — как загвоздку, препятствие, которые надо преодолеть. Вероятно, место в лаборатории для нее есть, разве что появится более подходящий кандидат и сотрет произведенное ею впечатление, сотрет воспоминания, которые так или иначе отпечатались в мягком сером веществе в голове Лайона Боумена, смотрящего на нее усмешливыми глазами.

Вовек, подумалось ей, нам не разобраться во всем, что происходит, когда два человека разговаривают друг с другом.

И каждый закладывает кирпичик в разделяющую нас стену.

Лайон Боумен предложил ей место — на осень 1968 года.

* * *

«Седар маунт»
Медицинское учреждение по уходу за

душевнобольными Калверли

От: Перта Спорли, старшего врача, психиатра

Кому: Элвету Гусаксу, сертифицированному психоаналитику

Дорогой Элвет!

Получил Ваши письма и все бумаги, касающиеся «Тигров духа», за что премного благодарен. Я был приятно удивлен сдержанностью, с которой Вы поведали мне об этих духовных треволнениях. Вы не перегибаете палку, как некоторые представители Вашей профессии в последнее время, но и не отметаете всего с порога. Я по-прежнему настроен в целом скептически к духовным путешествиям в ад (или рай), но я также не думаю, что пичкать людей таблетками, освобождая место в палате, – это выход. Отчасти проблема, с которой мы с Вами имеем дело, в том, что подлинные духовные искатели (чем бы ни был «дух») действительно имеют некоторое сходство с теми, у кого в прово́дке случилось короткое замыкание. Даже если нам не совсем ясно – а кому, спрашивается, ясно? – как правильно

определять «норму» и «безумие».

Обо всем этом я размышлял, и Ваша статья пришлась как нельзя кстати, ибо есть один пациент, беспокоящий меня и представляющий интерес для Вас. Да и «Тиграм» Вашим он придется ко двору, т. к. его состояние очевидно имеет «духовную» подоплеку.

Его зовут Агниц. Джош Агниц – так он себя именует. Ему около сорока, выговор образованного йоркширца. Внешности внушительной. Высокий, копна прямых светло-русых волос, вытянутое морщинистое лицо, большие и широко расставленные темные глаза, темные брови и ресницы. Много волос везде. Носит бороду, прямую и щетинистую, как куст. Борода не светлая, пегая. Черная, коричневая и рыжая.

О жизни почти не рассказывает, иногда говорит, что ничего не помнит или не может отличить воспоминания от обманчивых видений, насылаемых дьяволом (даже об этом говорит беззлобно и рассудительно). Работал учителем, алтарником, санитаром в больнице. Кроме

того, временами подолгу бродяжничал, подрабатывал на фермах и попрошайничал как садху с чашей для подаяний (аналогия его). В нашей лечебнице уже бывал. То лечился, то выходил: в первое его пребывание я еще здесь не работал.

У него бывают слуховые и зрительные галлюцинации. Случается, что он не может ничего делать, только лежать навзничь и беззвучно рыдать. Порой забывает есть, но ему все равно, просто не ест. При сильных галлюцинациях он стоит в углу, привалившись спиной к стене, ругается и машет руками. Или кланяется, быстро и по многу раз. Временами он настойчиво требует, чтобы на нем была широкополая непромокаемая шляпа, и угрожающе реагирует, когда у него ее отбирают. Не знаю, в чем тут дело. Она будто его успокаивает. И я прошу ему ее вернуть.

Насчет его личной жизни делать предположения трудно. Говорит, родители умерли. И он их не помнит. Иногда ловко приписывает такой провал в памяти электрошоковой терапии, и звучит это

в чем-то правдоподобно. Но почему-то я уверен, что родителей он помнит.

Спрашивал, сколько ему было, когда они умерли. Отвечает обычно, что не помнит, но как-то раз он был взволнован, смущен, бдительность его ослабла, и он выпалил: «Одиннадцать». Я уточнил, умерли ли они вместе. А он ответил – я записал слово в слово: «Нет. Совсем не вместе. Но в определенное время, один за другим». Больше я от него ничего добиться не смог. У него такая манера глядеть на собеседника, словно он предлагает на блюдечке важную *подсказку,* но вам не хватает ума ее ухватить. И это не оскорбительно. Его манера в принципе не агрессивна. Держится с достоинством.

Некоторое время он состоял в одной из моих групп. Которую я про себя прозвал «липкой». Там были одни нытики, причитальщики да упрямые молчуны. Стоило мне бросить роль ведущего, и они все занятие просто хмурились и дулись. У него не было и нет той оторванности от действительности, которая присуща классическим шизофреникам. Я сразу

заметил в нем острую наблюдательность. Часто раньше меня самого он понимал, откуда придет следующая вспышка, кто бурлит, кто расстроен. Поэтому, когда я отстранялся от дел, он все брал на себя. Хотя нет, скажу иначе. Другие передавали ему ответственность, обращались к нему. Сначала я думал, что, быть может, дело в том, что он кажется загадочным. И чистый, опрятный, в отличие от многих других. Была женщина, которую муж отколошматил до полусмерти, много плакала. Другая – грубовато-деловитая, очень приземленная – все время трунила над побитой, мол, сама напросилась. Чуть не написал: «Агниц вдруг сказал…», но на самом деле это было бы неверно. Это *она* спросила его: «А вы? Что бы вы сделали?»

И он ответил: «Не надо высокомерно воображать, будто зло – ваша вина или начинается в вас. Оно есть в мире. Оно действует. Оно добралось до вас. Уйдите с его пути. Не ищите виноватого, это не важно». И она так его благодарила, будто он подарил ей какую-то драгоценность. Можно, конечно, возразить, что идея дей-

ствующего в мире зла, за которое никто не несет ответственности, весьма опасна. А он еще и придал ей, так сказать, лоск утешения. Я, разумеется, никогда не предлагаю конкретных вариантов действий. Это в мои обязанности категорически не входит. Вот они и обращаются к нему, а он рад помочь. И справляется весьма неплохо. Но при этом как будто все равно остается в стороне. Возможно, именно поэтому все и получается. Это его роль. А моя роль отчасти в том, чтобы оспаривать его вещания, – правда, мне от этого не по себе.

Сегодня он был у меня на плановом осмотре. Говорит, что хочет выписаться, но на вопросы, куда пойдет, что будет делать, улыбается и отвечает: «Хочется сказать, что Господь направит меня, но вы сочтете это за безумие, а я действительно очень хочу отсюда уйти».

Я спросил, почему он считает, что такие слова могут быть восприняты как признак безумия. Он ответил, что святую Жанну д'Арк за то, что она видела и слышала, отправили на костер, но потом и

к святым причислили. В наше же время, заметил он с вежливым упреком, всех затыкают.

Читает Блаженного Августина и Кьеркегора. На вопрос, почему именно их, ответил, что они разбираются в зле. Я спросил, что есть зло: «Жаркое из агнца». Любит поиграть со словами, хотя едва ли он учился в частной школе. Как-то сказал, что в лечебнице превращается в моржа. Я думаю, дело тут в подкожном жире: от ларгактила пациенты поправляются. А еще эти характерные звуки (он часто рыдает).

Доктор Шрайвер в своих записях отметил, что говорит Агниц слишком пространно, а порой и вовсе несет бессмыслицу. Во время осмотра он изо всех сил старался поддерживать светскую беседу – очень хотел выписаться. Я спросил, чувствует ли он, что у него есть призвание к религиозному поприщу. Ответ был такой: «Много званых, но мало избранных. Я был презираем и отвергнут».

«Почему?» – спросил я. «Потому что я сказал им, что вижу, как кровь Христа

струится в небе»[16], – спокойно ответил он. И, довольный, добавил: «И это правда». Вновь это чувство, когда тебе на блюдечке подносят подсказку, а она ничего не дает. (Если говорить обо мне, то это чувство неполноценности только на пользу. Покуда оно уравновешивается эпизодическим самодовольством от осознания собственной пригодности.)

Я решил поговорить с ним об Августине. Сам я мало что знаю об этом старце с севера Африки, которого мы по милости блестящего Энтони Бёрджесса представляем не иначе как свирепым сторонником доктрины предопределения[17]. Агниц сказал, что он (Августин) предал своего Учителя. Иисуса? Нет, ответил он, пророка Мани, познавшего истинную природу мира. И затем уточнил: истинную природу зла. Августин предал его. Манихеи пребывали в Истине, а он отрекся от них ради молчаливо-млечного христианства

[16] Примечания: 16

Ср.: «Вон кровь Христа, смотри, струится в небе!» (Кр. Марло. Трагическая история доктора Фауста. Сц. XIII. Перев. Н. Амосовой).

[17] Примечания: 17

Имеется в виду роман Э. Бёрджесса «Вожделеющее семя» (1962).

(Млечного! Что Вы как фрейдист скажете?). Затем он произнес нечто – чего я не смог понять или записать – о том, как все это будет понято, и еще о «завете моего отца, который горит, как херувимы на небесах или бесы в аду, и который укажет путь…».

Я спросил, имеет ли он в виду своего настоящего отца. «А что значит настоящего?» – и больше ничего не сказал.

Насилие он ни к кому никогда не применял, хотя и создает *атмосферу* возможного насилия. Но ведь каждое воскресенье в храмах можно услышать слова о крови и огне. Но затыкать священников никому в голову не придет.

Я подсознательно чувствую: он *заслуживает уважения*.

Будь он среди Ваших «Тигров» – то мог бы (я, разумеется, даю волю фантазии, *но…*) узнать, *кто* или *что* с ним говорит. Пока утверждает, что никто. Он хочет вырваться отсюда и пытается выглядеть «нормальным». Но я наблюдал, как он прислушивался (не замечая, что я замечаю), и *что-то* говорило с ним – из

области воздушного пространства – на протяжении всей нашей беседы. Но ни он себя не выдавал, ни я.

Он безусловно заслуживает большего, чем койка в палате и общество приветливых и отвратительных психов.

Перечитывая все, что написал, я понимаю, что не обрисовал Вам его образ во всей полноте, хотя и старался. Вам бы познакомиться. Мне надо решить, что с ним делать дальше.

Ваш,
Понтий Спорли

От Элвета Гусакса Перту Спорли

Дорогой Перт!

Ваш Агниц – сущий кладезь. Я уверен в этом еще и потому, что Вы давно отбросили прежний сухой стиль описания пациентов. Он и правда мог бы угнездиться среди «Тигров духа» (ну и метафора, если вдуматься, – тигр вьет гнездо!). Поживем – увидим. В ответ тоже приведу описание пациента, который будоражит мой ум и, по сути, является непосредственной причиной моего участия в Собраниях «Тигров

духа». Собрания – потому что ядром стала группа квакеров, этакие отцы-основатели, и группу они назвали в характерной самоуничижительной манере, к тому же с аллюзией на гневное стихотворение квакерского поэта Кристофера Левенсона. Он вопрошает, где теперь *огонь* и где *видение,* от которых первые квакеры буквально трепетали, созерцая Свет. Вот строки из Левенсона:

Та длань, в которой и земля текла, как пламя,
А всякий куст давал ответ на Божье имя,
Найдет, что тигры духа стали вдруг ручными.

Современные квакеры – сплошь «благонравные чистоплюи», и вот каков их Бог:

Так Бог их справедлив?
Ну, только! Соцработник
Для всех, который как эрзац, бесплотный плотник:
Стыдлив для жениха и чересчур

воспитан!

Мы с Вами, мой премудрый друг, причастившиеся мудрости Ирвинга Гофмана и его идей о саморегуляции Приюта, знаем о сострадательно-крепкой хватке «соцработника для всех» (в защиту которого тем не менее есть что сказать!). И, по правде говоря, вопреки всем претензиям на духовную свирепость я нахожу основателей «Тигров духа» как раз «благонравными чистоплюями». Они, может, и хотели бы рыскать, рычать и сиять в джунглях, но по силам ли им это… С другой стороны, они притянули к себе души более необузданные и менее предсказуемые, из них – пациент, который зовет себя Заг, хотя настоящее его имя Пол. Он квакер, что называется, по рождению. Но что особенно важно, у него есть однояйцевый близнец. Заг поет в музыкальной группе, которую довольно остроумно назвал «Заг и Зигги-Зигги-Зикотики» (вторую часть иногда произносит как «сизиги»). Близнец, Джон, уважаемый математик, носит белый безликий халат

и кодирует бездушные компьютеры. Оба утверждают, что малограмотные и нечитающие, в основном потому, что в детстве выдумали только им понятный язык и общались с помощью математических символов и музыки. Они жили в Уэлуин, квакерском городе-саде, в 1950-х ходили с родителями на знаменитые марши за разоружение, пели и музицировали (Заг играет на гитаре и трубе, а Джон на кларнете). Мой пациент рассказал, что его брат начал посещать внеклассные занятия по литературе, которые вела девушка по имени то ли Фрида, то ли Франческа. По словам Зага, он хотел таким образом «выучить обычный язык» да и закрутил роман с этой Фридой или Франческой. Заг же стащил у нее экземпляр «Рождения трагедии из духа музыки». Ницше он сразу проникся и вычитал у него, что принесенный в жертву и расчлененный Дионис был известен как Загрей. Его, как известно, везде сопровождали сатиры, беснующиеся в танце изначальной недифференцированности. Отсюда – Зикотики-Зиготики-Козиготы. Неплохо для

малограмотного певуна! Он маниакально-депрессивен, сидит на наркотиках и не вполне уверен в траектории собственной сексуальности. В общем, ходячий сумбур. Он, думаю, психологически до конца не отличает себя от брата-близнеца. Чрезвычайно нарциссичен, но лицо, которое сей прекрасный юноша видит в зерцале вод, – это лицо Джона, а не его собственное. Говорит мне, что Джон – его отец и его вторая половина. Он где-то читал, что однояйцевые близнецы – форма непорочного зачатия, бесполого размножения, и убежден, что он, Заг, – «бутон», который возник на первоначальной зиготе, Джоне. Любит, к слову, вспоминать о Дионисе, рожденном из бедра Зевса. И поэтому в своих фантазиях он герой – не рожденный от женщины и т. д. и т. п., – а иногда говорит, что он – ничто, тень Джона, семя Джона, призрак Джона, эманация Джона (как и все «Тигры», он по диагонали читал Блейка, правда один из них, к которому я еще вернусь, искусствовед по имени Ричмонд Блай, специалист

настоящий)[18]. В общем, как Вы понимаете, диада «аналитик – пациент» – крайне неподходящая форма работы с таким полунормальным экземпляром. Я ему неинтересен – все просто проецируется на отсутствующего Джона. Мне было бы с руки лечить обоих близнецов, но Джон решительно против. Пол-Заг, как мне представляется, преимущественно и, кажется, бессознательно гомосексуален в своей двунарциссической манере. Джон решительно настроен быть «нормальным» (ох уж это словечко) и, как я уже упоминал, выбрал для этого Франческу или Фриду, которая, по описаниям, видится мне напыщенно-интеллектуальной верхоглядкой, с неудавшимся браком за плечами и плодом этого союза, то бишь уже готовым сыном для Джона.

Заг внешне и внутренне *очаровательнее* (использую это слово в его древнем, магическом смысле). А когда поет – обворожителен. Я видел. Он наделен силой,

[18] Примечания: 18

В мистико-философском учении поэта и художника Уильяма Блейка *эманация* (изначально термин неоплатоников) означает грехопадение, переход человека из первозданного в недолжное состояние.

когда поет. С тех пор как он открыл для себя Загрея, поет в обрывках леопардовой шкуры и увешанный золотыми и серебряными змееподобными побрякушками. Его последователи разбрасывают по сцене куски окровавленной плоти (потроха и пр.). Вне сцены он человек-сумбур, распадающееся эго, подвержен истерикам, плачет и впадает в отчаянную недвижность, длящуюся дни, а то и недели. Без Джона он опасен: «Он – земля, я – молния». (И тут, разумеется, есть двусмысленность. Он хочет *ударить* Джона. Или даже проникнуть в него.) Возможно, если бы я лечил обоих близнецов, то понял бы замкнутость и отстранение Джона как необходимую защиту, но, с точки зрения пребывающего в агонии Зага (я, увы, наметил ее лишь пунктирно), поведение Джона чудовищно в своей разрушительности.

Именно Заг предложил мне приходить на встречи «Тигров», чтобы «познакомиться» с Джоном, которого он уговаривает (под угрозой шантажа) посещать собрания. Мне приходится действовать

очень осторожно, и пока мне не удалось разрушить защиту Джона и заглянуть внутрь. Порой мне кажется (знаю, это профессиональный азарт), что «здравомыслящий» близнец на самом деле более неустойчив (безумен). Я знаю, что Заг причиняет ему страдания. Но он не желает от меня помощи.

В эти выходные очередное собрание «Тигров». Встречаются в Четырех Пенни – бедфордширском фермерском доме (хотя самой фермы нет), принадлежащем Фрэнку и Милли Фишер, двоим из основателей. Недавно «Тигры» установили связь с гораздо более сомнительной организацией, «Радостные спутники» (внутреннее подразделение организации под названием «Чада Радости», которой руководит харизматичный священнослужитель Гидеон Фаррар). Это все равно что наблюдать за двумя амебами, вытягивающими свои псевдоподии, чтобы проглотить друг друга. Таково наше время: заново раскрывается потребность в общинном сознании, в разрыве границ между «я» и «ты», которая, впрочем (как и все прими-

тивные религии, и в нашем случае имеем нечто подобное), принимает причудливые формы. Я среди них и одновременно наблюдаю со стороны – думаю, Вы представляете. После этих выходных я сообщу свое мнение по поводу того, станет ли новое брачное ложе семенным ложем для души Вашего Агница. Заг *принудил* Джона прийти. Может ли человек с острым глазом на гладиаторские бои увидеть и понять истину духовного пробуждения, происходящего здесь и сейчас? Может, но, если Вы больше ничего от меня не услышите, считайте, что я в наказание онемел и ослеп. Откуда храбрость так шутить? Мне не по себе. Вы подписались Понтием. Но я не Каиафа от психоанализа и не заблудший Савл. Не будем ортодоксами. Откроемся новой мудрости. Впрочем, об этом в следующем послании.

Ваш брат,
Элвет Гусакс

Ну что ж, Перт, вот и обещанный отчет о выходных с «Тиграми». Некоторые моменты показались мне, как сейчас

выражаются, «стремными» (надеюсь, употребил это слово правильно, с остальными будет проще). Я постараюсь описать все как случай из врачебной практики. Вы знаете мою глубокую неприязнь к мнимой «объективности» и терапевтическим претензиям на непредвзятость, которые всегда оказываются липовыми. Но Вам едва ли интересны крик и скрежет души доктора Элвета Гусакса. Я-то вас, угрюмых ворчунов, знаю – рисуете ужастики, но всегда на белой почтовой бумаге.

Итак, действующие лица. Фрэнк и Милли Фишер, квакеры по рождению, обеспеченные люди, чуть-чуть за пятьдесят, ветераны квакерских дружин скорой помощи и маршей за разоружение. Он – банковский служащий, она – заместитель директора школы. В общем, живут и работают. Имеются два более типичных тигра-квакера: дама бальзаковского возраста (девица? Точно не знаю) по имени Пейшенс Куп и молодой человек Бринсли Ладд, что-то вроде социального работника. У всех одинаковые симптомы. С одной

стороны, глубокая *неудовлетворенность*: грезят революцией, восстают против ласкового благоразумия и доброхотства. Им трудно, ведь сами все очень ласковые, благоразумные и доброжелательные. Врожденное это или приобретенное, не важно – они такие, какие есть, я не думаю, что это маска. И поэтому неудовлетворенность так обнажена. Вы скажете – во всяком случае, большинство «Тигров» скажет, – что ласковое благоразумие и доброжелательность всегда подозрительны. Я отвечу: будьте осторожны. Иногда все это искренне, или почти искренне, или отчасти искренне.

Далее следует контингент из Англиканской церкви («Тигры» – экуменисты). Постоянный участник – каноник Адальберт Холли. Проповедует смерть Бога, *Deus Absconditus*[19], и невозможность Церкви в нынешнем ее виде. Автор книг «В Боге без Бога» и «Наши страсти – Страсти Христовы». Описывает себя как «ди-

[19] Примечания: 19

Сокрытый Бог (*лат.*). Отсылка к Книге Исайи (45: 15). Мартин Лютер использовал это словосочетание, говоря о том, что Бог сокрыт от нашего разума и может явиться только в откровении.

пломированного терапевта-сексолога». Где учился, неясно. Ему лет пятьдесят девять. Легко и сильно возбуждается, зубы курильщика, растрепанные волосы, брызжет слюной. Затем – Гидеон Фаррар, о котором я уже говорил, создатель Чад Радости и их внутреннего святилища, «Радостных спутников». Желтоватая борода лопатой, голубые глаза, харизма честного человека, добродушен почти до отвращения (позже объясню выбор слова, а пока примите это за реакцию не чуждого тактичности, но не наделенного ангельским терпением Элвета Гусакса и строго не судите).

Фаррар приводит с собой терпеливую, приятную супругу Клеменси и прислужницу по имени Руфь, тревожно-послушную молодую особу (бывшую медсестру). Славное, спокойное лицо. По спине вьется длинная золотая коса. Ее воля покорна Божьей (или Гидеона). О собственном мнении не может быть и речи.

Священнослужитель под номером три, на этот раз с большой черной бородой и в черном свитере, грузный мужчина по

имени Дэниел Ортон. Оператор телефона доверия в Сити (работает вместе с каноником Холли).

Искусствовед Ричмонд Блай, специалист по пророческим книгам Блейка. Доведен до ужаса, трепета и душевных терзаний студенческой революцией в Художественном училище Сэмюэла Палмера.

Моя пациентка по имени Элли (назвала себя в честь мертвой девочки из «Детей воды»[20]), всегда во всем белом, включая вуаль в стиле сестер милосердия и перевязанные руки и ноги.

Далее, близнецы, о которых я говорил. Квакеры всегда умели привечать психически ненормальных людей и относиться к ним с добротой и уважением. Вспомните, как гуманно они отнеслись к матереубийце Мэри Лэм во времена ро-

[20] Примечания: 20

Сказка английского писателя Чарльза Кингсли. Впервые опубликована в 1863 г. Помимо прочего, является сатирическим откликом на «Происхождение видов» Ч. Дарвина.

мантизма[21]. И к Элли они добры. Тушат разжигаемые Загом костры, когда он не видит, и ничего ему не говорят. Возможно, он хотел бы другого, но они реагируют именно так.

Никого не забыл? Да, как всегда, упустил легко упустимую Бренду Пинчер. Появилась вместе с командой Фаррара, но не думаю, что она из Чад Радости. Невысокая, смуглая, лицо незапоминающееся. Чем занимается, не знаю.

В какой-то момент вдруг понимаешь, что все эти бунтари духа и искатели головокружительных (и душекружительных) ощущений – люди профессий, связанных с заботой о других. Порой мне кажется, что весь мир человеческий – огромное скопление заботливых, заботящихся о других заботливых, пробирающихся сквозь гущу капиталистов, эксплуататоров и угнетателей, которых мы не видим и автоматически ненавидим, – еще один ВИД!

---

[21] Примечания: 21

Мэри Лэм (1764–1847) — сестра поэта и литературного критика Чарльза Лэма. Страдала от психического расстройства. Зарезала собственную мать. Потом жила в лечебницах для душевнобольных.

У наших встреч по выходным есть определенный распорядок, от которого мы время от времени отклоняемся. Я не против установленных форм: верю в строго оговоренный и неизменный психоаналитический час, спланированный и оплаченный. Фрейд показал, зачем это надо. Однако некоторые из «Тигров» считают саму идею структуры нелепой, ведь речь о буйствах духа! Почему только выходные? Почему по каким-то правилам?

Начинается все с ритуала поклонения и им же заканчивается. Сидим в медитативной тишине, а те, к кому взывает Дух (или эго, или Ид?), излагают свое послание, которое затем принимается группой и вплетается во всеобщее безмолвие. Я предложил третью такую паузу, своего рода интерлюдию. Безмолвие, гул единения мне нравятся. Есть надежда, что за выходные члены группы что-то глубже поймут, что-то новое осознают и, так сказать, запоют новые песни.

Существуют и другие виды сеансов. Основные – это сеансы решения вопросов (порой напоминающие самоотчеты в духе

заповедей Мао): «маленькие» трудности выносятся на всеобщее рассмотрение и проясняются. Сразу видны суть подобных действ и все подводные ляписы и ляпсусы. Пример. Холли курит чрезвычайно едкие желтые сигареты. Милли Фишер считает, что на собраниях этого делать не следует. Он же ответил, что, когда под рукой нет сигарет, он только о них и думает. Она же астматик и не может думать ни о чем, кроме своих легких. И вот оба решили пойти на жертвы и в чем-то друг другу уступили. Я при них трубку не курю и молчу о ней. Оцените, какая жертва! Впрочем, кичиться жертвенностью не стоит (слишком уж это по-квакерски).

Третий вид групповых встреч мы решили назвать «игровыми». Устраиваем нечто вроде духовных салонных игр, в основном придуманных Фарраром, который в этом преуспел. Идея в том, чтобы стать ближе друг к другу, а заодно вытряхнуть из себя рутинные способы ви'дения мира. Заг предлагает подкрепить все это ЛСД, но квакеры против. Думаю, Фаррар хотел бы, чтобы собрания

в игровой форме проходили более страстно. Его Чада, как известно, практикуют панибратски-слащавое христианство с прикосновениями и объятиями. Он разработал особого рода обряд приветствия: каждый должен обнять каждого и тем самым разрушить барьеры. Странно, что англичане, как ни один народ, так избегают телесных контактов. Я восхищался техникой Фаррара: добродушные хлопки по спине для мужчин, нежно-оберегающие объятия для женщин. Он безмерно самовлюблен и невероятно общителен. Я поприветствовал всех и пережил всю палитру ощущений: неприятный запах изо рта Холли, сдержанные объятия квакеров, хихиканье Блая и его уклончивый извив (телом он владеет не очень хорошо), энергичное рукопожатие Б. Пинчер (которая, похоже, сути таких приветствий не поняла), нежный поцелуй в щеку от Руфи, оторопь Элли, пощечину от Зага и недвусмысленное поспешное отстранение его брата. Упитанный Дэниел, от которого ждешь медвежьих объятий, возложил мне на плечи руки короткие

и легкие. В конце нужно было все повторить и посмотреть, расслабились ли мы (или напряглись, что теоретически также вероятно).

Еще одно игровое упражнение – элементарный эксперимент по осознанной передаче мыслей. Мы выбирали «индукторов», которые записывали или зарисовывали свое послание, а остальные медитировали и пытались воспринять образ. Я отметил, что в науке нечто подобное уже используется. Меня мягко отчитали. Результаты оказались неоднозначными. Холли удалось «передать» горящий куст двум квакерам, Загу, Руфи и Ричмонду Блаю (в последнем случае очень сомневаюсь).

Следующее игровое упражнение – рисование «духовных образов» самих себя. Джону не удалось скрыть, что они с Загом нарисовали одинаковые геометрические узоры: очень сложные ряды многогранников внутри других многогранников. По словам Джона, в эту игру они часто играли в детстве. Он также сказал, что, как это ни удивительно, Бога можно «увидеть» в

математике. «Бог – это математика, форма, которая есть во всем».

Заг добавил, что многогранники – это «все, что соприкасается, все точки соприкосновения, бесконечное соприкосновение». Джону такое объяснение не понравилось. Бросил, что, мол, в том, что они оба нарисовали один и тот же узор, нет ничего удивительного. «Мы много его рисовали». Заг вставил: «Раньше мы вместе рисовали всевозможные формы и фигуры. В этот раз получилась Сложная». «И что? – отозвался Джон. – Мы можем оба сделать выбор в пользу сложности. Не надо делать из статистически вероятного совпадения нечто сверхъестественное». Заг: «Есть сотни других фигур. Но я чувствовал, что в этот раз будет Сложная». Джон: «Ты пытался угадать, что нарисую я. Так что ничего удивительного».

Дэниел Ортон нарисовал дерево без листьев с уходящими глубоко корнями. Гидеон нарисовал ангела с огненным мечом. Холли – крест с черным отверстием в форме человека. Элли изобразила крохотную окружность. Мисс Пинчер

сделала милый ученический набросок трех яблок, заштрихованных так, что создавалось впечатление трехмерности.

Слышу Ваш вопрос: а Элвет Гусакс? Я, разумеется, нарисовал свою трубку. Вместе с моей же версией трубки Ван Гога (той, что потухла и лежит рядом с луковицей). Написал под ней: *Ceci n'est pas une pipe*[22]. *Ceci n'est pas* Элвет Гусакс. Фаррар тут же возразил: слова тут не годятся. Я посетовал, что правила игры запрещают балагурить. Ричмонд Блай (который нарисовал грустную овцу, разумея, как мне кажется, Блейкова агнца) сказал, что если Уильям Блейк мог соединить образ и слово в одной картине, если мог Магритт, то может и Элвет Гусакс.

В этой группе удивительное разнообразие естественных вожаков, которые меняются ролями. Фишеры обладают тихим авторитетом – это их дом и их идея, – от которого они, впрочем, открещиваются. Фаррар – прирожденный лидер, но его потребность руководить очень вульгар-

[22] Примечания: 22

Буквально с французского: «Это не трубка». Аллюзия на картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

на. Впрочем, последователи от него без ума и греются в тепле его лучей (а он – в их). Холли не возражает. Он одиночка, и ему это по нраву. Он, так сказать, получает удовольствие от теоретических рассуждений о поведении других. Моя Элли и фарраровская Руфь спешат отказаться от своих «я» ради других. Руфь по натуре прислуга. Ричмонд Блай хотел бы быть вожаком, но знает, что ему это не удастся, поэтому следует за другими. В любом случае ему нужно быть частью чего-то большего. Петь ту же песню, что и остальные.

Харизмы у Зага больше, чем у остальных, вместе взятых, но отблеском колеблемой альфоли[23] он становится, только когда просят спеть. И вот перед нами заклинатель змей. Он кричит: «Причаститесь моей страсти!» Гидеон Фаррар отзывается: «Я дам тебе то, что ты хочешь» (имея в виду себя). Отдам должное «Тиграм»: этих двоих они сдерживают.

Таковы вожаки, а еще есть наблюдате-

[23] Примечания: 23

Аллюзия на строку из знаменитого венка сонетов Джерарда Мэнли Хопкинса «Величие Бога» (1877).

ли. Элвет Гусакс, психоаналитик. Всегда на шаг в стороне от арены, вдумывается в смысл чужих высказываний, прикидывает варианты перевода. Обученный, помоги ему Бог (!), подозрительности и скепсису с тяжелой поры студенчества и с сухой иронией наблюдающий за собственными неуверенными потугами. Дэниел Ортон тоже наблюдатель. Похоже, он наблюдает не по правилам и не с какой-то очевидной целью. Есть ли у него глубокая, тихая вера, или он священник без Бога, как его коллега? О себе рассказывает мало. Я спросил, женат ли он, и получил ответ: «Жена умерла в 1959 году». Конец разговора, конец темы. Конец ему – вот что он хотел сказать. Решителен в мытье посуды, наведении порядка, прекращении криков. Видит незримую ограду Элли и держится в стороне. Она это замечает. Мисс Б. Пинчер тоже наблюдательница, как мне кажется. Она выглядит так чертовски обыденно, будто это замаскированный посланец с другой планеты.

Последняя встреча была «воодушевля-

ющей». Такого рода механизмы, если их правильно настроить, звучат как стихи или как оркестр. Сначала берет ноту один, потом другой, и следует развитие. Квакеры начали – они, как правило, слышат призыв свыше – с библейских цитат: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа»[24]. Надо отказаться от собственной воли и плыть по течению – таково послание. Заг вдруг завел красивую песенку – мелодичную, в минорной тональности. Даже Элли высказалась. Вставать не стала, но опустила голову, подперла ее перебинтованными руками и произнесла: «Должно где-то быть безопасное место, где бы мы не боялись слушать». Взял ли слово я? Нет. Предпочитаю не выступать. Но в тишине я расслышал смутный шелест. После этого все были торжественны, будто омыты дождем. Согласились, что надо стараться это безопасное место для Элли создать. Фишеры хотят орга-

[24] Примечания: 24
Ин. 3: 8.

низовать терапевтическое общество, подобное Филадельфийской ассоциации Рональда Лэнга[25], но несколько иное. Сказали, что Лэнгом восхищаются, но не до конца уверены в практической применимости его идей (снова прозвучало слово «стремный», хотя едва ли его произнесли они. Тогда кто?). Их общество будет открыто для всех, но ядро будет состоять из тех, кто заботится и о ком заботятся. Никаких «пациентов». Никаких «врачей».

Фаррар поинтересовался, а чем в качестве такого общества не годятся «Радостные спутники». Ответить никто не смог, а мне кажется, что не доверяют лично ему. И собрание обратилось ко мне, мол, моя проницательность, мудрость нужны не менее, чем мудрость церковных пастырей. Неожиданно я оказался в центре внимания. Я сказал, что подумаю. Бог знает, Перт (Бог!!!) (мы пишем «Бог», когда меньше всего в Него верим. Богословы по складу, конечно, используют этот непро-

[25] Примечания: 25

Рональд Дэвид Лэйнг (вар.: Лэнг; 1927–1989) — известный шотландский психиатр, носитель левых взглядов, «кислотный марксист».

извольный культурный рефлекс как свидетельство Его неизбывности). Ладно, *видит Бог,* не по мне эти фарраровские вась-вась и два похлопа, три потрепа. Интересно, можно ли использовать его энергию иначе, например заземляя электричество? Какими мы хотим видеть людей? Любимый каноником Холли Юнг мечтал о мандалах, поклонении солнцу и здоровом арийском духе в арийских телах. Но наш изысканно-приземленный Фрейд – плоть плоти довоенной буржуазной Вены, мрачной и сырой, с антимакассарами и сюртуками-тройками, совсем как наша гостиная в Стокпорте (Вы знали, что я вырос в Стокпорте?). Нет, я не воздвигаю памятника «нормальной буржуазии». А что? Если подобное общество – с одним или двумя психиатрами и несколькими здравомыслящими квакерами – создавать, то и получится приют для таких людей, как Элли и Ваш Агниц.

Юный Ладд опросил всех «Тигров» на предмет свободного времени для новой идеи. Джон Оттокар отказался. Некогда. А потом добавил: «И я, возможно, уеду. То

есть я уезжаю». Я услышал об этом впервые, и, как оказалось, впервые об этом услышал и Заг.

Другой неочевидной кандидатурой на роль теневого вожака, по моему расчету, был надежный Дэниел Ортон. Много опыта за плечами и здравого смысла. Но он лишь произнес: – «Нет». Холли заметил: «А что, Дэниел? Кажется, что это как раз для тебя». «Нет», – отозвался Ортон.

Когда он уходил, я поймал его в прихожей и попытался узнать почему. По взгляду его я бы сказал, что он раздражен, – не знаю, как еще толковать.

«Я, мистер Гусакс, не общественное животное. Я знаю только себя».

«Но вы часть группы…»

«Именно поэтому и знаю».

В этот момент позади нас раздались крики, промчался Джон Оттокар и бросился к мотоциклу, на котором, должно быть, приехал. Я спросил Зага, что случилось. «Он дерьмо, превращает себя в полное дерьмо». Я слишком устал, чтобы анализировать избранную им метафору (если только то была метафора). Что ж, я занял и так слишком много Вашего времени. Читайте мое послание в удобном для Вас темпе. И да будет этот глупый совет его последним предложением.

Ваш вовеки,
Элвет Гусакс

* * *

Исследователи улиток разошлись треугольником. Подняв голову, Маркус заметил, что на мгновение треугольник стал равносторонним, а затем Жаклин отошла, разрушая стройность фигуры, и потянула за собой обе невидимые линии, обратив их в точку.

Все трое, разместившись на не слишком отдаленном расстоянии друг от друга, заняты математическими расчетами. Все трое думают

о порядке (и беспорядке) в категориях математики.

Маркус, единственный из них с подлинно математическим складом ума, взял в руки пустую раковину *Cepea nemoralis,* точно очерченную спираль шоколадного цвета на мерцающем ороговевшем золоте, и снова задумался над тем, как природные модели роста выстраиваются по спирали Фибоначчи. Раковины улиток, рога баранов, паутины, ветки деревьев и сучья на ветках, семечки подсолнухов. Возьмите число, прибавьте его к предшествующему, прибавьте полученное число к предшествующему: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Растет не плавно, а скачками. Кеплер заметил, что отношение этих чисел друг к другу становится все ближе и ближе к пропорции золотого сечения. И число 0,618034 — будто мистическая постоянная в геометрии жизни. Маркус обсуждал с Луком, математиком-дилетантом, но изобретательным натуралистом, возможность разработки математической динамики приращения раковины улитки. Та, что была у него в руках, как и все остальные, казалось, выстроена на платоновском острове порядка вещей, стеклянной паутине материи.

Жаклин — та была в самом начале пути. Она

пыталась освоить дифференциальные уравнения, необходимые, чтобы составить схему и измерить потенциал действия симметричных гигантских клеток на вентральной поверхности мозга улитки. Надо вставить микропипетки в подготовленные клетки, ввести хлорид калия и пропустить через них электричество. Возникли трудности с плотными слоями соединительной ткани вокруг клеток, которые непросто размягчить ферментами и препарировать вручную. Электроды с трудом вставлялись и закреплялись. Приходилось заново отлаживать химию и механику, а потом еще раз. Работа превратилась в череду неудач и сумятиц, а красота и порядок нервной системы оборачивались вяловатым месивом. Имелись проблемы с осциллографом и изготовлением зажима напряжения для сложных измерений. Где-то в надрезе, очистке и растягивании краев пряталась, быть может, разгадка тайны биохимической природы научения и памяти. Улитка знала, как двигаться, выбирать пищу и избегать ее, спариваться, впадать в спячку. Нейроны содержали схему этих процессов познания и обучения. Здесь, на пустоши, в ее воображении возникала призрачная картина рассечения. Улитки на стене скользили у нее

перед глазами на сужающихся и расширяющихся подошвах, открывали нежные причудливые рты, вытягивали блестящие рожки.

Луку Люсгору-Павлинсу досталась математика попроще. Банальная арифметика: шесть розовых, двенадцать широкополосых, две белые, одна желтая — статистика, имеющая смысл или, быть может, бессмысленная — очередная прибавка к числам ученых времен короля Эдварда и королевы Виктории. Изящной идее о том, что улитки носят генетический код в завитушках и окраске раковин, приобретшая случайную метафорическую элегантность с открытием спиралевидной природы ДНК, вскоре предстояло отправиться в архив к другим, в свое время казавшимся гениальными идеям. После открытия электрофореза — плоть улиток (как и любая плоть) измельчалась и размалывалась, а затем для изучения помещалась в крахмальный гель под действием электрического тока — были упразднены все непосредственные наблюдения, записи и догадки. Лук это знал. Он уже использовал электрофорез для изучения улиток, слизней и других существ. Но этому методу не заменить точного наблюдения за тем, что существа делают, как они связаны друг с другом в живой природе.

Он оценивал мир из равновесия собственного тела — существо меж существ, здесь, среди вереска, жесткой травы и колючих деревьев. Ощущал резкий запах торфа, свежую землю у хода в нору, оголенные корни, ободранные — кем? Все было в движении: овцы на горизонте, длинный, стройный темно-коралловый червь, бьющий среди камышей родник, мох, улитки и оставляемый ими след; великолепный золотистый слизень.

Заметил он и движение человеческого треугольника. Чувствовал, не глядя на Жаклин, как она деловито продвигается вперед. Спрашивал себя, как ему это удается, и улавливал электрический шорох сексуального интереса, не сразу различимый в привычном для натуралиста внимании ко всякому движению. Сам он по природе тень. А Маркус: действует ли близость ее тела так же, как на него, Лука? Ощущает ли эти токи он? Вряд ли. В Маркусе заряда не было.

Навстречу им, со стороны нового курятника-батареи Ганнера Нигби, расположенного на лужайке у воды, повизгивая и поскуливая, трусила овчарка. Это была Ширли. Она подбежала и засуетилась у ног Жаклин, фыркая и покусывая ее за икры. Жаклин поискала глазами Тобиаса, барашка, который считал себя собакой. Он трусил

к ним по овечьей тропе. Жаклин свистнула: он ей нравился и она одобряла его сомнительную, но твердую убежденность. Он приблизился, будто немного усталый. Жаклин погладила его: рука вся в крови. Кровь сочилась между обломанных рогов, рана была свежая. Шерсть тоже оказалась бурой и липкой. Очень много крови. Жаклин встала на колени и запустила руку в шерсть. Рана на голове оказалась неглубокой. Кровь же на боках и сзади вовсе была не его.

Жаклин позвала. Лук подошел, посмотрел на дрожащее животное. Возможно, предложила Жаклин, им стоит отвезти его обратно в Дан-Вейл-Холл на машине. Лук колебался. Может быть, заглянуть в курятник? Ширли, казалось, подталкивала именно в этом направлении, брыкалась и скулила. На ее серебристо-белом загривке тоже виднелась кровь, но она могла быть и от Тобиаса. За машиной Лука они решили не возвращаться. Пошли в сторону курятника по овечьей тропе, вместе с собакой и барашком. Светлело утро. На подъеме, за зарослями колючек, стояла большая уродливая батарея из гофролистов. Двинулись дальше.

Перед постройкой Люси Нигби собирала яйца. Содержимое корзины теперь валялось на земле.

Вокруг нее были и целые, и месиво из желтка, белка и скорлупы. Она стояла на коленях на бетоне, лицо было закрыто волосами. Приблизившись, они увидели, что волосы у нее залиты кровью и забрызганы желтком. Она смотрела в пустоту, один глаз был неразличим за огромным вздувшимся синяком, из носа на рубашку и бриджи капала кровь. Щеки были красные от ударов и опухшие. Движения нервно-резкие. Не могла отличить пустую скорлупу от скользких, грязных целых яиц.

Жаклин бросилась к ней, обхватила и попыталась остановить.

— Что случилось? Люси, что случилось? Что с вами?

Из здания послышался голос:

— С ней еще ничего. Быстрей сюда, у меня кровь ручьем. Тупая корова решила меня прикончить.

Лук подошел к двери. Куры сидели рядками и тревожно кудахтали, гремели клетки. Пахло куриным пометом и перьями. Темнота. За дверью, скрючившись и поджав одну ногу, сидел Ганнер Нигби. Он был весь в крови. Руки, лицо, рубаха. Лук прикоснулся к штанам: они были насквозь ею пропитаны.

— Набросилась на меня, — сказал Луку Ган-

нер. — С совком. А совок-то добрый. Из нержавейки. Чертовски острый. Ткнула в ногу, в ребро. Ну и дам я ей. Звоните врачу. Давайте шевелитесь, а не то помру.

— Чем вы так ее довели?

— Острым совком уж точно не резал. Хоть бы помогла, сука драная.

Помог Лук. Он стянул с Ганнера изгвазданные штаны, сорвал рубаху и жилет, сделал тугую повязку и перетянул в области паха. Заметил и глубокую треугольную рану слева на груди. Из мешков соорудил подушку и вернулся к Жаклин, слыша за спиной хриплую брань.

На Люси было больно смотреть. Она все время всхлипывала — тяжело, но методично, как метроном. От сбора яиц отговорить не удалось. В ответ на вопросы она едва слышно мычала. Лук вызвался отвезти Ганнера и Люси к врачу на машине, но она яростно замотала головой и оттолкнула его окровавленными пальцами. Жаклин предложила доехать на машине до Дан-Вейл-Холла и вызвать «скорую». С Ганнером кто-то должен остаться. Она взглянула на Маркуса. Лук уже бежал к дороге. Крепкий, подтянутый, он бегал быстро. Люси застонала и покачнулась. Жаклин попросила Маркуса посидеть с Ганнером, пока не

придет помощь. Следить за повязкой.

Маркус молчал. Лицо побелело, плечи ссутулились. Он открыл пересохший рот и тут же закрыл. Люси подняла целое яйцо, но уронила. От этого звука Маркус вздрогнул.

— Не вздумай упасть в обморок. Нас всего трое, мы все сейчас нужны. Ганнер тебе ничего не сделает.

— Нет, — с трудом выдавил Маркус.

— Или тебе лучше поехать с Люси и Луком?

Она была растеряна. В доме пользы от нее будет явно больше. Жаклин знала, что Маркус Ганнера не боялся. Боялся он, что состояние Ганнера ухудшится или он умрет, а он не будет знать, что делать. Она и сама толком не знала, что делать, хотя в бытность девочкой-скаутом училась оказывать первую помощь и даже получала за это награды. Жаклин вообще умела все, что полагалось уметь хорошим девочкам. Очки у Маркуса запотели. Она обняла его:

— Пойдешь с Люси. Позаботься о ней. С Ганнером останусь я.

Лук уже возвращался. Маркус, пытаясь побороть дрожь, протянул руку Люси.

— Пойдемте с нами, — сказал он.

Люси покачнулась. Маркус терпеть не мог при-

касаться к людям. Он взял ее за окровавленные, липкие руки. Своих не чувствовал. Схватил ее, она уже почти в беспамятстве ухватилась за него. Поднял ее на ноги — она была невысокой и легкой как перышко — и почти понес к машине. Первое прикосновение было самым страшным. Он оказался сопричастен тому миру крови, серы и грязи, в котором пребывала она. Взял за руку. Она свою не отняла, хотя и вздрогнула. Лук их увез.

Жаклин вернулась к Ганнеру, полусонному и раздражительному. Сказал, что не надо было уезжать без него, он может умереть. Кажется, он в это не верит, хотя и считает, что может оказаться прав. Она нажала на тугую повязку, чтобы остановить кровотечение.

— В тюрьму ее надо. Она детей покалечила.

— Покалечила? Как?

— Избила. Они пытались мне помочь. Отобрать грабли. Она ведь бросилась на меня с граблями. А потом и им досталось. Хотела добить меня. Прикончить. Граблями этими. Запереть ее надо.

— Чем вы ее так достали, Ганнер?

— Я же сказал. Не видно, что ли? Это она меня. Не я ее поранил. Ни граблями. Ни совком. Яснее ясного, кто на кого напал, черт побери. Она покалечила детей. Какая из нее… — Он уже бормотал

себе под нос. — Я ее просто отчитал.

Голос затих. Подбородок опустился. Жаклин пощупала пульс — слабый. Кровь тихо перекачивалась, ходила по телу и выходила из него.

Лук въехал во двор Дан-Вейл-Холла. Двор был окружен хозяйственными постройками из мрачного серого камня — настоящая крепость. Дом XVII века с современными пристроями, доильные сараи, кладовые и старая маслобойня с шиферной крышей. Дверь черного хода была открыта. В доме тихо. Люси издала легкий стон и съежилась. Маркус, борясь с собой, полуобнял ее. Она фыркнула и отпрянула.

— Пока не выходите, — сказал Лук.

У него было дурное предчувствие насчет того, что скрывается за этой незапертой дверью. Он выбрался из машины и вошел внутрь.

Он споткнулся на ступеньках, исхоженных и выщербленных. Задняя дверь вела прямо на кухню с маленькими глубокими окнами, тяжелыми балками и побеленными стенами, сейчас забрызганными и измазанными пятнами крови. Лук принюхался: запах насилия. Тишина. Собственными ребрами он чувствовал, что где-то в доме кто-то дышит, превозмогая боль. Сквозь неровные оконные стекла пробивался серый свет.

Ступая по-воровски мягко, он пересек кухню и оказался в длинном, вымощенном камнем коридоре. На камнях блестели кровавые брызги, еще влажные в центре и запекшиеся по краям. Камни вытоптаны многими поколениями предыдущих хозяев. Лук легко переступил порог, отделявший помещения для прислуги от коридора, и оказался в квадратной прихожей высотой в два этажа, также вымощенной серым камнем, но освещенной витражами, которые располагались рядом и над низкой тяжелой дверью, так что среди пятен крови проступали лужицы фиолетового, янтарного и зеленого света. Прислушался. Теперь дыхание он слышал. И ощущал телесное присутствие.

Широкая лестница с невысокими ступенями вела на площадку с перилами. Наверху Лук обнаружил всех троих детей — Карлу, Эллис и Энни. На них были пижамы из искусственного трикотажа с рисунком в виде белых барашков и белых маргариток на небесно-голубом фоне. Все были перепачканы кровью, а у самой маленькой, Энни, кровь пропитала всю одежду. Карла и Эллис сидели спиной к обшитой панелями стене. Карле было восемь, Эллис — пять. Обе, как и Ганнер, белокурые. Энни лежала у них на коленях, вместо лица кровавая маска. Светлые волосы в красных

пятнах, ноготки потемнели от крови. Все трое тяжело дышали. Карла и Эллис уставились на Лука потрясенными, пустыми голубыми глазами. Карла ручонкой сжимала плечо Энни: пальцы побелели от напряжения. Лук спросил, где телефон. Они смотрели на него, дрожали, не отвечали. Он нагнулся и прислушался к их дыханию, сбежал вниз по лестнице и нашел нечто вроде кабинета: кресло опрокинуто, трубка телефона снята, гудки. Набрал 999, номер службы спасения, и объяснил, где находится он, где дети, где Ганнер. Вернулся к детям, снова прислушался к их дыханию: у Энни оно было учащенным и слабым. Нашел в спальне одеяла и накинул им на дрожащие плечи. Подумал, не выйти ли к Маркусу и Люси, но решил, что не надо. Присел рядом с детьми: у Карлы и Эллис поранена кожа на голове, у Энни, кажется, что-то посерьезнее.

Лук уставился на витраж. В левом окне был изображен человек с мечом в темной долине между остроконечными пиками. С темного неба на него спускался саблезубый демон, рогатый, когтистый, с копытами и кожистыми крыльями. Справа, под голубым небом, человек в шлеме, похожем на увеличенную раковину улитки, плыл по сине-фиолетовой реке к золотой стене замка,

из щелей которой немного неуклюже торчали несколько длинных труб из золотой бронзы. Над дверью висели четыре круглых светильника, расположенные в виде четырехлистного клевера и изображающих времена года. По зеленой лужайке скакал ягненок. Полосатая пчела летела от подсолнуха к шестиугольным сотам на синевато-сером фоне. На густо-золотом фоне красовался спиралевидный початок кукурузы. Стоял падуб в снегу, с багряными ягодками и изумрудными листьями, а рядом горел костер, алые языки пламени вздымаются вверх шпилем.

До него донеслись сирены и гудки подъехавших машин: полиция и «скорая помощь». Вошли в дом, собрали детей и увезли обмыть, зашить, осмотреть изнутри и снаружи. Забрали из детской окровавленные грабли, а из курятника — окровавленный совок. Ганнера унесли на носилках, тут же покрывшихся алыми пятнами. Увезли и Люси, всклокоченную и сжавшую губы. Обошли всю ферму, измеряя, записывая, фиксируя пятна крови, поломки. Опросили Лука, Жаклин и Маркуса: в будущей истории о произошедшем найдется место и их хладнокровию, и их потрясению.

Наконец можно и выдохнуть, подумал Лук, и

теперь-то уж с насилием покончено. Увы. То была лишь передышка. Главному только предстояло произойти.

* * *

Человек, которого звали Джош Агниц, был одним из немногих обитателей лечебницы «Седар маунт», кто читал местные газеты, которые приносили в Комнату общения. Он сидел в скользком коричневатом кресле и читал в «Калверли пост» рассказ о событиях в Дан-Вейл-Холле. В газете сообщалось, что на семью было совершено жестокое нападение. Мистер Нигби и трое детей получили серьезные повреждения. Все они находятся в больнице, как и миссис Нигби, которая страдает от сильного потрясения. Полиция ведет расследование. Ждут, пока дети достаточно окрепнут, чтобы оказать содействие. Пока больше никого не опрашивали. Имелась фотография Дан-Вейл-Холла, мирно расположившегося в болотистой местности. Фотографий самих Нигби не было.

Новоприбывшая сидела на стуле, сложив руки на коленях. Она ни с кем не разговаривала и ни на что не смотрела. У персонала лечебницы было принято называть пациентов запросто по имени

и прибавлять «дорогая» и «дорогой». Новоприбывшей была дорогая Люси. Лицо у нее было округлое, щеки розовые и обветренные, глаза немного запавшие. Волосы растрепались, но Джош подумал, что обычно она их так не носит. В прядях запеклась кровь. Кровь стекала по мягким круглым щекам в уголки рта. Кровь пропитала голубую рубашку и капала на сдвинутые колени. В прежние времена он считал затейливую реалистичность капель и струек доказательством подлинности. Теперь же знал, что крови нет, что прихотливый узор струек, мелкие подробности этого узора ровно ни о чем не говорят.

Надо побеседовать с дорогой Люси, но руки и колени у него дрожали. Старые образы нахлынули на него. Он знал их, как знал и то, что пелена крови, застилавшая сетчатку, милосердно их закрывала. Но все равно был взвинчен. Сможет ли выстоять? Он молил о силе. Кровь становилась все краснее и текла все быстрее.

Подошла медсестра:

— Чашечку чая, Джош? Вы как не в своей тарелке.

Вся в красной дымке.

— Та женщина.

— У нее шок. Много чего пережила.

— А вы правы, мне нехорошо. Кровь ударила в глаза.

Ему нравились шутки, которые мог понять только он, их создатель. Ему нравилось, когда он выражается вроде как образно, а на самом деле точно.

— Чашка чая лечит все недуги, — рассмеялась медсестра.

— Я не люблю чай.

— Ах да. Никак не запомню. Тогда солодовое молоко.

Это он любил. Сладкое, белое. Он вообще был сладкоежкой. Представлял пророка Иезекииля, заглатывающего чрезвычайно сладкие, как мед, свитки.

Положенный ему ларгактил он, как всегда, засунул в тапку. Подходящий момент для разговора с женщиной непременно представится. Нужно только набраться терпения.

* * *

От Перта Спорли Элвету Гусаксу

Дорогой Элвет!

Я все больше сомневаюсь, нужна ли мне санкция от Вас на то, чтобы испытывать чувства к моим пациентам. Отстранен-

ность врача – глубоко неестественное состояние души, к тому же чреватое дурными последствиями. Да, она пригодилась мне в первые дни (и ночи) в отделении скорой помощи, среди всей этой поруганной плоти и диких и безнадежных дармоедов. То было средство выживания. Но вот оно переносится в психиатрию. Мы обещаем нашим пациентам человеческий контакт, человеческое тепло, а подсовываем им расчетливый симулякр, без плоти, без крови, без любви, без желания. И это не просто хороший тон врача. Примитивное представление о равноправии и справедливости. Все пациенты имеют право на мое внимание, но мне-то не все одинаково интересны! А честность в отношениях с миром – пустой звук? Или нет?

Так или иначе, это предисловие – повод рассказать, что недавно я потратил немало времени на изучение истории болезни Джоша Агница, о котором уже рассказывал. У него случилось нечто вроде рецидива. Он снова начал видеть что-то и слышать голоса. В течение трех

дней он яростно спорил будто с целым судом инквизиции. И я очень пожалел, что скован профессиональной этикой. Я уверен, что во всех этих разговорах о свете и тьме, пятнах и подтеках, эонах и близнецах, зубах и когтях, о которых он все время твердит, есть какой-то смысл, надо только прислушаться. Пришлось поместить его в одиночку. Он не спал, но не спали и все остальные. Чтобы начать улавливать смысл, сценарий, нужно слушать несколько дней. Много просто ругани, болтовни. Ну, так кажется. Откуда мне знать?

Как бы там ни было, он успокоился. Мне велено, сказал он, быть спокойным. Поэтому я рискнул и позвал его обратно в терапевтическую группу. Похоже, группа идет ему на пользу, поддерживает.

У нас появилась новая участница, женщина лет тридцати, которая пришла к нам после яростной стычки с мужем (он сейчас в больнице). Она спокойная – можно сказать, абсолютно молчаливая. Чуть не зарезала мужа совком из нержавеющей стали. Он с ней руки распускал. У них

трое детей, все во время роковой схватки пострадали. Самая младшая, похоже, останется без глаза. Сейчас они находятся под присмотром. Муж утверждает, что жена без видимого повода напала на него и детей с граблями. Говорит, просто взбесилась. Полиция ломает голову, потому что одна из двух старших дочерей эту версию подтверждает, а другая столь же уверенно сообщает, что это отец ударил мать граблями, а она уже потом их схватила. То же самое с ранениями. Одна говорит, что это сделал отец, другая – что мать. Люси же молчит. С момента происшествия рта не открыла. Ни слова. Очень послушная. Ее обвинили в нанесении телесных повреждений и поместили в «Седар маунт» до суда. Она согласилась войти в группу – по крайней мере, ее направили, а она не возражала. Другая женщина – особа вздорная – попыталась ее разговорить. Обвиняла в том, что она филонит и т. д. и т. п., – просто пыталась верховодить и затеять свару. Люси сидела с отсутствующим видом. Кажется, не понимала, где находится. Вздорщица (ее

зовут Мира) обратилась к Агницу – как обычно – со словами: разве он не согласен, что поговорить полезно? Он же произнес – насколько я помню, ибо я не решаюсь записывать, что они говорят, чтобы не получить статус ангела-стенографиста, – так вот, он сказал: «Есть другие миры, они просторнее, и смысла в них столько, что словами не выразить. Ты слышишь порывы злого ветра, чувствуешь запах снега, видишь кровь, а обычная речь, как чешуйки мертвой кожи, сыплется с головы к твоим ногам. Для нее твои увещевания – что шелест мертвых листьев. Твои слова могут иметь силу здесь, но не там, где сейчас она. Прислушайся к ее молчанию».

Мира извинилась впервые. А Люси смотрела на него со слезами на глазах, и открывала рот, и облизывала губы, но ни звука.

И он сказал ей:

– Знай же, что добро и зло в мире равны. Знай, что зло не второстепенно. Оно – сила, оно может победить. Знай, что сама по себе ты не зло, но ты – поле битвы,

где оно может сражаться и победить.

Или нечто в этом духе. Как-то плосковато выглядит, когда записываешь. Но атмосфера была наэлектризована. У Люси потекли слезы. У меня и у самого (записываю как клиницист). Его воздействие на группу можно обозначить словом «харизма». Кажется, я хотел бы написать о харизме статью. Вы, наверное, о чем-то подобном уже писали.

А я нет.

Так вот, Элвет, как я уже сказал, занялся я его историей. И нашел самородки чистого золота. Однажды он обмолвился, что в Ньюкасле его лечил некто Сэм Краббе. Мне же удалось заполучить истории болезни всех пациентов этого почтенного врачевателя – с большим трудом, но подробности опускаю. И в конце концов я нашел его историю, а все благодаря скрупулезным перекрестным ссылкам старого Краббе.

Его имя при рождении – Джошуа Маковен. Родился в Дарлингтоне в 1928 году. Отец, Джозеф Маковен, был учителем начальной школы и методистским про-

поведником. Повешен в тюрьме Дарема в 1939 году (май) за убийство жены Нелли и шестилетней дочери Руфи.

В записях Краббе говорится, что он утверждал, будто видел ангела и тот велел ему задушить своих родных, чтобы они не дожили до грядущей катастрофы. Похоже (записи Краббе неточны), сравнивал себя с Авраамом, приносящим в жертву Исаака, и с Иеффаем, пожертвовавшим дочерью. Невменяемым признать себя отказался. Это только основные сведения. Больше Краббе ничего не сообщает, хотя, наверное, если бы я порылся в архивах местных газет, нашлось бы что-то еще. В имеющихся у меня записях Краббе не дает никаких указаний на то, каким был Джозеф Маковен и что говорил о нем Джошуа, если вообще говорил.

Во время войны, по словам Краббе, Джошуа жил в «эвакуации» с «тетушкой» по имени Анджела Агниц. Затем служба в качестве летчика, инвалидность по какому-то заболеванию, из-за которого он пролежал в больнице около двух лет, но точных данных тут нет. В 1950-х поступил

на богословский факультет в Дареме, но бросил учебу снова из-за болезни. По словам Краббе, он по-прежнему чувствует призвание к священнослужению. Читает, как я уже говорил, Блаженного Августина и Кьеркегора. Говорит, что всегда был «странником» (бродягой) и предпочитает жить в бедности. Я не знаю, сообщать ему или нет, что я узнал все то, что он решительно отказался мне поведать.

Дело, Элвет, вот в чем: *представьте себе жизнь этого человека.* Это невозможно. Вот у тебя семья (может быть, совершенно обычная, а может, и нет, мы не знаем). А на следующий день ее нет. Мать и сестра жестоко убиты. Отец в тюрьме. Юному Джошуа, возможно, *тоже была уготована смерть,* а может, и нет. Краббе не уточняет, как ему удалось этого избежать, и вообще, знал он или не знал о случившемся. Процесс длится мучительно долго, но вот нет и отца. И конец его не менее ужасен. Я не знаю, что из этого было ему известно, что ему сказали, о чем он догадывался. По моему опыту, такие вещи нельзя держать совсем в тайне, они

выходят наружу. Что он думал? Кем себя считал? Как, спросим мы, врачеватели душ, удалось ему выжить, даже таким беспокойным и не от мира сего?

Сказать по правде, такого доброго и беззлобного человека я в жизни не встречал. В том вихре, понятном и объяснимом, который бушует внутри его, таится какая-то настоящая мудрость. Я не знаю, что делать дальше, но если и есть человек, которому я хотел бы помочь, которого хотел бы поддержать, то это он. И вот мы возвращаемся в начало. Невозможно относиться ко всем пациентам одинаково. И этот как-то по-особому светится.

Отсюда, разумеется, и его интерес к судьбе Люси Нигби и произошедшей бойне. Ее приезд совпал с возобновившимся у него бредово-галлюцинаторным поведением. Так ведь и должно быть, если учесть, что он знал ее историю (о которой писали газеты) и она проникла в его сознание.

Может быть, и ему, и ей квакерское терапевтическое общество пошло бы на пользу. Как там идут дела?

VI

Университетский городок пошел сыпью из плакатов и клеящихся листовок всех размеров, цветов и видов. Небольшие квадратные и белые обычно содержали пространные послания:

> *Интеллектуальное меньшинство не станет сильнее, если благодушно удовлетворится отведенным ему гетто.*
>
> *Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл отношение между людьми. В. И. Ленин.*
>
> *Мысль Мао Цзэдуна всесильна, потому что она верна, и верна, потому что всесильна.*

Эти и подобные им были отпечатаны петитом под общим заголовком «Предварительное пред-издание Антиуниверситета Пустошей» и расклеены на стенах, столбах, досках, щитах в виде анжуйских крестов, полей для классиков и крестиков-ноликов. На окнах, ветвях деревьев, штангах футбольных ворот и мусорных баках

красовались длинные полиэтиленовые ленты ядовито-розовых, ярко-салатовых и бананово-желтых цветов.

Будь нетерпим к терпимости угнетателей.

Учебный план – род угнетения. Скорее вылезай из-под этой махины.

Студенчество – новый пролетариат.

Учение – эксплуатация.

Не подчиняйся об-разованию. Сядь, осмотрись, расширь сознание.

Были и рисунки — листы прикреплялись к трибунам и кафедрам — с аляповатыми цветами, обнаженными телами, извергающимися вулканами.

Таблетки от всех болезней, их нет полезней.

Главное – собственный пупок.

Используй задницу по назначению: это и есть свобода.

Не думай. И все дела.

Искусство – оргазм.

Нет хуже иллюзии, чем знание.

Поверь, самое страшное уже произо-

шло.

Между университетскими башнями валялись листовки.

> *Антиуниверситет грядет. Антизнание, антинезнание, антипреподавание, анти-студенты, антитрусики, анти-Христ, анти-Будда, антишпинат, антибуржуа, антиискусство, анти-антиискусство, антитранспорт, антипластмасса, антимясо, антипсихиатрия, анти-Вейннобел, антифлогистин, античай, антикапитализм, антигамбургеры, антишипучка, анти-перевес-валют-в-кармане, анти-жар-технологий, анти-анти. (Разумеется.)*

Пришлось Вейннобелу и Ходжкиссу встретиться и посовещаться. В осеннем воздухе едва ощущалось дыхание заморозков, и лужайка за окном вице-канцлера уже слегка похрустывала. К Ходжкиссу он прикипел: оба были людьми рассудительными и немногословными. Налил кофе из серебряного кофейника в стиле баухаус. Ему нравились его форма и кривизна струящегося кофе на фоне бескомпромиссного Мондриана.

Минималистичные изящества сложной цивилизации.

— Откуда все это, Винсент, как вы думаете?

— Не знаю. Антиуниверситет, как я понял, нигде конкретно не располагается. И кто им руководит или будет руководить — неизвестно.

— Своих людей у вас там нет?

— Нет. И я не думаю, что здесь замешан студенческий профсоюз. Сегодня чуть позже встретимся с Ником Шайтоном. От него я пока ничего не слышал.

— Удивительно, как меня выбило из колеи личное упоминание в списке мишеней.

— Но вы же там не один, вы — в одном ряду с Иисусом и Буддой.

— Да, и шпинатом. Что ж, пожалуй, невелика беда.

Северо-Йоркширский университет первой волной студенческих бунтов затронут почти не был. Вейннобел и Ходжкисс пришли к неожиданному мнению, что в требованиях студентов о представительстве в руководящих органах есть здравое зерно, и, соответственно, пригласили туда Ника Шайтона, председателя профсоюза, и еще одного его члена. На заседаниях оба присутствовали весьма спорадически.

— Если все это идет откуда-то извне, — размышлял Ходжкисс, — то чем закончится, непонятно.

— Думаю, нам не стоит их провоцировать. Листовки и плакаты трогать не будем. Им в конце концов придется лепить новые поверх старых. Законов ведь никто не нарушает. Университеты должны стоять на страже свобод.

— А эти их таблетки?

— Там не уточняется, о каких таблетках речь.

— Ну точно не о витаминах.

— Кое-что из написанного, — спокойно продолжал Вейннобел, наливая еще кофе, — весьма остроумно.

И он перевел разговор на тему конференции «Тело и мысль», теперь запланированную на лето 1969-го, самое окончание нынешнего учебного года.

— Приятная новость: получил письма и от Эйхенбаума, и от Пински, и оба приглашение приняли. Рабочее название доклада Эйхенбаума — «Идея врожденности и ее роль в теории научения». Пински же вчерне набросал следующее: «Искусственный интеллект и когнитивная психология: порядок из шума».

— Студенты, как известно, выступают против обоих.

— Правда?

— В Америке в Эйхенбаума кидались тухлыми яйцами и гнилыми фруктами. А Пински в Париже заглушали криками в мегафоны.

— Университет — это цитадель свободы слова. И каждый должен иметь возможность высказаться, *каждый*. Кстати, именно поэтому мы дадим высказаться и этому Антиуниверситету. Только если студенты совсем не перестанут ходить на занятия и учиться.

— Согласен. Проявим благодушие.

— Главное — не провоцировать.

— Да-да, конечно. И с Ником Шайтоном обо всем этом поговорим спокойно и тактично.

Вейннобел подлил еще кофе.

— А вы, Винсент, планируете выступить с докладом?

— Сгодится ли что-нибудь вроде «Витгенштейн и коварные чары математики»? Попробую объединить логику, философию языка, мысли Кантора о бесконечности, Витгенштейна — о Фрейде…

— Уже жду! А теперь подумаем, о чем и как говорить с юным Шайтоном.

Ник Шайтон — аккуратный смуглый молодой человек: вельветовый пиджак, клетчатая ру-

башка, красный галстук, волосы выстрижены до самого затылка. Родом из Сандерленда, отец был чиновником в Профсоюзе котельников. Шайтон больше занят вопросами благоустройства столовой и бара, чем броскими лозунгами Антиуниверситета. Изучал историю (выдающимся студентом не был, просто в школе знал ее лучше других предметов), а бóльшую часть свободного времени проводил, занимаясь делами Лейбористской партии Калверли и выступая перед членами Общества молодых социалистов. Для студента-номенклатурщика был человеком прагматичным и сговорчивым.

В кабинете Вейннобела началось обсуждение предстоящих выступлений: в профсоюзе (Майкл Фут, Р. Д. Лэнг) и в университете (Энтони Кросланд, Эрнст Гомбрих). Всплыла тема конференции «Тело и мысль». Вейннобел ровным тоном назвал основных докладчиков. Заметил, что благодаря конференции университет заявит о себе как о крупном учебном центре. Шайтон отозвался с вежливым энтузиазмом, сказав, что Эйхенбаум и Пински должны собрать большую аудиторию. Ходжкисс про себя улыбнулся. Он спросил Шайтона, знает ли тот что-нибудь о так называемом Антиуниверситете.

— Я, кажется, знаю, где они расположились. И пару людей оттуда знаю.

— Из наших студентов?

— Отчасти. Некоторые уже с дипломом.

— Знаете ли вы что-то об их деятельности?

— Да они, наверное, и сами не знают. Ни к кому из нас не обращались — только плакаты и тому подобное. Никаких занятий не проводится. Только извещения.

— В извещениях ничего дурного не вижу. Но если из-за этого будут срывать учебу…

— Если у них что-то начнется, вы обязательно узнаете. Мы за свободу слова.

— Как и университет.

Далее Шайтон перешел к итогам недавнего заседания профсоюза.

— Студенты хотят изменений в учебном плане. Им кажется, надо больше разнообразной практики, как в других университетах.

— Еще год, и будут работать. Учащиеся сами решили поступать именно на эту программу. А она требует интеллектуальных усилий. — В голосе Вейннобела появились стальные нотки.

— Студенты, например, хотят, чтобы изучение иностранного языка было факультативным, — продолжал Шайтон.

— Неужели? И почему?

— Ну, некоторым язык дается с трудом. А они хотят уделять время новым, более важным вещам. Теориям. Литературным, политическим.

— Я всегда говорю: нельзя хорошо знать свой язык, если не понимаешь, как устроен другой.

— На это можно возразить, — откликнулся Шайтон, — что ни один студент не способен успевать *все*.

— Принимаю и из этого исхожу. Но некоторые моменты, на мой взгляд, имеют решающее значение для понимания того, как мы мыслим, а остальное — уже производные. И та же теория литературы бессмысленна, если вы не владеете более чем одной грамматикой и более чем одним синтаксисом.

— Грамматика — проявление элитарности, грамматика — инструмент управления.

— Вздор.

— Вице-канцлер, я привел вам слова с одного из плакатов.

— Грамматика элитарна? Не путайте ее с оксфордским произношением.

— Да я же говорю, это с плакатов.

— Вероятно, — заметил Ходжкисс, — студентам придется специально разъяснить важность изу-

чения языков.

— Но ведь всем — и студентам в первую очередь — это и так очевидно! Более того, интересно и понятно, — недоумевал Вейннобел.

— Вы — перфекционист, — покачал головой Ходжкисс.

— Перфекционист-прикладник, — возразил Вейннобел.

— Вот и надо донести до студентов прикладную пользу изучения языков. И я тут совершенно не спорю.

— Особенно раздражены студенты-филологи. Считают, что на языки только тратят время впустую, — заметил Шайтон. — Говорят, мол, опять в школу пришли.

— Вся жизнь — школа.

— А языки, — решил примирить всех Ходжкисс, — штука весьма практическая.

— Я за студентов не заступаюсь, — упрямо продолжал Шайтон, — и понимаю ваши доводы. Передаю, что мне говорят. А говорят многие. Мне поручили это вам передать.

— Весьма прискорбно, — отчеканил Вейннобел.

Начавшийся бодро разговор заканчивался безрадостно.

Штаб-квартира у Антиуниверситета была: два автоприцепа и дом на колесах, припаркованные на так называемой Гриффин-стрит. То был ряд пустующих домиков для рабочих на краю некогда располагавшегося здесь поместья Лонг-Ройстон. Парк в этом месте постепенно переходил в пустошь. По инициативе университета, при появлении свободных средств, домики ремонтировали и отводили под жилье выпускникам. Двое, Грег Тод и Вальтраут Росс, политолог и антрополог, уже так жили.

Дом на колесах принадлежал Авраму Снитки-ну, странствующему этнометодологу. Снитким объяснил Тоду и Росс, что работает над фундаментальным исследованием судебных процедур в Великобритании, что, в общем, было правдой. Тод и Росс полагали, что одновременно он изучает и их. Но им было все равно. Этнометодология подразумевала изучение мира изучаемого объекта изнутри, таким, каков он есть. Почему бы и нет?

Один из прицепов был запряжен лошадью — настоящий цыганский обоз с высокими ступеньками и занавешенными окнами. В нем жила Дебора Риттер, в университете — да и вообще где-либо — не числившаяся, хотя некогда, то тут, то там, она изучала и сравнительное религиоведе-

ние, и антропологию, и фольклор, и психологию. Другой автофургон имел овальную, яйцевидную форму (и, как яйцо, когда-то был белым) и держался на подпорках. Прицеплен он был к вездеходу. Здесь обосновался Джонти Сёртиз. Он был старше остальных, успел пожить в Хайт-Эшбери[26], смутьянил со студентами Нантера[27], был вхож в копенгагенские коммуны и поддерживал связь с берлинской «Коммуной I». Прицепы стояли сразу за оградой старого парка. Формально они не находились на территории университета. Лошадь Деборы по кличке Вивасват, плотная, смирная, серо-пепельная, с неухоженной гривой, паслась на длинной привязи. Дебора и Джонти Сёртиз были вроде как парой: оба крупные и улыбчивые, со струящимися по плечам рыжевато-золотистыми волосами. Он также был обладателем прекрасных рыже-золотых усов, носил темные рубашки, расшитые языками пламени и розами, короткие, до пупка. На Деборе всегда была индийская шелковая туника поверх длинной юбки. Ходила

[26] Примечания: 26

Хайт-Эшбери — район Сан-Франциско, где была создана одна из первых коммун хиппи.

[27] Примечания: 27

Нантер — пригород Парижа. Имеются в виду выступления студентов находящегося в этом городке университета против реформ образования в 1968 г.

она босиком, лоб был перевязан разноцветной тканой лентой. Тод и Росс одевались в джинсы и футболки с разными лозунгами и рожицами. Антиуниверситет создавался в пяти пустующих домах на Гриффин-стрит. Столы — из досок, положенных на ножки-кирпичи. Стрекотали пишущие машинки. На кухне в огромных котлах у Деборы варились бобы, рис, зелень и стружки кожицы помидоров. Там же — неизменная кастрюля с кашей.

Подчиняясь таинственному закону синхронистичности событий, представители ядра Антиуниверситета разослали приглашения преподавателям и студентам одновременно с тем, как вице-канцлер отправил информационные письма по поводу конференции «Тело и мысль». Грег Тод написал разочарованным идеалистам из Лондонской школы экономики и Эссекса, Вальтраут Росс — студенческим трибунам в Европе, а Дебора Риттер — представителям коммун, больниц, художественных училищ. Еду и постельное белье приносите с собой! Мы создадим свободное пространство для самовыражения, где не будет искусственных ограничений. В ожидании ответов расписывали прицепы. На цыганском обозе выросли серебристые и хвойно-зеленые деревья,

украшенные золотыми и серебряными плодами, пунцовыми гранатами. Яйцеобразный автофургон разрисовали лентами и конусами, змеями и лесенками, лианами и вьюнами — дюйм за дюймом, оранжевыми, броско-розовыми, голубыми и всех оттенков зеленого. Целый вечер спорили, правильно ли предлагать темы возможных курсов потенциальным преподавателям, и решили, что нет. Если по какой-то случайности все решат читать один и тот же курс, то это лишь докажет его насущность и непреходящую важность. Были напечатаны листовки: приходите и поделитесь своими знаниями, глубокими или нет. Изучать можно все: от космологии до конфитюра, от так называемого безумия до вегетарианской кулинарии, от мантр до вооруженного сопротивления, от смерти капитализма до выращивания душистого горошка. Мир многогранен, и Антиуниверситет вторит ему. Мы можем разъяснить Карла Маркса, наставить на проложенный Мао путь, погадать по ладони или приоткрыть тайны Таро. Вся человеческая жизнь здесь, и если еще не сейчас, то в скором будущем. Все — к нам (и захватите еду, постельное белье, музыку, искусство).

Однажды поздно вечером Росс, Тод и Дебора Риттер сидели на кухне, курили, жгли благово-

ния, резали лук и обсуждали закат буржуазной государственности и преображение пролетариата. Дебора напевала, раздражая говорившего в этот момент Грега Тода. В парке между деревьями появилась женская фигура. Темная, тяжелая, высокая — она двигалась со стороны университета. Стремительно и неуклюже. Вальтраут Росс выглянула в окно. Сама она была миниатюрная, худенькая, одевалась в обтягивающие черные свитеры и лосины — ни дать ни взять балерина на отдыхе. К крупным и грузным женщинам относилась с пренебрежением.

— Толстушка какая-то, — обронила она.

— Кто-то из знакомых?

— Кажется. Но не могу понять кто. С собаками. Толстые колли у толстой хозяйки.

— Толстая белая дама, ее не любит никто[28], — не удержалась от цитаты Дебора.

— Ну почему? — отозвался Грег.

— О-о-очень буржуазного вида, — продолжила наблюдение Вальтраут.

Раздался стук. Потом настойчивее. И еще раз.

— Открыть?

— Валяй.

---

[28] Примечания: 28

Строка из стихотворения английской поэтессы Франсес Дарвин Корнфорд (1886–1960) «Женщине, увиденной из окна поезда».

Сидели они при свете свечей. Вальтраут открыла дверь, и черная фигура на мгновение заслонила весь проход, а пламя заплясало на холодном сквозняке.

— Закройте дверь, — попросил Грег Тод. — Не выветривайте нашу духоту!

И вот перед ними стояла она, решительно не вписываясь в мир флегматично-веселого товарищества. В широком черном полупальто с прорезями вместо рукавов, хорошо скроенном, с петлями для пуговиц — что-то среднее между университетской мантией и плащом колдуньи. Под ним — уйма сарафанов и длинных, просторных кофточек. Темные глянцевитые волосы на лбу закрывали брови. Губы — темно-малинового оттенка.

— Добрый вечер. Чем обязаны? — взял слово Грег.

— Я… я видела объявления. Хотела бы поучаствовать в вашем… вашем предприятии.

Снять пальто ей никто не предложил.

— Ева Селкетт. Преподавать я бы хотела под этим именем. Хотя у меня есть и другие.

— А что преподавать? Вряд ли нам тут нужны *преподаватели*.

— Мудрость Древнего Египта, толкование карт

Таро, старшие арканы, космологию каббалистов.

Дебора Риттер подкинула несколько веточек в огонь, они вспыхнули.

— В этих вещах мы и сами разбираемся. Я, например, знаю Таро. И по руке гадаю, и гороскопы составляю.

Лицо Евы Селкетт блестело от испарины. Рукой с блестящими увесистыми кольцами, украшенными аметистами и опалами, она вытерла пот.

— Вы не против, если я сниму пальто?

— Я понял, кто вы, — сказал Грег Тод, — вы *его* жена. Вспомнил наконец. Вы — *леди* Вейннобел.

— И?.. — Выглядела она очень внушительно и будто бы вся плавилась.

— Вам здесь не место! — выпалила Вальтраут Росс. — Вы — враг.

— Мне показалось, тут… рады всем. У меня есть знания, умения. Но в моем окружении они не нужны.

— Нам, увы, тоже, — отрезал Грег Тод. — Без всяких леди обойдемся.

Было слышно, как Один и Фригга, которых внутрь не пустили, скребутся в дверь. Ева Вейннобел растерялась. Она, похоже, надеялась, что если будет действовать достаточно решительно, то склонит их на свою сторону. Она явно пред-

полагала, что никакого другого исхода, кроме согласия, не будет.

— Вы тут всех смущаете, — сказала Дебора Риттер. — Не надо вам было сюда заявляться. Нам… нам кажется, что здесь вам оставаться не стоит.

Собаки скреблись.

– *Пожалуйста,* — снова заговорила Вальтраут Росс, — уходите. У нас тут пока ничего не началось. Когда все будет налажено, мы вас оповестим. Но, как видите, у нас ничего не происходит.

— А я так поняла, что…

— Вы неправильно поняли. — Грег открыл дверь. — Будем на связи, так ведь говорят? Наверное, будем. А теперь, пожалуйста, возвращайтесь домой.

— Хорошо, до встречи, — сказала она.

Разгоряченное лицо ее немного скривилось. Им бы ее пожалеть, встать на ее место, но они почему-то не могли. И очень хотели, чтобы она поскорее ушла.

После неловкого затяжного молчания она ушла.

Джонти Сёртиз пришел позже, когда уже стемнело. Дебора раскладывала фасолевое рагу по фаянсовым тарелкам. Новопришедшему рассказали о странной гостье и ее предложении.

— Я сразу все понял, — говорил Грег Тод. — Леди Вейннобел. Вошла и сообщила, что она, дескать, будет читать курсы по Таро и астрологии. Чокнутая старая мымра. Встала тут.

Дебора хмыкнула.

— А есть что-то, кроме фасоли? — резко спросила Вальтраут. — Это же взрыв кишечника!

— И газы от нее, — заметил Грег Тод. И умиротворенно добавил: — Газы и приятное послевкусие.

Джонти Сёртиз с глубокомысленным видом жевал.

— Пифагор называл бобовые духовной пищей, — сказала Дебора. — И они недорогие. И вкусные.

— Вот мяса бы! Мясо — вкусное, — проронила Вальтраут; она считала, что люди — плотоядные и что с этим ничего не поделаешь.

— Мясоед — значит, убийца, — спокойно произнесла Дебора.

— А что вы ей сказали? — поинтересовался Джонти Сёртиз.

— Отбоярились от нее. Дали понять, что совсем не рады.

— Чего это вы?

— Что-то в ней было… неприятное, — сказала

Вальтраут.

— Ну вы даете. Вы не поняли, в чем соль. Когда вы пытаетесь разрушить, низвергнуть угнетательную структуру, самозваный центр власти, нет ничего более полезного, чем сочувствующий — союзник-неофит — внутри этой структуры. Да уж, не подумали вы.

— Не выглядела она ни как неофитка, ни как союзница, — сказала Дебора. — У нее свое на уме.

— С политической точки зрения какая она, совершенно не важно, — ответил Сёртиз. — Она *жена* вице-канцлера. Можно уж найти, как ее использовать.

— Все-таки наш Антиуниверситет — осознанный революционный акт? — спросил Грег Тод. — Часть масштабной стратегии?

— Я думал, это само собой разумеется. Часть обстрела, ослабления, расшатывания, которые в итоге приведут к краху всего. Надо лишь набраться терпения. И тут все средства хороши. Нужно быть настороже. Эта женщина — наше оружие, наша лазейка. Надо было ее принять.

— Да ты ее не видел, — продолжала спорить Вальтраут. — По-другому запел бы.

— Война идет не между отельными личностями, — произнес Джонти Сёртиз и пукнул,

протяжно и громко.

— А я что говорю. Взрыв кишечника.

На следующее утро во время завтрака экономка Вейннобелов подошла к хозяевам:

— Миссис Вейннобел, вас хочет видеть некий молодой человек.

Ева была в малиновом бархатном халате.

— Пусть зайдет позже.

— У него букет цветов. И большой.

Ева последовала за экономкой к двери столовой. В холле стоял Джонти Сёртиз с огромным букетом полевых цветов: наперстянки, лилии, купырь, поздние лютики, маргаритки с вплетенными переступнем и белладонной.

Он расплылся в широкой и дружелюбной улыбке:

— Это вам. Вы к нам вчера приходили, но мои товарищи повели себя невежливо. Простите. Мы были не готовы и растерялись. Надеемся, что вы примете извинения и эти полевые цветы и еще раз нас навестите. Будем очень вам рады.

Ева взяла цветы. Вышел Герард Вейннобел.

Джонти Сёртиз улыбнулся и ему.

— Я принес дар примирения. Некоторые из моих товарищей повели себя невежливо. Надеюсь, никто не в обиде.

— Все в порядке, не переживайте, — медленно произнесла Ева.

— Ева, кто это?

— Не знаю. Первый раз его вижу.

— А что он имел в виду? Кто повел себя невежливо?

— Да так, студенты. Пустяки. Цветы приносить не стоило. Хотя очень мило, разумеется, но лишнее. Ребята хорошие. Просто еще молодые.

VII

От Элвета Гусакса Перту Спорли

Дорогой мой Перт!

Смотрите ли Вы на совпадения с интересом юнгианца? Представляю Вам на суд красивый пример. На этой неделе я получил два письма: почтальон принес их вместе, оба пришли из одних и тех же краев и оба – приглашения выступить с докладом. Первое письмо от вице-канцлера Вашего нового университета: предлагается принять участие в междисциплинарной конференции, которая состоится в июне и будет посвящена многообразию отношений между телом и разумом. Там будут химики, философы, лингвисты, неврологи, литераторы, социологи, психологи и т. д. и т. п. Меня попросили выступить – в любой удобной мне форме – от лица психоанализа. «Важнейшая область для нашего разговора», – пояснил вице-канцлер (сам он, насколько мне известно, грамматист).

Второе письмо пришло от группы людей, именующих себя Антиуниверситетом Северного Йоркшира. Они организуют нерегулярные встречи для обсуждения того, что не обсуждается на официальном уровне, и предлагают мне выступить – или, точнее, выразить свои идеи – любым удобным для меня образом и в любое время, например на тему «регрессивной терапии». Изменить умонастроения официоза, как они считают, необходимо без малодушных отлагательств. На красно-черном бланке университета – взмывающие ввысь драконы, символический курган с деревом (кедром?) на вершине и нечто вроде фонтана. Антиуниверситетское извещение – на зеленоватой бумаге, изукрашенной множеством безвеких глаз – точно изюмины в кексе. Не могу понять, то ли это дурной глаз, то ли глаз, призванный отвести дурной глаз, то ли дурной глаз, призванный отвести другой дурной глаз.

Поразительно, как схожи в своей таинственной символике эти послания. Возможно, и в чаяниях их составителей.

Вице-канцлер сообщил, что основными докладчиками на конференции будут Хедли Пински и Теобальд Эйхенбаум. Смелый ход. Обоих считают воинствующими детерминистами. Да, политические взгляды Пински безукоризненно левые, но его психология – отнюдь. Что до Эйхенбаума, о его немецком прошлом ходят нехорошие слухи.

В любом случае оба приглашения я принять должен, и приму с удовольствием. Как удобно и как драматургически остро – оказаться одновременно и там и там! Правда, боюсь, как бы не подвело меня мужество. Вам известно, что представители моей профессии неохотно выступают в собраниях, состоящих не из их единоверцев. Для меня, впрочем, преодолеть этот стадный инстинкт – дело чести.

Человек обязан действовать в том мире, который ему дан (будь то вселенная или антивселенная), а человеку, должным образом прошедшему анализ, не подобает бояться ни философов, ни нейробиологов. Ни даже активистов. Поеду и прощупаю северную почву. Надеюсь, удастся обсу-

дить с Вами Агница.

Трудно даже представить, *как опыт подобного рода повлиял на человека, его пережившего*. Вы говорите, тогда ему было одиннадцать. И он никогда не рассказывал о своих родителях (или сестре). На момент тех ужасных событий он почти наверняка находился в предпубертатном состоянии, и тут еще началась война, общемировые волнения, которые, впрочем, можно считать и злом во благо. Возможно, он и правда все забыл. То есть находится в состоянии сильнейшего отрицания. И если мы это оцепенение нарушим, всколыхнем в нем весь пережитый ужас, хватит ли нам искусства и любви, чтобы помочь ему отыскать место в мире? Сам он этого сделать не смог, иначе не был бы в теперешнем состоянии, не было бы голосов и видений.

Я хочу познакомиться с ним и поговорить.

Люди нашего цеха верят в истину и знание. Однако мой первый порыв – пусть лучше он все забудет. Но ведь это неправильно?

Как всегда Ваш,
Элвет Гусакс

* * *

Джошуа Маковен не забыл ничего. Он, как ему казалось, помнил все, но никогда никому ничего не рассказывал. Он так говорил себе, когда думал словами, то есть *на словах* он знал, что помнит, и при этом не нужно было заново всего переживать в воспоминаниях.

Ничего не забывать, в общем-то, не значило помнить все до мельчайших подробностей. В памяти сохранились комья, куски, которые приняло в себя тело — глаза, уши, нос, нервы. Без всякого предупреждения они возникали перед ним или всплывали из глубины: очередной долгий перерыв, а затем вновь дыхание прерывалось, сердце начинало колотиться, перед глазами взвивались зловещие чернильные пятна. Воспоминания эти были подобны яркому свету, прорывающемуся через прорехи в покрывале, или продирающимся

сквозь ил склизким подводным корням. Остальное — покрывало времени, ил череды событий — он сложил в слова, чтобы не осязать ужаса, не видеть его. Ведь едва только телесная память будет запущена, ее не остановить. Один ком, другой, третий словно нанизывались на нить, образуя жуткое ожерелье. С годами удушающий охват его стал лишь немного терпимее, ибо можно было не сомневаться, что рано или поздно вновь накатит забыть. Но ужас подстерегал, как злобный громила, и коварно выжидал мгновений рассеянности и недогляда.

Часто все начиналось с ощущения полноты ляжек. Он все еще в коротких штанишках — но ему, уже подросшему мальчику, в них тесно. Лишний жирок. Вот он стоит, и его крепкая плоть трепещет и дергается, живая, неуправляемая, горячая, мокрая, холодная. И все эти годы ему было ужасно стыдно за того жалкого мальца с грузными ляжками, замершего в тупой растерянности.

Помнил он и внутреннее ощущение *их* плоти. Тех, что лежали бок о бок. Руки им кто-то сложил на груди и закрыл глаза, но ни тела, ни лица умиротворенности не выражали. Рты приоткрыты, у матери губы искривлены, вставная челюсть

сползла. Пухлая грудь — в царапинах — выглядывает из прорехи в розовой ночной рубашке. У сестры распухли веки и надбровные дуги. Пальцы матери нелепо сложились, будто она что-то хватает. Худые ноги сестры такие же, как и всегда: с синеватыми венами, прозрачные, белые. Ему было так горько оттого, что эта женщина навсегда останется у него в памяти с выступившими зубами. Так невыносимо жаль было сестринских ног. Так горько из-за пятен на ночной рубашке и пижаме в цветную полоску.

Его тело помнило сладковатый запах тления, помнило, как менялся этот запах, пока он оставался в доме с теми двумя.

Да, воспоминания эти вытравили многое из прошлого полноватого мальчугана — и вытравили куда беспощаднее, чем электрошоковая терапия, которая больше гудела, жалила и дробила. Ничто не «всплывало в памяти», когда он пытался вспомнить женщину или девочку, превратившихся в нечто на кровати. Он вспоминал с жалостью, которой были пронизаны все воспоминания о том нескладном, неуклюжем мальчугане, как они ходили, ели, прикасались к нему. Не сразу, примерно через год, он создал в воображении куклу-мать и куклу-сестру, улыба-

ющихся, самых обычных, но он не обманывался: это лишь зыбкие тени, непроизвольно вызывающие в памяти плоть, искусственные зубы, обмякшие пальцы.

Больше прочего он жалел о тех мгновениях, когда мог догадаться, но оставался в невинном неведении. Вот он возвращается домой, входит в дом, впервые оставшись ночевать у одноклассника. Да, мать отпустила его, не посоветовавшись с отцом, строгим, который, скорее всего, запретил бы. У мальчика друзей было немного, да и как их завести, ведь ему не разрешали играть на улице, а выходные он проводил на религиозных занятиях, в часовне. Но один мальчик пригласил его, и он согласился. Имени он вспомнить не мог. И лица. Но помнил свое вежливое «спасибо», сказанное матери одноклассника, и ответное «приходи еще». Он помнил свою робкую гордость: вел себя прилично, глупостей не делал, ему были рады — хороший мальчик, которого не за что упрекнуть. Он отчасти радовался этому успеху, все еще грелся в теплой улыбке матери другого мальчика, отчасти надеялся — рассчитывал — принять это невозможное теперь приглашение. И приходилось объяснять наивному упитанному парнишке, что все это уже позади и не вернется.

Будто пропускаешь — нет, будто собираешься сделать шаг, когда ты уже у подножия лестницы. Жилки еще напряжены, надо успокоиться.

В памяти снова и снова возникал полноватый мальчуган. Вот он, вошел в дом — «Я вернулся» — и уверенно бежит вверх по лестнице, чтобы всех оповестить. *Жалкое неведение!*

Обнаружив их, он отчего-то решил подождать, когда вернется отец. Спустя какое-то время он оказался (каким образом — в памяти стерто) в своей комнате, лег на кровать и — так, во всяком случае, ему помнилось — провалился в глубокий сон.

Проснулся полноватый мальчуган глубокой ночью, в темноте. Вынырнув из сна, подумал, действительно подумал, *дурачок*, что то был страшный сон. Комната, вещи в последний раз предстали перед ним в своей обыденности оплотнившимися тенями. Халат был халатом, гербарий гербарием, копилка в виде почтового ящика — красной жестянкой. Он немного посидел среди этих вещей (с тех пор время в воспоминаниях определить было невозможно, только смену дня и ночи). Он не мог вспомнить, в какой момент мальчик вышел из спальни проверить, не было

ли все сном, не вернулся ли отец, на что он надеялся, чего ждал, что чувствовал. Вот он *плетется* по лестничной площадке, видя под ногами только полоску линолеума, вокруг которой бушует пустота; вот, *бедняжка,* дрожит так сильно, что не может открыть дверь, которую, должно быть, закрыл.

Открывает, и они, конечно, лежат там. А отца, помощь которого так нужна, нет.

Вот он, стоит, спиной к смертному одру, вглядывается в ночь. Он видит одновременно и несчастного, трясущегося от слез мальчика, и себя. Так его теперешнее «я» обитает в воспоминании.

За окном темно. Беспримесная темнота. Жидкие чернила, вязкая смола, слоистая копоть. Словно снаружи все соткано из полос, из движущихся лент, из набегающих волн черноты — то ползущих, то скользящих, то летящих. Окно от них не защищало, дом и кирпич стен казались зыбкими. А реальным было все то, что завывало и металось снаружи, заглатывало и засасывало. В голове его была емкость, пещера, полная этой мягкой и буйной черноты, пытавшейся вырваться наружу и смешаться с общей массой. Костяная

изгородь черепа, теплый ковер волос — все разрушалось, тончало, как кирпичи, цемент, черепица кровли.

И вот он смотрит на месяц. Последний, тонкий серповидный край убывающей луны. На фоне мчащейся темноты появился шар из черной материи — неосвещенный лик луны.

Оконное стекло. Окно — створчатое. В стекле или сквозь него он видит лицо несчастного мальчика. В отличие от того одутловатого, поблекшего, которого он избегал увидеть в зеркале, это лицо кажется более благородным. Плавный абрис, тонкие черты, темные, как дым, глаза под нахмуренными бровями. Волосы будто бесцветные. Какого же цвета были его волосы, до того как побелели, он вспомнить не мог. Но тогда, увидев Другого, стоящего в темном воздухе, он стал таким, как сейчас. Другой тоже был одет в белое — слегка сияли в темноте его белые одежды, а на них — причудливые складки, в самой глубине открывавшие путь в бесконечность. Другой стоял посреди этого темного буйства безмятежно. Послышался голос:

— Протяни руки.

И он протянул.

Ему был дан черный шар из сажи, очень плот-

ный, теплый — будто его только достали из погасшей печи.

— Тебе придется нести его, — произнес Другой. — Вот так.

Он едва удерживал шар, настолько тот был плотный и тяжелый.

— Тебе это по силам. Надо.

Затем Другой указал на одну из сторон темного шара, и мальчик увидел, что от полюса к полюсу тянется полоска света. Мягкий, холодный, бледный свет. Как окно в сияющую пустоту, как полоска дневного света в темном занавесе, как зазор между темных занавесей, как разрез по корке тьмы.

— Вот так, — повторил Другой.

Сколько он простоял, держа то, что невозможно удержать? Но он стоял, а снаружи ревело и клокотало запредельное. Если он сможет удержать это, то сможет и дальше существовать там, где ему предстоит.

На заре Другой велел ему спуститься. Оказавшись на кухне, он услышал следующее указание — двигаться дальше вниз. Каменные ступени вели в угольный подвал.

Отец выглядел так, будто долгое время пы-

тался докопаться до середины покатой груды угля. Сквозь круглую дыру в отмостке, которая служила для подвала единственным окном, а также отверстием для высыпки, внутрь проникал утренний свет. Он лился по скату лоснящихся кусков угля, то тут, то там мелькали яркие отблески. Весь пол был устлан угольной пылью, которая тоже блестела, но не серебром, а оттенками розового, лилового, зеленого, индиго — как лужицы с бензином. У отца этой пылью были вымазаны лицо и руки, она была на густых седых бровях и пышных усах. Ресницы были покрыты сажей. На нем был черный костюм — тот, что он надевал по воскресеньям на проповеди. Белая рубашка, теперь запачканная сажей, без воротника и галстука. Его выдающийся кадык, всегда неистовствовавший во время проповеди, теперь подрагивал, угольно-черный поверх тускло-красного. Он сидел, уткнув подбородок в колени. Кашлянул. Всегда был астматиком, вспомнил Джошуа. Теперь в легких были пыль и пепел. Несколько раз откашлявшись, он прохрипел:

— Ты где был?

Обычный тон родительского выговора. Внешний мир — как же иначе? — тлетворен для внутренней чистоты.

— Я был в гостях. С ночевкой.

Произнес ли он следующие слова, или они остались только мыслями, ужас все стер из памяти:

— Мама разрешила.

— Ты должен был оставаться дома, — промолвило чучело на груде угля.

Джошуа вновь вспомнил о беззащитных ляжках мальчугана. Тоже уже в угольной пыли. В глаза отцу он не смотрел. Потупил взгляд, выслушивая несвоевременный смертный приговор, как если бы то была запоздалая отповедь.

Не в силах смотреть отцу в глаза, он глядел на его красную шею, на кадык — на все, что было выше рубахи без воротника.

— Ладно. Может, не зря так получилось.

Мальчик весь стал густой глинистой массой, марким черным шаром, подобным тому, что он держал, стоя у окна.

— Иди, — произнес человек у угольной груды, — вызови полицию.

Джошуа был нем и бездвижен.

— Я что сказал! — Отец засипел, раскашлялся, брызжа слюной.

Мальчик бросился к лестнице и вскарабкался по ней на четвереньках. Вышел на улицу: и то была улица, по которой другие мальчики ходи-

ли с ранцами в школу, матери отправлялись за покупками и на почту, а дети плелись, ухватив их за руки, задерживались у порога или заглядывали сквозь решетки в угольные ямы. Указание он воспринял буквально: долго шел по грязным улицам, пока на перекрестке Хай-стрит не увидел полицейского. Подошел к нему и потянул за штанину. Тот был высоким, а в шлеме казался еще выше. Он взмахивал руками, регулируя потоки транспорта. Лицо полицейского в памяти не отложилось.

— Папа сказал, чтобы вы пришли.

Ответ тоже не запомнился.

— Папа сказал, вам надо пойти к нам домой.

Что-то в его голосе, в запачканном лице убедило полицейского.

Точного воспоминания нет, но он, должно быть, вернулся домой с полицейским. Больше там он не ночевал, но где спал до того, как за ним приехала тетя Анджела, не помнил. Но помнил, как в теле накатывало и ныло темное чувство — обретя сознание, он тут же его потеряет, и поэтому лучше оставаться в оцепенении, не чувствовать и не знать.

От всего, что было потом, остались сны или фантазии. Он знал, точно знал, что произойдет,

а потом и произошло с отцом, хотя откуда… Тетушка Анджела, дальняя родственница матери, забрала его к себе, в шахтерский поселок в графстве Дарем. Она вела себя с мальчиком так, будто он грязный и от него дурно пахнет. Близко к нему не подходила и постоянно требовала, чтобы он привел себя в порядок и помылся. Лицо у нее было аккуратное, круглое, выражение всегда недовольное, угрюмое, а седые волосы с металлическим отливом были завиты и уложены чуть выше ушей. Он не мог припомнить, чтобы она когда-либо говорила с ним о событиях, которые стали причиной его положения.

Дни суда, вынесения приговора и казни отца прошли, как и все обычные мрачные школьные дни на севере. Танки Гитлера прокатились по Польше и Бельгии и рвались во Францию. Все были одержимы новостями, и мальчик, которого теперь звали Джош Агниц, газеты видел. Он помнил где — на автобусной остановке, в магазине, — помнил, что в обоих случаях его тошнило и его отшлепали за нечистоплотность. Лица отца и Адольфа Гитлера были на одном развороте. Маковен отказывается признать себя невменяемым. «Господь повелел мне. Грядет катастрофа». «Мне было велено приблизить спа-

сение». И позже: «Маковен не будет подавать апелляцию». «Я готов к повешению». Джошуа вспомнил шею отца в подвале. Ни тетя, ни газета не дали знать, когда повешение состоялось. А хотел ли он знать? Боялся. Сразу после военной сводки тетя выключала радио, быстро-быстро, заслышав его шаги, и он подозревал, что она что-то скрывает, не дает услышать. В течение долгих недель и месяцев он ни с кем не разговаривал. Изредка, уже будучи взрослым человеком, он хотел обсудить с другими железную решимость тети сохранить нормальную размеренность его томительных дней. В определенном смысле она была достойна восхищения. Ей хотелось, чтобы он стал обычным, неприметным, заурядным. Ничем ее бесцветное лицо-маска не выдало мальчику, что тот день был не таким, как все, что произошло нечто непоправимо ужасное.

Иногда, в очередной больнице или церкви, ему казалось, что он помнит, как навещал отца в камере смертников. Точно помнил, как в голове грузного паренька бушевали сомнения, споры о том, надо ли навестить отца, повидаться ли с человеком, который был еще жив и которого скоро не станет. Как смотреть друг другу в глаза, зная обо всем? Отчетливо запомнилось: человек

за черным столом, молчаливые, недвижные, шумно дышащие охранники, чашка дрянного чая, отец не может сделать ни глотка, дрожащее горло. Вспомнил, как увидел отцовскую Библию — его собственную, с мягкой обложкой из кожи и простым позолоченным крестом, — и порадовался, что у того есть здесь что-то свое. Вспомнил окно под потолком, маленький источник серого света в черной тени (иногда бледно-зеленой) — будто то самое круглое отверстие над угольной ямой. В минуты просветления ему казалось, что встречи никакой не было, что она — плод мучений бедного мальчика, его религиозного чувства, воспитания, в силу которых он должен любить, уважать и прощать своего отца до седмижды семидесяти раз и разделять с ним страх, чтобы *как-то помочь ему* в этот страшный час. И словно темная волна набегала на каменный берег: вспоминались мертвые тела на кровати, запах, позорное замешательство. Тем двоим уже не помочь.

Ему хотелось верить, что сцены этой не было. Тем не менее воспоминания о ней неизменно вызывали у него острое ощущение, что он не выдержал, подвел отца. Ни единого слова, произнесенного кем-либо из них, в памяти не

сохранилось — только мерзкий вкус чая, грязные трещины на глиняной посуде, голос охранника: «Простите, пора». Он думал, что создал это воспоминание, желая совершить или хотя бы попытаться совершить хороший, правильный поступок. Он заимствовал его из сцен из фильмов и приключенческих рассказов. Отец вымышленных историй не любил и убеждал его читать Библию, где есть все, что нужно, ответы на все вопросы. В школе, когда на уроке обсуждали «Оливера Твиста», Джош Агниц опозорился: во время чтения вслух фрагмента, где описывался ужас Оливера перед Феджином в камере смертников, с ним случился припадок. Однажды кто-то повел его в кино — точно не тетя, но кто тогда? — на фильм «Добрые сердца и короны»[29]. Он снова опозорился: его вырвало на плечи сидящего перед ним мальчика. Произошло это, когда персонаж Денниса Прайса сидит в камере и пишет историю своих преступлений. Ему нужно было примириться с отцом. Выдумывать, чего не было, — делать кумиров: появляются лазейки в мир для зла и для Лукавого.

Отец пытался связаться с ним, и он вроде об

---

[29] Примечания: 29
Британская черная комедия 1949 г.

этом знал. Дважды, спускаясь к завтраку раньше тети, он находил присланные ему почтовые открытки. Прятал их среди школьных тетрадей. Открытки были сероватые, шершавые. Чернила будто въелись. Слова тянулись по вычерченным линиям, в которых отец, впрочем, не нуждался. В одной открытке была библейская ссылка. Бытие 22: 6–8. Не подписана. Возможно, отец посчитал, что добавлять нечто вроде «с любовью» неприемлемо или по́шло. В другой было: «Я хочу оставить тебе на память свою Библию. Я написал письмо, которое, надеюсь, тебе передадут. Не сразу, может быть, а когда подрастешь. И сможешь понять и, кто знает, простить».

В воображении Джоша все это было писано рукой не твердой, а испуганной, дрожащей, словно каждая буква была выведена с большим трудом. Никакого письма ему так и не передали.

Открытки он какое-то время хранил, перекладывая их из книги в книгу своей скудной библиотеки: «Книга о природе для мальчиков», «Жизнеописания героев», «Правдивые истории о христианских миссионерах». Ни в Библию, ни в молитвенник он их никогда не засовывал. Перечитывал редко. Обрывки мертвой, маркой материи, которые ему надлежало сохранять, к

которым надо было возвращаться. Однажды — он не помнил точно, когда именно, когда-то в подростковом возрасте, он тогда болел — он искал их повсюду и не мог найти. Пересматривал книгу за книгой, желая не то чтобы вновь просмотреть открытки, но прекратить поиски, вновь обрести обрывки, хранителем которых он был. Не нашел. Он знал, что тетя то и дело перебирает его вещи в поисках мусора, сигарет, непристойных записок, свидетельств дурных поступков, которые были только у нее в воображении. Ей об этом он не говорил, и она этого вопроса не касалась.

> *Быт. 22: 6–8*
>
> *И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.*
>
> *И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?*
>
> *Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.*

Эти строки поражали своей двусмысленностью. Пытался ли отец донести до него, что, подобно

Аврааму, беспрекословно подчинился повелению принести в жертву сына, а в его случае еще и жену с дочерью? Или же хотел сказать, что доверял Богу недостаточно, а Бог спас его сына, как спас он и Исаака? И то и другое. В этом они были едины. Его бессильный дух старался сопровождать отца на этом страшном пути. Вот я, сын мой. Где?

«Катастрофа», «всесожжение», «холокост» — мальчик знал эти слова до того, как произошло все то, что стало принято ими называть. Отец был прав: после было и всесожжение, хотя и иного рода. Пустой их дом, ставший жертвенным алтарем, обратился в прах и пепел после немецкого авианалета на сталелитейные заводы и железные дороги. И те, что уже сгинули, все равно сгинули бы тогда. Что до грузного мальчугана Джошуа Маковена, Джоша Агница, то он спасся из огня дважды. На этот раз был эвакуирован.

Всеобщая эвакуация детей в конце 1939 года из находящихся под угрозой городов позволила Анджеле Агниц закрепить за племянником удобный статус «эвакуированного». Не он один в тех краях оказался без родителей, да и без вещей. И вот в школе он стал невидимкой меж других потерянных душ: в школу съезжались из близлежащих городков на коричневых автобусах,

многих дразнили за чудной акцент или странные привычки. Джош Агниц ничем не выделялся. Учителя — сплошь старики, ведь молодые ушли на войну. Он не помнил, чтобы мальчик с кем-то разговаривал, хотя вроде как должен был. Помнил некоторые уроки: латынь, которую преподавал пожилой джентльмен мистер Пасториус, седовласый горбун в очках с золотой оправой, и закон Божий, который вела напористая и вспыльчивая дама по имени Сибилла Мэнсон.

Те годы он про себя называл порой «прозябания» и окукливания. Ему было ясно, что он отмечен, изгнан, избран. В ту пору он не видел того, Другого, что говорил с ним из темноты, передав бремя тьмы. Жил в сером тумане нормальности и неведения, который усердно создавала тетя Анджела, оберегая его (или себя) от воспоминаний и пережитого ужаса. Он будто был плотно обтянут кожей, удерживавшей его в пустоте, в которую с трепетом ниспадало его истинное «я». И в этом пергаменте он чувствовал себя бесформенным, как желтовато-молочная жидкость, вытекающая из коконов и камер окукливания, если их раньше времени вскрыть. Иногда, споткнувшись о брусчатку, чувствуя удары по спине во время приступа кашля, повиснув на перекладине в

спортзале — на которую если и получается забраться, то не слезть уж никак, — он снова видел ту темноту, гигантские расщелины, в которых вертелись и змеились нити бытия. Или, заглядывая в витрину магазина, видел собственное отражение, а за ним — не случайную машину, не заурядных прохожих, не полицейского, а рев и грохот веретена запредельности. В комнате у него, как и во всем тетином доме, не было зеркала. Тщеславия она не любила. И видел он себя мало. Похудел. Начал носить длинные брюки.

В военные годы уроки закона Божьего назывались просто «Писанием». На них читали и обсуждали Библию. Уроки же латыни сводились к заучиванию и пропеванию слов. И мисс Мэнсон, и мистер Пасториус учителями были хорошими: знали не только как втолковать свой предмет в головы обучающимся, но и как встроить его в их личности, в тот фундамент, который закладывает школа. Мисс Мэнсон рассуждала о любви доброго Бога Отца, пересказывала истории из Ветхого Завета, о первых мужчине и женщине в еще не омраченном грехом Саду, о змие, плоде, фиговых листках, стенах, вратах и ангеле с мечом огненным. Была и история о Ное и Потопе, и в тетрадях на линованной бумаге надо было

изобразить деревянный ковчег, плывущий по голубым волнам. Джош Агниц заслужил похвалу: его ковчег шел бурной ночью по черным водам, на носу был фонарь, а на небе — серебристая луна. А еще они рисовали жену Лота, которая превратилась в соляной столп, оглянувшись на сожжение Содома и Гоморры. И ангелов с огромными белыми крыльями. Мисс Мэнсон принесла репродукции картин кисти Яна ван Эйка, Джотто, Фра Анджелико — показать, как красоту мира иного и вечного представляли люди в другие времена. Пьянство Ноя и особое беспутство Содома пропустили. Зато все рисовали радугу. Бог обещал Ною, что всегда будет заботиться о земле и ее обитателях. На железные дороги, сталелитейные заводы и жилые кварталы меж тем падали бомбы. Люди злы, говорила мисс Мэнсон, но всем воздастся по заслугам.

Пришел черед истории об Аврааме и Исааке. Рисовали Агарь в пустыне и снова ангела, на этот раз заставившего мать вернуться к ребенку, которого она бросила, ибо не могла смотреть, как любимое чадо умирает. Господу нужно верить, заметила мисс Мэнсон. Вера Агари была слаба. Девяностолетняя жена Авраама родила ему сына Исаака, когда он и сам был уже глубоким ста-

риком. Хотя, возможно, в те времена считалось по-другому. Вот наконец дошли до жертвоприношения.

> *И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.*
>
> *Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.*

Еще сюжет для рисунка: мальчик с дровами за спиной, его отец с ножом, ангел, овен, запутавшийся в кустах рогами.

Джошуа долго думал, как объяснить здесь овна, даром что все в этой истории было подчинено сверхъестественной воле и произвольным силам. Мальчик впервые вступил в спор: до этого не спорил никогда. Помнится, прежде вслух свое мнение он не выражал. И вот он сидит и не рисует ни дров, ни перьев ангельских крыл. Мисс Мэнсон прошла между партами, увидела пустую тетрадь, наклонилась. Жарко-рыжие волосы пострижены в каре «под пажа» и на лбу завиты так, будто это небольшие рожки. На них покои-

лись очки в черепаховой оправе. На самóй мисс Мэнсон был чудной твидовый костюм, испещренный ржавым и зеленым, от которого пахло нафталином…

— Сегодня нет вдохновения, Агниц?

— История мне не нравится, мисс.

— Но это Слово Божье, Агниц. И дело не в том, нравится оно или не нравится. Следует понять его, истолковать, а потом из него почерпнуть. А что тебя смущает?

— Почему Бог искушал Авраама, мисс? Искушает-то Диавол. В истории с райским садом ведь так? Почему… почему он приказал… и как Авраам мог… убить…

— Любимого сына? В Писании ясно показано, что Авраам сына любит, несмотря на готовность принести его в жертву. Но ведь от всех нас, Агниц, требуется жертва. И разве она будет подлинной, если мы жертвуем не тем, что любим? От Авраама потребовали величайшей жертвы — любимого сына. И такое, молодой человек, сегодня сплошь и рядом: юноши уходят воевать, защищая нашу свободу, однако их женам и матерям нельзя впадать в уныние, ибо так надо.

— Но…

— Опять «но», Агниц?

Педагогом она была крепким. Тревоги учеников ее не касались. Свет особого обаяния, думал он потом, от нее все же исходил, как и от мистера Пасториуса. Но и этот свет поглотила его тьма.

— Но по-моему, слово «искушение» здесь очень точно. Ведь, искушая, заставляют человека делать то, чего не надо. И ему не надо бы.

— В молитве Господней нас учат просить у Господа: «Не введи нас во искушение». И искушение в данном случае значит испытание.

— Но это означает именно *не* делать. Мы просим *не* ввести в искушение. Просим не искушать.

— Мало кто из нас столь же благостен, мудр и свят, как Авраам. Мы недостаточно чисты, чтобы всецело препоручить себя воле Божьей.

— Мне кажется… — начал мальчик, растягивая слова.

— Ну-ну, я слушаю.

– *Мне* кажется, что в Бога проник Диавол и на время одержал верх. Просить Авраама о жертве — настоящее зло.

— Нет-нет! Это грех, это малодушие — думать, что Бог способен на зло. Он есть само добро. И с Авраамом Он поступил так, как следовало. Жертвоприношение было готово, ангел отвел руку, Исаак остался жив.

— И потом, может, всю жизнь ненавидел отца.

— Нет-нет! Он тоже был избранным, святым человеком. В нем была вера, и он доверял и земному отцу, и Отцу Небесному. В чем ценность послушания, если слушаться приятно и легко?

Чернота кипела внутри его и снаружи. В ноздрях — запах нафталина и шерсти. Для наглядности мисс Мэнсон показала им открытку с изображением этой сцены.

Позже он узнал, что это было «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Ангел выступает из черных грозовых туч. Правой рукой хватает Авраама за мощную кисть. Кривой нож, наточенный до жути, навеки повис в свободном падении на фоне окружающего их ландшафта. Бородатый Авраам, сосредоточившийся на задуманном деле и потрясенный явлением ангела, обращает лицо к нему и прочь от мальчика. Тот же, облаченный в одну только набедренную повязку, лежит спиною на дровах. Лица не видно. Левая рука Авраама — смуглая поверх белого — зажимает лицо отроку, голова которого откинута назад, задавлена. Авраам не видит лица сына, а Исаак не видит ножа. Только растянутая белая шея. Убийство и жалость. Мальчик, Джош Агниц, увидев эту картину, проникся той всепоглощающей и

пугающей жалостью, с которой мужчина теперь смотрел на него, такого далекого. Он вглядывался, а затем все мышцы свела судорога, его вырвало, пошла пена, нутро не выдержало, он ушел в темноту, бурную и гулкую. Бог поступил дурно, зло — это Бог, визгливо повторял он, удаляясь то ли куда-то ввысь, то ли просто в свод своей головы. Неизвестно, и спросить не у кого. Больше ни с кем он об этом не говорил. По крайней мере, не помнил.

Впоследствии этот эпизод вошел в составленный им строгий и подробный отчет о неотвратимости своей судьбы. Все мы рассказываем сами себе историю собственной жизни, отбирая и подкрепляя одни воспоминания и отправляя в небытие другие. Всех интересует причинно-следственная связь. «Из-за того что у меня был хороший учитель латыни, завладевший моим умом с помощью скандирования грамматических правил, я стал теологом, а избрав латынь, я отказался от наук о Земле, плоти и космосе». Всех интересует и чистая случайность, которая проявляется в жизни так же убедительно, как и причинно-следственная связь, и даже походит на нее, как будто и то и другое в равной степени — результаты божественного вмешательства.

Большинству из нас знаком тот душевный трепет, который чувствуешь, когда из целой библиотеки случайно выбираешь нужную книгу и — безошибочно, заметим, но что это значит? — открываешь ее на той самой нужной странице. В «Тысяче и одной ночи» говорилось, что у человека Судьба написана на лбу и его характер, его натура есть Судьба, и ничего более. Мальчик, мужчина, как Джош Агниц, Джошуа Маковен, который оказался в море тьмы, бушующем за прозрачным зеркалом хрупкого окна, до сих пор, быть может, плетет из мгновений осознанного выживания тонкий подвесной мост личной судьбы, узкую тропку творимого света, дугою прокинувшуюся над бурливым и кипящим безумием.

В школьные годы битва Джоша Агница вспыхивала в воздухе и низвергалась с небес на землю криком и жаром. У всех было мимолетное ощущение судьбы, у всех была своя «удача», которая спасла дом, или свой рок, превративший будничное в пыль и руины. Мальчишки бегали, распростерши руки темными крыльями, гудели и ревели: истребители, бомбардировщики, «спитфайры», «харрикейны», «бофайтеры». Жизнь брезжила «реальностью», но нереальной, отличной от обыденной.

Он открыл для себя старые сказки, в которых гигантские змеи обхватывали берега, а обессилевшие боги терпели поражение. Он читал их, когда над крышей, близко-близко, рычали и кружили бомбардировщики. Он знал, что в этих сказках заключена истина. В 1968 году ребята, живущие на Хэмлин-сквер, слушали истории о мрачной судьбе и вселенской битве, устроившись на уютных диванчиках у камина и поедая тосты с медом. Во тьму они окунались ненадолго, с волнением и дрожью, как пловцы в холодную воду, разбивавшуюся о волнорезы, и возвращались на солнечный песчаный берег, вытирая мокрые спины и волосы. Да, у Лео и Саскии, Тано и Климента уже были свои раны, была у каждого своя судьба. Но они верили в подушки, камин, хлеб, мед, молоко. Мальчик Джош Агниц находил утешение в древних легендах, потому что они точно обрисовывали мир, в котором он жил.

Он увидел связь между потерянной отцовской открыткой с отсылкой к Книге Бытия, картиной Рембрандта и перепалкой с учительницей. Его одновременно и избрали для жертвы, и спасли от сожжения. Много позже, в очередной лечебнице, ему посоветовали «терапию творческим самовыражением». С большим удовольствием

он рисовал неистовство полной луны, прикрытой пятипалым облаком, которое, будто длань, пыталось погасить светило. Теперь-то он знал, что это означает. Пятно. Но мальчишкой еще не понимал.

Он начал слышать голоса — так говорилось в истории его судьбы — вскоре после перепалки на «Писании». Звучали они не «в голове», но где-то там, как ангелы, являвшиеся Агари и Аврааму. Иногда он будто бы «подслушивал» их. Они ссорились, как ссорились отец и мать (случалось). Он задирал голову, чтобы уловить их разговор, и это раздражало тетю и учителей. Пришлось научиться слушать не шевелясь. Когда голоса говорили, обычного мира он не слышал. Один голос выделялся: он назвал его искусителем. Голос этот распоряжался четким, ясным, бесстрастным тоном. Велел выйти на дорогу прямо навстречу школьному автобусу. Велел открыть окно и выйти в темноту. Там, в ней, возможно, стоит Другой. Чего тебе терять? Еще один голос, придушенный, говорил урывками: «Нет, не надо», «Садись в автобус», «Помни», не уточняя, что именно помнить. Иногда они всем скопом визжали и свистели, и приходилось затыкать уши. В другом, привычном мире он мог бы рассказать о голосах тете,

но сами они напоминали ему, что она и так его недолюбливает.

Искуситель всегда говорил на хорошем английском. Когда вернулся Другой, тот близнец, что передал ему в руки тьму, он сначала не узнал его, потому что тот говорил на латыни. Мужчина знал, что мальчик слышал слова на латыни, которые не мог ни понять, ни истолковать, но которые, если найти в словаре и записать, приобретали значение и смысл.

Языки, говорил мистер Пасториус, показывают, что наши представления о мире ограниченны. Вы должны научиться точно и красиво переводить с английского на латынь и с латыни на английский, но ни в коем случае не следует думать, что между этими текстами ставится знак равенства. Мысли человека, думающего на латыни, не совпадают с мыслями человека, думающего на английском. Во-первых, форма слов и предложений влияет на форму мыслей. Во-вторых, отдельные слова перевести невозможно, так как они существуют только в том языке, в котором возникли. Кроме того, более поздние языки частично основаны на латинских словоформах, которые они вобрали в себя и трансформировали. Знать латынь, ребята, — значит отчасти знать

историю нашей родины, ее корни и истоки. Латынь — один набросок форм мышления и речи, на который наложена другая, германская форма. К примеру, слово «трансформировать» состоит из двух латинских слов: *trans* — «через» и *formo, formo, — avi, — atum* — «образовывать».

Французский, испанский, итальянский, португальский и другие так называемые романские языки, рассказывал он, восходят к латыни более непосредственно, чем английский. В английском же многое можно выразить двумя способами, ведь это язык-метис, в котором есть англосаксонские, скандинавские и германские корни.

Я надеюсь, ребята, что сумею побудить вас — хотя бы некоторых из вас — иногда думать на латыни.

Так, вы перестанете считать, что английский язык — эталон здравого смысла.

Мальчик, который сам был нераздельной помесью внутреннего и внешнего, вообразил, во многом используя размышления мистера Пасториуса, иной мир, сотворенный другим языком, с другими правилами. Так было проще вырваться из связывающих его пут, переделать себя. И он слушал.

Они произносили нараспев предлоги, требующие после себя аблятива, положив их на выдуманную мистером Пасториусом мелодию.

A, ab, absque, coram, de

Palam, clam, cum, ex и e

Временами sub, super, subter

Обсуждали слова, в структуру которых входят предлоги. Многие из вас сейчас в эвакуации, рассуждал мистер Пасториус. Слово это состоит из *e,* что значит «из», и *vacuus,* что значит «пустой». Того же корня слово «вакансия», а также «вакуум», та самая пустота, о которой пишут в учебниках физики.

В представлении мальчика Джоша о своей судьбе слово «эвакуация» имелось, и оно означало, что он выброшен в пустоту. Позже он понял, что все наоборот: пустота — это откуда он пришел.

Когда мистер Пасториус начал рассуждать о таблетках, которые надо принимать перорально, по классу прокатился смешок. Значит же это, что ее просто надо проглотить. Источник — латинское слово *ora,* «рот». *Orare* — «молиться»,

«говорить». Отсюда — оратор. *Ora pro nobis*[30], сказал мальчик-католик. Ты уже думаешь на латыни, похвалил его мистер Пасториус. Молодец!

На дом было задано найти другие слова, начинающиеся на *e* или *ex*. Сначала, пояснил мистер Пасториус, запишите те, которые вспомнили *без* словаря. Затем возьмите его. И соединяйте слова. Это поинтереснее игры в лото. А «лото» тоже из латыни? Это спросил один остряк. Нет. Это староанглийское слово, оно происходит от *Llot,* что означает «судьба», «участь». В качестве жребия тянули ветки или соломинки. Возможно, оно связано с древнескандинавским *hlant* — «жертвенная кровь». Тут французский и итальянский, что бывает редко, почерпнули из английского. Латинское — *sors, sortis. Sortes virgilianae* — это своего рода лотерея, которая заключалась в том, что наугад открывали одну из книг Вергилия и вычитывали предначертания судьбы.

Мальчики пришли на урок со словами словно с корзинами, полными ежевики. Фрагменты бесконечной мозаики. Эволюция, элиминация (от *limen* — «порог», волшебное слово, молодец),

---

[30] Примечания: 30
Молись о нас (*лат.*). Частое восклицание в католических молитвах.

эрудиция, экспедиция, экскурс («отклоняться от курса — я так порой делаю, когда вам что-то рассказываю»), эксперимент, эксгумация…

«Эпилепсия», предложил Джош. Нет, это от греческого *эпи* — «на, над, после», возразил мистер Пасториус.

Вдруг смуглый мальчик по фамилии Шеттак, капитан команды по регби, произнес: «Экзекуция».

И снова этот шум в ушах. Порой — не всегда — воспоминания возвращались.

— От *ex* и *sequor* — «следовать», «исполнять». Например, исполнять наказание, Шеттак.

— Или же казнь, сэр.

— Это производное значение. В некоторых случаях приговор действительно был смертным.

Эвакуация, экзекуция, эксгумация. Экскурс.

Ну что же, расскажу вам еще про одно — очень редкое — слово. Оно мне особенно близко, продолжал мистер Пасториус, и это слово «эгрегация». Оно состоит из *ex* + *grex, gregis,* что в латыни означает «стадо». Моя же фамилия — от латинского *pastor,* то есть «пастух». Эгрегация — это буквально выделение из стада, из общей массы. Вам лучше знакомы однокоренные с ним слова: *сегрегация,* буквально «разделение», и *конгре-*

гация, «скопление», «собрание людей». С одной стороны, выделяться из массы, быть непохожим на других — это хорошо, но с другой — отбившуюся от стада овцу волки съедают первой. Да, так работает человеческое мышление. И за многими абстрактными понятиями стоят вполне осязаемые вещи — овцы, пороги, рты. А древние предки наши были по преимуществу пастухами, земледельцами, каменщиками.

И воинами, сэр.

Да, Шеттак, и воинами.

Именно в это мгновение — не когда упоминали экзекуцию и ему пришлось вцепиться в парту, хорошо, что выдержал, — а теперь, в разговоре о пастухе, эгрегации и конгрегации, он прозрел выпавший ему жребий. Ибо нечто, что плело языки на двух станках — зримом, обыденном, здравом и запредельном, экстравагантном («блуждающим за пределами»), создающем незримую изнанку гобелена, — открывало ему смысл посланий. И то, что из отбившегося от стада овна, запутавшегося рогами, он стал агнцем, тоже случайностью не было. Не просто так он попался, совершив экскурс и оказавшись в эвакуации. Мисс Мэнсон же олицетворяла христианство, она говорила от имени кроткого Агнца, Сына Человеческого. Но

Агнец этот втайне был Овном, знавшим страшную правду о том, что приказы, исполненные и его отцом (Авраамом), и чудовищем в парике, осудившим его от имени Сына Человеческого, были приказами Бога, который одержим, покорен и поглощен Злом. Бессильные ангелы и рогатые твари, беспомощно запутавшиеся в зарослях, извека противоположены Силам, которыми им никогда не овладеть, — Силам, осуществляющим элиминацию, эксгумацию, а затем эвакуацию, исторжение черной мертвой материи.

VIII

О поре поздней юности Агниц помнил меньше, чем о детстве: похоже, шоковая терапия выжгла из памяти многое из происходившего в те смутные и тяжелые — это запомнилось — времена. Старшие классы пришлись на 1943-й, переломную для войны пору, а аттестат о среднем образовании он получил уже в 1945 году, ознаменовавшем возвращение к мирной жизни. В 1949-м начал учиться на теолога в Университете Дарема. Эти сведения имелись на бумаге, все аттестаты сохранились, внешне — биография обычная, скупая на события. Но совсем иначе все отложилось в памяти.

Каждое воскресенье тетя водила его на утреннюю службу в местный храм Святого Иоанна Богослова. Прилежная прихожанка, церковная тихоня, после службы она убегала, чтобы никто, не дай бог, не начал лезть с неудобными вопросами. Походы в церковь были частью той бесцветной обыденности, в которой она решила спрятать мальчика, и поэтому сидели они на последней скамье, а расспросы прихожан пред-

восхищали быстрой ретирадой. Со смущением он вспоминал, как сильно тетя его стыдилась. Как однажды густо покраснела и уперлась подбородком в грудь, когда он запел, громко и звучно. Петь ему нравилось. Церковь была небольшой; какое-то время он пел в хоре. Знал, что тете видеть его там, в ярко-белом облачении, было неприятно (он мог живо представить, как светлые волосы мальчика лежат на складках робы, но когда волосы поменялись?). Под покровом белизны, чистоты и запаха крахмала он привлекал меньше внимания, чем в плотном сером, не по размеру пиджаке. Однажды он солировал, пел *Agnus Dei qui tollis peccata mundi*[31]. Но вот произошло нечто ужасное. В памяти ничего не осталось, только растерянность в добро-белесых глазах викария.

Церкви он до конца не понимал. Ему казалось, что именно там грозная пустота, в которой он принужден блуждать, была реальной, общепринятой. Иногда он чувствовал, будто Церковь — крепость, защищающая от демонов тьмы, а иногда, что сама она — источник их силы. Признавая их бытийность, она подпитывала, укрепляла

[31] Примечания: 31

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира (*лат.*). Строка из католической мессы.

их власть. Храм его прихода был старинный, с квадратной башней и круглым портиком. Два окна с витражами, остальные — из обычного сероватого стекла. Один витраж, старинный, изображал Распятие: висит худощавый, скрюченный человек, голова его, утыканная колючками, свесилась набок, грудная клетка растянута, ноги и руки прибиты огромными гвоздями к темному дереву. Кровь течет гирляндами — по лицу, из зияющего в боку отверстия, по черному дереву из перебитых ног, из пронзенных ладоней, — течет по кобальтовой синеве неба. Лицо — застывшая маска. Вверху — черное солнце. Окно было маленькое, и на нем поместился только он — ни скорбящих, ни мучителей, ни ангелов. И оно же было очень темное: лишь в безоблачную погоду, в полдень витраж можно было разглядеть во всех подробностях.

Другое витражное окно было выполнено в эстетике прерафаэлитов и отличалось исключительной жизнерадостностью. С сияющей улыбкой, золотоволосый, в белом одеянии и с распростертыми руками, Христос стоял в вихре кружащейся листвы, изумрудных листьев и виноградных гроздьев, сияющих рубиновым, аметистовым и неестественным темно-синим

цветом. Под изящными бледно-босыми ногами на развевающейся ленте красовалась надпись: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь»[32]. Создавалось впечатление, что перед нами некий лиственный человек: пальцы сплетались с ветвями, усики вьюнка опутывали волосы и бороду, обвивались вокруг шеи, талии, запястий.

Если бы жестокость внешнего мира должна была проникнуть в храм, то вошла бы она через старое окно — как ловкие и проворные персты потопа. Тьма была *там*.

Викария звали Денис Литтл. Маленького роста, худощавый, светловолосый, без семьи. Он был робким сторонником дореформационных традиций богослужения. Впрочем, подлинной духовности Джошуа Маковен в нем не обнаружил, лишь неясное беспокойное томление. Ему неведомо, решил Джошуа (не ведая, что решил), какие силы буйствуют во вселенной. Толстые стены храма — защита сомнительная. Джошуа Агницу не раз снилось, будто церковь — это бумажный пакет, наполненный воздухом, надутый, запечатанный, и темнота может хлопнуть — как

[32] Примечания: 32
Ин. 15: 1.

мальчик, взрывающий такой пакет, — выпуская негромкий выдох запертого воздуха. Денис Литтл повесил над алтарем репродукцию работы Яна ван Эйка «Поклонение Агнцу Божьему», оригинал которой находится в Гентском кафедральном соборе.

Овен, он же Агнец, с благодушным, но строгим видом стоит на алого цвета столе, от головы его исходят лучи золотистого света. Вокруг преклонили колени прекрасноликие ангелы. Из аккуратного отверстия в груди исправно бьет в золотую чашу струйка крови: вокруг багрового натека танцуют сверкающие брызги. Вид круглого отверстия в шерсти и плоти животного вызывал у мальчика тошноту. Именно в это время, считал мужчина, он начал видеть кровь, стекающую струйками, густеющими ручейками, быстро движущимися полосками. По беленым стенам храма, по стеклу в раме, прерывающему образ Агнца.

Денису Литтлу Джош Агниц нравился. Он побудил его пройти конфирмацию. Анджела Агниц была против: утренней молитвы, церковных ярмарок и приходских игр в вист было достаточно для нее — а значит, и для него. Зачем перегибать? Сам Джош Агниц не знал, хочет он конфирмации или нет. В то время он начал увлекаться ни на что

не похожим языком церковных служб и Библии. Ему нравилось твердить мистеру Литтлу старинные фразы, истертые, как монеты с профилем юной королевы Виктории, которые в те дни еще попадались. «Я молю Бога, чтобы Он послал нам все потребное душе и телу, чтобы был Он милостив к нам и простил нам грехи наши и чтобы пожелал спасти и защитить нас от морока и от напасти, чтобы сохранил нас от всякого греха и нечестия, и от врага незримого, и от вечной смерти». Заучивал он с легкостью, а декламировал с чувством. Денис Литтл одобрительно гладил его по плечу. Нервные пальцы трепетали и играли на пиджачном плече с накладкой. В глубинах плоти мальчик начал различать едва слышный шепот, призрак зова, но тут же его заглушил. Однажды дрожащей ладонью викарий коснулся его щеки. Опустив глаза, он оттолкнул руку. Больше такого не повторялось.

В это время он начал создавать собственное писание. «Вот слово Джошуа, который должен был стать Овном, но был эвакуирован с поприща Жертвы. Я держал в руках тяжкую сферу Тьмы, и глаза мои видели клинок Света, которому суждено рассечь ее». Голоса говорили с ним, а рука прыгала над линованной тетрадью. Не пиши,

не сейчас, это опасно, воздержись. Время еще не пришло. Письмо не умиротворяло.

В поисках знамения он проштудировал всю ветхозаветную книгу о своем тезке Иисусе Навине[33]. Почему ему дали именно это имя? Выбрал его отец. Для конфирмации нужно было знать, как его нарекли при крещении. Но своих крестных, если они были, он не знал. Денису Литтлу он признался, что его родители умерли. Научился пресекать любые расспросы о них. И каждый раз, когда он отмахивался от этих вопросов, какая-то частичка его сущности онемевала и усыхала.

Иисус Навин же был суровым судиею. Он спросил у человека с обнаженным мечом в руке: наш ли ты или из неприятелей наших? То был вождь воинства Господня. Ангел то есть, решил Джош Агниц. Под водительством Бога Иисус Навин разил и истреблял, побивал камнями и жег огнем, обрезал и сделал целый холм из крайней плоти. Иисус Навин спокойно обратился к Ахану, сыну Хармия, спросив, взял ли он из заклятого. И тот

---

[33] Примечания: 33

В англоязычной Библии Иисус Навин фигурирует как *Joshua* (Джошуа). Ветхий Завет переводился на английский с древнееврейского, в то время как Новый — с греческого. Отсюда принципиальное отличие от греческого, русского и других славянских вариантов, в которых имена Иисуса Навина и Христа совпадают.

признался, что взял прекрасную вавилонскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей и спрятал их под шатром своим. Тогда Иисус Навин и все израильтяне побили Ахана и его семью камнями, «и сожгли их огнем, и наметали на них камни».

Иисус Навин вообще к камням относился по-особому. Он вешал царей и замуровывал их в пещерах, закрывая входы каменными глыбами. Он сделал жертвенник из цельных камней, «на которые никто не поднимал железа», и совершал на нем жертвы и всесожжения Господу. На камнях он приказал высечь Закон Моисея. Он обрушил каменные стены города Иерихона звуками труб-рогов. Он остановил солнце и луну, и народ его мстил врагам и истреблял их. Сам Господь помогал Иисусу Навину в его жестоких деяниях: «бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом».

И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим…

И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь слушал бы

гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля.

Но в Книге Иисуса Навина не было ни слова о том, что же такого натворили его враги, за что были истреблены. Враги — и всё.

И Иисус Навин нес свое имя как тяжкий камень. Лишь раз проявил он милосердие, дав скрыться в убежищах тем, кто убил непреднамеренно, «чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла; пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь».

Мстящий за кровь подстерегал его в темноте. Он забрал отца, он и был отцом, который оказался орудием в руках мстящего за кровь, ибо он слышал тот же голос, что ликовал при беспощадном побивании камнями и сожжении. Убежище — только для тех, кто действовал по ошибке. А он и сам был в крови. Особенно тяжкими днями он чувствовал ее запах: ссохшейся в складках одежды, коркой застрявшей в волосах, темнеющей под ногтями.

Чтение Библии, считал Денис Литтл, для растущих мальчиков душеполезно и утешительно. Ведь во всем скрыт божественный замысел, а добро восторжествует, добро проложит путь

сквозь тьму истории. Господь сейчас с нашими храбрыми летчиками и моряками, с Красной армией, проносящейся по Восточной Европе. Грядет справедливый мир, и Господь не допустит, чтобы Его народ проиграл. Кровожадные нацисты терпят крах.

Иисус Навин побил бы их камнями. А потом сжег.

Великодушие – это раззявленный рот, разодранный, с вырванными вставными зубами.

Его убеждали, что Бог теперь — висельник, безвольно болтающийся на мрачном дереве. Дружественный дух вошел в плоть и кровь и стал жертвенным Агнцем для сожжения, кровавой пищей — но не для «вражеского духа», а для Бога Воинств, мстящего за кровь, который, насытившись той плотью, перестанет побивать камнями, и жечь, и закапывать живьем.

Не Бог Иисуса Навина, думал мальчик, а он сам — злой, невидящий, не так понимающий. Церковь же — прохладное, благостное укрытие от непогоды. Он сам занес ненастье внутрь. И дух напевал у него в голове: Бог Иисуса Навина — зло. Его приходится поддерживать, подпитывать, ему

нужен обряд, жертвоприношение.

И вот настал день его первого причастия. В храме раздался голос — чистый, золотистый, сильный: «Не ешь плоти. Не пей крови. Стезя эта ложна».

Ему же протягивали — он *видел* — кусок окровавленного мяса с жиром и сосуд со смрадной, тягучей кровью.

Он рухнул к ногам Дениса Литтла. Болел в этот раз довольно долго и впервые попал в больницу. Воспоминаний о той поре почти нет. Ему было жалко, ужасно жалко ребенка, ставшего полем вселенской брани. Было и презрение с привкусом насмешки над церковной жизнью, в которой *все* дети, как говорят, были такими же полями сражений. Но все равно того, кто услышал и увидел страшные силы по ту сторону стекла, зла, мембраны, раны, отделявших его от прямого их воздействия, только лишь увезли в больничную палату — туда, где душевнобольные мурлыкали себе под нос, ловили воображаемых мух, прятались под кроватями и пулялись комочками еды.

Прежде чем быку на арене, читал он, будет шпагой нанесен *coup de grâce*[34], пикадор изматывает

---

[34] Примечания: 34
Удар милосердия (*фр.*), смертельный удар.

его многократными ударами, ему всаживают в бока бандерильи, которые остаются в мышцах и пускают теплую кровь по содрогающимся бокам. Он видел, что в больнице мальчугана тоже истощили до «нормального состояния»: электрошоком, словом и препаратами довели до неуклюжей заторможенности. Существовал он там впроголодь, знал, что бóльшая часть предлагаемой ему «еды» — яд, помнил четкий, золотистый запрет на плоть и кровь и питался вареными овощами, яблочным пирогом, до тошноты опасаясь, что нечаянно где-то окажется сало или молоко. Но в ту пору он и понятия не имел, кто говорит с ним этим золотистым голосом. Время еще не пришло. Заторможенный, вышедший из больницы, возможно, был порядком истощен судьбой, и он смог притвориться «нормальным», причаститься (мысленно повторяя: это хлеб, это хлеб, это мука и вода, это хлеб), обернуться бледным подобием человека, которого некое божество призвало изучать теологию.

Ибо даже в дни смерти, чувствуя, как пламя внутри его затухает и гаснет в тугом костюме из онемевшей и зачахшей материи тела, он знал, что он сын своего отца и должен принять опасное призвание — противостоять тьме и демонам.

Дарем был городом камней. Каменный собор и каменный замок князей-епископов возвышались на каменистом выступе над рекой, видном со всех концов миниатюрного городка. Камень не парил и не стремился ввысь, но казался грациозно-тяжеловесным. Вымощенные булыжником улицы вели к площади-лужайке перед собором. Джошуа Агниц, который крепче и крепче связывал все со всем, а о том, что не могло быть связано, забывал, представлял, как этими исхоженными булыжниками побивает грешников. Он представлял, как по ним текла кровь (а так и было), когда солдаты Кромвеля расквартировались в великом нефе собора. Неф, *nef, nave, navis,* корабль. Ковчег у горы Арарат. Вросший в землю. В каменном городе мужское население делилось на две группы: соборяне и шахтеры. Студенты университета также были преимущественно мужского пола. Собор, богословские школы, дом настоятеля — все жило своей жизнью меж камней. Раз в год шахтеры восставали из недр земли с яркими знаменами, собирались на холодном рассвете и роем устремлялись по булыжникам на фестиваль.

Теологи на шахтерский фестиваль не ходили, не ели, не пили в полумраке прокуренных кабаков. Собирались в учительских или трапезных.

Некоторых из них, как вскоре заметил Джошуа Агниц, отличала особая пресная духовность. Были просто прилежные, были и увлеченные. Порой юноша даже чувствовал, что счастлив, и в такие мгновения отвлекался, сходил с пути. Он вспомнил, как сидел в своей комнатке в Бейли, служившей одновременно и спальней, и кабинетом, и думал, что впервые с момента Эвакуации его не угнетало отвращение тети. Он чувствовал себя чище. Не таким плотским, не таким непристойным. Ел очень мало, и ощущение легкости крепло. Голоса говорили с ним, велели не прикасаться к плоти и крови. По пути на лекцию он проходил мимо рыбной лавки. Увидел глаза свежей сельди с желтоватым пламенем вокруг зрачка, увидел синевато-серую и оливковую рябь на ртутно-стальной чешуе лоснистой скумбрии.

Его замутило. Представил молоко, вытекающее из теплых, сдавленных *кем-то* сосков пахучего коровьего вымени, и выпил воды. Все, что решил, принесло облегчение. Голоса пели, проносясь мимо него неровной стаей птиц вниз по лестнице, гудели, как линии электропередач между громадными пилонами собора.

Друзей у него быть не может, он и не надеялся. Прежде был один друг, и его мать, живая, улыб-

нулась, закрывая дверь, — то было последнее мгновение привычной жизни. А уже глядя в темное окно, спиной к кровати и лежащим на ней телам, он знал, что дружбы больше не будет. С тех пор он ступил на мрачную, одинокую стезю, один навсегда.

Впрочем, его однокашники ничего этого не знали и не относились к нему, подобно тете, как к какой-нибудь мокрице. То были воспитанные в Христовой вере юноши, и они как ни в чем не бывало брали его с собой на прогулки посмотреть Адрианов вал или святилища богу Митре. Звали выпить кофе или какао после ужина, а потом интересовались его мнением по духовно-нравственным вопросам: о безбрачии духовенства (среди них были приверженцы дореформационных традиций), о природе греха, об истинности воскресения. И он обнаружил одну странность: говорил он мало, но, когда говорил, гул голосов всегда стихал, лица обращались к нему, как раскрывающиеся цветы, глаза распахивались. Внимательное безмолвие — ему нравилось его слышать. Он был силой, действующей в пространстве между своим разумом, своим голосом и теми, кто слушал. В этом наэлектризованном эфире впервые он ощутил роковое счастье.

Таким же счастьем было чтение. Какое-то время — по меньшей мере год он пытался восстановить в своей поврежденной памяти образы тех давно канувших в Лету размеренных дней, — какое-то время он был прилежным, даже выдающимся студентом. Много времени проводил в библиотеке, меж книг, оставшихся потомкам от монахов и богословов, и с гордостью читал и по-английски, и на латыни. Он писал вдумчивые сочинения по вопросам вероучения и истории христианской веры — сочинения, которые впоследствии ему было велено сжечь и развеять по ветру, но которые дарили ему, вспоминал он с тревожным содроганием, чувство порядка, принадлежности к общине, многоголосия, сливающегося в хор языков и гармонию звуков. Перо его носилось по листам тетрадей, и казалось, что и библиотека, и даже то, что снаружи, пребывает в равновесии, суть части божественного и человеческого миропорядка. В те дни он читал Беду Достопочтенного. Его сокурсники романтически благоговели перед великими людьми, которые работали, или умерли, или похоронены в тех святых местах. Надгробие Беды, простое и черное, находилось в Галилейской часовне собора. *Haec sunt in fossa,*

Bedae venerabilis ossa[35]. Где-то у Беды он встретил образ воробья, влетавшего из тьмы в освещенную комнату, а затем — обратно в ночь. Образ его тронул.

И слышен глас: Адеодат!

Данный Богом. Это о нем? Это он — дар Бога людям, призванный стать Его служителем?

Лишь потом он узнал, что так звали сына Блаженного Августина, погибшего в возрасте пятнадцати лет. Вместе с ним почтенный монах писал «Беседы души с Богом». Мужчина в лечебнице «Седар маунт» держал под кроватью две книги, испещренные пометками. «Страх и трепет» Сёрена Кьеркегора и «Исповедь» Блаженного Августина. В обеих книгах страницы были густо испещрены его собственными записями. И тогда, и теперь ему казалось, что обе книги — таинственные послания, адресованные лично ему, двусмысленно назначенные для его спасения и его гибели. Обе книги ему посоветовал прочесть его наставник и преподаватель доктор Джон Бёрджесс, которого все называли отцом Бёрджессом.

Он обладал обаянием мистера Пасториуса и

---

[35] Примечания: 35

В этой яме лежат кости Беды Достопочтенного (*лат.*).

мисс Мэнсон, но в силу своего образования еще и умел им пользоваться, а также деликатно его притушевывать в случае необходимости. Он был смугл и аскетичен, застегивался на все пуговицы, носил широкополую черную шляпу и аккуратно подстриженную черную бородку. Отец Бёрджесс ощутил смятение Джоша Агница, не зная его причин, и вознамерился выведать тайны его души, действуя ненавязчиво, апофатически, *не* спрашивая, *не* настаивая, прислушиваясь к каждому слову. Редко он говорил (но слова эти Джош запомнил хорошо): «Такие люди, как вы, с несомненным призванием…», или «Я знаю, что ваша духовная жизнь — бурный поток», или «Из вас выйдет хороший священнослужитель. Я заметил, что вам доверяют, и в вас есть необходимая сдержанность, вы умеете хранить тайны».

До слов отца Бёрджесса Джош Агниц и не помышлял о том, что может пользоваться особым доверием окружающих. Правда, один из сокурсников как-то попросил его провести с ним вечер и делился своими переживаниями и сомнениями, а другой, когда они прогуливались у реки Уир, взял Джоша Агница за руку и спросил: неужели являющиеся по ночам видения тел других юношей — это действительно зло? Было и так, что

его товарищ, игрок в крикет по имени Реджи Бут, зачитывал Джошу Агницу вслух письма от своей невесты, студентки из Рединга, в которых она без тени смущения и не без удовольствия описывала ухаживания со стороны других мужчин и яростно осуждала лицемерие Церкви. Джош слушал и переносил все эти дела в свободное пространство внутри себя, а затем обособлял их и как бы просвечивал своим воображением.

То не было «сочувствие», ведь ничто в нем не отзывалось, ничто в его обособленном «я» не побуждало прикоснуться к чужой боли. Собеседникам он вещал как бы из своего небытия. Первому он сказал, что надо прислушаться к своим сомнениям, не заглушать их, иначе они обернутся демонами. Второму наказал видеть разницу между юношами реальными и воображаемыми. Сквозь же возражения невесты из Рединга пришлось простегиваться портновской иглой: «Вот здесь видно, что она *очень взволнована*», «Тут она нарочно ранит. Не отвечай». Реджи Бут недоумевал: откуда ты знаешь? Просто слушаю, как каждое слово ощущается.

Но перед отцом Бёрджессом обнажать душу он не собирался. От людского любопытства она была хорошо закрыта, крепко укутана. Откуда-то

из самых глубин его отгороженности появлялись дразнящие подсказки или просто безумства — он и сам не мог разобраться. Снова и снова мысли возвращались к Аврааму и Исааку. Зачем доброму Богу искушать избранника, преданного раба своего, толкая на убийство?

Именно тогда отец Бёрджесс посоветовал ему прочитать «Страх и трепет»: там Кьеркегор разбирает историю Авраама и Исаака, представляя патриарха «рыцарем веры»: прославлять его надлежит не за покорность воле Божьей, а за такой порыв безмерной веры, который обычному человеку показался бы безумием.

С той же жалостью, что он испытывал к дрожащим ляжкам полноватого мальчугана, беспомощного замершего у кровати, мужчина в больнице вспоминал и юного студента, засевшего в библиотеке и пишущего свою работу на тему «Credo quia absurdum»[36], пытаясь угодить отцу Бёрджессу. Аскетичный режим питания довел юношу до худобы, пусть и не угловато-рахитичной, которой он отличался позднее. (У Агница-Маковена всегда была эта тягостная способность видеть себя со

[36] Примечания: 36

«Верую, ибо нелепо» (*лат.*). Слова, приписываемые одному из Отцов Церкви, раннехристианскому богослову и апологету Тертуллиану.

стороны, из другого времени и пространства.)

Герой произведения Кьеркегора, писал худощавый студент, готов признать, что вера и безумие чрезвычайно близки, как две стороны мембраны. «…Я могу примириться со всем, даже если этот ужасный демон ужаснее, чем череп с костями, который пугает людей, даже если само безумие будет держать у меня перед глазами шутовской колпак и я пойму по выражению его лица, что колпак этот будет надет на меня, — все равно, даже в этом случае, я могу спасти свою душу, если для меня важнее, чем мое земное счастье, будет сознание, что любовь моя к Богу побеждает во мне… через собственную силу я не могу получить ни малейшей доли из того, что принадлежит конечному; ибо я постоянно нуждаюсь в этой моей силе, чтобы от всего отречься»[37].

Худощавый юноша в сдержанном порыве понимания объяснял, представляя идеи своей работы перед аудиторией, разницу, проводимую Кьеркегором между трагическим героем, рыцарем бесконечной покорности и рыцарем веры, который, подобно Аврааму, не мудрствуя, принимает тайну, готов потерять Исаака и точно так

[37] Примечания: 37

Здесь и далее цит. в переводе Н. Исаевой, С. Исаева (*Кьеркегор С.* Страх и трепет. М.: Культурная революция, 2010).

же готов принять его возвращение.

Кьеркегора такая вера Авраама ужасала:

> «Он знает, насколько прекрасно родиться в качестве единичного индивида, родина которого – во всеобщем, во всеобщем – его дружественное прибежище, которое принимает его с распростертыми объятиями, как только ему хочется немного задержаться в нем. Однако он знает также, что еще выше вьется одинокая тропа, узкая и крутая; он знает, насколько ужасно быть рожденным вовне, одиноко выходить из всеобщего, не встретив рядом ни одного путника. Ему очень хорошо известно, где он находится и как он относится к другим людям. С человеческой точки зрения он безумен и не может сделаться понятным ни для кого. И даже эти слова о безумии будут, пожалуй, слишком мягким выражением. Если его не рассматривать таким образом, он попросту лицемер, и чем выше уводит его тропа, тем более ужасным лицемером он становится».

Самое смелое в «Страхе и трепете», уверял своих слушателей худой белобрысый юноша, — это неожиданное уподобление рыцаря веры буржуа-филистеру. Этот довольный собою человек «радуется всему, во всем принимает участие». Он — библейский мытарь. Он делает свое дело. Ходит в церковь, а как иначе? Поет страстно, тренируя легкие. «После обеда он идет в лес. Он радуется всему, что видит: толпам людей, новым омнибусам…»

Задумайтесь, продолжал Джош Агниц, о тех, кто половину своей короткой жизни провел в свистящей праздности, о том, как *это,* по правде говоря, удивительно, что человек смотрит на мир с таким же удовлетворением, что и Бог во дни Творения. А затем — еще одна колкость Кьеркегора. Он продолжает описание непоэтичного, нетрагичного, ограниченного человека:

> «Ближе к вечеру он отправляется домой, походка его неутомима, как походка почтальона. По дороге он думает о том, что жена наверняка приготовила для него какое-то специальное горячее блюдо, которое ждет его по возвращении домой, например жареную баранью

голову с овощами… Кстати, у него нет, пожалуй, и четырех шиллингов, и все же он абсолютно уверен, что жена приготовила ему такой деликатес. И если она действительно это сделала, то, как он станет есть, будет поводом для зависти людей благородных и поводом для воодушевления людей простых – ведь аппетит у него получше, чем у Исаии. Если же жена не приготовила такого блюда, он – как ни странно – остается совершенно таким же».

Юноша прервался, руки чуть приподняты и ладонями обращены к слушателям — как у святых Кутберта и Освальда на изображениях в Соборе. Как жили в его памяти полные ляжки мальчугана, так же живо он помнил — казалось, помнит — почти прозрачные костлявые руки. Места, где пальцы смыкаются, на просвет красные. Белые костяшки. Юноша повторил: «Если же жена не приготовила такого блюда, он — как ни странно — остается совершенно таким же».

Жизнерадостный буржуа обычно ест — что? Жареную ягнятину. И не просто *агнца,* а его *голову*. Как тут не вспомнить застрявшего в зарослях

овна, зарезанного вместо сына, но который мог и вовсе там не появиться? Есть на блюде вкусная голова с овощами, и есть человек, у которого при виде ее слюнки текут, и он «остается совершенно таким же», если голова эта не появится.

Вот в чем загадка этого текста, размышлял Джош Агниц. Близость бездумной веселости и безмятежной веры, которая не задается вопросами, не заглядывает вдаль. Лилии и птицы, падающие на землю. Трудно до ужаса. Трагедия куда проще — Кьеркегор это понял.

> «Трагический герой, любимец этики, целиком является человеком; я тоже способен его понять, и все им предпринимаемое разыгрывается в открытую. Если я пойду дальше, я буду постоянно наталкиваться на парадокс, на божественное и демоническое, ибо молчание есть и то и другое. Молчание – это чары демона, и чем больше умалчивают о чем-то, тем ужаснее становится демон; однако молчание есть также взаимопонимание божества с единичным индивидом».

И тут юный вещатель замолк. Он понял, что вызвал трепет в своих слушателях, взволновал их,

что его слова, подобно словам Кьеркегора, вошли им в плоть и кровь. Подошел отец Бёрджесс:

— Очень ярко и убедительно. Но всегда помните: выстраивая маршрут чужой мысли, мы часто пытаемся сократить путь и полагаемся на случайные ориентиры.

Тогда он этого не понимал. Только позже осознал, что «его» Кьеркегор — это голова агнца, костюм шута, демоны, извилистый путь. Он пытался перечитать, переприпомнить. Но его память продолжали разрушать. Тому, чья память действует лишь с перебоями, трудно даже *читать*.

Одно время, продолжительное или не очень, он считал, что в нем есть вера. Какая пропасть, на самом деле, между «верить» в обыденном мире и золотым опоясанием «веры», мерцающей и рассеивающейся. Он бродил, бродил по собору, вдоль реки, касаясь каменных пилонов и в упоении чувствуя, что вера тверда. Увидев на северной двери бронзовое стукольце с ликом огненного зверя или демона, рассмеялся: какое совпадение, что он, Джошуа, оказался в этом построенном кем-то каменном убежище для тех, кто прячется от мстящих за кровь, кто нуждается в отдыхе и поисках своего пути.

Ему предстояло написать обязательное сочинение о взглядах Блаженного Августина на природу и происхождение зла. Августин полагал, что вселенная создана беспредельно благим, беспредельно могущественным Отцом, а силы тьмы были запущены неким изъяном в человеческой воле, неким ужасным извращением человеческих желаний. Воля человека заражена: «…пока еще мало света в людях; пусть они ходят, пусть ходят, чтобы тьма не охватила их»[38]. Дух Августина обитал в «неизмеримом лесу, полном ловушек и опасностей». Он попался в сеть собственной памяти, к которой не имел прочного доступа. «Велика сила памяти; не знаю, Господи, что-то внушающее ужас есть в многообразии ее бесчисленных глубин. И это моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя? Жизнь пестрая, многообразная, бесконечной неизмеримости… Вот они, эти горестные потемки, в которых скрыты от меня возможности, живущие во мне…» Из-за привычек, из-за заражения памяти добродетель невозможна. Тем не менее всемогущий Бог знает, в ком есть вера, а в ком — нет, кто вознесется на небо, а кто будет

[38] Примечания: 38

Зд. и далее «Исповедь» цитируется в переводе М. Сергиенко.

гореть целую вечность.

Джошуа Агниц читал о том, что в юности Августин склонялся к манихейству. Манихеи были убеждены, что зло столь же могущественно, как и добро, или даже превосходит его в могуществе. Владыка Света, пребывающий в царстве вне времени и пространства, сиял негасимо, но вот силы Тьмы и Материи вторглись в его пределы и поглотили частицы Света. Тогда Свет вызвал к жизни Первого Адама и отправил его на битву. Адам был побежден, уничтожен и съеден демонами, которые заточили Свет во Тьме и создали мир, в том числе и людей, не ведавших, что в них есть Свет, и вотще пытавшихся вернуться в неразличимое сияние. Страдалец Иисус, распятый на кресте, — еще один посланник Света в зримую вселенную. Он стал плодом всякого древа, который срывают и поглощают. Нужно было позволить Свету вновь всецело отделиться от Тьмы. Он должен устремить свой ток обратно. Для этого чадам человеческим, чадам Света, надо отказаться от размножения и потребления плоти и других существ, ибо все это продлевает пребывание Света взаперти.

Спасителя самого предстояло спасти, и исход всего дела был под большим вопросом. Такая же

битва за высвобождение частиц света происходит в каждой сознательной человеческой душе.

Блаженный Августин от своей манихейской юности отрекся. Он был отважным борцом и почувствовал, что пассивность, покорность, попустительство манихейского Света — это оскорбление Бога Отца, а представление о нетленном рассеянии частиц света в тленном теле и разуме — неверное описание падшей души. *Все*, все было падшим; все, что могло быть искуплено, было искуплено могущественным и грозным Сыном Отца. И Августин сражался со своими бывшими единомышленниками страстно и свирепо.

Джошуа Маковен прочел манихейское песнопение о попрании божественности, частью которой был разум каждого человека.

> *Я – во всем, я – подпора небес, я – стержень и основа, я – жизнь мира, я – молоко, что течет в каждом древе, я – чистая вода сынов материи.*

Новообретенная Христова вера была для него экстазом и беспокойно блистала, как дивный стеклянный шар.

Питался он скудно, спал урывками. Лежал без сна в темноте, на спине, вытянув руки и ноги,

и духовные токи ходили у него по венам стайками смертоносных воздушных пузырьков или россыпями ртутных шариков. По всему телу — воздушная легкость и подвижный блеск. Он лежал без сна и прислушивался к гудению. Всякий раз, ненадолго проваливаясь в сон (так ему помнилось), просыпался от удушья, с ощущением, что тяжелая рука зажимает ему нос, раздирает рот и ноздри. Он чувствовал запах сырого мяса с гнильцой. Метался в поисках свободы. А частицы блеска в крови в испуге кружились, выворачивались, вытягивая соки из сердца.

Наступила ночь — ночь возвращения Другого. Джош проснулся будто под гнетом, с трудом высвободился, и голос велел ему встать и выглянуть наружу. Он подошел к окну. Полная луна, серебряная, платиновая, испещренная тенями озер и гор, светилась особым блеском. Другой стоял снаружи в темноте и улыбался, струящиеся белесые волосы улавливали лунный свет. Он казался смущенным, а тени на его лице — тонкими, голубовато-серыми, как тени на луне. «Выходи», — произнес Другой, маня за собой. Луна светит ярко, все видно как днем. Выходи.

И он вышел на улицу, только накинул плащ и надел тапки. Он последовал за другим, а тот

шел, скользя, по Бейли, вверх по Дан-Кау-лейн, к собору. И там, гуляя, танцуя, на площади-лужайке между собором и замком, под сапфировым куполом, залитым лунным сиянием, двигались сотни и тысячи существ из света — мужчины, женщины, крылатые и подводные, похожие на морских змей и изящных рыб. Все они переливались блеском, словно фосфорическое свечение, поднимающееся из глубины, словно были они сделаны из чешуйчатых блестящих оболочек, мерцающих лунными цветами — зеленым, голубым, серебряным, фиолетовым. Они роились, взлетали вверх к луне и опускались вниз грандиозными движущимися столпами, как мошки над речной гладью, как тучи блестяще-черных скворцов, как искры костра. Они таяли, превращаясь в опоры, гати, ветвистые леса сплошного света, а затем снова отделялись друг от друга, начиная танцевать, плавать, парить на крыльях. Он мог бы смотреть вечно, время остановилось. Из-за плеча послышался голос Другого: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»[39]. Он снял тапки, ноги ощутили прохладный свет, в который он ступил,

---

[39] Примечания: 39
Исх. 3:5.

и тихую жизнь скошенного былья и клевера.

Другой сообщил, что он — Сизигий, Небесный Близнец. Он — Слово. Он вернулся в пору сизигии, соединения тел света, солнца и луны.

Он вложил в руки худощавому юноше тяжкое бремя вещей, неподъемный шар, но на этот раз он был из холодного света, текуч и переменчив и одновременно бесконечно тяжел — вот-вот взмоет вверх и прочь вместе с толпой светящихся существ. Пальцы юноши коснулись жидкой поверхности, на которой, как о берег, плескались волны, и в то же время она блестела, сияла и скользила в руках, как металл. Юноша слегка покачнулся и, пытаясь устоять, найти, расставил босые ноги. Он сам — расплавленный металл: так он ощущал себя в сладостном присутствии Сизигия, чьи улыбающиеся губы отражали его собственные, чьи глаза темно-синими скважинами зияли под белесыми бровями. И Сизигий тихо поведал ему, пока он стоял и держал в руках бремя вещей, что он шел по неверному пути (хотя глубинные стремления были правильными). Он был избран следовать за истинным пророком, Мани, испепеленным и замученным за то, что понял: свет затупился, тьма же колет и режет без устали. Мани знал, что исход не предрешен, а

жестокий Бог Ветхого Завета одержим и направляем Тьмой. Его жажда плоти и кровавых жертв была *частью* мерзкой жадности и людоедской плотскости Тьмы. Смерть Христа во времени и пространстве была напрасной, она усугубила первородное зло и приумножила чудовищную силу древних захватчиков. Во времена самого Мани истинно верующие считали, что частицы Света уходят от чистых людей — тех, кто воздерживается от плоти и желаний, — на луну, а оттуда — на солнце. А оттуда — обратно в заповедное царство Света.

И многое другое было ему поведано, а он стоял и смотрел на игру цвета, прядение нитей и плетение мерцающих завес чудесного света.

Святой Кутберт, похороненный здесь, продолжал Сизигий, тоже видел вздымающиеся столпы света. Но его описание было неполным, ведь разум его затмила лжемудрая Книга. Следует же читать *наши* книги, рассеянные по миру, разорванные, как наши тела и история, следует заново сплести историю и нести ее вперед, пока Свет и Тьма не прекратят перемешиваться, пока чистота не станет чистой, а порча не будет выведена, эвакуирована, элиминирована.

То, что он держал в руках, вдруг рассыпалось и

разлетелось мириадами блестящих осколков — как падающие звезды, как стрелы, нацеленные на полную луну, на пути к которой они исчезают.

Домой он возвращался босиком, ступая по булыжникам, меж которыми, словно по руслу реки, бежали ручейки и перетоки света и серебра.

После случившегося голосов он начал слышать больше, они говорили внятнее — хором проводников и наставников. Слышал он и голоса демонов-искусителей, которые, по словам проводников и наставников, были неизбежны, ведь едва «пути» открываются, темные сущности начинают прорываться. Надлежит страдать, от этого никуда не деться.

Неизвестно, сколько времени он, подобно тени, метался между своей комнатой, собором и библиотекой, — так говорила память. Заказывал книги о манихеях, изучал космогонии гностиков, знакомился с учениями Маркиона, Бардесана, египтянина Валентина, который звал царство Света плеромой и наделил его двадцатью восемью эонами, сгруппированными в *сизигиях*, или небесных парах.

София, младшая из эонов, завидовала способности Бога рождать единолично и произвела на свет вытравка безвидного и пустого, ведь вид,

образ женской материи придает мужской разум, *нус*. И вот извергнутое из плеромы обрело образ и стало зваться Софией Внешней, дочерью небесной Софии. Именно София Внешняя из страха, горя, недоумения и мольбы создала психическую природу: страх стал сущностью души, горе — твердой предметностью, недоумение — демоном, а мольба — нитью покаяния.

Из этой психической природы Демиург создал плотный мир, расположенный ниже сферы психики, а под ним — хаос и тьму. Джошуа Маковен читал, читал, читал. Свет и тьма вспыхивали и клокотали, сражаясь в его голове. Извивались змеи, пронзали бивни и клыки. Хрупкий свет трепетал и отступал. Джошуа хватался за тяжелые пилоны нефа, ведь только так можно было устоять в окружившем его ненастье.

Сочинение о происхождении зла по Августину он так и не написал. Зато попытался изложить то, что ему было явлено, — мир эонов и демонов — и запутался в сетях взаимосвязанных, взаимообусловленных, схожих в своем противоречии, подкрепляющих, противоположенных систем имен, названий, наименований, качеств. Будто богословы создавали имена собственные с той же легкостью, что демоны рождали плоть, кровь,

жилы, плазму, мочу, дерьмо.

Сизигий сказал ему, что обилие слов и имен — ловушка демонов, ибо язык сотворен человеком и принадлежит пелене плоти, отделяющей его от Света. Он велел ему поступать так, как наказал Мани: не есть мяса, не вредить растениям, воздерживаться от половых сношений, никого и ничего не убивать. Уважать частицы света во всяком творении. Усердно стараться высвободить их, отделить от тьмы.

Отец Бёрджесс назвал его сочинение о гностической космогонии малопонятным и посоветовал юноше оставить эту область исследований. Она раскалывает разум, как и Откровение Иоанна Богослова. И то и другое — искушение на определенных этапах духовного пути. И то и другое — психические зеркала для необузданных мыслей, и то и другое — круги самоповторов и перепевов, герметичные камеры. Рано или поздно соблазниться этими идеями — вполне нормально. Юношу чрезвычайно покоробило слово «соблазниться». Перед его глазами предстали мясистые пальцы, губы, телесные соки — полная противоположность блестящим нитям и лентам, сплетающимся в лабиринт, в котором он находился, и одновременно выводящими из

него.

Голоса сказали ему, что настало время говорить. Он должен выступить на площади-лужайке — там, где ему явился путь света. Он должен рассказать людям о разделении Света и Тьмы, о том, что потребно для праведной жизни.

И вот он встал и начал говорить: собственный голос показался ему призрачным стоном, тоненькой струйкой. День был серый, холодный ветер трепал его побелевшие волосы и, казалось, продувал насквозь, будто, кроме костей, внутри ничего не осталось. Собралось несколько человек: кто-то смеялся над ним, кто-то скучал. Он почувствовал, будто вросшая в землю громада собора нависла над ним и вот-вот раздавит. Он поднял глаза, попятился: показалось, что сверху падают камни, такие тяжелые, прямо на него. Грудь сдавило. Он упал на колени, закрывая голову от ударов падающей материи. И снова его бережно доставили в больницу. При выписке сказали, что университетский курс для него слишком изнурителен, возможно, он ему не подходит. Лучше вернуться домой, то есть к тетушке Анджеле, и еще раз подумать, чему посвятить свою жизнь. Отец Бёрджесс проводил его до Дарлингтона, посадил на поезд.

— Вы чересчур поддались энтузиазму — в изна-

чальном, греческом смысле этого слова, — сказал он. — В вас есть неистовство духа. Уверен, что вы найдете способ использовать свою силу с пользой. Уверен также, что сейчас вам необходим покой: ешьте, спите, занимайтесь самыми обычными человеческими делами — смотрите кино, играйте в футбол, ходите с друзьями пить пиво. В общем, пристаньте к земному и подождите, пока силы восстановятся.

— Я не христианин, — бросил в ответ Джош Агниц. — Я манихей.

— На каждого из нас порой накатывает манихейство, — произнес отец Бёрджесс, но как-то неубедительно; поезд уже скрылся в облаке копоти, дыма и разлетающихся жарких искр.

Джош Агниц вышел на следующей станции. Он достал из чемодана все необходимое, сложил в сумку и с ней одной отправился пешком в простирающиеся перед ним просторы.

Больше в его жизни не будет Анджелы Агниц, ее серых кресел, миски с топленым жиром, плотных штор, скрывающих свет. Он скитался, работал в садах. Нанимался на фермы.

Бродяжничал, забредал в библиотеки, ютился среди вонючих оборванцев. Ухаживал за плодовыми деревьями и огородами. Время от времени

он терял себя и оказывался в больнице. Видел, как течет кровь, видел бескрайние моря лунного света. Иногда ему казалось, что он ничтожество, пустое место, неприкаянный босяк. А иногда сознавал: время его еще не пришло.

* * *

Сады лечебницы «Седар маунт» были, разумеется, огорожены высокой стеной с грозно торчащими сверху шипами и осколками стекла. Внутри — извилистые дорожки, увитые растениями беседки, просторные огороженные лужайки. В погожие дни пациентам, заслуживающим доверия, разрешалось гулять по выложенным гравием дорожкам, сидеть на каменных и деревянных скамьях, разбросанных по территории. В одном уголке, поодаль от главного здания, возвышался холм с рощицей вечнозеленых деревьев и скрипучими качелями на веревках, установленными между тисами и лаврами, под единственным в саду величественным кедром, который, возможно, и дал лечебнице название.

За живой изгородью из буков, между холмом и стеной к компостной куче вела служебная дорожка для садовников. Место было мрачное и затененное, но кто-то все же поставил здесь, у под-

ножия холма, лавочку, откуда не видно ничего, кроме буковых веток и стены за ними. Это темное место всегда служило убежищем для одиноких людей, и, возможно, именно поэтому его там и устроили. Кто-то из садовников, вероятно, даже понимал, как важно для тех, кто живет в закрытых группах, чтобы были такие укромные места. Каждый раз, когда разрешали погулять, там уединялась Люси Нигби. Она сидела и смотрела на высохшие золотистые листья бука, шуршавшие под ногами, и на зазубренный осколок стекла, сверкавший на границе горизонта. Уже почти наступила зима, все вокруг блестело, как бывает при заморозках. На ней было пальто, которое она замарала мхом, покрывавшим деревянное сиденье.

Она решила умереть и с этой целью прятала таблетки, хоть и не знала, что это за препарат и какое действие он окажет. Держала их в кармане, в конверте. У нее была и пластмассовая бутылка с водой. Тревожилась она только о том, хватит ли ей таблеток. Ну и о том, достаточно ли воды, чтобы запить. Вечерело. Бледно-голубое небо постепенно серело и розовело. Она вглядывалась во все вокруг: в последний раз. Отмечала, как тускнеет зеленый цвет, как ярче блестит осколок

стекла, — все казалось важным; отмечала и запах прелых листьев, смолы, холода, сырости. Руки замерзли. Она возилась с бутылкой и конвертом. Сейчас она погасит себя, как свечу, — вот если бы можно было так же быстро.

Проглотила таблетку, запила, потом другую.

Позади нее послышался звук листвы: легкие шаги, не громче севшей на ветку птицы. Она слегка повернулась, озябшие пальцы поднесли к губам изумрудно-алую капсулу. Он бесшумно спускался с холма, венец белесых волос, казалось, освещал ветви тиса. Весь белый: борода, рубашка, даже бледного оттенка брюки. Верхней одежды на нем не было. Раздался голос:

— Меня послали за вами.

Она промолчала. С тех пор как она перестала говорить, жизнь стала проще (по крайней мере), пусть и не лучше. Белая фигура приближалась и преображалась: по краям мерцала и переливалась радугой, возможно от ее слез.

— Мне было велено, — произнес он. — Велели не они. А голос, который я слышу. Было велено отыскать вас тут. Я все понимаю. Знаю, где вы блуждаете, ибо и сам блуждаю там же. У нас есть еще дела, и лишь потом… Настанет время по-

кинуть этот мир. Помогите мне. А я помогу вам. Мне по силам.

Маленькая, сгорбленная, в верблюжьем пальто, она сидела и чувствовала, как возвращается к себе — собранные в пучок неухоженные волосы, порозовевшее от холода лицо, усталые глаза, тяжелые ноги, капсула, замершая у сухих, потрескавшихся губ. В листьях бука шумел ветерок. Земля дышала, распространяя тонкий запах прели. Он смотрел на нее сверху, и ветер шевелил его белоснежные волосы и рубаху, и казалось, что он сияет холодом и белизной.

— Послушайте, — снова послышался его голос, — день проходит, садится солнце, но на смену ему приходит другое светило — полная луна. Я расскажу вам о свете. Вы знаете, как знаю и я, о свете и тьме, о том, каково быть вовне, где оба имеют силу. У нас есть дела, но вам о них неведомо, потому что вам еще не говорили. Но я расскажу. А вы будете слушать.

Она поднесла капсулу к губам. Глаза влажные. Она знала — откуда? — что он не любил прикасаться к другим людям. Но, видя, что иначе нельзя, он подошел, забрал капсулу и обхватил ее покрасневшие ладони своими. Постепенно темнело. Заблестел круглый диск луны. Он подсел к

ней и предложил посмотреть на луну. В лунном свете стеклянные шипы казались текущей по камням водой.

— Будем мудры, как змии, — сказал он. — Надо войти и отыскать выход, и я расскажу вам все, что знаю, и как нам до́лжно жить. Еще таблетки есть?

Она протянула конверт.

— Нет, я не для себя. У меня тоже есть запас. Сохраните их на случай, если другого выхода не будет. Ведь если у нас с вами есть средство уйти навсегда, то проще набраться храбрости и остаться. Спрячьте.

И вот она, как ребенок, подалась в его сторону, словно просясь в объятия.

Она чувствует: приближаться ему не хочется, но они и так слишком близко. Быстрым и изящным движением он обнял ее, прижал к себе, коснулся прохладными губами ее лба.

— Я с тобой. Не забывай, я с тобой. Я позабочусь о тебе и о себе.

— Кто ты? — спросила она.

— Я возьму себе имя. Позже. Когда будет велено.

IX

— А Тано мне сказал, что видел тебя в телевизоре, — начал разговор Лео.

— Ему бы в это время уже в постели лежать, — начала защищаться Фредерика.

Они возвращались из школы к себе на Хэмлин-сквер.

— Мне ты не сказала, чтобы я тоже не сидел допоздна?

— Кажется, я тебе говорила. Но ты, как всегда, мимо ушей пропустил.

– *Кажется?* Значит, не говорила.

— Что ж… Это мое дело, — не очень уверенно ответила она.

— Твое. Ха-ха!

— Как мило видеть вас среди ваших милейших цветов! — кричит Мари Аджъепонг, мать Климента и Тано, через всю площадь.

Только что на отремонтированном пороге появилась Виктория Эмплфорт и накинулась на Фредерику с поздравлениями.

— О! Фредерика, как *необычно*! Восхищаюсь вашей *выдержкой*!

Фредерика едва заметно повернулась в ее сторону, улыбнулась.

— Все тебя видели, — заметил Лео, — кроме меня.

— И *меня*.

Он остановился, посмотрел на нее:

— Ты сама не видела? А почему?

— Решила, что точно себе не понравлюсь. Окажусь этакой дурындой.

— Тано ничего такого не показалось. Он только сказал, что ты слишком часто поправляла прическу. И еще ему понравились твои ресницы.

— Ресницы? Он так сказал? Ему же только семь.

— Сказал, они смешные. Как мохнатые гусеницы. Те, что тоже были в передаче. Вроде так.

— В вашем возрасте, — начала рассказывать Фредерика, открывая входную дверь, — нам всем было очень неловко, когда матери приходили в школу в дурацких шляпках. До сих пор кажется, что более или менее сносных шляп просто не существовало. Каждый ребенок считает, что у его мамы дурацкая шляпка. Чересчур большая, чересчур маленькая, слишком игривая, слишком вызывающая, цветочков многовато, вуаль слишком густая. Сколько ребят, столько матерей и

столько же стыда! Да, каждый хотел, чтобы мама пришла в школу, но только чтобы ее не видели!

— Я не против, что ты в телевизоре. Мне, кажется, даже нравится. Все прямо ахают. Шутят, конечно, но ничего страшного. Шутят всегда и обо всем. Как со шляпками.

«Зазеркалье» с самого начала искрометно и тонко высмеивало ящичность Ящика. Под крышкой ящика полыхнули языки пламени, обнаружились горячие угольяи жаркая зола: сущий очаг, вокруг которого делятся сплетнями, — до появления Ящика такое служило средоточием жизни малых групп. Затем огонь, рисовавший тенями по сводам пещеры, сменялся ровным серебристым туманом (или клубами дыма) в изысканной позолоченной раме. И вот туман рассеивался, открывая интерьер Зазеркалья. Там были вращающиеся двуликие часы, с одной стороны с циферблатом, с другой — с ухмылкой. Размноженные одинаковые грибы, паутинки, окна. В глубине ящика было нечто вроде эркерного окна или зеркала, отражающего такое окно. В середине — прозрачный ящик внутри ящика, в котором и сидела Фредерика и в который то и дело заглядывала камера. На протяжении всей передачи по краям этого пространства бегали,

летали и кружились разные существа и растения. Розы и лилии, гигантские гусеницы и шахматные фигуры, приумноженные зеркалами. То были творения студентов Художественного училища Сэмюэла Палмера, тех самых, что работали над синими злюками и яркими бананово-желтыми воронками из «Желтой подводной лодки».

Тогда начинали входить в моду длинные платья Лоры Эшли — из хлопка и вельвета, с ностальгическими цветочными узорами в викторианском духе, скрытыми оборками на шее и запястьях. На Фредерике были бутоны кроваво-багряных роз на мшисто-зеленом фоне или бледные примулы на густо-синем. В первых пилотных выпусках она носила каре а-ля Видал Сассун, однако, по мере того как на волне успеха передача продолжалась, ее рыжие волосы отрастали все длиннее. Остроумная, сообразительная и уже зрелая Алиса.

Замысел Уилки, подобно шахматной доске Льюиса Кэрролла, предполагал точную и одновременно свободную схему, в рамках которой могли возникать и разрастаться мысли, образы и связи. Фредерика же была величиной постоянной. Каждую неделю выбирали предмет, идею и персону, живую или уже ушедшую. Стояла задача избегать шаблонных журналистских рубрик —

актуальные события, политика, искусство, наука, пикантные новости, сатира, — а также сочетать все по-новому. В каждой передаче один гость должен разбираться во всех трех темах, второй же мог ограничиться только одной.

В последнем квартале 1968 года отсняли три пилотных выпуска. В первом, задающем тон, говорили о Чарльзе Доджсоне, абсурде и старинных зеркалах. Во втором речь шла о Дорис Лессинг и ее представлении о свободных женщинах, высказанных в «Золотой тетради», примыкали к ней Джордж Элиот и пищевые контейнеры. Третья была посвящена «творческим способностям», говорили о Зигмунде Фрейде и керамике Пикассо. Последующие передачи изобретательно разрастались во всех направлениях, как зрительно, так и интеллектуально. Материалом служили забавные эклектичные пародии 60-х годов. Фредерика являлась в образе Белоснежки в стеклянном гробу, русалки с зеркалом в балаганном аквариуме, ведьмы в сахарном домике, а в выпуске, темой которого был секс, — в стеклянной коробке, запечатанной семью замками, в образе супруги джинна, которая без труда улизнула и соблазнила под сенью пальмы будущего мужа Шахерезады и его брата. Предстояло обсудить

ДДТ и астрологию, память и революцию, смерть прошлого и шизофрению, приобретенное и врожденное, преподавание языка в школе, Шекспира, Достоевского, миссис Битон[40] и Д. Г. Лоуренса (который шел в придачу к сексу и замкам).

В первом выпуске гостями Фредерики стали Джонатан Миллер и Ричард Грегори[41]. Лекции последнего в рамках рождественских чтений в Королевском институте были посвящены «умному зрению»: он сполна позабавил зрителей разного рода картинками-головоломками, играми с зеркалами и всевозможными трюками. Телевизор был призван проверить восприятие зрителей, обратив внимание на общие предубеждения о том, как мозг конструирует зримый мир. Миллер же рассуждал о предметах самых разных: о детском взгляде на викторианские нормы поведения в книгах об Алисе, о психоаналитическом истолковании узких дверок, потерянных ключей, сокровенных садов, математических игр, словесного перевозбуждения, фотографий и зеркал,

[40] Примечания: 40

Изабелла Битон (1836–1865) — британская домохозяйка и писательница. Считается автором одной из первых книг по кулинарии.

[41] Примечания: 41

Ричард Грегори (1923–2010) — британский психолог, специалист в области зрительного восприятия и зрительных иллюзий.

поверхностей и глубин, себя и другого. Отметил он и увлечение сюрреалистов сновидческим миром Алисы, и интерес Кэрролла к двойникам и близнецам.

Алиса, по его словам, дитя викторианского века, и в ней необыкновенным образом сплетаются разные элементы мира взрослых: нормы и правила, скрытые намерения, всепожирающие чувства, непостижимые условности. Она — типичный английский эмпирик, заметила Фредерика. Ничто ее не смущает, не сбивает с толку, не приводит в замешательство. Она твердо уверена в своем существовании, как бы ее ни растягивали, ни сжимали, ни убеждали в том, что она змея. Кэрролл смотрел на мир взглядом ребенка.

Оттолкнувшись от эмпиризма, взялись обсуждать смысл и бессмыслицу. Ричард Грегори получил предмет недели — зеркальце викторианских времен, оправленное в серебро, украшенное гроздьями серебристого винограда, венками из серебряных виноградных листьев и вьющимися серебряными усиками. Зеркала, по его словам, значимы с самых древних времен. Викторианское зеркало навело его на мысль о древних зеркалах, которые использовали в своих религи-

озных церемониях манихеи. Они полагали своим долгом высвобождать свет, запертый в материи, а виноград считали одним из вместилищ такого запертого света. Впрочем, что манихеи делали с запертым или отраженным светом, неизвестно. Аристотель, ученый рассудительный, утверждал, что, если женщина в период менструации смотрит в зеркало, его поверхность окрашивается в кроваво-красный цвет. Происходит это потому, что, по мнению Аристотеля, между ярким глазом, полным кровеносных сосудов, и гладким зеркалом из блестящей бронзы есть сродство. И сквозь прозрачный воздух они друг на друга влияют. Хорошо осмысленная бессмыслица.

Стол был накрыт для чаепития. Во внушительном серебряном чайнике, как в кривом зеркале, отражались три лица: Фредерика — клюворылая ведьма, Миллер — кудрявый мордастый Вакх, Грегори — пещеристый Плутон. На столике были расставлены тарелки, серебряные и стеклянные, в которых, как потом обнаруживалось, ползали гусеницы, расчлененные, полосатые, щетинистые, с сажистыми глазами и хоботками-рожками, оранжевыми, золотыми и зелеными.

На самом деле Алис было две, объяснял Ричард Грегори: Алиса Лидделл, героиня «Страны чу-

дес», и ее кузина Алиса Рейкс, которую Чарльз Доджсон дразнил, демонстрируя, что апельсин, который она держит в правой руке, в зеркале оказывается в левой. «А если, положим, я стою по ту сторону, — спросила эта умненькая Алиса, — разве апельсин не окажется в *правой* руке?» Отсюда, продолжает Грегори, и возникла идея пройти *насквозь*, посмотреть с *другой стороны*. Он подробно остановился на логических путешествиях и отражениях зеркал, меняющих местами левое и правое, но не верхнее и нижнее, буквы так же, как лица. У Доджсона был друг Джон Генри Пеппер, который использовал частично отражающие зеркала на сцене, заставляя актеров появляться, исчезать, двоиться, растворяться в воздухе как призраки, как Чеширский кот. У зеркал была своя алогичная логика. Миллер рассуждал о случайности, порождаемой зеркалами и фотографиями, которые, независимо друг от друга, впервые проявились в серебристом тумане на стекле. В объективе мелькали призраки Фредерики, Миллера, Грегори. Гусеницы крутились калейдоскопом.

Фредерика отметила, что в ходе разговора с гостями вспомнила, как часто Алиса тоже оказывалась меж двух доброжелательных собе-

седников. Грифон и черепаха Квази. Или не столь доброжелательных. Кролик и Шляпник, Хенгист и Хорса, Морж и Плотник, Красная Королева и Белая Королева. Траляля и Труляля, произнесла она, опустив глаза, и мимоходом вспомнила математичных Оттокаров и их лица в окошке цокольного этажа. Но Джонатан Миллер подхватил эту мысль и помчался дальше, описывая беспорядочный порядок навязчивых удвоений Кэрролла, который при этом был Доджсоном, который придумал словесные головоломки и сизигии: дуб — зуб — зуд — суд, Морж и Плотник.

Первая передача удалась. Удалась потому, что два очень умных человека, в гармонии с камерой и с собой, благожелательно и чутко относившиеся к Фредерике, раскрыли в ней все лучшее. В рабочем такси, доставлявшем ее домой, где ждала пустая (не заправленная) кровать и спал сын, она взглянула на свой призрак в черном окне и торжествующе улыбнулась. Подумала об Алисе и о себе. Рядом с этими многознающими мужчинами, превосходящими ее кругозором, она *чувствовала* себя умненькой девочкой. Ничего особенного ей делать было не нужно, и было приятно чувствовать, что они дарят ей ощущение чего-то бесконечного, что можно открывать и об-

суждать. Она вновь ощутила в себе неодолимую детскую энергию. Хочу, хочу, хочу, кричала она, как птица в гнезде с раскрытым клювом. Она подумала, что хочет женственности и секса. Знание она проглотила целиком, с ее-то ненасытностью и хорошим пищеварением, но раньше оно для нее значения не имело. Теперь, возможно, время пришло. Двое мужчин ловили движение мысли, ловили мгновение, как Китс, наблюдающий за воробьем[42].

Она смотрела сквозь себя, в черное окно черного экипажа, и ей нравилась разреженность тех штрихов, что составляли ее образ: пятно, блики, темная линия рта, отблеск меди. С каким-то молниеносным ужасом она подумала, что кровавое зеркало Аристотеля — своего рода таинство. Женщины и кровь, кровь и секс. Аристотель, по словам Грегори, считал, что сперма и менструальная кровь — одно и то же. Пылкая уверенность Алисы, незаурядного ребенка, рассыпалась. Она

[42] Примечания: 42

В 1817 г. в письме Бенджамину Бейли Джон Китс так описал свои переживания: «Не помню, чтобы я когда-нибудь в жизни полагался на счастье. Я и не ищу его, если только не испытываю счастья в данную минуту: ничто не трогает меня дольше одного мгновения. Закат утешает меня всегда; и если воробей прыгает под моим окном, я начинаю жить его жизнью и принимаюсь подбирать крошки на тропинке, усыпанной гравием» (Джон Китс. Стихотворения. Л.: Наука, 1986. Перевод С. Сухарева).

так хотела стать актрисой. Ей хотелось играть, повторять изящные движения за тем, кем она еще не была. Она — Алиса, но сдуру хотела стать Джульеттой, Марией Стюарт, Клеопатрой. Хотела преисполниться шекспировских слов о жизни и любви. В памяти всплыли огромный чайник и зеркальные тарелки с личинками, а призрак в окне посмеивался. Нет, подумала Фредерика, которая вот-вот преломится на тысячи расколотых и сверкающих Фредерик по всей стране, я не хочу *играть*. Я хочу думать. Хочу ясности. И чудес. Чудесатее и чудесатее.

Идея следующего выпуска «Зазеркалья» всецело принадлежала Фредерике. Мысль пришла, когда Лео, отказавшись есть мясное рагу, стоившее ей немалых трудов, вдруг начал нараспев, с издевкой цитировать «Алису»: «Алиса, это Бараний Бок. Бок, это Алиса», «Вас только что познакомили, а вы уже на него с ножом! *Унесите* Бок!» И добавил:

— Есть живые существа нехорошо. Я буду вегетарианцем.

— Я против. Тебе надо хорошо питаться. Ты на зубы свои посмотри. Полноценное всеядное существо. А клыки? Ну съешь хотя бы овощи в соусе.

— Не люблю тушеные овощи!

— Нарочно ведешь себя как несносный малыш? Я же не один час убила, соус делала, срезала мясо с кости.

— А думала ты, взрезая этого ягненка, как он был убит?

— Ну разумеется. Я всегда об этом думаю. Но я резала его для тебя, чтобы ты получил белок, витамины, чтобы рос большим и сильным.

— Один мертвый ягненок — один здоровый мальчик.

— Точно.

— А рисовый пудинг?

— Тоже я сделала.

— Ему я представляться не буду. Обещаю. И песенку про него петь больше не буду[43], если ты разрешишь сразу к нему и перейти. Если не скажешь снова, мол, сначала надо съесть немного мяса.

Он знал, что она и сама знает — не мать, а сплошная карикатура. Рагу пришлось есть самой, а вышло очень вкусно.

— Ты вот разреши мне быть вегетарианцем, раз я считаю, что так правильно.

— Тогда придется прозябать на бобовых и оре-

---

[43] Примечания: 43

Отсылка к детскому стихотворению А. А. Милна «Рисовый пудинг» о мальчике, который без причины отказывается от еды.

хах.

— Орехи не люблю.

— Не любишь.

— А от гороха и фасоли пукают.

— Пукают.

— Но вообще-то, готовить тебе нравится. Ты так расслабляешься. Ты говорила Агате, я слышал. Хоть что-то поделать руками.

— Но когда от твоей стряпни воротят нос, готовка быстро разонравится.

Несколько ложек Лео все-таки съел.

— Овцы хуже креветок? А креветки хуже червячков в сливах или слизней в листьях салата?

— Не знаю. Интересно, что мы об этом думаем.

— Сама ты бы овцу никогда не убила. Это уж точно.

— Конечно же нет.

— Даже курицу.

— Даже курицу.

— Куриц вообще убивать не надо. Они нам яйца дают.

— «Дают» — так про кур не говорят. У них разве есть выбор?

— Но пока от них получаем яйца, их не надо убивать. Я бы смог жить на яйцах.

— Быстро бы приелось.

— Но ведь из яиц много чего можно приготовить. В рисовом пудинге они есть?

— Нет. Только рис и молоко. И сахар.

— Как беспримесно!

Маэстро устной речи. Но вот прочитать «яйца», «молоко», «баранина» ему было тяжело. Сопел и пыхтел, глядя на буквы.

Второй выпуск «Зазеркалья» получил название «Свободные женщины». Фредерика позаимствовала его из главы «Золотых тетрадей» о Молли и Анне, женщинах-одиночках, воспитывающих детей. Гостями были выбраны писательница Джулия Корбетт и Пенни Комувес, на тот момент занимавшаяся новым женским журналом «Артемида». Пенни жила у давнего друга Фредерики Тони Уотсона, журналиста и сотрудника научно-исследовательского центра при Лейбористской партии. Тони иногда писал и для «Артемиды»: идея создателей журнала была в том, чтобы писать о самых разных интересующих женщин вопросах, а не только о пресловутых любовных отношениях, макияже, моде и похудении. Тони писал о всеобщем школьном образовании, о преимуществах и недостатках раздельного обучения мальчиков и девочек. Он подготовил статью о первом премьер-министре — женщине.

Эта вымышленная фигура, которая придет к власти примерно в 2020 году, будет родом с севера: элитных университетов она не оканчивала, по профессии — юрист в судах низшей инстанции, примерная жена и мать. «Однако ее мужа мой хрустальный шар не показывает. Быть может, скромный школьный учитель. Или преуспевающий хирург. Политик, журналист, профсоюзный лидер? И он, и она убеждены, что избрали одинаково важные поприща. Никто не стоит за спиной другого, никаких королев и консортов».

Пенни Комувес была дочерью венгерского политического мыслителя, бежавшего в Англию в 1939 году. Она преподавала в Оксфордском университете, читала курсы по политологии, философии и экономике. Профессионально разбиралась в вопросах, тревожащих университетских выпускниц, когда те оказывались на кухне, один на один с грудными детьми, напуганные теориями Джона Боулби о том, что длительная разлука матери с ребенком может нанести непоправимый вред развитию последнего. Головы их были забиты идеями Лоуренса, или физикой частиц, или социологией досуга, или трудовой теорией стоимости, а руки при этом готовили соусы, суфле и пюре или стирали

испачканные пеленки. Неужели все сводится к этому? — вопрошали они и не находили ответа. Другой сферой интересов Пенни Комувес была кулинария. В свободное время она изучала рецепты борщей и винегретов, куриных супов и кассуле, дзампоне из свиных ножек и конфи из петушиных гребешков. Доктор кулинарных наук, повар-эрудит. Каждую неделю она помещала в «Артемиде» примерное меню для обеда из пяти блюд. Все — хлеб, печенье, супы, салаты, рулеты — делалось из продуктов, собственноручно купленных на рынке, все изысканное, домашнее, сваренное и выпеченное своими руками.

Джулия Корбетт принадлежала к поколению родителей Фредерики и Пенни, романы ее можно было бы расположить где-то посередине между женскими и дамскими. Писала исключительно о жизни женщин. Названия книг — вполне тенденциозные: остроумные вариации на тему заточения. «Клетка из золота». «Короб с игрушками». «Не видно выхода». «Холод стен». «Жизнь в башмаке». А еще целый ряд названий с иронично-зловещими отсылками к детским стишкам. «Пожиратель тыкв». «Охотиться отец пошел». «Кармашек Люси». Другая писательница, автор триллеров с черным юмором Филлис Прэтт, пе-

чатающаяся в «Бауэрс энд Иден», предложила более мрачные варианты. «В четырех стенах». «Муха и паук». Последний роман Джулии Корбетт назывался «Выше, выше».

Качай меня, выше, выше!
Авдея-да!
Чтоб взлетела я выше крыши,
Чтобы кругом пошла
У меня голова.
Ну еще хоть чуточку выше.
Авдея-да!

История поначалу счастливого брака: муж-учитель поощряет свою преданную жену в заочном получении высшего образования и выборе профессии учителя. А потом бросает ее — с дипломом, беременную и «свободную», променяв на молодую, красивую, хрупкую студентку. Как и прочие романы Джулии Корбетт, «Выше, выше» получился щемяще-приторным. Неприкаянность таких книг пугала Фредерику больше, чем свирепость и непреклонность «Золотой тетради».

К выпуску «Свободные женщины» стеклянную коробку оформили под прозрачный кукольный домик, на котором нарисовали по-детски

простые окна и двери. Было много ключей и замочных скважин. Внутри три женщины сидели за кухонным столом с розоватой клеенкой под дамаст. На столе стояли фаянсовые миски с яйцами и поднимающимся тестом, накрытым салфеткой. На противне лежали пирожные с повидлом, цветы из теста с красной серединкой — прямо сейчас в духовку. Подставки для яиц в форме кур, на которых были милые вязаные шапочки. Имелась и целая коллекция серебряных (в основном потускневших) инструментов для выполнения диковинных операций: ложечка для костного мозга, крючок для застегивания пуговиц на обуви, щипцы для сахара, подставки для тостов, ситечко для чая, вильчатый нож для сыра, а также впитывающие воду тряпки и баночки с полировальным порошком. Мутовки, деревянные лопатки, котелки для варенья, термометры, консервные ножи, штопоры, ножи для устриц и прочие приспособления для откупоривания и вскрытия. При наезде камеры весь этот шурумбурум рождал ассоциации не только кухонные, но и гинекологические.

Мультяшные существа, прогуливавшиеся и снующие по экрану во время беседы, в основном были вдохновлены кухонными сценами из «Али-

сы». Бараний Бок в бумажном жабо, лоснящийся, скалящийся, учтивый. Ожившие и постоянно скачущие графинчики, солонка и перечница на тонких ножках. Безмятежно плавающая камбала на прозрачном сервировочном блюде. Важным штрихом стало смешение этих существ с сонмом викторианских ангельских головок с кудряшками и безжизненными улыбками. Они то и дело превращались в съеживающихся Чеширских котов и жужжали как мухи по углам экранной кухни.

Если рядом с выдающимися учеными Фредерика была умненькой и пытливой Алисой, то с этими женщинами ей предстояло — так хотел Уилки — создать атмосферу уютной дамской болтовни за чашкой кофе — когда можно класть локти на стол и говорить обо всем, что вздумается, ведь никто не смотрит. Но Фредерика не понимала, как это сделать, ведь на них смотрели и операторы, и работники студии, а потом еще посмотрят миллионы зрителей! «Вот увидишь, все сойдет гладко, — заверил ее Уилки. — Я тебя и выбрал, потому что ты ничего не боишься».

В итоге получился настоящий пасквиль, пародия на женскую болтовню за чашкой кофе.

Фредерика начала с вопроса, которым задавался Зигмунд Фрейд и на который, по собственному признанию, ответить не мог. Чего хотят женщины?

Любви, произнесла Джулия Корбетт. Любви, определенности, семью.

А еще секса и шалостей, добавила Пенни Комувес.

Правда, секс — это не на одну ночь, заметила Фредерика. Он ведет к родам, и все это — длинный и неделимый биологический процесс. Вот только теперь, с появлением «таблетки», женщины могут выбирать мужчину и решать, заводить от него потомство или нет.

Они обсудили, изменится ли в таком случае отношение женщин к мужчинам. Джулия сказала, что женщины оценивают мужчин не только по половым признакам, но, скажем, по доброте, умению слушать, пунктуальности. По учтивости. Фредерика на это заметила, что Дарвин пришел к мысли о том, что мужская красота определяется женскими критериями полового отбора. Поэтому странно жить в мире женских журналов, женской рекламы, в мире, где женщины украшают тела для мужчин. Пенни же отметила, что, пожалуй, на женскую одежду в основном обращают

внимание другие женщины. Есть «Мисс мира», продолжала Фредерика, идеальной формы тело в купальнике и на шпильках. Есть порнография. У павлинов и мандрилов, добавила Пенни Комувес, хвост и ягодицы предназначены для привлечения самок, и странно, что у нас нет мужских конкурсов красоты.

А на что женщинам смотреть? — с лукавой робостью спросила Джулия. Мужчины одеваются в стандартные костюмы строгой черной расцветки, стригут волосы и бреют бороды.

Больше нет, возразила Пенни. Теперь бороды отращивают, носят цветастые рубашки, вешают на шею украшения. Все уравновешивается.

Они обсудили те аспекты мужского тела, которые женское жюри гипотетического конкурса красоты могло бы отметить. Вскользь упомянули рекламу трусов. А вот застенчивое упоминание мужских ягодиц переросло в оживленную дискуссию… Фредерика рассказала о студенте-искусствоведе, в плотно облегающих джинсах которого имелись стратегически важные отверстия, открывающие взору мягкие ярко-лиловые трусы. Все посмеялись. Современные женщины свободны в своем выборе. Смотри и выбирай. Как наши первобытные предки. Но совсем не как

наши бабушки или даже, в большинстве случаев, матери.

И к чему это привело? — спросила Джулия Корбетт. Проблема не решена. Женщины хотят детей, женщины обязаны заботиться о детях, и в некотором смысле это только *усложняет* все сексуальные перспективы.

К тому же, из-за того что теперь у нас есть «таблетка», подхватила Пенни Комувес, мужчины могут на сексе настаивать: исчезло препятствие, опасность.

Тело, заметила Фредерика, хочет забеременеть. А женщина часто не хочет. Вот, скажем, королева из «Белоснежки», которая видит капли крови на снегу. Мы их боимся, но часто боимся, когда их нет. Возможно, мы воюем сами с собой. Сначала выбор, который нам дает «таблетка», но потом — мы можем выбрать и аборт. Разделить секс и детей, перенести и то и другое в зону выбора. Кто-нибудь из вас выбрал бы аборт?

Нет, отозвалась Джулия. Можно знать, что у тебя есть такая возможность. Но я бы не решилась. Сейчас мне кажется, не смогла бы.

Пенни Комувес ненадолго замерла, покачала головой и перенаправила вопрос Фредерике. А вы бы смогли? Вы бы решились?

Перед Фредерикой возникло лицо Лео. Возможно, да. Мне бы хотелось чувствовать, что у меня есть такое право. А возможно, и нет.

Молчание зазыбилось нервной дрожью. Тихий ангел пролетел, произнесла Джулия Корбетт.

Мультяшные херувимчики затрепетали. Из свивальника выглянул поросенок.

На экране начали показывать серию портретов Джордж Элиот, героини этой программы. Угловато-тяжелое лошадиное лицо, отталкивающая улыбка, молодая еще женщина, склонившая громоздкую голову с неуместными локонами. Мелькнула безобразная герцогиня Тенниела. Фредерика язвительно заметила, что знала человека, который считал, что на экзамене про эту великую писательницу вполне можно задать вопрос: кто такая «почтенная сухощавая моралистка»? Обсудили. Так получилось — быть может, потому, что именно они были на экране, — что разговор в основном шел о женской красоте. Элиот красивых героинь всегда наказывала, заметила Джулия. Нет, возразила Фредерика, она наказывала тех, кто красоту *эксплуатировал*, кто *за счет нее жил*. Хетти, холодная Розамунда, сухая, помешанная на власти Гвендолен. Но ее теплокровные героини тоже были прекрасны. Доротея, Мэгги. Но

секс и брак победили их, даром что от жизни они хотели не только секса и брака. Она их наказала, настаивала на своем Джулия. Доротею она наказала за высокие помыслы, а Мэгги — за бурление чувств. Доротее был уготован брак с второразрядным журналистом, а вкусившая половой радости Мэгги утонула. Элиот не могла создать модель женщины, которая была бы свободной, творческой и сексуальной. Не могла дать читателям никакой надежды.

— Она сама была свободной, творческой и сексуальной, — возразила Фредерика. — Наверное, она была самой открытой прелюбодейкой в Англии. При этом королева Виктория заказала серию картин по ее книгам, а похоронить ее хотели рядом с королевскими особами.

— У нее не было детей, — заметила Пенни. — Она знала о контрацепции, губках и уксусе.

— Но она присматривала за сыновьями Джорджа Льюиса, — сказала Фредерика. — Платила за их образование.

— Как мужчина, — заметила Джулия. — Работала и зарабатывала деньги.

— Но она не могла позволить Доротее открыть университет, а Мэгги — написать книгу, — сказала Фредерика. — Она описывала все как есть. Как

приходилось жить умным женщинам.

— Красивые женщины, — сказала Джулия, — будто бы созданы, чтобы желать *вещи*. Фарфор и дамаст, комод, полный простыней и скатертей, шкатулка, полная красивых колец, — вспомним Хетти. Это как сейчас в мире рекламы. Всё по-прежнему стремится к обряду посвящения: лицо покрыто белой вуалью, а любопытная публика пытается его разглядеть и представить, что будет с телом, прячущимся под белым кружевом, или атласом, или органзой, когда оно будет обнажено. Перед вами огромный стол с *вещами* — как у нас здесь, — которые люди с любовью вам дарили. А потом вы понимаете, что все эти *вещи* — сыр в мышеловке, и вот вы уже на кухне, окруженные ими. Остается только смотреть в окно — женщины в романах всегда смотрят в окно — и думать, как вырваться на свободу.

— Так вот о вещах, — подхватила Фредерика. — Какая-то вещь у нас становится предметом недели, и сегодня это пищевой контейнер. У нас есть три образца: мы не смогли определиться с цветом.

На экране появились три чашки: одна жемчужно-розового цвета, другая — светло-аквамариновая, оттенка утиного яйца, третья — неж-

но-лимонная. Сфотографированы на белом фоне. Плотные, но пропускают свет. Линии ровные, четкие, выверенные, одинаковые. Все как одна отбрасывают красивые голубовато-серые тени. Изящество абстрактной живописи.

Джулия сказала, что они прекрасны. Изящные, легкие, практичные. С ними чувствуешь себя свободной. Посмотрите — она обвела рукой стол — на этот беспорядок, на это требующее суеты серебро, на эти инструменты-поработители. Я помню, еще во времена войны многое делали из отвратительного бакелита. Эти же чашки — они как техника, они освобождают, дарят время. Я включаю стиральную машину — у нее такие чистые очертания, — и она стирает, а я пишу.

Пенни Комувес контейнеры показались уродством. То ли дело традиционная глиняная посуда и блестящая польская эмаль. Скоро, ворчала она, вся земля будет завалена этими неразлагающимися и облупившимися раковинами. А в Тихом океане будут плавать пластмассовые стаканчики. Ничего человеческого.

Фредерика отметила, что они красивые и пустые. Чем-то похожи на комнаты с жалюзи на окнах. Женские архетипы. Мать как контейнер, вместилище. Чаша Грааля. Пустые, пока не за-

полнятся. Вопрос только чем.

Пенни Комувес добавила, что они стерильны. И напоминают ей презервативы. Или детские ведерки и лопатки. Но это не игрушки, заметила она.

Маленьким девочкам, сказала Джулия, полагается играть с пластмассовыми стаканчиками, песком и водой, печь куличи, пирожные и пудинги. Мальчики же строят мосты и здания.

Воображаемые пирожные, отозвалась Фредерика, куда соблазнительнее настоящих. Пирожные-призраки. А это миски-призраки.

Странно, наконец заметила она, думая о кухнях и вещах, что героини викторианской литературы мудры, привлекательны и человечны в отрочестве, но, взрослея, превращаются в чудовищ, демониц или жертв. Джейн Эйр и Мэгги свежесть юности принижает. Королева Червей кричит: «Рубите голову!», Герцогиня морщится, а Алиса «громко и решительно» произносит: «Чепуха». Кэрролл признавался, что представлял себе Королеву Червей как «своего рода воплощение неуправляемой страсти — слепой и бесцельной ярости». Кухарка и Герцогиня не лучше, да и с обеими королевами Зазеркалья что-то совсем не так. Возможно, взрослеть не стоит.

И вот три женщины уставились на три пустых безликих контейнера. Хотим ли мы жить сами по себе? — спросила Фредерика у остальных. Все больше и больше женщин хотят. Какими бы мы были, если бы обладали независимостью, если бы не было брака, если бы можно было обходиться без мужчин? Вряд ли, заметила Джулия, мы были бы похожи на великих дев прошлого столетия: Флоренс Найтингейл, Эмили Дэвис[44]. Мы могли бы жить так, как хотела Мэри Уолстонкрафт[45], — отдельно, изредка навещая любимых мужчин, распоряжаясь собственным пространством и временем. Пенни Комувес сказала, что последние научные исследования вроде бы показали, что прикладывание льда к яичникам в определенных условиях вызывает партеногенез. Тогда мужчины вообще не понадобятся, и у нас будет выбор. Что же мы выберем?

Фредерика постучала по контейнеру, раздался глухой звук. Нам бы понадобились слуги. А если

---

[44] Примечания: 44

Флоренс Найтингейл (1820–1910) — английская сестра милосердия, общественный деятель. *Эмили Дэвис* (1830–1921) — английская суфражистка; выступала за права женщин на образование в университете, соучредитель Гёртон-колледжа — первого в Англии высшего учебного заведения для женщин.

[45] Примечания: 45

Мэри Уолстонкрафт (1759–1797) — британская писательница и мыслитель. Известна своим очерком «В защиту прав женщин» (1792).

бы появились дети? Что бы выбрали они? Невозможно заменить весь труд.

Будь мы свободны по-настоящему, мужчины стали бы другими, сказала Пенни.

Какими? — спросила Джулия.

Мягче. Добрее. *Пластичнее.* Не знаю.

Передача закончилась. Все трое выглядели озадаченно, но с игривой искоркой в глазах. Раздавались нервные смешки.

Фредерика, глядя на них потом, подумала, что все они предстали этакими вечнозелеными барышнями. Тогда это витало в воздухе. У Пенни Комувес лицо было маленькое, угловатое, немного щенячье, с большими темными глазами, короткая стрижка-боб и прямая челка. У Джулии Корбетт, принадлежащей к предыдущему поколению, в уголках блестящих глаз едва виднелись морщинки, пучок тускнеющих рыжих волос пронзали серебряные булавки. Руки и пальцы украшали красивые серебряные браслеты и кольца, а на шее сверкало ожерелье из серебряных и эмалевых сердечек и цветов. Но платье было девчачье — бледно-огненного цвета, красиво подвязанное под грудью и обрезанное выше колена. Макияж был тщательно продуман и делал ее немного похожей на куклу: острые

черные ресницы, объемные кремовые и матово-голубые веки, сахарно-розовые бледные губы и капля румян на изящных скулах. Пенни Комувес предстала в темно-винном образе: черноватые губы, виноградно-серебристые веки, белая маска на сердитом лице. На ней был облегающий джемпер, поверх него — нечто напоминающее школьный сарафан времен Фредерикиного детства; маленькие острые грудки выдавались по нижнему краю кокетки. Сама Фредерика была одета в полупрозрачную рубашку цвета индиго со строгим белым воротником и манжетами — тоже под школьницу, тоже отчасти провоцируя. На этот раз сходство с Алисой придавала лента (цвета индиго) в медно-рыжих волосах, которые Фредерика начала отращивать. Рубашку дополняла серая длинная юбка из поплина, широкий черный эластичный пояс и маленькие сапожки на каблуке. И наряд, и пародия (на что?), и маскарад. Тщательно загримированные лица, казалось, скрывали, а не раскрывали мысли героев. Частый смех звучал немного жутковато. Уилки остался доволен. Сказал, что обязательно будут письма с жалобами. Фредерика недоумевала. Непристойность, ответил Уилки. Капли крови и ледяные яичники — это неприлично. К удив-

лению Фредерики, он оказался прав. Аудитория передачи росла.

X

Чего хотят женщины?

В семнадцать лет Фредерика никогда бы не поверила, что когда-нибудь захочет полового воздержания. После отъезда Джона Оттокара в Калверли она спала одна. А самое сильное физическое удовольствие получала, обнимая костлявыми руками своего крепкого, костлявого сына, вдыхая мгновенно узнаваемый запах его волос и ощущая живое тепло его кожи. Когда в «Зазеркалье» стали обсуждать секс, она про себя удивилась, почему о нем больше не думает, или думает, но — Фредерика с собой была честна — с какой-то новой для себя опаской. Тело хочет беременности, заверила она, и так оно и было. Фредерика поймала себя на том, что смотрит на Уилки, гадая, «годится» ли, придирчиво оценивая появившуюся характерную для его возраста солидность и с симпатией разглядывая его умное лицо. Но Уилки нравились молоденькие. Те, что ждали его после съемок — в мини-юбках и с непокорно распущенными волосами. Затем одной из них выпадала честь ехать с ним на «ламбретте»,

сцепив руки вокруг его талии: именно так и она единственный раз прокатилась с ним на мотоцикле в 1953 году. Это, казалось, было вчера, а ведь прошло уже пятнадцать лет. Вспомнились времена «Астреи» и ее принужденно целомудренное, едва различимое влечение к Александру Уэддерберну. Чувство усилилось после приглашения посмотреть Флору Робсон в роли Елизаветы I в Национальной портретной галерее. И под властью воспоминаний она позвала с собой Александра и Дэниела.

За день до этого из Калверли позвонил Джон Оттокар. Планирует приехать на выходные и, если она у себя, хочет повидаться. Телефонный разговор вдруг пропитался сексом. Лео был в гостях у отца. Приедет Джон, сказала Фредерика Агате. Поскольку Агата никогда не рассказывала Фредерике о своей личной жизни или каких-либо проблемах — помимо школьных дел Саскии, надежд на повышение или раздражения заместителем министра, — то есть, поскольку Агата никогда не говорила с Фредерикой о своей сексуальной жизни или даже не говорила, есть ли она у нее, Фредерика вооружилась неестественной деликатностью. Однажды Джон в порыве обиды бросил: «Вы небось меня обсуждаете…»,

но Фредерика ответила: «Нет, вообще-то, нет». И добавила, успокаивая: «Агата в этом смысле ничего со мной не обсуждает, если задуматься». Джон рассмеялся.

И вот он здесь, и в тесной квартирке крепчает жар, густеет воздух — густой воздух, и упоение, и в обоих телах вдруг пробуждается что-то привычное и непривычное, проступает влага, подступают ласки, тела сливаются и разлепляются, и Фредерика испытывает привычное чувство — вот оно, *настоящее,* — и новое, щемящее: «Так я чувствую всегда». И вот сейчас я чувствую, что вот оно, настоящее. И при этом я — нечто иное, кто-то другой, само по себе.

— Что нам делать? — спросил Джон Оттокар. — Как вот так жить врозь? Просто разрываешься.

А Фредерика смотрела на любимую голову на подушке — бесспорно, любимую — и не знала, что ответить. Ибо она помнила, как хотела эту любимую голову, абстрактно, так, как, по словам Джулии Корбетт, все они хотят вспененной фаты, торжественного шествия, девственно-белого платья, покрывающего плоть.

И что ответить, она не знала: ей было хорошо одной, и пусть время от времени будет секс — переполненность оголенной и неудержимой

энергией, — а иногда совсем без него. Джона все это беспокоило сильнее, думала она с неоправданной злобой, и не потому, что они не каждую ночь были бок о бок, а потому, что она ускользала от него, потому что он чувствовал, что в ее жизни и без него было много чего еще.

Они слегка повздорили из-за Флоры Робсон и Елизаветы I. Джон приехал так ненадолго, может, ей не идти? Но Фредерика возразила, что пойти хочет. Ты просто хочешь увидеть их — этого, как там его, Александра и Дэниела. Не говори глупостей, протестовала Фредерика, я хочу посмотреть «Елизавету». Тиранша из Тюдоров, буркнул Джон. Ты можешь сходить в любой день.

Не надо, попросила Фредерика. *Не ревнуй* по пустякам. *Не пытайся* запереть меня в четырех стенах. Если мы начнем вести себя так друг с другом, это начало конца.

Конец все равно уже близко.

Кроме тебя, у меня никого нет. Ты это знаешь.

Он проводил ее до Национальной галереи. На прощание поцеловал и, отпуская, изящно и собственнически скользнул рукой по ее спине и ниже, по мягкому месту. На мгновенье она размякла, но потом стряхнула сомнения и пошла смотреть Елизавету.

«Творческие способности», третий пилотный выпуск, последний перед Рождеством, был задуман Уилки. Психолог-когнитивист из Ла-Хойи Хедли Пински, уже приглашенный на конференцию Герарда Вейннобела, выступал в Оксфорде с докладом «Порядок из шума: построение смысла». По мнению Уилки, было бы неплохо пригласить вместе с ним психоаналитика Элвета Гусакса. «Наше бессознательное — система схем и двоичных затворов, — провозгласил Уилки, — или это все-таки фрейдовское Оно — буйный зверь, беснующийся во тьме?»

Фредерика призналась, что Элвета Гусакса опасается. Она была свидетелем его ораторского таланта на суде по делу «Балабонской башни». Говорит как отстукивает ритм, вспоминала Фредерика. Буквально лучится самодовольством. Решила не сообщать о его попытках анализировать Оттокаров, хотя в силу этого она уже является частью его психической жизни. Уилки отметил, что оба ученых — примадонны в своих областях, у каждого особый стиль, для телевидения они более чем органичны. Огонь и лед, вот увидишь, убеждал ее Уилки. А ты будешь на высоте.

На этот раз стеклянная коробка для передачи

была равномерно разделена на причудливые ячейки, которые при ближайшем рассмотрении оказывались пластмассовыми полостями коробок из-под яиц. Позади расставленных у стола трех стульев на решетчатой стене непрочно восседал Шалтай-Болтай Тенниела. На столе лежали яйца, на переднем плане бегали мультяшные яйца на ножках, неотступно преследуемые мультяшными цыплятами, а рядом мультяшные глаза в очках — совсем отдельно от лиц — следили, кто кого догонит. Здесь были и современные варианты «хливких шорьков» — нечто среднее между хорьками, ящерицами и винными штопорами, — а также «мюмзики», летающие зеленые свинки. Имелись страусиные яйца, и яйца Фаберже, и аккуратные ящики для сбора яиц. Главным персонажем этой передачи, заранее согласованным с обоими гостями, был Фрейд.

Специальным предметом стала керамика Пикассо. В студии был не оригинал, но очень хорошая копия. На страховку не хватило бы средств — даже в те времена.

Элвет Гусакс, с обрамляющими лысину волосами и вытянутым мраморным лицом, сам был похож на одну из вариаций образа яйца. Обильный наложенный телевизионщиками грим эту

бледность подчеркивал, как и тяжелые овальные веки над глубоко посаженными глазами. У него было два характерных выражения: задумчивая недвижность, и тогда он опускал веки, и вспышка гипнотического внимания — тогда он поднимал их, и его темные глаза сверкали. Двигался он много, помавал длинными пальцами, пожимал плечами и горбился, подбирал крупные губы или растягивал их в зловещей ухмылке. На нем была свободная рубашка из синего индийского хлопка, расшитая маленькими звездными мандалами из зеркального стекла, на шее — серебряный полумесяц на кожаном шнурке.

Хедли Пински высок, весь бело-золотой и необычайно симметричный, сразу же подумала Фредерика, пожав его большую руку в комнате для гостей. Волосы нордического блондина, лицо точеное, идеальные скулы, длинный рот — нечто среднее между властностью и непринужденностью. Квадратные изящные ногти. На нем был угольного цвета фланелевый костюм, небесно-голубая рубашка и галстук с узором из объемных кубиков, черных и белых. Глаза разглядеть трудно: их скрывали очки в тяжелой оправе с очень толстыми голубыми линзами. Объяснил — и то были его первые слова, — что носит очки не из

жеманства, а потому, что он «отчаянно близорук, то есть компьютерную распечатку я прочесть смогу, а вот вы для меня — элегантное пятно». Звучал как американец с Восточного побережья, непринужденно. Наблюдал за всеми — Уилки, Фредерикой, Гусаксом — какими-то другими частями тела, не глазами.

В эфире Фредерика попросила обоих высказаться о том, что, по их мнению, представляют собой творческие способности.

Пински дал научное определение. Способность к творчеству — это способность рождать новые идеи, давать новые объяснения. Он согласен с Ноамом Хомским в том, что человеческий разум с рождения, фигурально говоря, *запрограммирован* на выстраивание грамматики и других форм мышления точно так же, как бобры с рождения запрограммированы строить плотины, а птицы — вить гнезда. Ребенок *Homo sapiens* способен создавать бесконечное количество новых предложений, которых он никогда не слышал, именно потому, что он физиологически так устроен, что умеет это делать. Творческий же человек порождает новую идею точно так же, как ребенок создает новое предложение. Некоторые из них полезнее, некоторые неожиданнее, чем другие.

Благодаря некоторым устанавливаются ранее не предполагавшиеся связи между предметами или явлениями. Часть его собственной работы заключается в разработке компьютерных программ и проведении лабораторных экспериментов для изучения мыслительных процессов, благодаря которым возникают новые идеи. Моделирование мышления. Изучение выбора.

Гусакс заметил, что за образец творчества ученые всегда принимали научные открытия. При этом великое произведение искусства — единство уникального и универсального, одновременно открытое для объяснения и не поддающееся категоризации, — раскрывает нам истинный масштаб человеческих способностей. Нам никогда не спроектировать лабораторное исследование, которое «объяснит» «Короля Лира», никогда не смоделировать божественный надрыв Бетховена или безупречный баланс математической точности и космической глубины картины Пьеро делла Франческа «Крещение Христа».

Пински попросил Гусакса объяснить не только то, как он определяет «божественный надрыв», но и как люди могут согласиться, что видят и чувствуют его.

Великое произведение искусства, продолжал Гусакс, — это набег бесстрашного сознательного разума на бурлящую массу недифференцированного бессознательного. Бессознательное, как показал Фрейд, лишено всякого представления о времени и пространстве. Его энергия — это энергия принципа удовольствия, желания, а не реальности. Великий художник, подобно Орфею, спускается в Тартар, не пугаясь демонов своих невыразимых желаний и страхов — всех наших невыразимых желаний и страхов, — и возвращает их сознанию, где создает образы, позволяющие созерцать их более отчетливо. Так Софокл вгляделся в Эдипа — похотливого убийцу, — который обитает во всех младенцах, и возвратил нам знание о нем, чтобы мы могли пережить ужас как красоту и порядок. Так и Шекспир с Гамлетом: он вгляделся в корни братоубийства, отцеубийства, инцеста и других запретов — и еще глубже, в стремление всего живого *вернуться к бездействию,* в тайну, согласно которой все жизненные влечения суть *влечения к смерти.* И вот все это поднялось из темных сплетений времени и пространства в упорядоченный органический мир, воссоздаваясь пятистопным ямбом, который встроил ужас — то уныло-томительный, то

решительно-острый — в ритмы времени и пространства, в сознающее мышление.

Я фрейдист, не юнгианец, отметил Элвет Гусакс. Но недавно я пришел к выводу, что религиозный скептицизм Учителя во многом его ограничивал. Думаю, Юнг был прав, когда рассматривал великое произведение искусства как мандалу, формальную конструкцию, которая дарует нам возможность созерцать истину.

Пински, белозубо улыбаясь, отметил, что так широко он не замахивается. Но уверен, что когнитивная психология — в отличие от психоанализа, который, да простит его доктор Гусакс, не наука, а изящная словесность, использование языка с поэтической неточностью и звучностью, — способна предоставить нам данные о геометрии мандалы, о закономерностях и аномалиях пятистопного ямба. Его интересуют разноплановость и при этом одновременность мыслительных операций — то, как сознание представляет и упорядочивает схемы, с которыми оно работает.

Он рассказал о любопытной компьютерной программе под названием «Пандемониум» — юмористическая поэзия психологов на каждый день, отнюдь не высокого штиля, хотя и получившая свое название, по всей видимости, от суетли-

вой столицы подземного мира из «Потерянного рая». В программе есть иерархия механических демонов, которые придуманы или спроектированы (нами, их хозяевами), чтобы распознавать закономерности в потоках случайной информации, создавать порядок из шума. Работает по принципу «параллельной обработки данных». Есть «демоны данных», которые распознают образы и кричат. Есть демоны-вычислители, которые распознают кластеры распознанных образов и кричат. Есть когнитивные демоны, которые представляют возможные закономерности и собирают посчитанные крики. И есть «демон принятия решения», который определяет стимулы по самому громкому выкрику. Система способна учиться. Она уже может распознавать печатные буквы и азбуку Морзе. Возможно, однажды она поймет, что именно неповторимо в «Гамлете» или «Героической» симфонии Бетховена.

Едва ли это спасет хотя бы одну жизнь или поправит чье-то душевное здоровье, заметил Гусакс.

Зато с ее помощью можно организовывать городские пространства и сообщества ученых, вершить справедливость — и создавать произведения искусства, парировал Пински; лучше

поняв, что мы собой представляем, мы станем мудрее. Программа может научить нас не заблуждаться относительно себя. Не уверен, что ваше фрейдистское бессознательное — какими бы блестящими метафорами его ни украшать — вообще существует. Это просто воплощение страха или желания.

Фредерика перевела разговор на Зигмунда Фрейда: его бородатое, зашторенное очками лицо, кареглазое, мудрое, тревожное и какое-то сомневающееся — так ей показалось, и именно это больше всего понравилось, — ненадолго заняло экран, сменив Шалтая-Болтая.

О самом Фрейде Гусакс рассуждал примерно в том же ключе, что и о фрейдовском понимании Эдипа и Гамлета. Пустил в ход образ бесстрашного героя, самоанализ которого стал невиданным открытием. Учитель перевернул весь культурный мир своего времени, изменил представление всех и каждого о своем теле, мышлении, желаниях и страхах.

Изменил он и образность повседневной жизни, добавила Фредерика. Скажем, реклама перестала быть сознательной попыткой сыграть на бессознательных сексуальных метафорах и теперь неприкрыто над ними иронизирует.

Гусакс как будто немного растерялся. Камера остановилась на голубых линзах Пински. А смотрит ли он рекламу, подумала Фредерика.

Пински заметил, что, по его мнению, Фрейдовская романтизация бессознательного отодвигает на задний план другие его наблюдения, весьма полезные, практические. Ведь нам следует отдавать себе отчет в том, что мы живем в потоке мыслей, наблюдений, стимулов, лишь немногие из которых могут быть упорядочены или использованы в любой момент времени. Будто следуешь в хвосте кометы, состоящем из беспорядочной мешанины ледяных и каменных глыб и вспышек газа. Одна из великих тайн разума — как в голове хранится память. Почему мы что-то узнаём, потом забываем, но при этом знаем, что можем снова получить доступ к забытому имени, событию. Почему что-то мы помним лучше, а что-то — хуже? Как это получается? Каков механизм?

Фрейд, по словам Гусакса, твердо верил, что любые попытки локализовать отдельные мысли или возбуждения в тех или иных нервных клетках или областях мозга обречены на провал.

Ну когда это было заметил Пински. Но можно согласиться, что обе наши дисциплины изучают

организацию этих двух ипостастей мышления. Именовать их можно по-разному. Можно говорить о рациональном и интуитивном, логическом и дологическом, реалистическом и аутистическом. Возвращаясь к теме программы, отметим, что иногда выделяют также оппозицию «обыденного» и «творческого» мышления: как если бы творческое всегда было иррационально, укоренено в хаосе и многообразии. В категориях компьютерного программирования принято говорить о *параллельной* и *последовательной* обработке. Это примерно соответствует тому, что Фрейд называл «первопроцессом» в противовес «вторичной переработке». И все мы видим тот момент, когда первопроцесс, так сказать, *вторгается в* рациональное, вызывает всплеск, срыв во фрейдизм, который также может быть «творческой» ошибкой или интуицией. В конце концов нам удастся описать те механизмы, создающие неизбежные сцепления памяти и забывания, с помощью которых Фрейд приходил к своим аналитическим откровениям. Вот, изволите видеть, история в духе Фрейда.

Гусакс загадочно прикоснулся кончиками пальцев к сжатым губам и опустил веки.

Вот история, рассказанная Хедли Пински, история, рассказанная самим Фрейдом, которая в некотором смысле является историей, рассказанной Вергилием. Ей было суждено сыграть неожиданную роль и в других историях, в том числе и в истории Фредерики. Она в мгновение ока радует слушателя своей словесной изящностью и при этом охватывает биологию и историю человечества, как круги вокруг брошенного в темный бассейн камня.

Однажды Фрейд встретил в поезде юношу. Тот, будучи евреем и представителем научных кругов, его знал. Завязался разговор (Фрейд прямо говорит, что не помнит, как именно) о социальном статусе «народа, к которому мы оба принадлежим». Молодой человек заявил, что его поколение «обречено на атрофию (именно так он выразился), оно не может развивать свои таланты и удовлетворять свои потребности».

Свою пламенную речь он увенчал неточной цитатой из Вергилиевой «Дидоны»: царица возлагала на потомков свою месть Энею.

Exoriar(e) ex nostris ossibus ultor — Да выйдет из наших костей мститель!

Фрейд, выслушав юношу, восполнил пробел во фразе. *Exoriar(e) ALIQUIS nostris ex ossibus ultor.*

Фрейду был брошен вызов: пришлось использовать свою теорию о том, что ничто не забывается без причины, для объяснения отсутствия неопределенного местоимения. Психоанализ превратился в род досуга для путешественников. Фрейд попросил юношу дать свободную ассоциацию к слову *ALIQUIS* (некий).

Тот разделил его. *A liquis.*

Добавил: *Reliquiem*. Разжижение, текучесть, жидкость.

Вам уже что-то ясно?

Нет, ответил Фрейд, продолжайте.

Юноша, который, судя по всему, был склонен к презрительным насмешкам и раздражительности, продолжил.

Он вспомнил Симона Тридентского и обвинения в ритуальных жертвоприношениях, выдвинутые против евреев. Вспомнил утверждение, что невинно убиенные были воплощением грядущего Спасителя. Вспомнил статью в итальянской газете: «Что Августин говорил о женщинах».

Фрейд ждал.

Юноша вспомнил других святых. Симон, Бенедикт. Затем назвал и Оригена.

Вспомнил святого Януария и чудо, когда каждый год его засохшая кровь становится жидкой.

Фрейд отметил, что январь и август связаны с календарем.

Юноша также вспомнил, как Гарибальди угрожал священникам, надеясь, что чудо разжижения произойдет совсем скоро.

Поколебавшись, упомянул «одну даму, от которой можно легко услышать такое, что неудобно обсуждать обоим».

«Что у нее прекратились месячные», — догадался Фрейд, соединив календарь, кровь, происхождение, детские жертвоприношения, грядущего мстителя…

Сжатие, сгущение, взаимосвязь, подхватила Фредерика, — это почти описание произведения искусства.

Или, заметил Гусакс, кажется, что произведения искусства возникают из таких целенаправленных сцеплений.

Пински объяснил, что где-то в мозгу есть механизм извлечения ассоциаций, который работает как Пандемониум. Что Фрейд был необычайно проницательным компьютером.

Все посмеялись.

Перешли к Пикассо. Глиняный горшок, округлый и полнобрюхий, стоял на куриных ножках,

петушиный гребешок над тонким клювом-носиком, женские выдающиеся груди и складка пупка. Ручка его представляла собой изогнутый хвост. Горшок был сделан из белого фаянса и вымазан копотью и черной краской; на нем также были злые пристальные глаза, прелестные соски и буйные крылья. Все трое, взглянув на горшок, рассмеялись, как будто смех был надлежащей реакцией (Хедли Пински поднес его ближе и осмотрел голубым взглядом). Фредерика зачитала воспоминания сына Пикассо: в Валлорисе его отец работал прямо на гончарном круге.

«Отец хватал изделие, сворачивал ему шею, щипал за живот, прижимал к столу, сгибая шею. Голубь. Курица. Руки работали так быстро, что я не замечал, как вылеплялась голова. Вот в руках карандаш, несколько штрихов — глаза, текстура перьев. Какие у него быстрые и уверенные руки».

Твердая, осязаемая метафора, отметила Фредерика. Курица из женщины. Женщина из курицы. Гусакс сказал, что нам нравятся полиморфы по сексуальным причинам, из детской чувственности, и по религиозным причинам, связанным с желанием соединиться со вселенной, — взять хотя бы человекоподобных животных на на-

скальных рисунках. Пински же посчитал, что ваза с петухом-женщиной — и разработчики передачи как будто это специально обыграли — была аналогом кэрролловских хливких шорьков и мюмзиков. Скрещивание сурков, ящериц и штопоров, по его словам, отличная пародия на людей-оленей из пещеры Ласко и диких людейсов. Штопороподобное же устройство придает им комичную безобидность.

И все это под эгидой Шалтая-Болтая, заключила Фредерика. Именно он — создатель слов-гибридов и слов-телескопов. Он считал, что слова должны его слушаться и вести себя прилично. В изобретательности сжатия было что-то приятное, чего Фредерика понять не могла. Курица/женщина, полудух = олух.

Шалтай-Болтай, сказал Пински, считал себя хозяином языка. Филолог или антифилолог?

Гусакс плутовато усмехнулся:

— Посмотрите, что с ним, хозяином языка, сталось. Оказался в куче битой яичной скорлупы, которую не собрать воедино никакими творческими способностями.

Сверхсознание, Ш. Болтай. Сверхзазнайка.

Фредерика стала увереннее держаться перед камерой. Задорно улыбнувшись, она сказала

невидимым зрителям, что надеется, что им понравились рассмотренные здесь различные взгляды на творчество: от набегов на потустороннее до гудящего пандемониума последовательно соединенных проводов, от сжатия метафоры до хаотичного расширения хвоста небесного тела, от сфинксоподобного лица Фрейда до творческих пальцев Пикассо и роковой словесной самоуверенности Шалтая-Болтая. Она едва ли стала лучше понимать, почему нас так волнуют метафоры, психические связи, великие произведения искусства. Но теперь в арсенале стало больше метафор и историй, над которыми можно поразмыслить, ее мир стал богаче. Когда лица померкли и экран заполнился полночной иссиня-черной тьмой, в которой замелькали маленькие точки света, Фредерика вспомнила миф о Сотворении мира, согласно которому все возникло из Мирового Яйца, отложенного Матерью-Ночью в лоне первозданного хаоса.

Комната для гостей находилась под землей, это было какое-то бесцельное помещение, затхлое от дыма и намагниченной пыли. В те благословенные дни здесь стояла тележка, полная бутылок: виски, джин, водка, красное и белое вино. Вокруг низких столиков стояли диваны с ярко-синими

и томатно-красными чехлами. Фредерика села рядом с Хедли Пински — отчасти для того, чтобы он мог ее видеть, а отчасти чтобы избежать общества Элвета Гусакса. Пински сделал себе большой джин с тоником, положив много льда. Надеюсь, начала разговор Фредерика, передача вам понравилась.

— Уверяю вас, — ответил он, — связно выражаться на экране — это уже необычно. Впрочем, едва ли все это продлится долго. По двум причинам. Люди вскоре начнут мыслить урывками. Хлесткими репликами. А реклама будет резать наши мысли на ленточки.

Любезный рот открывался и закрывался. Зубы белые, ровные.

Фредерика задумалась.

— Мы играем в визуальные игры. У нас есть блуждающие мультяшные существа и прозрачные экраны. Цыплята, яйца и Шалтай-Болтай собственной персоной.

— И вы гадаете, вижу ли я их?

Он прошелся кончиками пальцев по очертаниям горшка Пикассо, который взяли с собой.

— Я все-таки животное визуальное. Я размещаю *гештальт* этого существа — плоть и перья — на геометрических плоскостях. Мне приходится

приучать себя думать пальцами. Здесь — где грудки — все гладко, а здесь глина шероховатая. На стыках, где человеческий изгиб переходит в птичий, пальцы удивляются. Но думаю я глазами.

Элвет Гусакс деловито и бесшумно прошел по ковру и сел по другую сторону от Фредерики.

— Хотите увидеть то, что вижу я? — неожиданно произнес Хедли Пински и протянул Фредерике свои тяжелые очки. — Взгляните на джин с тоником.

Сначала она посмотрела ему в глаза. Бледно-голубые, огромные зрачки и глазные яблоки. Он улыбнулся.

Фредерика надела очки, теплые от его кожи.

Джин-тоник представился кобальтовой пещерой с головокружительными лестницами, утопающими в голубых арктических морях — чернила и вода. В животе что-то сжалось, дыхание перехватило.

— Вы не видите того, что видит он, — вмешался Элвет Гусакс. — У вас-то зрение нормальное.

Фредерика сняла очки и вернула их когнитивисту.

— Как будто побывала под ледяным покровом.

— Поэтому я и предложил джин с тоником.

Подошел Уилки. Обратился к Пински:

— В пятидесятых я в течение недели проводил эксперимент с оборачивающими линзами. После них мутило куда сильнее, чем я предполагал. Затем я провел серию экспериментов с цветными линзами. Насыщенный взгляд. По десять дней на каждый цвет.

— Да, я читал.

— Вы когда-нибудь хотели попробовать разные цвета?

— Мне нравится голубой. Его мне и прописали.

В лифте Элвет Гусакс взял Фредерику за локоть:

— Можно вас на пару слов?

— Меня дома сын ждет.

— Я знаю, вы не хотите услышать то, что я собираюсь сказать. Но — всего пара слов.

— И вы туда же?

Он усмехнулся. Они направились к выходу по бесконечным закругляющимся коридорам телецентра. Когда они оказались во внутреннем дворе, начало смеркаться. Гусакс указал на здание:

— Мне всегда казалось, что это оборонительное укрепление. Огражденное стеной, чтобы держать мир на расстоянии. И радиотелевизионный

центр, и этот новый цилиндр — как две башни у Толкина. Внутри множество ходов и лабиринтов, а на вершине — красное недреманное око. Вот к мрачной башне Роланд подошел[46]. Оно все обращено вовнутрь. Стеклянные стены смотрят внутрь.

— Но из него обращаются ко всему миру.

— Она испускает мыслелучи и бестелесные голоса, показывает лица-призраки, очень-очень правдоподобные. У многих моих пациентов телевидение вызывает тревогу. Безумцы знали о радиоволнах задолго до Эдисона и Маркони. Вы не разрешите, Фредерика, поговорить с вами о Небесных Близнецах?

— Моя личная жизнь — мое личное дело.

— Да, но у близнецов личной жизни нет. А личная жизнь Зага — это мое дело.

Фредерика повернулась к нему, темнота сгущалась, вокруг — красноватый свет натриевых ламп Уайт-Сити на темно-синем небе.

— Отстаньте, пожалуйста. Мне не по душе все эти религиозные штучки, в которые ввязался Пол-Заг, оба брата. Мне это чуждо. И очень не нравится.

---

[46] Примечания: 46

Строка из известного стихотворения Роберта Браунинга (1812–1889), являющаяся аллюзией на фрагмент из «Короля Лира» Шекспира.

— Вы только послушайте себя, дамочка. Такие дряблые словечки в разговоре о духовных силах! Происходит нечто необыкновенное — меняется миросозерцание человечества, открываются пути к духовной силе, а вы: «мне не нравится», «мне не по душе».

Передразнил он ее не очень похоже и продолжал улыбаться. На сероватой лысой макушке играли красные и золотистые огоньки.

— Возможно, самые заурядные слова — самые подходящие, — отозвалась Фредерика.

По телу пробежала дрожь. Ноги подкашивались. Гусакс электризовал, как все харизматичные личности. Он был внушителен и магнетичен, одновременно притягивал и отталкивал. Не волшебник, подумала она, а гном. Румпельштильцхен.

— Я знаю, вы хотите как лучше.

— Не знаете. Даже не представляете. Но вы чувствуете, что я прав.

— Нет. Я вообще не хочу об этом думать. Понятно вам? Я хочу домой к сыну.

— Подумать все равно придется. И вам понадобятся друзья и союзники.

— Постараюсь справиться своими силами.

— Такая маленькая, совсем одна и в полном

неведении, — произнес Гусакс.

Подъехало черное такси. Фредерика залезла в машину.

— Можно поехать с вами?

— Нам точно не по пути.

Она захлопнула дверь. Он улыбался, маленькие зеркальца на рубашке сверкали в свете фар, которые освещали его голову-луну. Пронеслись, и он остался в темноте.

XI

Жаклин работала в Башне Эволюции, в отгороженной ячейке в физиологических лабораториях. Крошечное, как в келье, окно выходило на внутренний изгиб спирали — слишком высоко, чтобы видеть траву, и слишком низко, чтобы видеть небо. Лайон Боумен ценил тишину и уединение, и ячейку Жаклин проложили яичными коробками, из-за чего дневного света проникало еще меньше. Труды ее начали приносить плоды. В распоряжении Жаклин были различные образцы подпищеводного ганглия *Helix aspersa,* позволяющие исследовать гигантские нейроны, в которые она тонкой микропипеткой поочередно вводила хлорид калия и солевой раствор. Иногда хлорид предательски забивал пипетку. Она смастерила простейший вариант зажима напряжения и измеряла сопротивление мембран клеток, пропуская через них кратковременные электрические токи. Разрезать клетки зачастую не получалось: их покрывал слой соединительной ткани, которую приходилось сдирать, иначе мембрану не пробить, не сломав пипетку и не

повредив клетку.

Кусочки живой материи отзывались ритмичными всплесками электрической активности. В начале 1950-х Ходжкин и Хаксли предположили, что на поверхности клеток существуют ионные каналы. По их мнению, через эти проймы в мембране — скорее густой клейкой, тягучей жиже, чем пленке — химические посыльные проникали в клетки, проводя электричество, которое и есть жизнь. А жизнь, как считала Жаклин, есть мысль. Мозги передавали сообщения отрезанным щупальцам и ножкам. Где-то здесь было то пространство, в котором разум и материя составляли единое целое.

Она подумала, что вполне возможно обнаружить электрохимический момент воспоминания: надо только научить улиток — по стопам Павлова — избегать одних раздражителей и искать других. В клетках, которые научились удовольствию или боли, жадности или уклонению, возможны изменения. Поэтому, помимо призрачных улиток-препаратов, у нее были коробки с живыми улитками, обитающими в различных экспериментальных условиях. Она поначалу задавалась вопросом, можно ли научить эти существа реагировать на яркий свет. Попробовала светить им в

коробки очень ярким светом, дополняя его электрическим разрядом. Не очень-то получилось — в том числе из-за затруднений с тем, чтобы контролировать выход улиток из раковины. Кроме того, ее интересовало, по-разному ли реагируют улитки в то время года, когда обычно они пребывают в спячке, и в то время года, когда они активно спариваются и добывают пищу.

Жаклин решила, что целесообразнее сначала привить им отвращение к определенной пище. Имелось несколько групп улиток, которых закармливали морковью, затем давали картофель: одним с неприятным вкусом, другим — нет. Вначале в экспериментальной группе давались слабые дозы специального яда: в результате улитки исходили пеной, бились в конвульсиях и умирали. Затем она начала давать им цианогенный глюкозид, содержащийся в растениях, которыми они питаются, однако в данном случае с повышением концентрации. Это, похоже, действовало лучше. У нее было несколько круглых пластмассовых посудин с перфорированным дном и двухсантиметровым мостиком в центре. «Обученные» улитки (слегка отравленные) избегали той половины посудины, где был картофель. Необученные улитки ползали везде. По общему

правилу. Иногда они не высовывались из раковин — недвижные, но живые.

Нужно было получить возможность проверить, правда ли эти химические посыльные передают воспоминание об отравленном картофеле от нейрона к ганглию, а затем — к губе. И у нас будет один кусочек пазла, который в будущем покажет, как то, чего нет, или его репрезентации, обитают в нейронах и синапсах, в молекулах и токах мозга. Морковь, картофель, запах кожи возлюбленного или детских волос, второй закон термодинамики, вопли короля Лира.

Лайон Боумен время от времени наведывался, проверял, как Жаклин устроилась, как ей работается. Зажим напряжения вызвал восторг, идея начать с приучения к отвращению получила одобрение.

— Есть один ученый, — поделился он соображениями, — по фамилии Унгар. Он при помощи электрошока прививает крысам страх темноты и уверен, что напал на след особой молекулы памяти, которую окрестил скотофобином. Страх темноты. Он считает, что научился его добывать, вычленять и вводить другим крысам, получая аналогичную реакцию. По-моему, та же история, что с планариями. Спорные наблюдения, спорная

теория. Впрочем, синапсы млекопитающих в этом смысле изучить сто́ит.

— Знаю. И мне все же кажется, что был прав Хебб: научение укрепляет связи. Или создает новые. По *ощущениям*, это верно.

— А у вас тут темновато, — произнес Боумен, оглядев едва освещенное рабочее место Жаклин, будто впервые там оказался. Эти слова он повторял из раза в раз.

— Да. А я, между прочим, страдаю скотофобией. Я из тех, кто в зимнюю пору тупеет. Как мои улитки. Прирожденное зимоспящее существо.

— Увы, в нынешнем мире жестокой конкуренции такие слабости непозволительны.

Он стоял близко, стоял так специально, как бы окружая ее.

— Надо бы вам отдохнуть. Сменить обстановку. Я еду в Турин, на конференцию по зрительным зонам коры. Давайте со мной. Финансирование за счет университета я организую. Познакомитесь с коллегами. К тому же в Италии даже зимой можно насладиться солнцем.

Он на миг приобнял ее за плечо. Знаменитые совместные поездки на конференции с Боуменом — как же, слышали. Шантеклер в курятнике — так назвала его одна избранница, закрыв себе

дверь в спальню и одновременно путь в науку. Жаклин же ответила:

— Только если успею довести эксперименты до того этапа, когда можно прерваться.

— Прекрасно. Мой доклад вам понравится: изящно получилось. А вы поможете со слайдами. Вы ведь все делаете безупречно.

В самолете по преимуществу молчали. Сидели рядом, Боумен что-то считал при помощи логарифмической линейки. Жаклин заметила, что Гальтон[47] помнил всю эту линейку наизусть. Мог просто представить и работать в уме. Как такое возможно?

Боумен добродушно рассмеялся.

В первый день конференции Жаклин подумалось, что в намерениях Боумена она ошиблась. Как было сказано, она поехала его помощницей. Остановились в одной гостинице, но на разных этажах. Он познакомил ее с итальянцами, американцами, немцами. Хвалил всем ее исследования. Вечером она выпила несколько бокалов кьянти, пожелала ему спокойной ночи и отправилась спать.

---

[47] Примечания: 47

Фрэнсис Гальтон (1822–1911) — британский географ, антрополог, статистик, основатель евгеники.

Спустя час ручка двери повернулась. Она машинально поднялась и открыла.

— Это я. — Он был в рубашке и брюках. Улыбнулся. — Ты ведь ждешь? Ты ведь меня хочешь?

— Не знаю.

— Ладно тебе. С твоего позволения, я войду, и обсудим это приватно.

Жаклин пропустила его в комнату. Он источал нетерпение. Ухаживаний и обхаживаний не предполагалось, они ему надоели. Наверно, подумала она, для него и сейчас не происходит ничего особенного. И для нее тоже?

— Я вот бутылку прихватил. — В его голосе слышалась хорошо скрываемая скука, но надо же что-то сказать.

Жаклин пыталась мыслить здраво. Ей хотелось спать, она хорошо поела и выпила, и разум говорил ей: в конце концов, почему бы и нет? Потом лучше уснешь, говорило тело. Линия наименьшего сопротивления, посмеивался разум. Она присела на край кровати.

Боумен устроился рядом, отхлебнул из бутылки, протянул ей.

— Я все к тебе присматривался. Ты не из тех, кто набивает себе цену. Ты не… — тут он сотворил в воздухе преувеличенный абрис женской фигуры

и положил руку ей на грудь, — не расфуфыриваешься.

— Нет.

— Ты какая-то такая, *домашняя.* Безоблачная душа. Есть в этом что-то притягательное.

— Да, спасибо.

— И говоришь мало.

— Сейчас и правда не знаю, что сказать.

— Вот что. Если хочешь, чтобы я ушел, просто скажи. Ты небось слышала другое, но я никому не навязываюсь.

Щеки у Жаклин вспыхнули, шея горела. От кожи Лайона Боумена исходил незнакомый запах: и едкий, и обжигающий, одновременно отталкивающий и неодолимый. Она слегка сдвинула ноги вместе, но от этого лишь сильнее почувствовала желание. Уже влажная. Она взяла его руку. В голове пронеслось: «Ладно, пускай, но лучше пусть помолчит, а то ничего не получится».

Она повернулась к нему, запустила руку под рубашку. Его кожа была вся наэлектризована, вновь и отталкивала, и манила.

— Магнетизм, — прошептала она.

— Что? — Головой он уткнулся ей в темя, стягивая ночную рубашку.

— Магнетизм — не только память, но и секс.

Он рассмеялся. А она уже была перед ним во всей наготе.

— Прекрасно. — Он изучал ее тело. — С генами тебе повезло. Упругие мышцы. Просто красота.

Не отрывая от нее взгляда, он встал и разделся сам. Жаклин отвела взгляд. Губы его рдели, но куда сильнее рдел выразитель его эрекции. Она закрыла глаза.

Он не торопился, все делал уверенно. Еще раз деловито восхитился ее упругостью.

— Это, конечно, у тебя не в первый раз? В твоем возрасте.

— Мне двадцать девять — нет, не первый раз. Выключите свет.

— Женщины в таких случаях предпочитают темноту, — заметил Лайон Боумен. — Вон и ты, скотофобочка моя смуглая.

Ничего более ласкового он пока не произнес. Зато искренне, отметила Жаклин.

Он припал к ней в порыве напряженного желания. Весь мир для нее сосредоточился на кончике его пальца, касающегося клитора: она изгибалась, задыхалась, и дело шло к тому, чем *надлежало* кончиться, все уже приближалось к *полагающемуся* окончанию. Но тут он спросил:

— Ты ведь таблетку приняла? Сегодня все при-

нимают.

— Нет, — едва смогла произнести она.

— Вот же! Что же ты не сказала? А я — уже? Успел?

Он быстро вышел из нее, она дрожала: тело, раскрытое ласке, ныло. Она услышала и почувствовала, как он роется в карманах. Взял? Не взял?

Звук вскрываемой упаковки. Скрип резины.

— Предупредила бы. Теперь таблетка не нужна.

Жаклин не отвечала. Тело ждало лишь, чтобы он закончил начатое.

— Не очень я к этой штуке привык, — произнес он тоном знатока. — Ну, где мы остановились? Ага, здесь… Вот так…

Взять прежний ритм получилось не сразу. Но вот — ее оргазм, затем его, и Жаклин отдала ему должное: все получилось как надо.

Кончая, он то ли прокричал, то ли прорычал: «Умница! Ты моя умница».

Довольный наездник похваливает свою кобылу.

Эти слова врезались ей в память.

Группа «нематанов» собиралась раз в две недели изучать математику. Это было одно из

нововведений Вейннобела, и он сам регулярно на эти занятия заглядывал. «Нематанами» между собой называли ученых нематематических специальностей, изучавших математику. Группа собиралась в Башне Математики (куб, на кубе — цилиндр, а на нем — пирамида), а после занятий частенько заглядывала в паб. Нововведение же заключалась в том, чтобы создать нечто вроде клуба, в котором можно было бы обсуждать и решать математические задачи, с которыми сталкивались люди, от точных наук далекие. Там всегда присутствовал Маркус Поттер, иногда с ним был Джейкоб Скроуп, профессор кафедры вычислительной техники, а в последнее время — Джон Оттокар, который писал программы, неспешно перегоняемые громоздкими вычислительными машинами.

И Жаклин, и Лук Люсгор-Павлинс полагались на Маркуса и Джона Оттокара в том, что касалось обработки чисел и уравнений: в случае Жаклин речь шла о пиках потенциала действия, в случае Лука — о сложных и изящных моделях переменных в генетических характеристиках популяции. Лук Люсгор-Павлинс в математике разбирался, пусть и не на уровне специалистов. Ему нравилось излагать свои идеи Маркусу за кружкой

эля и наблюдать, как длинные бледные пальцы набрасывают схемы, соединяя их паутиной и отображая его собственные догадки. У Жаклин математика хромала. Маркусу пришлось наскоро поднатаскать ее по части дифференциальных уравнений. Джон Оттокар же учил ее писать собственные программы на языке Фортран. Много позже, когда экраны компьютеров уже будут мерцать на столе каждого студента, те героические годы гигантских гудящих машин, напичканных транзисторами, выдающих груды распечаток и питающихся перфокартами, вспоминались с трудом. Чтобы произвести необходимые расчеты, и Луку, и Жаклин приходилось часами, а то и днями ждать своей очереди: причем все это время могло быть потрачено впустую, если в программировании, в записи данных, в постановке задачи была допущена хотя бы одна ошибка.

Другим постоянным посетителем группы «нематанов» был Винсент Ходжкисс, философ, писавший работу о неприязни Людвига Витгенштейна к математической логике. Ходжкисс был молчалив, внешность его плохо задерживалась в памяти — как будто он был недовоплощенным,

этаким «духом в машине» Гилберта Райла[48]. Конечно же невысокого роста, конечно же лысоватый, оставшиеся волосы неопределенного цвета при этом беспорядочно разметаны. Иногда он носил очки, иногда нет. Голос же был неожиданно сочным, с оксфордским выговором. Он любил сидеть под окном, спиной к стене, так что лицо было в тени. Постоянно наблюдал.

Жаклин не могла забыть разозлившее ее слово Лайона Боумена: «Умница». Вновь и вновь звучало оно у нее в голове: «Умница». Ей двадцать девять, что она, девочка, что ли, чтобы о ней так говорить? Она женщина и вот-вот перейдет в разряд позднородящих. Боумен пробудил в ней злобный аппетит к сексу, а она-то думала, что все скоро забудется. Он судил ее: не знает о контрацептивах, живет одна, только работает. А в лаборатории смотрел так, будто все зависит исключительно от его желания…

Она пришла в группу «нематанов», как мысленно выразился Винсент Ходжкисс, «под знаменем сдержанной осторожности»: аккуратный макияж, новый пиджак из замши шоколадного цвета

---

[48] Примечания: 48

Гилберт Райл (1900–1976) — британский философ, стоявший у истоков лингвистической философии; термин «дух в машине» ввел в рамках критики картезианского дуализма.

и новый золотистый джемпер. Одно время Ходжкисса втайне забавляла динамика притяжения и отталкивания между Маркусом, Луком и Жаклин. Когда Жаклин приближалась к Маркусу, тот съеживался. Если она отворачивалась, он обращался к ней со своими соображениями, как будто именно она должна их понять. Непринужденность друзей детства, но за ней — тревога. Он наблюдал и за Луком, который тоже смотрел на Жаклин собственническим и одновременно удрученным взглядом. Интересно было наблюдать, как новая — тускло, но горящая изнутри — Жаклин посмотрела на Маркуса, чуть пожала плечами и села рядом с Луком. С ним она оживленно беседовала о своих исследованиях, о научении слизней и улиток отвращению. И датчанин светился, словно дом, в окнах которого горят лампы. Так просто, подумал Винсент Ходжкисс, до поры до времени. Интересно почему? Он и не чаял узнать почему, а интерес его был смиренным интересом ученого. Господи, какие же дураки эти смертные! Так он любил думать, причисляя себя к бесплотно-бессмертным наблюдателям.

Про свои заботы он не забывал. Наблюдал же, чтобы отвлечься. В тот вечер Джейкоб Скроуп рассказывал о новой программе фиксации

произвольных стимулов, о новых мерах предосторожности, которые гарантировали бы, что «случайность», регистрируемая его компьютером, действительно случайна. Ходжкисс наблюдал, как Жаклин, повернув голову, заглядывала в блокнот Лука так, что кончик его носа оказался у нее в волосах. Это уж точно не случайность. Он посмотрел на Маркуса: тот хмурился. Разгадать его труднее. При этом Ходжкиссу нравилось, как работает ум Маркуса: ясность, точность формулировок, независимость. Правда, он не знал, чего Маркус *хочет*. А ведь он гордился тем, что умеет понимать, чего люди хотят. Худое лицо Маркуса наконец приобрело четкие очертания: клювообразный нос, на котором, словно два окна, держались большие очки, и заметные лишь при определенном свете, чуть-чуть встревоженные глаза.

Лук Люсгор-Павлинс гораздо быстрее, чем наблюдательный Ходжкисс, заметил волнение Жаклин и ее нарочитую попытку быть к нему ближе. Кто-то, понял он, огорчил ее. Бросил короткий взгляд на Маркуса: он уж точно ни при чем. Под столом он коснулся ее руки. Она не отдернула руку, а придвинула ближе. Жест, говорящий о решимости. Можно и не ответить. Он тихонечко

положил свою руку на ее. Она дрогнула, затем сжала его руку.

В тот день он вызвался подвезти ее до дому. В машине Лук думал, как сказать «Я люблю тебя», думал о том, как ее обнять, и произнес:

— У тебя неприятности?

— Так заметно?

— Жаклин, я не олух. И я тебя люблю. Ты же знаешь.

— Я запуталась. Не понимаю, куда двигаюсь.

Она яростно замотала головой, схватила его за руку — очень решительно, — и по щекам сбежало несколько слезинок.

— Я всегда жила так осмотрительно, ни в чем вперед не забегала, занималась своим делом, делала то, что, по-моему, надо, но вдруг… вдруг поняла, что я уже немолода, но так и не взглянула на свою жизнь со стороны.

— Немолода — это ты слишком.

— Но я и не девочка.

— Разумеется, мне ли не знать.

— Лук, я, похоже, сошла с ума. Надо было тебя слушать. Что я с собой сделала? Я хочу жить как… как другие… жить, а не только думать.

— Пока звучит туманно.

— Знаю, в том-то и беда. Какая-то цель, пусть и

туманная, у меня была…

— А мне казалось, что ты неосознанно идешь к цели совсем не туманной.

— Нет-нет, это так, общие представления. А сейчас я хочу жить. Я хочу… хочу… — Она затряслась от рыданий, руки обвились вокруг его шеи. — Теперь еще и тебя вмешиваю.

— Все в порядке.

Впрочем, правда ли? Он прижал ее к себе так, что она уткнулась носом ему в воротник; поглаживал ее, будто успокаивал взволнованное животное; и она перестала рыдать и метаться и сидела, прижавшись к нему и проникаясь его спокойствием.

— Можем, конечно, попробовать… — произнесла она.

— Как-то ты нерешительно.

— Нет, я решилась. Просто… запуталась я, и чем дальше, тем больше. Никакой нерешительности. Хочу попробовать.

Лук Люсгор-Павлинс недавно купил небольшой каменный дом на полпути к Гэш-Феллу, на склоне холма, с которого открывался вид на деревню Фенгбек. Место называлось Лодерби. Выше были болота, а по соседству — долина Гунгингап, где популяция улиток из Дан-Вейл-Холла укрылась на

зиму между камнями старого вала. Ганнер Нигби оправлялся от ран в другом месте, а Люси Нигби, насколько Луку было известно, все еще находилась в лечебнице «Седар маунт». Дан-Вейл-Холл, как и улитки, стоял закупоренный и холодный. Дети жили у знакомой школьной учительницы.

Лук задумывал свой дом как пристанище одиночки, полевую станцию, форпост. У него, как и у других преподавателей, имелось жилье в самом Лонг-Ройстоне — с маленькой спальней, кабинетом и ванной комнатой (по образцу преподавательских обителей Оксфорда и Кембриджа). Там ему было уютно: цветастое финское покрывало, изображение улитки Матисса на стене и телевизор. В Лодерби он жил аскетом: ошкуренные столы из сосны, старая каменная раковина в ванной, узкая кровать и никаких занавесок. Он любил свет и солнца, и луны. Ни соседи же, ни прохожие происходящего внутри видеть не могли.

В доме была большая гостиная, кухня с низким потолком, две маленькие спальни, простая ванная комната и терраса, выходящая на склон, облицованная и мощенная крупными камнями. Стены были толстые, а окна маленькие, глубоко утопленные в каменных полостях снаружи и

внутри. Везде простая побелка. Здесь же, на террасе, стояли рундуки и скамейки, а на них ящики и контейнеры с образцами для исследований.

Фенгбек — крошечная деревушка: горстка серых домиков, сгрудившихся вокруг моста через вытекающую из болот стремительную речушку. Можно ее перейти и по булыжникам, но их часто затапливает. В магазинчике — без отделения почты — продавали хлеб, молоко, уэнслидейлский сыр ломтями и свежие овощи с окрестных ферм. А еще мятные батончики, носки из промасленной шерсти и полироль для кожи. Жилище Лука и деревню разделял лес, который постепенно уступал пространство каменистым равнинам. Он решил пригласить Жаклин на выходные. И он, и она люди разумные и откровенные, и оба с неловкостью сознавали, что внезапное решение Жаклин вновь завести разговор об их отношениях принято не сгоряча. Слишком хорошо они знают друг друга, подумал Лук, при такой близости трепать друг другу нервы, «выяснять отношения» ни к чему. Давние знакомые, они плохо подходили на роль влюбленной парочки.

Так или иначе, он решил сделать ей сюрприз. Подъехав к своему жилищу, Лук оглядел его и счел неприветливым, невыразительным. И

вот, как птичка-шалашник — такая аналогия его позабавила, — он принялся его украшать. Решил начать, как водится, с цветов: зашел в цветочный магазин в Калверли, где приглядел несколько скабрезных бегоний, несколько предрождественских пуансеттий, а также экзотическую камелию, от которой все-таки решил отказаться. Ему также приглянулись китайские искусственные анемоны из шелка, которые он все же купил, — ярко-малиновые, темно-лиловые и белые, — решив оставить про запас. Также купил несколько тарелок и блюдец из синего стекла и несколько кружек из зеленого. Он завалил заднее сиденье машины диковинными предметами из своей коллекции перьев, раковин и камней: все равно он всегда собирался отвезти их домой. Купил обычную белую посуду и посуду из матовой стали. Еще несколько керосиновых ламп и, после долгих раздумий, ярко-огненные простыни, два одеяла бутылочного цвета и лоскутное покрывало цвета пламени с индийскими огурцами. Несколько пузырьков — старомодные, из-под лекарств, синие, зеленые, коричневые — из местной лавки старьевщика: их он вымыл и натер до блеска полотенцем. Также несколько бутылок вина, баранью ногу, цельнозерновой

хлеб, фасоль, картофель для запекания. В лавке старьевщика, в самом дальнем пыльном углу, он приметил высокую черную, покрытую лаком вазу — вероятно, китайскую, — а из нее торчали павлиньи перья.

Его необычная фамилия ему нравилась: своенравная английская прабабка — уроженка Йоркшира — поставила условием своего переезда в Копенгаген добавление своей фамилии к фамилии мужа. Люсгор-Павлинсы были люди крайне религиозные, последователи Грундтвига[49], протестанты и реформаторы системы образования. Ему вспомнился детский восторг, когда он узнал, что вторая часть его фамилии — это *påfogl,* великолепная, неземная птица.

Теперь же первое, что приходило Луку на ум в связи с фамилией, был глаз — экзотический, незрячий, сияющий, с крыла одноименной бабочки. О птице он думал реже — той самой, что медленно вздымает трепещущим скрипучим веером причудливые, сияющие, искрящиеся, шанжановые глаза своего тяжелого шлейфа. Но ему вдруг захотелось забрать линялые перья из

[49] Примечания: 49

Николай Фредерик Северин Грундтвиг (1783–1872) — датский теолог-реформатор, писатель, историк, политический и общественный деятель.

пыльной лавки. И он их купил. Взбираясь к себе по склону, он аккуратно расправлял пальцами рельефную поверхность перьев, чтобы глаза снова засияли зеленым, голубым и золотым, всей своей необычайной пестротой.

Эта возня его забавляла, и в то же время он становился все более ею одержим. Разложил трофеи аккуратными кучками на подоконниках и скамейках. Раковины — *Cepaea hortensis, Cepaea nemoralis,* несколько крошечных плоских ракушек, несколько гигантских белых *Helix pomatia*. Любопытная коллекция *Vertigo*. Шелковые анемоны на комоде в банке из-под варенья. Пустые лекарственные пузырьки на тщательно вымытой полке в ванной, где он когда-то повесил новое зеркало в раме из беленого дерева. Груды прибрежной гальки, ряды древних камней, которые лежали рядом друг с другом, словно причудливые живые комья или слоны, привезенные из бывших колоний. Несколько сухих листьев папоротника. Три черепа — лисы, барсука, землеройки.

Он выставил керосиновые лампы: большие, с колбами-дымоходами, и маленькие лампы-горелки со стеклянными носиками и тяжелыми основаниями. Густой золотистый свет последних падал на все подряд: на морщинистый шелковый

блеск перьев, на камни и лак раковины, на волнистое стекло и белую кость. В саду — на небольшом участке за домом, защищенном от непогоды высокой стеной, где росли яблоня, крыжовник, малина с ежевикой, а также располагалась клумба и небольшой огород с травами, — он обнаружил целую грядку лунника, по-датски — *Judaspenge*. Многолетний лунник, *Lunaria rediviva,* благоухал. Он сбежал сюда из сада. Мембрана внутри семенных коробочек, отполированная и оголенная, напоминала пергамент или раковину «морское ушко». Пришлось потрудиться, чтобы удалить семена и сделать палочки, увенчанные хрупкими просвечивающими окошками. Французы зовут их *monnaie des papes*. Ими он разбавил павлиньи перья в черной лаковой вазе. Глаза и окна-монокли вместе смотрятся красиво. Вазу он поставил на площадке, где поворачивала лестница, ведущая в спальню. Чуть выше, на каменной полке, он поставил маленькую керосиновую лампу.

Жаклин машину не водила. В пятницу вечером Лук встретил ее на автобусной остановке. В машине она держалась напряженно. На ней была новая коричневая куртка, руки скрещены на коленях, смотрела все время в окно, на темный лес, ночное небо над длинным краем болота. Дул

холодный ветер, шелестели деревья. Ухнула сова. Заговорили о совах, но разговор прервался так же неожиданно, как и начался. Впереди показались темно-золотистые, освещенные окна дома.

«Через порог нести на руках не буду» — так сказал он, но, когда они вошли в дом, взял ее за руку и держал, пока она осматривалась, любуясь светом ламп. Он усадил ее за стол в кресло с высокой спинкой, а сам занялся последними кулинарными делами. Она сидела тихо, наблюдала. Как и всегда, он подумал, что она выглядит очень *правильно*. Надела все коричневое. Золотисто-бурая водолазка под шоколадной замшевой курткой. Прямая юбка бледно-арахисового оттенка — во время полевых работ всегда была только в брюках — и теплые темно-коричневые колготки крупной вязки. На ее длинные ноги нельзя было не посматривать. Волосы в мягком свете блестели смоляной патокой и каштанами. Нежно блестели. Он надел фартук, напевая что-то под нос. Темные глаза следили за ним, а голова была склонена набок, как у бдительной птицы.

На столе лежали плетеные финские салфетки, голубые и зеленые, стояли новые стаканы из пузырчатого стекла цвета морской волны. На столе — свечи и бутылка кларета. На Луке был фартук в

синюю и белую полоску. Он орудовал щипцами, вертелами и поварешками: печеный картофель был насажен на металлические треножники, баранья нога шипела и брызгалась. Он переложил ее на сервировочное блюдо. Подливка багровыми струйками стекала по блестящему жиру в том месте, где он воткнул вилку. Слил остатки и принялся соскребать пригоревшие кусочки в водоворот вина, кипятить, помешивать. В воздухе витал теплый, крепкий запах приготовленного мяса, сдобренный нотками чеснока и розмарина. Довел до совершенства брюссельскую капусту и торжественно поставил блюда на стол. Перед восседающей на троне Жаклин предстал викинг с рыжевато-золотистой бородой, полуповар-полумясник, размахивающий ножом для нарезки. Он взмахнул лезвием, прошелся раз-другой по магнитному точилу — точить надо только с одной стороны.

— Вот уж не думала, — сказала Жаклин, — что ты это сам приготовил. Ловко.

— Я и хотел тебя удивить. — Он начал разделывать мясо. — Показать, какой я хозяйственный. И что домохозяйка мне не нужна… Привык управляться сам.

— Лук!..

— Шучу, шучу.

Лезвие врезалось в мякоть. Баранина отпадала розово-коричневыми, безупречно ровными кусками, бледная кровь пропитывала поверхность волокон.

Он взмахнул ножом:

— Кушать подано, сударыня.

Положил ломтики ей на тарелку, аккуратно друг на друга. Заметался по кухне, выставляя на стол желе из красной смородины и перечную мельницу, брюссельскую капусту, каштаны, печеный картофель в фаянсовом горшочке.

«Умница», — вспомнилось Жаклин. А тут: «Кушать подано, сударыня».

— Столько всего! Слишком много для меня, — протестовала Жаклин. — Я ем как птичка.

— А ты не забыла? — ухмыльнулся Лук. — Мы с тобой на болотах целыми днями сидели на одних бутербродах.

— Пахнет волшебно. И выглядит прелестно.

— Что ж, осталось попробовать.

Лук наконец сел. На нем был праздничный свитер из темной замасленной шерсти, фартук снять он забыл. Будто опытный режиссер, он все устроил так, что они оказались на противоположных концах стола, глядя друг на друга, как монаршая

чета. Не смотреть они не могли. Жаклин задала несколько вопросов о покупке Лодерби. Такие банальности Лука, похоже, озадачили: он отвечал вежливо, кратко и рассеянно, как будто слова были не настоящие, а так, для проформы.

Затем он расспросил ее об исследованиях, и она несколько минут увлеченно рассказывала о преимуществах искусственного отучения слизней и улиток от моркови или картофеля, а также о самых действенных способах вызвать это отвращение.

Затем он спросил ее о Лайоне Боумене. Как ей с ним работается?

— Хорошо. — Опустив голову, она отреза́ла от мяса небольшие кусочки и жевала. — Проявляет интерес, — добавила она, имея в виду улиток, а когда поняла двусмысленность своих слов, было уже поздно. — Я об улитках, — пояснила она, чтобы упростить совсем не простое.

Молчание. Переключились на еду. Лук предложил добавки, но Жаклин еще и половины не съела. Или съела половину. Как посмотреть. Лук силился вспомнить, о чем они говорили, когда он чувствовал себя рядом с ней так уютно. Но не смог.

Хорошо, заметил он, что Эйхенбаум принял

приглашение Вейннобела поучаствовать в летней конференции. Обязательно даст новое определение понятию «инстинкт», сообщил он Жаклин. Некоторые его работы по изучению гнездования просто прекрасны. Какие предметы примерно яйцеобразной формы и какого цвета вызывают и не вызывают реакцию гнездования у чаек, у воробьев, у домашних кур? Станут ли они высиживать алое яйцо? Насколько большим должно быть яйцо, чтобы яйцом не считаться? Ржанки, похоже, предпочитают обычным яйца побольше. Серебристые чайки узнают не яйца, а птенцов. А вот партнеров для спаривания распознают на большом расстоянии — пятьдесят ярдов и больше. Сейчас он изучает, что запускает процесс распознавания яиц и партнеров.

Позже Лук пожалел, что затронул эту, казалось бы, безобидную тему. Он подошел к Жаклин, чтобы предложить ей еще мяса с острия своей вилки из нержавеющей стали, и вдруг понял, что он — самец чайки, который стучит клювом, поднося самке рыбу. От мяса Жаклин отказалась. Ей достаточно. Еще раз все похвалила. Лук все убрал со стола, помогать не позволил. Вместо мяса появился сыр, а затем лимонные пирожные, которые он приготовил сам. Все это время они спокойно

и дружелюбно беседовали о конференции Вейннобела и об разрастании антиуниверситетского лагеря.

Лука вдруг начали донимать видения: чинно расхаживающие птицы-самцы, в клюве у каждого — черви, куски плоти, извивающиеся серебристые рыбы и угри. Гузки вразвалку, вздутые зобы, лихие гребни. Покрасневшие колюшки и каракатицы, по мешковидным телам которых пробегают отблески румянца в сменяющих друг друга волнах малинового и розового, янтарного и холодно-голубого. Он увидел, как голубоногая олуша — птица, за которой он когда-то долго наблюдал, — спускается с зимнего неба, крутя единственным, что в ней примечательного, — огромными плоскими ярко-голубыми, как дно бассейна, лапками, — и предлагает своему избраннику символическую веточку для устройства гнезда на земле, где гнезда быть не могло и где, едва удерживаясь в равновесии, прямо на голых скалах лежат яйца.

Он поставил перед Жаклин блюдо с яблоками и тут же вспомнил об одном виде шалашника, который, помимо прочего, собирал перья особой, чешуйчатой райской птицы, называемой в здешних краях Королем Саксонии. Перья эти редкие

— они появляются только у четырехлетних особей, — яркого светло-синего оттенка, похожи на тоненькие стебельки с квадратными флажками. Они в несколько раз длиннее самой птицы и растут у нее на голове. Самцы шалашников бьются за эти диковинки, а потом вплетают их в свои райские вертограды из веточек и папоротников. Все его движения стали казаться ему ритуальными жестами. Ему бы этим с Жаклин поделиться, вместе посмеяться, но ритуалом она уже определена как публика для его ужимок.

Яблоко не взяла. Наелась, объяснила она. Все было очень вкусно.

Он разлил красное вино — теперь перед глазами возник радетельный альбатрос. Выпить вина она согласилась, слегка наклонив голову. Немного захмелеть не мешает, рассудительно решила она. Лука что-то тревожило, она видела, но не могла понять, что именно, и тоже молчала, не желая нарушить ритуальный танец. Да, он все нарочно устроил так, чтобы постоянно двигаться — вдоль стола, по кухне. Ей хотелось, чтобы в его плане были предусмотрены и ее па. Хотелось следовать за ним. В этом же суть. Она потягивала вино, чувствуя, как ее неугомонный разум застилает мягкий туман.

С другого конца стола он казался тем самым старым добрым, бесконечно знакомым ей Луком. Когда же он, пританцовывая, что-нибудь ей подносил, окаймленное бородой лицо переходило из одного пятна света в другое, из мерцания свечей в сияние лампы. И вот когда эти яркие огни подсвечивали его лицо снизу, он казался незнакомым. Похожим на демона.

По результатам недавних исследований, вспомнила она, выяснилось, что дети, выросшие вместе в кибуцах и, казалось бы, подходящие друг для друга в качестве спутников жизни, испытывали на себе действие древнего табу инцеста, даром что родственниками не были. И супругов выбирали не из своих. А еще браки по расчету. Какие-то совсем другие страхи, надежды и волнения, наверное, переживают люди, собираясь связать жизнь с незнакомым человеком.

Свой брак она собиралась устроить на рациональных принципах. Но сказать об этом Луку тоже язык не поворачивался.

Было уже поздно.

— Пойдем наверх? — предложил Лук.

Жаклин кивнула.

— Ты просто приехала в гости на выходные, — произнес Лук. — Ты мне ничего не… не должна.

Хотя я, конечно, надеюсь. Но не будем торопиться.

Жаклин кивнула.

Взяв за руку, он провел ее от кресла к лестнице. Рядом с ним, выкручивая шею, кружилась над водой гагара. Перед глазами мелькнули розовые, бордовые, светло-голубые гениталии бабуина.

На повороте лестницы она остановилась, увидев павлиньи перья и веточки, освещаемые керосиновой лампой.

Говорить не хотела, но не успела себя одернуть:

— Считается, что павлиньи перья в доме приносят несчастье.

— В смысле дурной глаз? — безмятежно отозвался Лук. — Вот уж глупые суеверия.

— Ну да, конечно.

В маленькой спаленке было холодно. В маленьком окошке — звезды и проносящиеся облака. От покрывала и ярких простыней веяло теплом. Разделись быстро и без лишних церемоний, дрожа, нырнули под одеяло. Когда они работали вместе, он представлял себе ее нагишом во всех подробностях, но теперь едва успел разглядеть ее

тело. Однако он его чувствовал. Гладил ладонями: ключицы и позвонки, грудь и живот, бедра и ягодицы, незримые заросли темных волос. Она откликалась робко, трепетно. Как он этого ждал. Действовал с осторожностью, бережно. Очень бережно. От волнения не мог говорить, но целовал жилку у нее на шее, уткнулся бородой в мягкие волосы. Вдруг — непрошеное воспоминание (да еще и с нелепыми подробностями) о скрупулезных экспериментах Шимански 1913 года по изучению сложной системы взаимной стимуляции у гигантской римской улитки *Helix pomatia.* Венцом всего — поскольку эти существа, разумеется, гермафродиты — было взаимное обнажение роговых «стрел любви», которые затем поглощались ново-оплодотворенной парой для получения содержащегося в них кальция. Он коснулся внутренней складки влагалища Жаклин, увидел в своем воображении вздымающийся, скручивающийся покров и покачивающиеся рожки. Средневековый монах, мучимый дьявольскими видениями. Со старой подругой Жаклин он мог бы этим поделиться и изгнать демонов смехом. Но эта новая, непредсказуемая в своей отзывчивости, сдержанная женщина была чем-то совсем иным.

У Жаклин же вдруг в голове прозвучало то самое слово — «умница», и от воспоминаний она содрогнулась. Лук обнял ее, крепко прижал к себе, начал двигаться в своем ритме, шепча: «Все хорошо?» Ей пришлось отвечать выразительнее, и вскоре тон задавала уже она. Жаклин извивалась, одновременно призывая и сдерживая свой оргазм, и вот наконец дрожь — будто она едва заметно чихнула. Лук прижимал ее к себе снова и снова, гладил по всему телу. В своем воображении, милостиво освобожденном от слизи улиток и стрел Амура, он видел собственные пальцы, которые расправляли потрепанные павлиньи перья. А затем — лезвие ножа для резьбы по дереву, скользящее с одной стороны. «Родная моя…» — не без труда произнес он, а его родная уткнулась горячим, неутешным лицом ему в плечо, целовала, и он почувствовал тепло льющихся слез.

Слишком многое зависело от этой ночи ни к чему не обязывающих объятий. Лук знал, что ритмом нужно проникнуться, усвоить его, но даст ли Жаклин на это время? Им бы не выпускать друг друга из объятий, а они вежливо держались на расстоянии: за завтраком, в машине. Спросить: «Приедешь в следующие выходные?» — он сначала не решился. А когда все-таки произнес,

Жаклин ответила: «Дай время подумать». Холодные слова эти прозвучали приговором.

Жаклин была в отчаянии. Что она делает! Капризно отказывается от щедрых даров, мутит воду в жизни Лука. Она пыталась как-то разумно устроить свою жизнь, но не помогали ни осмысленные, ни импульсивные решения.

Несколько последующих недель на работе у Жаклин все из рук валилось. Боумен заметил. Он подошел к ней, коснулся плеча, а затем груди и произнес:

— Все нормально? Ты как будто бледная.

— Зимняя депрессия. Не люблю, когда темно.

— Взгляд у тебя усталый. Возьми несколько дней отпуска.

— Не могу. За экспериментами нужно следить.

Месячных не было. Вот уже и во второй раз, который формально оставался все тем же первым. Она стала чаще бегать в туалет, искала знаков, каплю коричневого или красного цвета на трусиках или бумаге. Все белое и чистое. С ней такое уже бывало, и она знала, что чем сильнее ожидаешь, тем больше оттягивается. Много гуляла, а потом снова мчалась в туалет, надеясь почувствовать долгожданную боль внизу жи-

вота, покалывание. Но ничего. И на следующий день — ничего. Как дозорный на башне, который вглядывался в белоснежную равнину и ждал знаков, но не видел ни движения, ни перемен, и так день за днем.

В эту пору она иногда обедала с Луком, весело щебетала, чередуя «я» и «мы» в описаниях будущего. Образ упрямой нерешительности как будто рассеялся.

В конце концов она решила сходить в поликлинику при университете. Врач ощупала шейку матки.

— Все так, — сказала она. — Кажется, да. Надеюсь, вы рады. На всякий случай сделаем тест.

Возвратившись в Башню Эволюции, Жаклин раздобыла уйму книг по эмбриологии. Разглядывала делящиеся клетки, изогнутые цепочки, похожие на морских коньков с огромными безучастными глазами, зачатки конечностей и исчезающие хвосты, прозрачные лягушачьи пальчики и призрачные рты, вырастающие из неопределенной массы, в то время как от клетки к клетке мчатся сигналы, ускоряются процессы деления и оформления. Она почувствовала своего рода боль — воображаемую боль — в том месте, где находится узел новых клеток, пришелец, цеп-

ляющийся за самое нутро ее одинокого существа, питающийся ее кровью, ее пищей, ее ДНК. Некто. Не пропущенные месячные. Новое существо.

Теперь все будет проще. Надежды и страхи она держала при себе, но поделиться с кем-то необходимо. Надела жакет — было около восьми вечера — и пошла искать Лука Люсгора-Павлинса. Сейчас не время слишком много думать, а тем более переживать. Время действовать.

Давно она не заезжала к нему в Лонг-Ройстон просто так. Пробежав через темные лужайки и дворы, она вошла в комнатку, полную света и жизни. Он сидел за столом и что-то правил в бумагах. Она вошла и остановилась, прислонившись спиной к только что закрытой двери, одетая по-зимнему. Запахнула воротник куртки.

— Похоже, я беременна, — сказала Жаклин Луку без обиняков.

Он встал. Она вся сжалась, смотрела диковато. Он ее не коснулся.

— Я очень рад — если рада ты, — произнес он.

— Я в смятении.

У Лука же заиграло воображение. Он представил мальчика с каштановыми волосами, представил рыжеволосую девочку, их лица смешались, образовав новое лицо.

— Рад — глупое слово, нелепое, если ты…

Она не двигалась с места.

— Жаклин, ты правда *хочешь*…

— Да. Я… я не могу поступить иначе. Я потрясена.

— А я… я хочу, чтобы мы поженились, поженились как можно скорее. И я буду заботиться о тебе и о ребенке и буду помогать тебе с работой, ведь я знаю, ты в науке добьешься многого…

Она заплакала, плечи ее опустились, а он не мог понять, что это: радость или отчаяние.

— Ты согласна? Если да…

— Ах, да. Так будет лучше всего. Я согласна. Я хочу выйти за тебя замуж. Я хочу…

Он не дал ей договорить:

— Мне хочется прыгать и кувыркаться, распахнуть окно и кричать в ночь: «Она согласна, она согласна, у нас будет *ребенок*! И это будет *такой* ребенок!» — Он кивнул на кровать. — Садись, Жаклин. Бренди налить? Ох, Жаклин, я так хочу, чтобы ты была счастлива.

— А я хочу, чтобы был счастлив ты.

— Знаю. А вместе подарим счастье ему — или ей.

В голове у Жаклин не возникло образов ни кожи, ни волос, ни улыбки. Хлопотливые клетки.

Желеобразные пальцы. Вытаращенные глаза.

Уже сидя в группе «нематанов», она сказала Маркусу:

— Кажется, я выхожу замуж за Лука.

Винсент Ходжкисс, сидящий за ними, с интересом оторвал голову от книги.

— Чудесно, — отозвался Маркус. — Все всегда надеялись, что так и будет.

— Правда?

— Ну да, все, знаешь, обсуждали.

— Обсуждали?

— Все всегда что-то обсуждают, — неопределенно ответил Маркус.

Ходжкисс подумал, что наивнее Маркуса Поттера не бывает. Ей очень хочется узнать, о чем думает именно он. А он пристойничает, выбирает общие слова, неопределенные: «все», «так». Ходжкисс через плечо взглянул на лицо Жаклин. Она встряхнулась, как собака под дождем. А после занятия, которое было посвящено компьютерному программированию, ушла вместе с Луком. Тот обнимал ее за плечи. Впервые.

— Вам что-нибудь известно о взглядах Алана Тьюринга на судьбу математической логики? — обратился Ходжкисс к Маркусу.

— Я знаю о его изобретениях. А что?

— Я сейчас занимаюсь лекциями Витгенштейна по математической логике, которые он читал в тридцать девятом году. Тьюринг на многих из них присутствовал. Между ними возникали споры. И однажды Витгенштейн отказался читать лекцию, потому что Тьюринг не пришел. Чудно́. Такие разные гении.

— Что Витгенштейн говорил?

— Продолжим за чашкой кофе.

Лук и Жаклин начали обсуждать, как все устроить. Они сидели в уютной комнатке Лука и решали, купить ли дом или снять квартиру в университетском общежитии, когда пожениться и когда сказать об этом родным Жаклин. Лук рассказал о своих. Его отец был лютеранским пастором, и Лук порвал с ним из-за своего атеизма.

— Он будет настаивать на церковном браке.

— Я раньше ходила в церковь. Потом перестала.

— Хочешь в церкви? Вряд ли я смогу себя пересилить. Даже если твердить себе, что от бессмысленных слов никакого вреда.

— Мне всегда казалось, что надо бы… что так положено… что мне хочется настоящей свадьбы… Но ведь нелепо же — при таком… — Она прикоснулась к животу.

— Значит, не в церкви. Кого-нибудь позовем? Устроим праздник или все сделаем тихо, а потом просто поставим всех перед фактом?

— Мама будет *ужасно* расстроена.

— Мне бы с ней познакомиться.

Брак — это связывание целой сети незнакомых, не имеющих друг к другу никакого отношения людей, которые тем не менее оказались причастны к делению и размножению клеток, его или ее.

— Посмотрим телевизор? — предложила Жаклин. — Там идет новая программа с сестрой Маркуса, Фредерикой Поттер. Последний выпуск был очень даже интересный. Мешанина из мультяшных персонажей и реальных идей. Говорили о зеркалах…

Так в жизнь Лука и Жаклин вторглись бесцеремонные насмешки Фредерики над «свободными женщинами», над пародийной кухней, гинекологическим «кухонным набором», женским междусобойчиком, откровенными разговорами о противозачаточных таблетках, абортах, мужчинах, ежемесячном ожидании капель крови на белой ткани. Жаклин то и дело саркастически посмеивалась. Лук чувствовал, что она расслабилась, а ведь во время разговора о свадьбе вся

зажалась. Много смеялась — слишком много — над тем, как Джулия Корбетт с презрением отмахивалась от парящих вуалей. Лука охватила какая-то застарелая напускная благопристойность — наследие отвергнутого отца. Он смотрел на Жаклин, и ее улыбки наполняли его необъяснимой злобой к этой резвящейся и бездушной Фредерике Поттер. Ее лицо заполнило экран: подведенные глаза, якобы невинная лента в волосах, лукавая ухмылка. Его так и подмывало выключить телевизор. Дать отпор захватчику.

— Не надо, — сказала Жаклин. — Это очень остроумно. И очень свежо. Тебе не нравится?

— Нет. Злая, дешевая вульгарщина.

— Это потому, что ты мужчина, который впервые увидел, как женщины разговаривают друг с другом.

Три женщины торжественно передавали друг другу пластиковые контейнеры «таппервер».

— Просто умора, — не унималась Жаклин. — Никогда ничего подобного не видела.

— Самодовольная коза, — буркнул Лук.

— Что?

— Не нравится она мне. Не знаю почему.

— Ты в этом не одинок, — отозвалась Жаклин. — Думаю, сейчас вас уже сотни тысяч. Она

задиристая. Людям нравится ее не любить. Она будет популярна.

— Каков удел, — произнес Лук, не подобрав верный тон насмешливого презрения.

Боумену о своих брачных планах Жаклин не говорила. Как-то он сообщил ей о вакансии в Эдинбурге, поинтересовавшись, не хотела бы она подать заявку. Не поднимая головы, она его поблагодарила и ответила, что подумает.

— Зажим работает?

— Да, заработал. Пришлось повозиться. Но теперь все в порядке.

— Ты упорная.

— Я вам говорила.

— Ты умничка. Продолжай.

С тестами на беременность возникли трудности. Один дал неоднозначный результат, поэтому был взят второй и отправлен на анализ. Результат второго теста пришел в университетскую поликлинику, откуда его отправили Жаклин в межведомственном конверте, который ей удалось перехватить у секретаря кафедры.

Результат положительный. Она беременна.

Жаклин почувствовала неотложное желание сходить в туалет. Болели таз и мочевой пузырь,

все тело бурлило.

На трусиках появилась едва заметная бурая полоска.

А потом пошла кровь. Мелкие, терпимые струйки, и — она пригляделась — нечто похожее на желеобразный комок с нитями, вроде пробки или слизистой оболочки матки. Никаких следов крючкообразного скрюченного существа, которое некоторое время держалось, а потом отпустило ее. Еще одна струйка, еще. Она сидела в туалете и плакала. Сидела долго, плакала горько. Кровь и слезы так и лились. Ее ужасало собственное тело, которое дрожало и тряслось, ужасала мысль, что чувства — это нечто телесное, неописуемое, неуправляемое. Горе? Скорбь? Гнев? Или страх?

Вышла, сказала секретарю, что плохо себя чувствует и пойдет домой.

— Вид у вас ужасный.

Боумен, проходя мимо, взглянул на ее опухшее, покрасневшее лицо и подтвердил: вид ужасный.

— Могу я как-то помочь?

— Нет. Ну, если вы… если кто-нибудь… измерит, сколько моркови съели улитки во втором ряду, а также картофеля… Это нужно к пяти часам. Примерно.

— Я все устрою. И не плачь, милая. Все пустя-

ки.

Жаклин направилась на самый верхний этаж Башни Эволюции, где находился кабинет Лука. Он был там со студентом, которого сразу же отпустил, увидев отчаянное лицо Жаклин.

— Входи, дорогая. Садись. Что случилось?

Она стояла спиной к двери. Ногти впивались в сжатые ладони. Глаза за очками зажмурены, ее вид не сулил ничего хорошего.

— Я пришла сказать. Все было ошибкой. Ничего нет. Я не была… Я *не* беременна. По крайней мере, больше не беременна, если и была.

— Да ты присядь. Ну и что? Мы все равно сможем пожениться и…

— Нет. Я пришла сказать, что не могу. Я не хочу замуж. Не могу. Я хотела бы хотеть замуж, но не хочу. *Все ошибка.*

По ее лицу текли слезы. Губы дрожали.

— Ты расстроена. Подожди, успокойся…

Он попытался обнять ее за напряженные, сгорбленные плечи. Она резко вывернулась, оттолкнула его:

— Нет, нет. Мы всегда понимали друг друга. Ты знаешь, что я говорю серьезно. Я знаю, чего хочу, и ты тоже знаешь.

— Но почему?

— Какая разница почему? Ведь я знаю. Знаю — и все.

Он снова попытался прикоснуться к ней, но она резко повернулась и побежала по коридору, к лифту. Кровь горячая, липкая. Она вернулась домой и легла в постель.

XII

Электрические волны расходятся в пространстве и рассеивают человеческие лики в атмосфере, концентрируя изображение, можно сказать, энграмму снова в коробках, через трубки, мерцая и сияя в сером нигде, будто бесплотные существа притаились в ожидании в шкафах, над крышами, сидя на раздвоенных антеннах, гоняясь за ветром, кружась в порывах его, прорезающих облака, в солнечном, и лунном, и звездном свете. И вот Лук Люсгор-Павлинс сидит в своей комнате в Лонг-Ройстоне и размышляет о разбитых надеждах, жмет на кнопку и видит худощавое лицо Фредерики Поттер — оно мчится к нему из вращающейся точки. Она многозначительно улыбается, а он в ответ строит угрюмую гримасу. Сразу телевизор не выключил, потому что сегодня там Хедли Пински, интересный ученый, который собирается приехать на конференцию Вейннобела. На самом же деле Фредерика — хорошая мишень для гнева.

Как и все телезрители, он сначала видит лица, а идеи воспринимает как их функции. *Напори-*

стая дамочка, непререкаемый тон, слишком уж длинная шея, нелепо кокетливый наклон подбородка. А вот мультяшная Алиса в образе птицы-змеи заглядывает в птичье гнездо. Очки Пински придают ему лукавый и скрытный вид.

Тема дискуссии Луку тоже не нравилась. Он не любил и никогда не употреблял слово «творческий». Мыслительные операции, обсуждаемые психологами под этой рубрикой, он считал безнадежно не поддающимися изучению. Поэтические ассоциации Гусакса казались ему беспросветно банальными и претенциозными.

— Все вы на самом деле говорите ни о чем, — бросил он с презрением, упиваясь своей неприязнью.

Полуженщина-полукурица Пикассо показалась ему уродством. А потом Пински заговорил о Фрейде и молодом человеке, который с тревогой ждал известий о месячных своей возлюбленной, и Лук задрожал от отвращения к этому совпадению и от неприязни к самой теме. Он подумал о своем нерожденном ребенке, о котором он, как ни странно, скорбел, и почувствовал, что, когда Фредерика Поттер на публике со всеми подробностями рассуждает о менструации и беременности, это откровенная вульгарщина. Ему

претила мысль о том, что «Алиса в Зазеркалье» каким-то таинственным образом связана с его собственной жизнью. Ему не нравились юнгианские идеи синхронии или эфирных посланий. Он человек рациональный. Рациональный до мозга костей.

Его нелюбовь к слову «творческий» в применении к людям имела, по сути, религиозные корни. В последние дни, из-за приближающейся свадьбы и необходимости организовать торжество, он часто думал о родителях. Думал о них и как генетик, потому что ребенок, которого он так ясно представлял себе, унаследовал бы их гены, которые соединились бы с генами милых родителей Жаклин, и получился бы совершенно новый человек. Они должны были стать предками, но не стали.

Он вспоминал свое религиозное воспитание в Лангеланне. Отец рассказывал ему в детстве, что Бог создал мир и что когда-нибудь Бог его уничтожит. Тогер Люсгор был последователем Грундтвига, барда, теолога и историка. Христианство Грундтвига было тесно переплетено с его идеей о возрождении скандинавской мифологии. «Великий Один, Белый Христос», — писал он.

Когда-то, еще мальчишкой, он спросил отца:

«Почему есть что-то, а не ничего?»

Отец ответил, что такого рода вопрос свидетельствует о том, что у мальчика действительно религиозная душа. Ответ был таким: что-то есть, потому что Господь создал это и увидел, что Его творение хорошо. Господь поддерживает его в каждую минуту Своей любовью и заботой.

В детстве Лук был набожным. Иисус Христос был для него другом, лучшим другом из всех людей. Лук старался быть хорошим, но это не мешало его любознательности. Подростком он почувствовал, что держаться своих религиозных убеждений утомительно и как-то «нелепо». Однажды, когда он гулял в лесу, пронизанном лучами солнца, на него снизошло озарение, которое в силу воспитания он сравнил с видением Павла на пути в Дамаск. Только вот узрел он — при обычном дневном свете, — что истории, которые ему рассказывали, просто-напросто выдумки. И, увидев это, он вдруг познал совсем иную действительность. Она сияла ясностью, четкостью и таинственностью, которые и стали для него призванием. Он видел мух и червей, листья и корни преображенными, но как раз потому, что они не были преображенными, а были такими, как есть. Он сравнил свою религиозную веру с роговой

пленкой на глазах, которые теперь очищены.

Ничего необычного в его опыте не было. Но имелась одна общая черта с религиозным обращением — склонность к догматизму, к крайностям. Его новый мир был очищен от человеческих историй. А вместе с ними — и от других типов мышления. Он особенно не любил — с религиозной страстью — научные идеи об антропном принципе, согласно которому Вселенная каким-то образом распространилась от бесконечно большого до бесконечно малого и в центре ее случайно оказались человеческое тело и мозг. Ему также очень не нравились большинство произведений искусства и большинство нерелигиозных человеческих историй. Он не читал ни романов, ни книг по истории. Его временна́я шкала была сугубо эволюционной, воображение отличалось гибкостью, но всегда зиждилось на фактах. Как ученый, он отметил, что биологи разделяют его воинствующий прагматический агностицизм. Физикам же по какой-то причине легче создавать и поддерживать определенное кредо.

Ваза-петушок Пикассо с намалеванным глазом на мертвом глиняном носике казалась ему одновременно нелепой и непристойной. Этакий артефакт, форма несуществующего, ничто. Ре-

альное же всегда интереснее. Фредерика тоже показалась ему нелепой. Тратит жизнь впустую. Он наслаждался насыщенностью своей неприязни к ней. Переносить горе было легче, да и сил прибавлялось. Он был из тех, кто кажется мягче и добрее, чем на самом деле. Отказ Жаклин поверг его в состояние сардонического цинизма.

Злость придавала ему беспокойной бодрости. Он собрал сумку, сел в машину и в темноте поехал к себе в болотистую обитель. Миновал темные сосновые леса, и вот он уже на склоне, где стоит его домик, холодный и темный. Вошел, зажег масляную лампу, взял фонарь. Собственная тень нависла над ним бородатым демоном, распростершимся по белым стенам и потолку. Он зажег печь и задумался об украшательствах птички-шалашника. Смести все в порыве ритуального отречения, собрать в кучу черепа и раковины, сжечь и попрать пепел стопами!

Но ведь все это — вещи, они никому ничего не сделали. Такие же, как раньше, такими и останутся. И он просто разрушил эстетское устройство, сложив все по-другому, свалив как попало. Вазу с павлиньими перьями и веточками вынес на террасу. Ему представилось, как он с тупым удовлетворением разрывает на части перелива-

ющиеся глаза и мерцающие лунные стеклышки, которые он так любовно собирал. И выбрасывает их на холодном ветру, чтобы тот развеял по склону холма зеленые, золотые и жемчужные осколки его надежд. Как там говорила Жаклин? Павлиньи перья — к несчастью. Глупости, суеверия, ерунда. Перья вызывали отвращение у Дарвина, но перья прекрасны. Отвергнутое мужское излишество. До сих пор не было четкого объяснения, почему птица устраивает такие причудливые, роскошные зрелища.

Он представил деление клеток, зародыша, и в очередной раз решил, что секс — дело дорогое и расточительное. Все, что воспроизводит себя партеногенезом, может произвести вдвое больше прямых потомков при половине энергетических затрат на мейоз и половое деление. Математика тут сложная. Он вспомнил об экспериментах со слизнями *Arion ater* и *Arion rufus*, которые, похоже, доказывали, что популяции, обитающие на определенной высоте, воспроизводили себя партеногенетически, были идентичны в генетическом отношении и жили гармонично. В то время как те, кто жил в более теплых — возможно, более разнородных — условиях, разделялись на самцов и самок, сражались насмерть

или поедали друг друга. Быть может, половые преимущества связаны с разнообразием или сложностью окружающей среды? С рассеянием? А почему не написать доклад для конференции Вейннобела на тему «Затраты на секс, или Нужен ли самец»? Будет забавно, любопытно, начнутся споры о родственном отборе, эгоизме и альтруизме. Самец и самка создали меня, подумал он с самоиронией, упраздняя себя. Но есть и другие способы. Микроскопические самцы-паразиты, почки, гермафродиты. Он посмотрел на веточку. *Judaspenge,* Иудины деньги. Окно в никуда. Пустой семенник, запачканный претенциозными человеческими байками. Пустой семенник — это пустой семенник. Секс — это секс. Рассеяние, напор, (почти) бесконечное разнообразие и любопытство.

Он стоял в темноте, на холодной террасе, воротником укрывшись от ветра. Прислушивался к тишине, едва слышимым звукам: ветки, шорохи, шаги, слабый крик напуганного существа. Его дом будто уплывал — как ковчег по темной воде — в небо, усеянное звездами.

XIII

От Перта Спорли Элвету Гусаксу

Благодарю за последнее письмо, а также за помощь с «Тиграми духа». Двух моих «пациентов» я привезу в Четыре Пенни сам и препоручу Вашей опеке и опеке группы. Как я и писал, будущее Люси Нигби меня тревожит. Ее муж Ганнер уже почти оправился от раны и повсюду трубит, мол, она напала на него и на детей. Одна малышка еще не пришла в себя, состояние тяжелое. Что до двух других, одна подтверждает, что на Ганнера и на них напала Люси, вторая же говорит, что, наоборот, это Ганнер на них напал. Есть свидетели, нашедшие Ганнера в курятнике (находится от фермы на порядочном расстоянии, что он там делал?). Они же нашли Люси, перемазанную в крови и, очевидно, в состоянии шока. Она, по их словам, «с потерянным видом» собирала разбросанные яйца. Никто – ни полиция, ни социальные службы, ни врачи – не

верит, что виновница всего Люси. Ведь Ганнер – старый выпивоха, известный своим рукоприкладством (хотя все это на уровне слухов, да и во время последних событий он был трезв). Судебный процесс не может начаться – это касается и выдвижения обвинений, и судьбы детей, – пока Люси не заговорит. Ганнер, разумеется, объясняет молчание «ее обычной уловкой», но, на мой взгляд, она не притворяется. Она правда *не может говорить*. Решено в качестве эксперимента переместить ее в более человечную атмосферу Четырех Пенни – с надеждой на то, что толика заботы и открытого общения ее растормошат.

С собой везу и Джоша Агница. С иными резонами. Длительное пребывание в «Седар маунт» что-то в нем убивает, он будто загнанный зверь с человечьим взором. Но он вправе изгнать демонов прошлого, и для этого теплая, непринужденная, нацеленная на духовные поиски атмосфера встреч «Тигров», кажется, прекрасно подойдет. Он Вас увлечет! При этом, дружище, не хочу выглядеть эта-

ким энтомологом, делящимся с коллегой любопытным образцом. Ведь если наш Агниц крылат, то это орел в неволе, плененный херувим. Не совсем человек, он оказался в тенетах институции, где ему определено тревожное прозябание. Я же хочу взглянуть, каков он на свободе.

Буду оч. рад повидаться. Мне и самому не мешает проветриться за пределами клиники. Институции оставляют свою печать на всех причастных, не только на тех, кто в них «содержится». А ошибок можно наделать не только электрошоком или инъекцией, но и не подобрав верного слова или выражения лица, на мгновение ослабив внимание. Мне нужен отдых. Впрыскивание жизни. А тут Вы – специалист и всегда знаете, как удивить.

Искренне Ваш,
Перт

Дорогой Аврам,

к письму прилагаю три пленки, на хранение. Отложи их куда-нибудь подальше. Чтобы ненароком не украсить ими растения, ну или чтобы в минуты экстаза не

захотелось обмотать ими голову. (Мне ли не помнить судьбу своих записей редких интервью, сделанных в Вулворте.) Если у вас в Антиуниверситете есть возможность записи скопировать – не повреждая, – буду искренне благодарна и даже готова заплатить.

Если будешь слушать, обрати внимание на долгие паузы. Дело не в пленке. Я вела скрытую запись радений квакеров, а у них принято чередовать молчание с непроизвольными восклицаниями (впрочем, насколько они непроизвольны – вопрос открытый. Иные кажутся хорошими заготовками, не хуже проповедей. Критерии, по которым это оцениваю, попробую сформулировать позже).

Пока не поняла, кто передо мной: проходящие групповую терапию пациенты или члены религиозной общины. Налицо признаки самых разных организаций и объединений, официальных и неофициальных. Есть квакеры: некоторые из них одновременно медицинские или социальные работники. Есть по крайней мере три служителя Англиканской церк-

ви. Один – явный предводитель некоей группы внутри группы. Это и особый внутренний круг среди англиканцев – Чада Радости, – и особая подгруппа «Тигров», хотя есть своего рода загвоздка относительно того, кто из них – «Тигры» или Чада, – так сказать, «поглотит» другого. При этом до конца неясно, какой группой лучше быть – «поглощенной» внутренней или вольной и более живой внешней. Должны быть социологические исследования раздробленных групп. Но я тут только «член», и при этом неясно, член чего, ведь все постоянно меняется.

Мне очень понравилось твое письмо о том, почему трудно с этнометодологических позиций писать о «преподавании» этнометодологии в таком антиметодологичном месте, как Антиуниверситет. Я думаю, тебе повезло, ведь ты, по крайней мере, *делаешь то, что, как кажется, должен делать*. Ты обозначаешь себя как этнометодолог. Ты – часть Антиуниверситета. Наблюдая и анализируя, ты занимаешься тем, чего от тебя ожидают. Я же здесь отчасти или даже во многом

изображаю из себя того, кем не являюсь. Я как бы одна из тех – отчасти, в значительной мере, – кто хочет быть частью или даже *членом* группы. И я *не* обозначаю себя как социолога, изучающего способы, при помощи которых группа определяет себя, преследует свои цели, достигает согласованности и т. д. и т. п. Если бы я так поступила, то изменила бы всю динамику группы, и объект моего наблюдения стал бы совсем другим. Впрочем, можно сказать, что само мое присутствие в качестве члена группы все равно кое на что влияет. Я – не невидимый микрофон для прослушки, а вполне осязаемая женщина. Поэтому приходится постоянно сталкиваться с конфликтами интересов. Например, мне совершенно ясно, что вождь Чад Радости Гидеон Фаррар ведет бóльшую часть паствы, используя (сознательно, полусознательно или бессознательно) систему специальных сексуальных манипуляций: обещаний, угроз, побуждений. Даруя людям свое внимание, он возбуждает их, рождает в них чувство собственной исключитель-

ности. Порой доходит – я уверена – и до постели, разумеется, с женщинами, хотя его обаяние распространяется и на мужчин. На записях имеются разные его высказывания о любви «без границ, без условностей, без исключений». Произнося «любовь», он всегда включает туда «секс» как некое подмножество, а быть может, даже и наоборот.

Здесь его лексикон любопытно переплетается с лексиконом психоаналитика Элвета Гусакса. Оба, ясное дело, возбуждают сексуальный интерес в силу того, что при их роде деятельности половые связи как раз строго запрещены. Оба данный *запрет используют* для того, чтобы подогреть желание. Интересно, какое влияние я оказываю на динамику групп(ы), этнометодологию которой наблюдаю, если придерживаюсь строгой научной вненаходимости и объективности, но при этом сама (как женщина – член группы) являюсь объектом внимания обаятельных соблазнителей? И вопрос это уже не сугубо гипотетический. Гидеон Фаррар неоднократно поглаживал меня по ягоди-

цам, а однажды во время коллективного покаяния обвинил в том, что я «холодная» и «бездушная». Элвет Гусакс иногда сверлит меня «гипнотическим» взглядом и говорит, что я «загадка». Тоска, ведь я не хочу привлекать внимание. Вот в чем моя дилемма, Аврам, и она не лишена методологического интереса. Я всегда считала идеалом поведение двух психологов, которые поступили в больницу, а *затем вели себя совершенно нормально,* заявляя, что они вменяемы, что они психологи: частый бред среди душевнобольных. Слышал про такое? Им было очень трудно выбраться из больницы, поскольку им никто не верил, а структура учреждения не допускала мысли о неправильном диагнозе или притворстве. Но я, пожалуй, не могу вести себя совершенно нормально, будучи тайным наблюдателем терапевтической группы / религиозной общины. Мне приходится искать ответ на вопрос: если бы я была «настоящей», то должна ли была бы (а) отвергнуть ухаживания священника и аналитика или (б) поддаться им, исходя

из того, что такова динамика групповой жизни? Будь я «настоящей», *отвергни я их,* скорее всего, пришлось бы группу покинуть и лишиться возможности наблюдать.

Если же я поддамся (ради исследовательских задач), динамика группы резко изменится. В любом случае я не знаю, способна ли решиться. В рамках общей картины должна отметить, что лично мне «шарм» Гидеона Фаррара, его «жизненная энергия» и «спонтанность» кажутся несколько напускными – потом разберусь, как я пришла к такому выводу, – и потому я на них не реагирую. Мне больше по душе доктор Гусакс, но он считает себя стихийной силой, личностью, и, по-моему, ему не так важно, отвечают ему или нет. Как бы он меня не «разоблачил».

А еще один мужчина – из церковников – работает с людьми в службе «Вас слушают» (телефонная исповедальня), и, как мне кажется, в нем есть особое обаяние, которым он, впрочем, не пользуется. Умышленно. Как будто перекрыл кран.

Это не научное наблюдение, чисто человеческое. Его зовут Дэниел Ортон. Иногда мне кажется, что он меня уже раскусил и просто наблюдает, что будет дальше. Из породы наблюдателей. И получше, чем я. Не знаю, правда, *за чем* он наблюдает. Подмечает чувства людей, как бы в абстракции, если можно так выразиться. Прекращает ссоры. Просто потому, что у него получается, а не из тщеславия (ср.: Фаррар и Гусакс). Никакой сексуальной ауры вокруг него, кажется, нет. Он толстый, можно сказать, некрасивый. Но если бы всем приходилось выбирать себе пару, я бы, пожалуй, выбрала его. Не согласна, что отсутствие желания – это «сексуально». Но возможно, сексуально отсутствие тревоги. А в нем тревоги нет. Подмывает сказать, что он несчастен, ужасно несчастен, но у меня нет доказательств. Возможно, это проекция моего собственного состояния.

Аврам, прошу тебя, отнесись к моим пленкам со всей ответственностью. Пожалуйста. Полагаюсь на тебя. И напиши, что думаешь о моей любопытной загвоздке.

До встречи!
Бренда

От Элвета Гусакса Перту Спорли

Рад был повидаться, дружище. На мгновение мне показалось, будто мы образовали группу внутри группы, группу озабоченных аналитиков, которые могли бы и гордиться, и угрызаться из-за того, что нельзя дать волю душевному порыву и предаться общей молитве, утратив свое «я» (сознание). Как договаривались, сообщаю о поведении и состоянии двух новых членов нашей компании.

Оба ведут себя весьма инертно. Так в террариуме наблюдаешь за движением свернувшихся змей. Сам дивлюсь – и, возможно, раздражаю Вас – этому образу, но он возник в голове сам по себе, и мне, думаю, не стоит его вытеснять. Все, разумеется, за ними наблюдают, ждут, когда те сделают ход, и притворяются, что

смотрят куда-то еще, дабы не показаться невежливыми или не в меру любопытными. Люси всегда сидит на стуле с жесткой спинкой, изящных кресел избегает, – и всегда в дальнем углу. Она сжимает губы, крепко обхватывает колени руками. Одна из квакеров нарвала небольшой букет цветов и положила ей на колени, но ничего не вышло. Люси бросила на них беспокойный взгляд, но не взяла и потом, казалось, совсем о них забыла. Когда она встала, букет упал на пол.

Джош Агниц, напротив, на обращения к нему отвечает. Но с какой-то *лисьей* улыбкой и крайне немногословно. Я заметил, что зачастую он просто повторяет сказанное, слегка перефразируя, будто это своего рода языковая игра.

«Какой сегодня чудный день».

«Да, погода прекрасная».

«Мы тут трудимся ради духовного обновления».

«В воздухе действительно веет переменами».

«Близится конец света».

«Правда, все, кажется, к этому идет».

Последние я выдумал. Но он, пожалуй, вполне мог бы ответить и так.

Он стал более открыто – и даже горячо – выражать свое мнение, когда возникли споры о телевидении. В группе дискутировали – вежливо и не очень – о том, следует ли вообще допускать просмотр телевизора.

Сейчас у нас их *два*: один в общей комнате, где мы обычно вместе отдыхаем, а другой – в так называемой комнате для занятий, где время от времени собираются специальные группы для обсуждения особых вопросов. Не знаю, успели ли Вы дойти до этой комнаты во время столь краткого пребывания. Многие из квакеров считают, что телевизор только отвлекает от духовной жизни. Они используют такие эпитеты, как «суетный», «коммерческий» и даже «мирской». Но владельцы Четырех Пенни Фрэнк и Милли Фишер другого мнения: они считают, что религиозные люди должны быть внутри (пусть и не от) мира сего и что им будет проще заниматься общественной работой, если будут знать, чем «питаются»

их «клиенты». Блейковед Ричмонд Блай от «вульгарного» уровня дискуссии и общей пошлости «сатирических» программ приходит в ярость. Мне же пришлось признаться, что я в данном споре лицо заинтересованное, поскольку буду участвовать в новой передаче под названием «Зазеркалье». Нам предстоит обсудить понятие «творчество» с Хедли Пински и молодой ведущей. Ее зовут Фредерика Поттер, и она оказалась той самой Фредой или Франческой, к которой привязан Джон Оттокар, брат-близнец моего Зага. *«Моя»* программа – третья по счету, и я так нервничаю, так нарциссично взволнован, что хочу посмотреть и предыдущие, которые показывают в то время, когда я нахожусь здесь, в Четырех Пенни. Заг тоже за «ящик». Конечно, он мечтает, что рано или поздно окажется там со своими Зигги-Зигги-Зикотиками. Возможно, телевидение ему представляется инструментом для всемирной дионисийской оргии. Гидеон Фаррар в значительной степени против. Он считает, что членам его группы должно хватать друг друга и

что в глазах и словах товарищей каждый найдет все, что нужно для сердца и ума. Надо работать над собственным спасением, а это значит – избегать отвлекающих факторов, расставленных жизнью силков и все в таком духе. Думаю, Гидеон, по крайней мере на первых порах, был за то, чтобы торжественно отключить оба ящика и ритуально разбить оба экрана (электронно-лучевые трубки, кажется, так? Вы понимаете, как это устроено?)

В любом случае для обсуждения этого вопроса было созвано шумное демократическое собрание. Пришла и Люси и села в любимом углу в своей обычной позе. Пришел и Агниц. Вида крайне серьезного. Какой-то бесенок подзудил меня спросить его мнение, хотя я и предполагал, что он мне не единомышленник. Но мне хотелось услышать, что он скажет.

Вот его слова. Привожу по памяти – жаль, не нашлось под рукой диктофона:

«Устройство это воистину делает незримое зримым и переносит образы тел из одного места в другое. Сигналы его проходят сквозь стены и соединяют умы.

То не мелочь, даром что мелкие люди заполняют его мелочным суесловием и праздными заботами. То не мелочь, а страшное устройство. Оно преобразит наше сознание, не только невежд, но и мудрецов. Оно покажет нам мир. А когда миру придет конец, мы будем с его помощью наблюдать за последней набегающей волной прилива или алым ревом последнего пожарища, пока очи его не утонут или не расплавятся вместе с последними из нас. Его не упразднишь. Со временем мы даже сможем использовать его во благо. По сути, это нейтральное электрическое устройство. Надо не чураться его, а узнать, что оно есть и как работает. Вот что я думаю».

В письменном виде эта речь, кажется, на грани между нелепостью и шедевром. Могу вас заверить: после слов других членов группы, логических измышлений и попыток звучать разумно или терпимо его слова вонзились в сердца как нож. Все уставились на него, а Гидеон задумчиво пробормотал, что это действительно сила, которую можно использовать как во

благо, так и во зло. Он уже представлял себя проповедующим на экране, расширяя свою паству по всему англоязычному миру. Так что было решено ящики не убирать, а на мистера Агница, вернувшегося к своему обычному вежливому молчанию, смотрят как на бомбу, готовую взорваться в любую минуту. Что он еще скажет? Что он проповедует (ведь говорит он как проповедник)?

* * *

Джош Агниц, он же Джошуа Маковен, смотрел первый выпуск «Зазеркалья» в лекционном зале на чердаке вместе с Элветом Гусаксом, каноником Холли, Ричмондом Блаем, Дэниелом Ортоном, Элли и Полом-Загом. «Радостные спутники», как всегда, смотрели все вместе в комнате отдыха. Все квакеры и Бренда Пинчер. В лекционном зале было темно и свободно. Потолок скатный, и через незанавешенный световой люк глядела новая луна.

Не могут два человека войти в одну и ту же реку, не могут и два человека смотреть одну и ту же телепрограмму. Ричмонд Блай постоянно комментировал остроумие графических изобра-

жений, нахваливая своих студентов. Каноник Холли откинулся на спинку кресла и курил желтые сигареты. Элли призналась, что в детстве *Алиса* всегда ее пугала. Элвет Гусакс, подавшись вперед, внимательно изучал манеру общения участников программы. Пол-Заг подпрыгивал и дергался в такт невидимой и неслышимой музыке, время от времени тыча в экран раскрашенными ногтями (на каждом была выведена круглая мандала) и все более возбужденно восклицая «ага!».

— Это *она,* — наконец сказал он Гусаксу. — Собственной персоной. Вот тебе и тихий омут. Посмотрим, какие в нем черти водятся.

Зеркальные образы, обсуждение близнецов, Траляля и Труляля — все это привело его в неистовство. Он снова начал приставать к Гусаксу, тыча ему в ребра острым указательным пальцем:

— Это же слова для песни. Траляля и Труляля, кислый ты и сладкий я, два — одно, а в одном — два.

Джош Агниц повернул голову, бросил на него темный взгляд и приложил палец к губам.

Пол-Заг замолчал.

Дэниел переживал за Фредерику. А вдруг опять

оскоромится? Но, увидев, что беспокойство его неуместно, что она ярко сверкает меж умных мужей и зеркал, он отогнал эти мысли, откинулся на спинку кресла и уставился в темноту. Что это сестра его покойной жены, никому не сказал. Это им знать ни к чему.

Разум Джоша Агница воспринимал мир конкретных объектов с усилием, а мелькающие предметы или быструю речь — даже с трудом. Сейчас этот конкретный мир — коричневый пластмассовый ящик с серым экраном — полнился гудящим электротоком, будоражащим электрические нити в его мозгу. Трудно было охватить взглядом взрывающихся и исчезающих существ внутри стеклянной коробки. Вот черви и ящерицы, но откуда они — из ящика или из его головы? По привычке он видел капли и струйки крови. Зеркальце с серебряным плодом, которое Фредерика держала в руках, кровоточило еще до того, как Ричард Грегори упомянул описанную Аристотелем связь между менструацией и зеркалами.

Позже другие утверждали, что видели нечто подобное.

Он ничуть не удивился, услышав, как Ричард Грегори вспомнил и манихеев. Так, разумеет-

ся, должно было быть, так и было. Так же без удивления он слушал, как Джонатан Миллер описывает игры Льюиса Кэрролла в «Сизигии»: разве он понимает, какое послание передает имеющим уши? У Агница перед глазами мелькнули резкие вспышки, в голове угрожающе загудело. Оставаться недвижимым теперь было тяжело. Экран будто извергал из себя огромное золотистое облако света, в блеске которого болезненно проступало чудовищное плотское естество находившихся рядом с ним людей. Грязные зубы и слюна Холли, брюшко Дэниела, бледный зловещий череп Гусакса, топорная воздушность Элли, нелепая ухмылка Ричмонда Блая, и, пожалуй, всего более подведенные рыбьи глаза, сверкающие когти, маслянистые светлые волосы Пола-Зага — все в свечении выглядело карикатурой и крахом, грехом и скверной.

Передача закончилась, но он нашел предлог остаться там, рядом с ящиком. Было это тем проще, что Элвет Гусакс отвлекся на перевозбужденного Пола-Зага. Все ушли, а Джош — в густом дыму от трубки Гусакса и более едкого облака от Холли — сел и снова включил ящик. Уже ничего не передавали. Ничего, только белоснежные блики, осколки мира света, кружащиеся в хаосе,

то появляющиеся, то исчезающие, как наконечники стрел.

Он придвинулся вплотную. Из-за его дыхания *оно* зашипело, и он почувствовал, как его сила проникает в кончики пальцев и волосяные луковицы. Белоснежные волосы встали дыбом. Многоцветная борода распустилась. Он увидел поверх осколков света свое призрачное лицо, а затем — Другого, мчащегося к нему. Другой вынырнул на поверхность экранной ряби, точно поднявшийся с глубины ныряльщик.

Он стоял на ковре в мансарде. Обнаженные белые ноги были прекрасны. Лицо было лицом Маковена, но тоже прекрасным. На нем было одеяние из света, всех цветов и одновременно без цветов вовсе, белое.

— Сейчас начнется, — сказал он Маковену. — Начнется здесь, сейчас.

— Мне страшно.

— Конечно. Будет трудно. Возьми и держи крепко.

Он протянул руки, ожидая увидеть темный или яркий шар. То, что ему дали, оказалось совсем небольшим. Маленькое, шарообразное, оно лежало у него на ладони. Неизъяснимо холодное, неизъяснимо тяжелое.

Казалось, оно должно быть теплым. Глазное яблоко, телесное око, покрытое живой, дрожащей паутиной кровавых прожилок. На взгляд — пульсирует. На ощупь — ледяное и неподвижное.

Ему было сказано: когда око плоти очистится, око духа прозреет.

Когда плоть людей очистится, они будут казаться светлыми и соразмерными, уродство же осыплется, как чешуя.

— Ты передашь им вести. Ты их очистишь. Отделишь свет от тьмы.

И было ему видение, что́ он должен был потерять, что уже потерял. То был последний «нормальный» день одиннадцатилетнего подростка с жалкими тучными *ляжками*, он ел обычную пищу, смеялся обычным смехом.

Ему было сказано, что это — не настоящее, что видит он только клочья, мерзость.

Ему было показано собственное лицо с громадным венцом костей, или терний венцом лучезарным. Он воззрился на ноготь луны, и осколки света танцевали на экране, сквозь *его лицо,* там, за ним, а небо и толща атмосферы сверкали, как рыбий косяк.

— Ты *им возвестишь*, — произнес Сизигий, мешаясь со светом, и упал, и вспенился, и задер-

гался, как кукла на ниточках.

Вернувшийся Дэниел увидел его, позвал на помощь, отнес к себе в комнату и уложил в постель.

Дэниел не знал, почему вернулся. Просто пришло в голову. Он знал, как очищать дыхательные пути, удерживать язык.

Позже он подумал, что, возможно, спас ему жизнь, но слово «провидение» и в голову не приходило.

От Бренды Пинчер Аврааму Сниткину

Очень прошу: подтверди, пожалуйста, что получил пленки. Это полезнейший и невосполнимый материал. Я бы оставила их здесь, но будет крайне неловко, если их обнаружат, и на моем деле, разумеется, будет поставлен крест. Я почему-то представляю, как ты лежишь в своем прицепе и созерцаешь на потолке невероятные картины. Пожалуйста, пришпорь воображение и пришли обнадеживающую весточку. Аврам, прошу тебя, дерзни. К тому же, сказать по правде, я хочу услышать мнение социолога. Мне тут одиноко, я как в осаде. Поддерживать, так сказать,

видимость очень утомительно, и я порой даже забываю, кто я и где.

Материал настолько *богат,* что в этом отчасти и заключается трудность. Я не могу устоять перед искушением и дам тебе ненаучную картину происходящего, включая несколько гипотез, подтвердить которые можно будет только после тщательного анализа данных на пленках, надеюсь сохраненных тобой. Отчасти богатство вот в чем: все по-разному используют то, что я бы назвала бессвязным набором религиозных понятий и аллюзий. В основном, конечно, речь о Гидеоне Фарраре. Каноник Холли – тот вовсе экзегет «смерти Бога». Я не так во всем этом разбираюсь, чтобы полноценно их понимать. Да и вообще – язвительно думаю я иногда, – сами-то они что-нибудь понимают? В моем сознании нет образов, соответствующих «Сотворению из ничего» или «Происхождению отсутствия» Я слишком прагматична. Как мне кажется.

Фаррар, однако, у меня на мушке. Вчерашнее радение, запись которого я прилагаю, – вот там типичный Фаррар. Квакеры

(которые мне нравятся) способны ограничить свои духовные и нравственные послания до разумных пределов, но Фаррар так и отучился читать проповеди. Мне еще нужно будет провести серьезный научный анализ данных, но я, кажется, интуитивно понимаю, что он *задумал,* а ведь интуитивное восприятие – это часть этнометодологической полевой работы.

Странные звуки, которые ты услышишь в начале записи, – это наши сюси-муси, которые были введены в качестве *обязательного* начала каждой встречи. То есть ни у кого нет выбора: всеобщие прикосновения принудительны. Одеяние Фаррара, которое, увы, на записи не увидишь, со временем становится все более пышным и все меньше напоминает об англиканстве. На момент этой записи он был одет в нечто вроде белой шерстяной робы / рубахи, с распахнутым воротом и как-то *раздувающейся*. На ней были вышиты яркие ацтекские или перуанские символы: много красновато-коричневого, бирюзового, вкрапления черного и желтого. Под рубахой – обычные синие джинсы. Были

ему, кажется, тесноваты. Правда, Аврам, – и это важно! – молния на ширинке наполовину разошлась, несколько швов лопнули. У него крупные ягодицы. На шее носит цепочки – бронзовые и кожаные, – с которых также свисают различные символы. Крест при этом – тот, что с изгибом наверху, – только один. На запястьях тоже – солнца, луны, мужские и женские и, как мне кажется, астрологические знаки. Рыбы, близнецы, стрелы, сосуды и т. п. (Так и быть. Я составлю точный *список*. Но мне не нравится разглядывать его вблизи, а они все запутались у него в волосах, бороде и всем остальном.)

С приветствиями и прикосновениями возникли трудности (даже забавно) из-за наших новичков. Им трогать друг друга неловко. С мужчиной, Джошем Агницем, неделю или две назад случился эпилептический припадок. Его «приветствие» – это прикладывание пальца к щеке (чьей угодно, моей, Фаррара). Женщина, Люси Нигби, все молчит. К ней я еще вернусь. Отрывки ее истории просачиваются в сплетнях. Домашнее насилие.

И, судя по всему, она онемела с тех пор, как ее дети и муж получили серьезные повреждения. Пытаются ее разговорить, иначе расследование стоит. Она кажется до жути кроткой, мухи не обидит. Она *действительно не выносит* прикосновений. В целом группа отнеслась к этому с уважением. Держится на расстоянии. Вздрагивает, если кто-то оказывается от нее на расстоянии пары метров. Гидеон Фаррар гладит ее по голове, словно дрессировщик, укрощающий кобылу. Она в ответ его не гладит.

Думаю, Фаррар видит в Агнице соперника. Это не научное наблюдение, но все-таки наблюдение. Он следит за тем, как отзываются его слова, и с появлением Агница стал выступать ярче.

На записях – после того, как один из квакеров говорит об Агнице, Блейке, тиграх и ягнятах, а другой – о желанной тишине, – идет длинное, типичное для Гидеона Фаррара увещевание. Одно из его любимых слов – «братство». Другое – «приветствие». Еще одно – «безграничный». Он всегда твердит о разрушении

границ.

Я подумала, что многие современные религиозные движения, рьяно разрушающие границы между институтом религии и «нормальным» повседневным миром, выплескивают ребенка вместе с водой. Религия зиждется на таинстве, дистанции, церемонии. Когда-то Фаррар стоял за алтарной оградой, неприкасаемый, но теперь границы символически устранены вместе с преградой, сожжены. Когда-то в руках у него была символическая облатка. Теперь же, расколдовав алтарь, хлеб, вино и самого себя, он вынужден изрядно попотеть, чтобы добиться эффекта и энтузиазма со стороны своей паствы. Он много говорит – на записи это слышно (пожалуйста, сделай копию, подтверди получение, я уже волнуюсь) – о старых монастырях, о том, как двери их были всегда открыты, как там обильно кормили всех желающих и каждый мог из мира повседневности попасть в мир духа. Его «трапезы любви» включают великолепные бутерброды из хлеба с поджаренной корочкой, который он нарезает щедрыми

ломтями, и вареной ветчины, которую он так же щедро разделывает. (Вопрос: выбрал ли он ветчину, намеренно нарушая иудейское табу на нечистое свиное мясо?) Этакий хозяин заведения. В этом смысле склонен *отождествлять* себя с Богом. Любит повторять: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»[50], причем совершенно неясно, кто тут «я» – Иисус Христос или Гидеон Фаррар. Он также много говорит об *открытости*. «Открой себя», – твердит он, и я вижу, как что-то движется у него в области ширинки. (Ладно, тут я перегнула.) «Истина сделает вас свободными»[51]. Его понимание «истины» заключается в том, что каждый должен публично покаяться во всех своих грехах. Впрочем, слова «грех» он избегает и использует такие выражения, как «тяжкие проступки», «ошибки», «заблуждения» и даже «невзгоды». Братство исцелит. «Со мной

[50] Примечания: 50
Мф. 11:28.

[51] Примечания: 51
Ср.: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32).

бремя ваше будет легко»[52], «Я изгоню ужас и тень, и вы будете жить в ясности» (это уже прямая цитата).

В общем, сегодня он границу переступил. Проповедь удалась: кто-то всхлипывал, кто-то расплывался в блаженной улыбке. И тогда он решил – мне так показалось – попытаться совершить чудо. Обиняками заговорил об «одной из нас» – о той, у которой на сердце тяжело, которая не в силах освободиться от душевных тягот. Что бы ты ни совершил, как бы ни обошлись с тобой, первый шаг к исцелению и свободе – сочувствие и исповедь. Иисус изгонял бесов, и я говорю: наше братство спасет тебя от мучений. И он подошел к Люси Нигби и положил свои ручищи ей на плечи.

Попытка не удалась. Мягко говоря. Она задергалась, словно бесов в нее, напротив, вселили. Если до этого кто-то все еще не верил, что она не может говорить, теперь сомнений не осталось ни у кого: это выражение ужаса, этот хрип – *без-*

[52] Примечания: 52
Мф. 11:30.

звучный выкрик – не наигрыш. Он все не убирал руки, ее корчи усиливались. Он, кажется, решил, что она действительно борется с чем-то внутри себя. Но мучил-то ее он! Отпустил, только когда понял, что она вот-вот упадет без чувств. «Началось – болезненное зарождение…» (Снова точная цитата. Проверь на пленке. Воспроизвести тут не решаюсь, вдруг кто-то подслушает.) Но она не упала – встала, отряхнулась, как мокрая или грязная собака, отвернулась и вышла. Фаррар буркнул что-то вроде «Не хочет плакать при всех», но она плакать не собиралась. Просто *разозлилась*.

Элвет Гусакс вышел за ней, быстро вернулся и молча сел на место.

Вечером мы смотрели телепередачу. Ее «вела» (так это называется?) та девушка, Фредерика Поттер, которая была свидетелем на суде в деле «Балабонской башни». Запись на суде ты сделал отличную. В тот вечер, когда показывали первую передачу – она называлась «Зазеркалье», – у Джоша Агница и случился эпилептический припадок. Тема – «Свободные

женщины». Замысел отличный: она пыталась разговорить участниц на тему, каково это – быть женщиной, причем говорить так, как бывает, когда никто не видит и не слышит. Эта светская болтовня совсем не похожа – это и любопытно! – на записи, которые я собираюсь включить в «Между нами, девочками» (Фредерика там, кстати, тоже есть – я как раз после разговора с ней в туалете меняла пленку). Там же еще и стычка Ф. с леди Вейннобел. Посиделки для экрана и посиделки закулисные. Говорили о месячных, что вроде как на телевидении табу. Предметом обсуждения кухонных таинств назначили пластиковую чашу. Как предмет обсуждения – чуть ли не святыня. Тут явно отдает священно-мистическим флером, который пытается развеять Гидеон Фаррар. Не знаю, что с «Между нами, девочками» делать. Девочек маловато, да и разговаривают друг с другом они мало. Немую Люси мы вообще не берем. Пара-тройка баек о пленительном Гидеоне, но что-то я сомневаюсь. Когда я рядом, никто ничего не рассказывает. Своей не стала. Но

трахаться с ним во имя этнометодологии – еще чего, Аврам, не проси. У него горячие лапищи. Самоуверенностью и нервозностью разит за версту. Ну все, а то стану еще более предвзятой и болтливой. Насчет пленок: *подтверди, пожалуйста, что получил*.

От Элвета Гусакса Перту Спорли

Что ж, мое появление на самом что ни на есть цветном телевидении прошло, сдается мне, удачно. На обитателей Четырех Пенни впечатление произвело. Даже на вашего Агница, который уже оправился от приступа и снова с нами. В динамике группы произошли изменения, причем весьма резкие, о которых мне надо Вам сообщить – и как коллеге, и как другу. Вы, думаю, уже поняли, что касается это двух ваших протеже.

Вчера, на встрече-радении, он начал *действовать* – по-другому и не скажешь. Добрый пастырь Гидеон Фаррар в течение всей прошлой недели разглагольствовал о свете и благости, чистосердечии и близости. Сегодня же наш Агниц решил отозваться – и возроптать, – напрямую

Фаррара не упоминая. Нелегко точно изложить суть им сказанного. Говорил он мягко, спокойно и уверенно, будто обращался к каждому напрямую. Рассуждал о том, что Вы в письмах уже упоминали. Мы-де недооцениваем могущество зла и тьмы. Отдав должное идее квакеров о том, что все мы носим в себе Внутренний Свет, он осудил их за благодушную рассудочность, мешающую разглядеть ужасы тьмы внешней. Люди твердят о добром и всемогущем творце, принявшем на себя наши страдания и исцелившем все наши раны. История эта, человеческая история, стала укрытием от страха, который нам бы всем испытывать перед ужасами тьмы. Внутренний свет квакеров, по его слову, это все равно что включенная настольная лампа при закрытых шторах в пору ядерной зимы. Творец не создавал Землю прекрасным садом для человека, обнесенным стеной. Она выковывалась из беспорядочной материи, а свет, заточенный в ней, был бледен и слаб. Раз или два он повторил: истории наши лживы. Выделял только Книгу Иова: в ней

библейский Бог истязал Иова в сговоре с Сатаной. В этой истории есть представление о битве – битве на равных – между темной материей и уязвленным светом. Мы не малые агнцы, беспечно скачущие среди ромашек. Мы – истекающие кровью козлы отпущения, забитый скот, идущий на всесожжение по воле Владыки мира (мой пересказ не слишком точен, он – богослов, а я нет).

В общем, так он сказал, голосом тихим, почти ласковым, – и сел.

Встал Гидеон Фаррар и ответил, что все это – манихейство, а мы – христиане, мы пошли дальше. На этот раз в его голосе звучала обида, не привычный громогласный призыв. Агниц *соблазнил* его на то, чтобы сказать именно это. Он снова поднялся и заявил, что пророк Мани чувствовал истину, что истина была открыта ему его *сизигием,* небесным двойником в мире Света. С Мани заживо содрали кожу, затем тело разрубили на куски и выставили на всеобщее обозрение над городскими воротами Бетлабада. Он знал, что истина может погаснуть, что страда-

ния не искупают вину автоматически, что зло может победить. Но его Стезя, тайная Стезя, не была забыта: по Шелковому пути знание о ней попало к буддистам Китая. То была стезя испытаний, стезя аскезы. Добро *неестественно*. Мир природы – так учил Мани – создан злыми темными существами, которые поглощают и искажают Свет. Мани же измыслил, как его освободить. Агниц вполне допускал, что история Мани – миф. Жизнь Иисуса Христа тоже была мифом, который стал истиной как в истории, так и в жизни Его последователей. Миф Мани тоже был истиной, но истиной, потерпевшей поражение, истиной растоптанной. В наши дни, когда даже атомы расщепляют, высвобождая чудовищную энергию разрушения, а облака невидимой болезни разъедают плоть и кости, горы и деревья, учение Мани, его путь, возможно, стоит переосмыслить. Необходимы радикальные средства.

Пожалуй, без его интонаций, без обаяния его сурового лица, без брезжущей в его словах мысли об опасности, без

его *неподдельного страха* трудно разобраться, что это: суесловие или… или… провозвестие Истины. Одной из Истин. Среди квакеров – да и прочих – началось волнение – словно рябь по воде пробежала или рожь в поле волнуется перед грозой. Забыл вот еще что: на языке загадок он отчасти поведал и собственную историю. Я знаю, сказал он, я пережил удушение, я пережил удары ножа, я был эвакуирован во тьму и видел свет, сияющий в ней. И при случае, продолжал он, я вам все объясню. Истории порой полезны, в том числе и наши собственные, но они могут быть и пагубны, когда завесой *личного* закрывают от нас ясный свет. От личного можно освободиться. И жить в свете. Но это тяжело.

Мне на ум пришли слова Кента старому безумному Лиру о том, что в лице его есть что-то такое, что располагает назвать его господином. Лир спрашивает – что, и Кент отвечает: «властность». Да, у Агница она есть, а у Гидеона – нет. Мне следовало бы дать прочное психоаналитическое обоснование этой «властности», ведь я ее

ощущаю. Он мог бы олицетворять Доброго Отца, значимую фигуру из детства, или даже Добрую Мать. Но нет. Не прикасайся ко мне, будто говорит он, ибо я еще не восшел к Отцу моему[53]. Он – восставший из мертвых. И неприкасаемый, потому что *другой*. Когда же он прикасается к вам – ко мне – во время телесной возни Гидеона, его длинная ладонь холодит щеку, как лед. И, как лед, обжигает. Она прозрачная. Не липкая, но холодная и сухая. Невесомая. И хочется ощутить ее прикосновение снова, почувствовать этот полный покой среди бури.

Что-то меня несет, но видели бы Вы, какую кашу он заварил в нашем котле (сухой-то лед). На прошлой неделе Гидеон безуспешно пытался разговорить Люси. И вот Агниц закончил свою речь, в этот раз садиться не стал, а замер, оглядываясь по сторонам, как выигравший тяжелую гонку бегун. И смотрел он в упор на Люси. Она же очень спокойно встала и подошла к нему. Опустилась перед ним на коле-

[53] Примечания: 53
Ин. 20:17.

ни, протянула к нему обе руки – ладони раскрыты – и заговорила. Произнесла она лишь два слова: «Всю жизнь». И затем повторила. «Всю жизнь. Всю жизнь». Не до конца понятно, имела ли она в виду, что всю жизнь его ждала, или предлагала всю свою жизнь ему. Голос ее звучал то слабо и испуганно, то уверенно и крепко.

И затем – полный триумф. Клеменси Фаррар, бесконечно терпеливая сподвижница Гидеона, подскочила и направилась к Люси. Красивая женщина, но одетая более чем невзрачно, во все черное: свободная юбка в пол, длинный джемпер с какими-то висюльками вокруг шеи – бирюзовыми и серебряными – и узловатая повязка на голове. Двигалась как лунатик, раскинув руки, дрожала. Кажется, не играла, хотя не ручаюсь. Так или иначе, она подошла к Люси, опустилась рядом с ней на колени и повторила: «Всю жизнь. Всю жизнь». И вот рожденная полушепотом фраза превратилась в ритуальную формулу. Потом и малышка Элли – на запястьях у нее было несколько белых бинтов, а на миниатюрных ножках бе-

лые хлопчатобумажные носочки – тоже вскочила, опустилась на колени вместе с ними. «Всю жизнь. Всю жизнь».

Так стоял он, неприкасаемый, и три женщины рядом. Присоединились и другие. Понятно, без меня. Но многие. И вторили: «Всю жизнь». Будто слова эти имели глубочайший смысл.

Он же сказал: «Сегодня я принимаю свое настоящее имя. Не Агниц, а Маковен. Я – Джошуа Маковен». Несколько человек повторили.

Очень изящно, никого не касаясь, он покрутил руками над склоненными головами. Благословил и отпустил. Удивительно чуткое сочетание скромности и властности.

Имело все произошедшее и *практический итог:* Люси попросила Агница сказать мне, чтобы я передал Вам, что она готова вернуться и выступить в суде, ответить на обвинения Ганнера и дать показания. Агниц считает, что поступает она правильно, потому что теперь понимает: чтобы ступить в будущее, надо начать все сначала, очистившись от про-

шлого. Она следует за ним повсюду. Если не телом, то взглядом. Тоже «не прикасайся ко мне». Но в этом случае я уже скорее о сэре Томасе Уайетте и Анне Болейн: «Не тронь меня, мне Цезарь – господин, и укротит меня лишь он один»[54]. Воистину охотник и лань.

Я снова задумался, после того как – пусть и отчасти – испытал это общее ощущение… чего? Харизмы? Благодати? Духовной силы и энергии, скажем так. Сразу вспомнил Юнга и Фрейда. Когда видишь такую духовную бурю, понимаешь, почему Юнг отважился вступить в эти миры, не боясь насмешек, часто сдабриваемых пошлыми словесами из репертуара псевдодуховных искателей – всякого рода аурами и видениями, спусками в подземный мир и т. п. Юнг боролся с демонами и обитателями ночи и утверждал, что всем нам предстоит спуск в Царство теней, к Матерям, к Мертвым, где мы услышим их голоса и обретем целостность, а с ней

[54] Примечания: 54

Строка из сонета английского поэта *Томаса Уайетта* (1503–1542) о встреченной лирическим героем на охоте лани, за образом которой угадывается тогдашняя супруга Генриха VIII *Анна Болейн*.

и душевный покой. Помешать же этому способна коллективная тьма и ее образы (истории), *архетипы* – это словцо я никогда не любил, но оно подходит к тому, что Агниц пытается нам показать, оно *точно* обозначает те сокровенные темные места, в которых он побывал. Странные сближения *есть*. Он говорит, что при просмотре «Зазеркалья» видел окровавленные зеркала, а упоминание близнецов и сизигий в беседе о Льюисе Кэрролле стало ему «знамением». Чудно́. Мир наш причудлив. Старина Зигмунд смог сохранить рассудок и физическое здоровье в затхлых гостиных буржуазной Вены. Но он пытался сгладить – рационализировать болезненно неадекватным образом – абсолютную чуждость духовного опыта.

Мы с Загом экспериментировали с психоделическим эффектом лизергиновой кислоты. Мне привиделись прекрасные существа, визионерские пространства – и ужасы, и чудовища, – о которых Зигмунд в своих теориях и не помышлял. Ангелы и Божьи слуги, мертвая плоть и

совокупляющиеся мерзкие гады. Не могу согласиться с Тимом Лири[55], что таков универсальный и наикратчайший путь к лицезрению бесконечности в каждой песчинке. Но кажется, соглашусь с Джошем Агницем, что для странствий по этим мирам требуются аскетизм и дисциплина.

Да-да, Перт, я тоже плакал, когда он говорил об удушении и ударах ножа, о своей эвакуации. Но я-то *знал.* Они – нет. Пока. Он раскрывает им себя капля за каплей.

От Бренды Пинчер Авраму Сниткину

Ты получил пленки? У меня ужасное подозрение, что последняя – самая важная из всех – испорчена. Кажется, там много помех, много треска. Это запись наэлектризованной речи Дж. Агница, но я отказываюсь верить, что на мой аппарат она подействовала так же, как на собравшихся. Говорил мощно – о демонах, о сдирании кожи заживо. Послушай, Аврам, ты должен все это переписать в

[55] Примечания: 55

Тимоти Лири (1920–1996) — американский психолог, один из первопроходцев в изучении измененных состояний сознания, «психоделический гуру».

хорошем качестве. Ответь мне наконец и скажи, сколько записалось. Я не могу все время писать, выглядит подозрительно. Пожалуйста, ответь. Я тут схожу с ума.

От Перта Спорли Элвету Гусаксу

Ну, вопрос с Люси вроде бы решен. Утром она была в суде. Захотели решить все до рождественских каникул, что неожиданно любезно с их стороны, учитывая, как тянут дела в наших палестинах. Маковену (будем теперь его так называть?) разрешили пойти с ней, поддержать: ведь никто не знает, вдруг без него она снова закроется и умолкнет. Судья поговорил с двумя из троих детей – с теми, что дают разные показания. Карла и Эллис, девяти и шести лет. Карла утверждает, что Люси взяла грабли и набросилась на Ганнера, «потому что он ругался из-за грязи в доме». Эллис же говорит, что это Ганнер ударил Люси, а та его укусила и тогда Ганнер взял грабли, а Люси «вырвала их у него, ткнула его, и он убежал». Никто не подумал о том, как общение детей между собой могло повлиять на их показания. В суде их не было.

Младшая Энни чуть не лишилась глаза. Я Вам об этом писал. Кто-то их зверски избил. На основании имеющихся доказательств, особенно показаний Ганнера, обвинения предъявляют Люси.

Первым свидетелем выступал сам Ганнер. Крепкий увалень, с вечно смурным выражением, он слегка клонился вбок, чтобы показать, что ранен (ткани, вероятно, плохо срастаются, но выглядит это все нелепо и наигранно). Он признал, что муж он не идеальный, но детей он не избивал. Люси же слетела с катушек: разоралась, била его граблями. Ударила по лицу (шрамы есть). На вопрос, почему он перед лицом угрозы оставил детей и убежал в курятник, ответил, что там у него мотоцикл, хотел поехать за полицией. Дети же, когда он убегал, были в порядке. Кто мог подумать, что она причинит вред детям? Раньше такого никогда не было. На следующий вопрос, из-за чего все началось, он ответил, что указал ей на грязь на кухне, а там и правда было грязно: Люси неряха. Но он только сказал ей это, не бил. «Синяков-то на ней нету», – напирал

он. И, увы, это была правда.

Затем выступили те, кто их нашел. Ученые – мужчина и женщина, изучают улиток – и еще математик, с которым была Люси, – это они подняли тревогу. По их свидетельствам, Ганнер знал, что дети пострадали. Он что-то об этом бурчал себе под нос, вспомнила женщина-ученый Жаклин Уинуор. Она также отметила, что он был не совсем в себе из-за потери крови. Но он точно упоминал детей и что они пострадали. Ее спросили, каким тоном он об этом рассказывал. Сказал ли, кто их ранил? Всякий раз поражаюсь, как адвокаты умудряются расспрашивать о сильнейших эмоциях, страшных событиях, оставаясь при этом пусть несколько и наигранно, но «объективными» и «нейтральными»! Мисс Уинуор, идеальный свидетель, точная и бесстрастная, сообщила также, что по нему и подумать было нельзя, что дети пострадали от его рук. По ее словам, в его голосе преобладали ноты возмущения. По поводу всего. Нет, что детей избила Люси, он не говорил. Был озабочен только самим собой. Что

же, возможно, это даже нормально, учитывая обстоятельства. Он очень четко дал понять, что Люси пыталась «убить» его. Этим и возмущался. Как унизительно – подохнуть от рук маленькой слабой женщины. Причем с собственным совком под ребром. В общем, мисс Уинуор тактично уверила всех, что Ганнер в тот момент был невменяем. Но она не сказала, что он хоть как-то заикнулся о том, что трогал детей.

Подошла очередь Люси, все старались вести себя очень деликатно. Она говорила со скамьи подсудимых, рядом с ней был социальный работник. Я же сидел в зале суда вместе с Маковеном. Пока она говорила, все время смотрела на него. Голос тихий и хриплый, словно она сомневалась, слышен ли он вообще.

Она сказала, что это Ганнер напал на нее с граблями. Он часто ее бил, особенно когда выпивал. Нет, в тот раз пьяным он не был. Да, она пошла в курятник и там ударила его совком. Это была очередная бурная ссора – да, она защищалась. Он собирался ударить ее чем-то тяжелым

– гаечным ключом, что ли. Точно не разглядела. Она плакала. Да, боялась. Да, боялась за свою жизнь.

Почему она бросила детей? Люси посмотрела на Маковена, как бы прося помощи в ответе на этот вопрос. Сказала, что не знает, ничего не помнит.

Кто бил детей? Она снова посмотрела на Маковена и ответила, что Ганнер. «С него станется».

Сама она их не трогала?

Нет.

Причиняла ли она когда-либо им боль?

Она замотала головой.

«Как вы такое спрашиваете? Чтобы я? Да я бы никогда. Я бы не смогла. Они же мои дети».

«Это и дети Ганнера».

«Когда он в таком состоянии, он *не соображает*».

Так почему же она последовала за Ганнером в курятник и оставила детей, которые нуждались в помощи?

В отчаянии уставилась на Маковена:

«Не знаю. Все было кончено, я поняла, что все кончено. Бывает же, что поступа-

ешь сгоряча, не подумав».

«Что именно было кончено?»

«Ну, все. Все, что было».

Ее маленькое круглое лицо стало маской страдания. Все, включая меня, за нее переживали. Ее признали виновной в нанесении телесных повреждений, но направили на пробацию с обязательным посещением психиатрической больницы. Полиция, социальные службы и суд были, понятно, на стороне Люси. Ганнера же в полиции уже знали: драки в пабах, опасное вождение мотоцикла. Ганнер заявил, что отрясает прах с ног и уходит. Дом и земля принадлежали Люси, и все были уверены, что он женился на ней ради них. Теперь выяснилось, что они на самом деле в браке не состояли и у него все это время была жена в Исландии. До женитьбы с Люси он был моряком.

Тем не менее, Элвет, я впервые задался вопросом: кто все-таки поднял руку на детей? Что именно произошло? Мы задаем осторожные, нейтральные, зондирующие вопросы и получаем в ответ лишь загадки. Может ли кто-то еще знать, что

произошло в тот день?

Мне теперь очень нужно увидеть Вас, поговорить с Вами. Дело в том, что Люси хочет отдать Дан-Вейл-Холл «Тиграм духа», организовать там религиозную (терапевтическую) общину. То есть, по сути, она предлагает отдать его Джошуа Маковену. И хотя в целом, если там поселятся квакеры, я думаю, будет больше пользы, чем вреда – многим это действительно пойдет на пользу, – опасностями это тоже чревато, возможно, что и вред будет. Мне нужно увидеться с Вами, обсудить состояние души Маковена (не хочу употреблять претенциозное «состояние здоровья»). А также поговорить о Люси. Обсудить юридические аспекты их новой жизни и их положение в группе.

Маковен держится уверенно: «Вот возможность посеять добро в этом мире». Иногда надо рисковать. Ведь так?

XIV

К концу осеннего семестра группа «нематанов» стаяла до небольшой компании, собиравшейся в пабе «Око Аргуса» в Блесфорде. В нее входили главным образом Винсент Ходжкисс, Лук Люсгор-Павлинс, Маркус Поттер и Джон Оттокар. Маркуса профессор Калдер-Фласс назначил главным координатором, а Джон Оттокар был хранителем доступа к университетскому компьютеру.

Вице-канцлер отсутствовал, объяснил Ходжкисс, из-за административных проблем. Антиуниверситет разрастался как воинство мадианитян. Пластиковые палатки множились грибами после дождя. Приезжали и уезжали домики на колесах и жилые автофургоны. Студенты Северо-Йоркширского университета сплошным потоком устремились на курсы Антиуниверситета. Полуситуационисты Джонти Сёртиза теперь регулярно встречались с председателем профсоюза студентов Ником Шайтоном. Протесты против уникального четырехлетнего курса с обязательными математикой и языками приобрели официальный характер. «Они хотят теории и

практики, приближенных к жизни», — произнес Ходжкисс с характерным оксфордским выговором и откинулся на спинку деревянной скамьи.

Лук спросил, чему учат в Антиуниверситете. Ходжкисс ответил, что состоялась тринадцатичасовая дискуссия, которую возглавил, то есть задумал, Аврам Сниткин. Говорили о том, следует ли или можно ли вообще обсуждать что-либо на искусственно созданных форумах — таких, как тот, в рамках которого они и разговаривали. Проводят неформальные дискуссии за отмену экзаменов, популярностью пользуется курс «Развенчание структур угнетения». Ну и была тридцатишестичасовая телевизионная оргия «против пассивного потребительства», в конце которой телевизор разбили на куски и сожгли дотла.

Проводит курсы и леди Вейннобел, и университетские и пришлые валят валом. Она читает лекции — или, скорее, произносит речи — о Мистическом Самосознании, Визионерской Астрологии, Тайнознании Древних. Также проводит «интерактивные сеансы» хиромантии, онейромантии, геомантии и составления гороскопов.

Герард Вейннобел или дурак, или святой, за-

метил Лук.

— Точно не дурак, — возразил Ходжкисс. Святой — возможно. Либерал с младых ногтей, он считает, что все имеют право на самовыражение и что в конце концов студенты придут к трезвому сочетанию риторики и разума.

— «Разум — инструмент угнетателей», — выговорил Маркус. — Цитирую плакат на стене Башни Математики.

Ходжкисс заметил, что, как начальник отдела по делам студентов, он представитель, так сказать, гражданской власти и, пожалуй, должен что-то предпринять. Показать себя диктатором? Беспринципным политиканом?

— И то и другое не в моем характере. Мне бы тут сидеть, читать Витгенштейна и пить пиво. Из ученых выходят слабые начальники. Что до супруги Вейннобела, она не его собственность. Она обет молчания не давала.

Вице-канцлер довел альтруизм до абсурда, сказал Лук. Ходжкисс на это буркнул, что, похоже, Лук принимает это слишком близко к сердцу. Тот не ответил. Никто ничего не сказал об отсутствии Жаклин. Джон Оттокар все еще трудился над сложными программами, необходимыми для анализа амплитуд потенциала действия, но в

присутствии «нематанов» об этом не говорил. Он также помогал Луку с не менее замысловатым математическим аппаратом его статьи о сексе и альтруизме. Лук с головой ушел в идеи Джона Мейнарда Смита[56] о том, какую цену (в виде затраченной энергии) платит вид за выбор в пользу полового размножения, а не партеногенеза. Почему существа просто не размножаются почкованием или клонированием? Он установил, что северный черный слизень, *Arion alter,* самооплодотворяется и популяции состоят, по сути, из клонов. Южный же слизень, *Arion rufus,* красный — гермафродит, обычное существо, имеющее пол, и ему приходится бороться за сексуальные преимущества, и, кроме того, оно пожирает себе подобных. Если принести домой ведро добродушных клонов, они будут уютно сосуществовать. В ведре же с красными слизнями разгорится свирепое побоище и выживут один-два самых приспособленных. Помещенные в жаркие сухие условия, черные слизни, которым обеспечили укрытие, с нежностью поделятся им с другими, в то время как рыжие задохнутся и сгинут.

Биологи, заметил Ходжкисс, сотворили со сло-

[56] Примечания: 56

Джон Мейнард Смит (1920–2004) — английский биолог и генетик; развивал теорию игр и пытался применить ее к теории эволюции.

вом «альтруизм» нечто невообразимое. Сначала с его помощью описывали заботу людей о других, даже любовь. Скажем, готовность отдать жизнь за друга. Или исключительное великодушие Герарда Вейннобела (если это и правда великодушие). Не просто забота о сохранении рода.

— Нам всем с детства, — вступил в беседу квакер Джон Оттокар, — знаком образ самки жаворонка, которая притворяется, что ранена, чтобы отвлечь охотника от гнезда. Нам говорили, мол, вот, смотрите, и в природе присутствует любовь и альтруизм…

— С точки зрения математики, — подхватил Лук, — в которой ты понимаешь лучше меня, — это просто случай, когда самопожертвование необходимо для сохранения набора генов. Согласно этому статистическому взгляду на любовь, конечно, материнская любовь — не идеальная. А вот монозиготные близнецы… Клоны, как мои черные слизни…

— Монозигота, — с расстановкой произнес Джон Оттокар, — это мать и брат или сестра близнеца. Партеногенез по итогам полового размножения.

Лук начал было искать изощренные аргументы в пользу теории родства, когда понял, что для

Джона вопрос о монозиготах — личное.

— Билл Гамильтон занимался математикой неприязни. Он искал в нечеловеческом мире примеры злобы, которая была бы оправданна. Злоба в противоположность эгоизму. Этика плохо ладит с биологией. Не думаю, что красные слизни злобны. Представьте переполненные курятники, как куры там клюют друг друга. Они набрасываются на самых слабых.

— Находят козлов отпущения, — сказал Ходжкисс.

— Ну это уже из области религии, — осадил его Лук. — А религия — это некая схема для объяснения существующего положения вещей. Не изучение причин и следствий.

— Люди злобны, — сказал Джон Оттокар. — Люди наслаждаются казнями. Люди объединяются в стаи и издеваются над чудаковатыми и слабыми. Вырывают крылья мухам, жгут кошек.

— Но самопожертвование, доброта, в конце концов, — их ведь тоже люди придумали, — возразил Ходжкисс. — Уважение к другим. Нравственная единица — это двуногое существо, покрытое кожей. А не молекула в спирали.

— Для всего этого людям всегда нужна была религия, — отозвался Джон.

— Нельзя защитить правду ложью, — бросил Лук.

Услышав это дикое утверждение, Ходжкисс со злорадством поджал слегка чопорные губы, но спору этому завершиться было не суждено.

В дверях бара, держась за руки, появились женщина и ребенок с огненно-рыжими волосами. Фредерика и Лео: они приехали на север на рождественские каникулы и по просьбе Уинифред искали Маркуса. Фредерика с радостью заметила знакомые лица и подошла. Они же, кажется, были не очень рады. Атмосфера задушевности рассеялась.

Лео же ликовал:

— Джон О.! Джон О.!

Но, увидев, что Джон как-то грозно нахмурился, добавил с сомнением:

— Это *правда* Джон? Это не… Пол? *Я знаю,* что Джон!

— А это важно? — мрачно отозвался Джон.

— Мама хотела… — обратилась Фредерика к Маркусу. Она огляделась. — Как хорошо, что вы все здесь. Где Жаклин? Улитки-то сейчас в спячке. Очень холодно. Я хотела поговорить с тобой, Лук, хотела спросить, нет ли у тебя желания поучаствовать в одной необычной телевизионной

передаче…

Лук встал.

— Нет, — отрезал он. — Желания нет. И мне уже пора.

— Может, потом встретимся, поговорим?

— Не стоит. Не вижу смысла рассуждать о сложном простым языком и приправлять рассуждения хохмочками. Смысла нет. Мне пора.

Он ушел. Фредерика растерянно смотрела ему вслед. Подошел бармен и объяснил, что Лео еще маленький и ему тут быть нельзя. Джон Оттокар взялся проводить Лео наружу.

Приунывшая Фредерика передала Маркусу весточку от матери. Винсент Ходжкисс, откинувшись назад, взглянул на брата и сестру: пожалуй, теория родственного отбора здесь сбоит. Женщина больше похожа на сердитого биолога — тоже рыжеволосая, тоже темпераментная, — а не на хрупкого, сдержанного математика с опущенным взором. Он и не подозревал, что Маркус тоже часто размышлял о том, как мало его связывает с Фредерикой. Когда Стефани еще была жива, думал Маркус, они все трое были друг с другом связаны. Затем против воли вспомнил ее смерть. От него не требовалось жертвы. Только проявить достаточно присутствия духа, чтобы рвануть

выключатель. Но и этого он не сделал. Он мрачно уставился на пиво и сказал, что скоро закончит и позвонит матери, у него есть дела…

— Мы собираемся поужинать, — сказал Ходжкисс. — Есть что обсудить.

Маркус поднял глаза, а потом опустил. Да, люди ему настолько неинтересны, подумал Ходжкисс, что до сего момента ему и в голову не приходило, что кому-то интересен он сам.

Фредерика, сама того не желая, разрушила приятельскую компанию. Она повернулась и вышла на улицу, к сыну и к любовнику, с которым не знала, что делать.

Поесть в Блесфорде можно было только в убогой кафешке а-ля траттория. Ходжкисс отвез Маркуса на пустошь, в отель «Роза Йорка». Обеденный зал был оформлен в строгом стиле, в углу — большой камин, поглощающие шум ковры. Помимо них, сидели еще три парочки. На белых камчатых скатертях горели свечи в серебряных подсвечниках, а посреди зала висела ослепительно-яркая люстра. Ходжкиссу даже пришлось спросить, нельзя ли приглушить свет. На окнах висели зеленые занавески с узором из белых роз и терновника. Ходжкисс заказал бутылку белого бургундского, тарелку супа из шпината и жареный морской

язык. Маркус попросил то же самое.

— Не ищи подвоха. Это альтруизм вынужденный. Мне нужна твоя помощь в одном деле. Да и видно, что ты проголодался.

— Правда?

— Правда.

Маркус размешивал суп. Ходжкисс подметил, что он никогда не смотрит на людей. Монада монадой. Сказать ему? Пожалуй, не стоит. Он наблюдал, как Маркус размешивает суп в другую сторону, осторожно пробует, вытирает рот. Никогда не буду искушать его плотскими удовольствиями, подумал Ходжкисс, предлагая булочку.

— Ты, наверно, сможешь мне объяснить учение Кантора о бесконечных множествах.

Маркус отложил ложку и сделал глоток вина.

— В тридцать девятом году, — продолжал Ходжкисс, — Витгенштейн читал курс лекций по основам математики. Он подверг резкой критике диагональный аргумент Кантора. С пеной у рта.

Маркус поднял глаза:

— Почему?

— Сначала объясни мне эту теорию, иначе я тебе в этом не собеседник.

— А, ну да. — Маркус улыбнулся. Мягко и нере-

шительно, и от этой улыбки его кроткое лицо словно открылось.

Он объяснил. Диагональный аргумент — это доказательство связи между конечными и бесконечными множествами, которое можно выразить геометрически. Два бесконечных множества равны, если между ними можно установить однозначное соответствие. Это еще называется иметь одинаковую мощность. Например, множество всех четных чисел или множество всех натуральных чисел: 1, 2, 3, 4 и так далее. Их можно изобразить при помощи разветвленных диагоналей. Он порылся в кармане пиджака, нашел конверт и набросал разветвленную сетку. Ходжкисс достал кожаный блокнот. И они склонились над записями, голова к голове. Волосы Маркуса пахли молодостью, а кожа — детским мылом с экстрактом гамамелиса. Тонкие пальцы вырисовывали все больше линий, движения становились увереннее. Но вот карандаш сломался, Ходжкисс дал ему свою ручку. Посмотрел, как он ухватывает ее поудобнее, проверяет наклон пера и ток чернил. Ручка была маленькая, замызганная, иссиня-черная. В руке Маркуса она вычерчивала причудливые паучьи тенета, призрачные ветви, фигуры, похожие на рыбьи

хребты.

— А затем последовательно и аккуратно раскладываешь все рациональные дроби — вот так…

Как уверенно двигаются пальцы: Ходжкисс — без какой-либо обиды — чувствовал себя грузным мальчуганом, наблюдающим, как его более легкий и проворный одноклассник раскачивается и выписывает пируэты где-то под потолком спортивного зала, перепрыгивает с каната на канат, а он к этим канатам боится даже подходить.

— Вижу. Почти все понятно. Рассказывай дальше. Это ведь связано с теоремой Гёделя о неполноте?

— Да!

Маркус вычертил еще несколько линий, осушил два бокала вина. Он рассказал про гипотезу континуума — Кантор потерял рассудок, и считается, что именно из-за нее. Вдруг Маркус нахмурился. Отложил ручку Ходжкисса.

— Неудивительно, — произнес он.

— Что от математики можно свихнуться? — беспечно спросил Ходжкисс.

Маркус поднял глаза от тарелки, на которой с разинутым ртом и вываренными глазами лежала почти доеденная рыба, и встретился взглядом с Ходжкиссом:

— Почему Витгенштейн разругал диагональный аргумент?

— Послушай, я пока не понимаю, о чем речь, а значит, не могу и возражать. Кажется, он эту гипотезу рассматривал в каком-то искаженном виде. Рассуждал о ней как о колдовстве, чарах, наложенных на математиков, ибо те верят, что все, что логически последовательно и непротиворечиво, — истинно и неопровержимо. Математик Гилберт как-то заметил: «Никто не изгонит нас из рая, созданного Кантором». Витгенштейн же говорил ученикам, что у него и в мыслях нет их оттуда изгонять. Достаточно просто показать, что это не рай, а трясина, морок блуждающих огней и философских химер и соблазны метафизики. И, поняв это, считал он, они убегут оттуда сами. Так говорил Витгенштейн. Ты же, насколько я понял, предпочитаешь там оставаться?

— Там так красиво, — с расстановкой произнес Маркус.

— И все это реально?

— Для меня — да, реально. Бесконечно более реально, чем повседневность. — Он огляделся. — Чем этот суп, эта свеча, эта ложка, это пламя. Хотя и в их основе лежит число.

Он наблюдал, как жидкости, твердые вещества

и газы, блестящее серебро, растительные волокна — все растворяется в круговерти молекул, составленных из движущихся частиц. Поднял голову и встретил пытливый взгляд Ходжкисса.

— Насколько я понимаю, — сказал философ, — многие математики считают, что конечные числа — реальные объекты, которые можно обнаружить — угадать — в реальном мире. Но не все из них одинаково верят в то, что реальны и бесконечные множества. Тогда что это — призраки? Фикция? Тут тебе виднее.

— Ох, трудно. Описать это трудно. — Маркус был не в ладах с языком. — Можно переставлять реальные числа на бумаге или проводить мысленные эксперименты. Я в бесконечности не верю. Возможно, это какие-то всполохи в мозгу, которые нужны нам, чтобы вообще думать о числах.

Давно уже он ни с кем не рассуждал о природе вещей. Появилось смутное ощущение физического присутствия Ходжкисса. Тот же наблюдал, как он вычерчивает пальцами окружности на белизне скатерти, и инстинктивно старался казаться мягче, безобиднее.

Маркус нерешительно добавил, что, правда, вера в аргумент Кантора и бесконечные мно-

жества — это как бы религия. Последнее слово он произнес с подчеркнутым отторжением. Конечные числа — часть зримой вселенной. Они существуют, даже если человек неверно описывает их сущность и их природу, — и, конечно, они незавершенные. Бесконечности же подобны ангелам. Формы форм.

— Недолюбливал ли Витгенштейн ангелов? Считал ли их демонами? Странно, но я ощущаю бесконечности всем телом, не только умом — у мозга нет на них монополии. Я, кажется, в них *пребываю, являюсь* ими — а не наблюдаю со стороны. Я, возможно, не могу из них, так сказать, вылезти, потому что мы, люди, их изначально и помыслили.

Маркус улыбнулся. Ходжкисс подумал, что редкая улыбка — невинная и прекрасная — преображает его.

— Ты вообще понимаешь, о чем я?

— Стараюсь — по аналогии. Приходится подменять то, что я понимаю, бесконечностями, которых я не понимаю. Но я знаю, что думать нужно всем телом, а наблюдать — умом. Знаю о связи между ними и о различиях.

Маркус тихо вздохнул.

— Ангелы — существа причудливые. Тот, ска-

жем, что с огненным мечом охранял вход в Рай. Слушай, этого я еще никому не рассказывал. В детстве я решал математические задачи, представляя себе сад. Нет, не представлял — *видел*. Все математические формы были в нем: ветви и линии, холмы и камни, фонтан. Ангелические деревья, холмы и камни. Разноцветные или вовсе без цвета, прозрачные. Я выпускал *задачу* в сад и — попробуй понять! — видел ответ.

— Если честно, не очень понимаю, — признался Ходжкисс. Правдивости его научили. — Представляется некий всеобъемлющий автомат для игры в пинбол, хотя едва ли это твой образ. Может быть, неслышимая музыка? Партитура симфонии, прекрасная в своем совершенстве, но не игранная?

— Пинбол — образ неплохой. Действительно, нечто такое. У меня там все двигалось. Вокруг фонтана ветвились спиралевидные дорожки, а вокруг деревьев — спиралевидные ветви. Все ветвилось — и животные, и минералы, — как дендриты и бронхи, рисунки и формы в раздробленных кристаллах или в снеге.

— Ты все еще можешь туда, так сказать, попасть?

Маркус слегка поежился и нахохлился:

— Когда я был подростком, я заболел. Было

очень плохо. Страшно. И я потерял туда дорогу. — Маркус слегка вздрогнул и ссутулился.

— Лишился Рая. Жаль.

— Мне казалось, я схожу с ума.

На философа он больше не смотрел. Ходжкисс непринужденно, словно бы между прочим, рассказал, как Фрэнсис Гальтон собирал рассказы и свидетельства людей, решавших математические задачи и притом воображавших пейзажи, цветовые плоскости, лестницы. И каждый удивлялся, что он в этом не одинок. Схожим образом мыслил и сам Гальтон.

— Представлял себе логарифмическую линейку и работал с ней, — вставил Маркус.

— А ты занимаешься мыслящими машинами, мозгом-компьютером.

— Пытаюсь. Но ничего не получается. В основе всего — формирование понятий и процессы принятия решений. Любопытно представить себе машину, которая бы распознавала зрительные образы, но искусственный интеллект — это переключатель, он использует дискретные модули. Подбор чисел. Примитивный автомат, который имитирует ограниченное количество мыслительных операций. Я же *хочу*… — он замешкался, — я *хочу создать*…

О том, чего он хочет, Маркус рассуждать не привык, и непривычность таких размышлений его поразила.

— Так что ты хочешь сделать?

— Хочу… хочу понять, как числа… присутствуют в вещах. Почему что-то развивается по спирали Фибоначчи. Сучья вокруг ветвей, ветви вокруг ствола дерева. Маргаритки и подсолнухи. Некоторые виды улиток и сосновые шишки. Нужно сочетание математики, физики, клеточной биологии и… Я хочу разгадать тайну филлотаксиса.

— Алан Тьюринг был этим одержим, — сказал Ходжкисс. — Насколько я понимаю, именно его воображаемая мыслящая машина лежит в основе работы Калдера-Фласса и отчасти твоей. Витгенштейн утверждал, что вся система математической логики — всего лишь «языковая игра» с человеческими правилами. Тьюринг же говорил, что если в твоих расчетах есть противоречие, то мост, который ты построил с их помощью, рухнет.

Маркус на мгновение представил себе мост, прочные сваи, изгибы арок, подвесные дуги — и как все это разлетается вдребезги.

— Это не просто игра, — возразил он.

— У Тьюринга сосновых шишек были полные карманы — так сильно он хотел разгадать тайну филлотаксиса. Он надеялся, что сможет довести свои машины — реальные и воображаемые — до возможности решать такие задачи. Рост эмбрионов, узоры на шкуре зебры, мотыльки и перья…

— Не знал. Нам нужны машины, которые работают быстрее и лучше. И все это, пожалуй, возможно…

— Тогда вперед. Жизнь коротка.

— Но мне не хватает знаний в физике. Ничего не знаю о клеточной биологии. Безумно!

В глазах зажегся огонек.

— Надо тебе поговорить с Вейннобелом. Одно время он работал с рядами Фибоначчи. Он тоже уверен в том, что рано или поздно мы переступим через демаркационные линии. И ему понравилась бы идея заниматься одновременно физикой, клеточной биологией и алгоритмами…

Ходжкисс заказал шоколадное суфле, обозначенное в меню как «кромешно-темное». Маркус, снова расслабившись и даже оживившись, заметил, что не менее интересна и математическая подоплека увеличения объема взбиваемого яйца. Ходжкисс повертел на языке горячую жижицу и хрупкую корочку.

— Все-то тебе интересно, только не люди.

— В них я разбираюсь плохо.

— Жаклин к тебе неравнодушна?

— Она своей личной жизнью занимается. Изо всех сил. Но у нее трудное время.

— Она, кажется, решила остановиться на Люсгоре-Павлинсе?

— Да, но что-то у них не пошло. Сейчас она мучается.

— Из-за тебя?

— Нет-нет, я ни при чем.

Ходжкисс понимал: если он хочет сохранить эту хрупкую близость, со сплетнями надо не пересолить. Его куда-то влекло, кровь начинала гудеть, он улетал в незнакомый мир крайностей, прозрачных деревьев, бесконечных рядов ангелов, танцующих на конце булавки, длинных бесцветных ресниц над беспокойными, блуждающими глазами. Он ловил рыбу в безжизненно-спокойном море и на тонкий крючок. Блаженство — как от горчинки шоколада, как от блеска бело-золотисто-сапфирово-зеленого вина, колыхавшегося в бокале Маркуса. Его путь к бесконечным множествам, говорил он ему, — это Язык и Любовь. Маркус не откликался ни на то, ни на другое. Но в то мгновение восторг лишь усиливался, хотя по

большому счету Ходжкисс гнался не за ангелом, а за демонским огнем на бесконечном болоте.

XV

От Бренды Пинчер Авраму Сниткину

Ну вот мы все и в Дан-Вейл-Холле. Зовем себя терапевтической группой, но вполне ясно (по крайней мере, социологу), что это религиозный культ в зачаточном состоянии. Чувствую, предстоит что-то очень увлекательное, но, признаться, страшновато. Такое коллективное воодушевление, чтобы не сказать одержимость, для меня неизведанная территория. Постараюсь и дальше делать записи и вести научную летопись. А ты так и не ответил. А отсюда писать будет труднее. Впрочем, мы сейчас не так далеко от тебя, если ты все еще там, где был, где я думаю, что ты находишься. Ради бога, Аврам, *ответь хоть на это письмо*. Хотя если подумать, то как теперь ты мне ответишь, я же тут заточена безвылазно? Есть ли тут почта? Будем ли мы держать связь с внешним миром? Надеюсь, получится отправить хотя бы это письмо,

когда кто-нибудь пойдет за покупками. Постараюсь просочиться в отряд фуражиров (а такой наверняка появится).

А то уже поговаривают про натуральное хозяйство, полное самообеспечение, возделывание земли. Хотя тут свои трудности. Во-первых, зима скоро. Мы будем праздновать зимнее солнцестояние, и неужели кто-то будет что-то пахать (многие вздохнули с облегчением)? Во-вторых, манихеи земледельцами не были. Они считали, что нельзя мучить землю и причинять вред ее порождениям. Иногда по вечерам Джошуа Маковен проводит беседы-проповеди о «добрых манихеях». Они делились на «Избранных» и «Слышащих». Избранные никогда не причиняли вреда ни земле, ни деревьям, ни тварям и ели только пищу, которой их обеспечивали Слышащие. Для последних же это была почетная обязанность. Джошуа любезно заметил, что, по его мнению, все мы – Слышащие, никто из нас Избранным не является и не надо делать вид, что это так. Далее он рассказал нам вот что: манихеи считали, что прием пищи, как и половые

сношения, не дают Свету высвободиться из Материи, а при употреблении в пищу животных – организмов более сложных – Свет «вырождается» быстрее. Манихеи ели только овощи. Квакерам все это пришлось по душе, многие из них и так веганы. При этом он не предписывает никому, что *до́лжно* делать. Просто разъясняет.

Полным ходом у нас идут те два вида деятельности, которые спаивают группы людей в культы: тяжелый труд и отправление обрядов.

Труд пока не такой уж тяжелый. Лиха беда начало. Дом принадлежал Люси Нигби, о которой я писала. Полагаю, что юридически он принадлежит ей до сих пор, но она говорит, что передает нам его «в дар». Со времен ее ссоры с мужем он стоял закрытым. Сейчас же происходит безжалостное уничтожение всего, что было «до Слышащих». Кухонный гарнитур пока цел, так как он встроенный и старинный, но вся мебель из других комнат, стулья и прочее – все это выносится к огромным кострам, разведенным ря-

дом с компостной кучей (не знаю точно, что это – какая-то грязная часть двора). Мы уже сожгли много стульев, столов, матрасов и постельного белья. В том числе детскую мебель и кроватку. Кое-кто вполне разумно предложил отдать все это нуждающимся. Но Люси и Джошуа (их поддержали Гидеон, Клеменси и каноник Холли) заявили, что это падшие домашние божки, зараженные похотью и яростью, и их уничтожение станет провозвестием нового мира. Мы перебили множество отличных тарелок, чашек, блюдец. Заменили все самой простой белой глиняной посудой и серыми покрывалами. Ходят разговоры, что горшки и одежду мы будем делать сами. Не знаю, как это согласуется с тем, чтобы избежать уничтожения Света в Материи. Не знаю, как манихеи отнеслись бы к синтетическим волокнам: Джошуа Маковен об этом не говорил. Впрочем, он умело балансирует на грани между реальными действиями (уничтожение вещей, вегетарианство) и символическим значением (современные научные представления о

свете и материи, растительное происхождение угля, фотосинтез и так далее).

Ведут Слышащие между собой и вполне земные разговоры, и говорят – не поверишь! – о сексе. Много сил приходится тратить на то, чтобы разобрать мансардные помещения, изначально предназначенные для слуг (это поместье XVII века с многочисленными пристройками). У нас не будет ни обоев, ни краски – белые стены и зеркала, но так высоко, чтобы нельзя было в них смотреться. Они будут отражать Свет и ночное небо. Изысканно. Маковен твердо решил, что представители разных полов должны спать раздельно. У него свои мысли обо всем, и, хотя ему нужна поддержка супружеских пар, он считает, что должно быть отдельное крыло с женскими спальнями и отдельное – с мужскими. «Дети полка» ему тут точно не нужны. Чтобы кто-то заводил детей – этого он точно не хочет. Но с теми, у кого они уже есть, он держится тактично. У Люси Нигби трое, но они пока не вернулись. Посмотрим, что выйдет. Пока у нас тут полевые условия.

Я расположилась на старой больничной койке в какой-то тесной каморке. Есть с собой фонарик, потому и продолжаю тебе писать. Эх, пришла бы от тебя весточка. Так одиноко обманщице и притворе посреди всеобщего энтузиазма и… и… ох, *приподнятости* – это я без сарказма.

Вчера была своего рода церемония – «освобождение всякой твари». На ферме много овец местной породы, которые и так живут привольно.

Люси рассказала нам, что один барашек по имени Тобиас считает себя собакой. Он повсюду следует за ней. Вернувшись, она много плакала, когда нашла его: он исхудал, а она боялась, что его убьют или что он ее забыл. Тобиас спит у пастбища, запах от него как от мокрой тряпки. Мы выпустили из курятников всех кур. Курятники тут двух видов. Один с несколькими рядами проволочных клеток для несушек. Они сидят по три в клетке на наклонном сетчатом полу, и яйца выкатываются наружу. Куры выдрали друг у друга все перья с шеи и груди и выглядят премерзко. Есть еще большой сарай: там

в багровой полутьме содержится уйма молодых бройлеров. Для успокоения им включают музыку, но они друг друга все равно общипывают. Кормят их из отверстий в наружной стене. Ходят они по решетке, а внизу – помет. Видимо, чистится сарай раз в год, после забоя. Когда мы их выпустили, Люси забеспокоилась. Сказала, что Ганнер хотел обрезать им клювы, но она была против. У этих клювы есть, так что в замерзшей грязи что-нибудь себе наковыряют.

Ритуал освобождения был настолько же нелепым, насколько душещипательным. Мы проходили вдоль проволочных клеток, открывали их и вытаскивали кур. Среди всеобщего квохтанья, крика и кудахтанья Клеменси Фаррар начала произносить нечто вроде обрядовой формулы: «Вы свободны, ступайте с Богом!» Так мы стали говорить всем курам, а те гадили, пятились, шарахались от нас, однако в итоге мы всех вынесли во двор. Дело небыстрое, и было решено проводить освобождение поэтапно, не одним днем. Потом уехал работник: ему наши

«фокусы» не понравились. Приходится кур кормить самим – и тех, что еще в клетках, и тех, что уже на воле. Последние собрались в стаю и начали вести себя вполне по-куриному: кудахтали, озирались и копались в земле. Многие сразу же вернулись в курятник, но мы решили – пусть, ведь другого мира они не знают. Дверь оставили открытой. На следующий день пришел черед бройлерного цеха. Мы раскрыли массивную дверь и выключили красный свет. Снаружи насыпали кучу еды: кукурузы и прочего. Бедняги испугались дневного света и выйти не решились.

Клеменси Фаррар в очередной раз поступила разумно: осторожно прошла через них и решительно провозгласила с самого дальнего конца бройлерной: «Вы свободны, ступайте с Богом». При этом она махала руками и фартуком, выгоняя их наружу. И бройлеры начали продвигаться вперед единой массой, стонали и квохтали, а Клеменси покрылась разлетающимися во все стороны белыми перьями (то были исключительно леггор-

ны) и стала похожа не то на индейский тотем, не то на снежного человека. Но некоторые, моргая, все же отважились переступить порог, их становилось больше, да и назад вернуться было нельзя, сзади напирали, поэтому они сгрудились и закопошились в одном месте. Теперь-то куры гуляют повсюду. Все-таки они, как видно, предпочитают свободу. Учатся копошиться в поисках пищи в земле. Лапки у бедняжек распухли. Я не специалист по социологии и психологии кур, и жаль, что среди нас такого нет: было бы интересно узнать, какие из инстинктивных форм поведения эти отчужденные от природы существа восстановить смогут, а какие – нет. Я обнаружила, что куры – крайне чуждая мне форма жизни. Не вызывают никакого сочувствия. Люди вообще кур не жалуют. У них во взгляде ничего родного. А звуки, которые они издают, только на нервы действуют. Эти птицы прямо *созданы для того, чтобы действовать на нервы*. Сейчас их очень много, повсюду. Постепенно разбредаются.

Как и на большинстве ферм (так мне

сказали), на этой есть хозяйский курятник с «настоящими» яйцами для собственного потребления. Тут живет куриная элита: им разрешено разбредаться и разгуливать; избалованные, эти куры очень раздраженно и ревниво реагируют на появление остальных, задирают их. Происходят драки. Маковен говорит, лучше не вмешиваться. Несколько кур этих столкновений не пережили. Мы спорили о том, употребить ли их в пищу или похоронить. Кто-то считает, что первое решение вполне вписывается в наше натуральное хозяйство.

С утками забот не было. У ручья у них есть домик и загон. Все двери мы открыли. Одной утки потом недосчитались: виной тому лиса или особое стремление к свободе, неизвестно.

Завтра выпускаем индюков и индюшек. Живут они в своеобразном узилище, их там около сотни, клохчут почем зря, откармливаются к Рождеству. Куда они пойдут и что будут делать, когда ворота откроют, ума не приложу. Посмотрим. Есть как пестрые глазчатые, так и уны-

ло-белые.

Всё вокруг в перьях.

Я попробую отправить это письмо на почту с грузовиком, который поедет за кормом для кур. Но чтобы получать корм, придется продавать яйца (яиц пока достаточно – в курятниках, в зарослях крапивы и много еще где).

Поговаривают о том, чтобы полностью закрыться от внешнего мира. Пока только поговаривают. Сейчас же посетителей у нас хоть отбавляй. Например, заезжает Элвет Гусакс. Кое-кто из квакеров. Каноник Холли. Приезжают на выходные, побыть «в уединении», помогают разрушать старое и строить новое. Не хочу гадать, что будет дальше. С Божьей помощью у меня есть возможность наблюдать за динамикой самоучрежденной группы с самого момента основания. Вот только с Божьей ли помощью?

Послушай, раз мы в будущем можем затвориться от мира, ты бы приехал, пока это возможно! У меня есть что тебе передать и что сказать. На всякий случай. Некоторые из нас считают, что

посетители – это хорошо: новые ученики, пожертвования. Другие же настаивают на аскетическом затворничестве. Пока все друг к другу великодушны. Но – тут к гадалке не ходи – долго это не продлится. Но мне бы очень хотелось (без сарказма). Очень бы хотелось.

Аврам Сниткин, сволочь ты такая, *почему ты не пишешь*? Я как профессиональный социолог сейчас нахожусь в уникальном положении, в очаге формирования новой религии или культа. Я могу проверить и сопоставить теории Вебера и Дюркгейма о харизматическом лидере и коллективной динамике. Погрузиться в психологию групп. Но я не беспристрастный наблюдатель, а часть этой группы. Мне нужна еще одна пара непредвзятых глаз (да и просто пара). Я сижу здесь по ночам и чего только не воображаю: например, ритуальные сношения с Джошуа Маковеном. Положа руку на сердце, такое развитие событий меня не слишком и пугает. Он чертовски красив – поджарый, седые волосы, горящие темные глаза. Ему придется что-то

решать с ревностью остальных женщин к Люси. Сам он об этом пока *не* думает, но вот Клеменси Фаррар следит за каждым его шагом. Не могу понять, что у нее в голове, а мои домыслы – это мои домыслы.

Аврам, я боюсь. Я всем этим занимаюсь, потому что умею наблюдать, и моя роль меня вполне устраивает. Да, этнометодология требует наблюдения *in situ,* и вот я тут, на месте. Но когда рядом бурлящий котел, то, мой бесполезный друг, трудно не закипеть самой. Лисы таскают кур. Что будет, если меня раскроют? Сейчас или позже.

Мне действительно нужна помощь и возможность побыть собой. Я собиралась писать, Господи, но становлюсь суеверной. Во имя Толкотта Парсонса[57], Аврам, *пришли мне ответ,* а еще лучше – бери ноги в руки и приезжай.

От Элвета Гусакса Перту Спорли
23 декабря 1968 г.

Вот, мой бдительный друг, неофициаль-

[57] Примечания: 57

Толкотт Парсонс (1902–1979) — американский социолог-теоретик. Один из основоположников современной профессиональной социологии.

ный отчет о Слышащих Дан-Вейл-Холла (дарованной нам Вальхаллы): пусть он станет дополнением к официальным отчетам о здоровье и состоянии Джоша Агница *sive* Джошуа Маковена и Люси Нигби, то есть, простите, Святой Люсии, Девы Света. Все станет ясно в свой час. Селах![58]

Мы только что отпраздновали зимнее солнцестояние. Вот, написал я это предложение и сижу теперь, смотрю, как бесконечно снова и снова струится песок в песочных часах. Темные облака бегут по тверди небесной, будто кто их гонит: они оторочены золоченым кружевом и россыпью серебряных искр. Мы с Загом праздновали келейно, приняли малость лизергиновой кислоты. Одна часть меня сейчас о содеянном жалеет: ведь я должен предоставить Вам правдивый отчет о том, что передо мной оплотняется и развоплощается под стройные перезвоны в царственных сполохах. Но я стараюсь,

[58] Примечания: 58

Неоднократно встречающийся в Библии, особенно в псалмах, музыкальный знак, который ставился в конце отделов и означал, по всей вероятности, перемену ритма или голоса.

друг мой, очень стараюсь. Возможно и даже вероятно, капля кислоты открыла перед моим взором истинную природу происходящего, которая иначе бы от меня ускользнула.

Я видел все: то, что брезжит там, за холмами, за черепным сводом, за хороводом. Я видел.

Есть многое на свете, друг Горацио…

Итак, к нашим баранам. И баранов, и овец тут полно, но мы вегетарианцы.

Простите, Перт, за эту ахинею. Постараюсь взять себя в руки.

Состоялся праздник солнцестояния, который также стал и церемонией посвящения Слышащих. И тут мне надо пересказать Вам космогонический миф Мани, иначе не поймете. Селах. По вечерам мы собираемся в старом зале при свете огня: беседуем, рассказываем разные истории. Гидеон вздумал было превратить эти собрания в исповедальню, но Джош Маковен быстро все пресек и стал рассказывать нам о манихеях и сотворении Вселенной. Рассказчик из него хороший: страсть поэта, нотки ученого скепсиса

и завораживающий гипнотизм. Все это до жути сложно (в *буквальном* смысле *жутко*), но я попробую изложить.

Вначале было два царства, Тьмы и Света, и были они совершенно обособлены друг от друга. Царство Света лежало на Востоке, Западе и Севере, и царствовал в нем Отец Величия. Росло там Древо Жизни, унизанное цветами, непреходящее в своей красоте. Царство Света состоит из пяти элементов: Воздуха, Ветра, Света, Воды и Огня. Отец Величия окружен Эонами – их двунадесять по двунадесять, – которые сотворены из света. Они обитают в «предвечном воздухе», в «предвечной земле». Царство Тьмы – это Царство Света в тусклом стекле, сиречь искаженное. Оно лежит на Юге, и там растет Древо Смерти, которое есть Материя в противоположность Свету, Смерть в противоположность Жизни, «столь же непохожее на Древо Жизни, как царственный владыка на свинью». Маковен прочитал отрывок, в котором Мани описывает царя во дворце, в горних покоях, и свинью – в грязи, питающуюся мерзостью, ползающую на

брюхе, «точно змея».

Царство Тьмы – это болотистый край, полный рытвин, трясин и топей. Всюду – удушающий Дым, «яд смерти». В Царстве Тьмы также есть пять миров: Дым, Огонь, Ветер, Вода и Тьма, населенные мерзкими тварями или демонами: двуногими, четвероногими, летающими, плавающими и рептилиями соответственно. Князь Тьмы зовется Пентаморфом, ибо в нем все эти дьявольские формы слились в образе Архидракона. Древо Смерти кишит червями, которые пожирают его плоды, подтачивают ветви его, ибо всё здесь в разладе.

Принцип Царства Тьмы – отметьте себе, о Перт! – это беспорядочное движение бесцельного и неумеренного Либидо, или Желания. Произнося эти слова, Маковен улыбнулся непосредственно мне своей сладкой, грустной улыбкой отстраненного соучастия, которая так в нем привлекает. Селах.

Блуждая во тьме, дыму и смраде бездны, некоторые двуногие демоны мельком увидели Свет и возжелали его.

И вот они заклокотали, вскипели, взбурлили и вторглись в Царство Света.

Свет же не знал, что делать, ведь он привык к незыблемости мира и покоя.

И вот он разделился на эманации. Была создана Мать всего живого, и вместе с ней был сотворен (но не порожден) Первочеловек. И он вооружился пятью элементами – Воздухом, Ветром, Светом, Водой и Огнем, которые вместе являют Жизнь Отца, также называемую Девой Света. Первочеловек надел ее как броню и отправился на битву с Тьмой.

Но Тьма победила его, и, безжизненный, он пал наземь. А дьявольские силы просочились в него и поглотили все элементы Света.

Но то был крючок с наживкой, ловушка, и Тьма стала зависима от Света.

Затем на спасение Первочеловека было отправлено множество подчиненных божеств, и они спасли его. У них у всех очень замысловатые имена, и все они являются частью Единого.

Затем нужно было спасти заточенный Свет. Тут история усложняется, и

некоторые подробности я пропущу. Из поверженных демонов Демиург создал землю, а из сорванных шкур – небо. Горы – это их кости. Материя – это Тьма. Так было возвещено.

Чистый свет восседает на небе в виде бессменного солнца, изменчивой луны, а также (слегка осквернённых) звезд и планет.

Дальше все становится пикантнее (по рассказчику Маковену этого не скажешь, он продолжал как ни в чем не бывало).

Итак, Демиург призвал Деву Света, которая одновременно была Двенадцатью Девами (двенадцатью знаками зодиака). Затем Демиург и Дева обнажились при свете солнца и луны перед Демонами женского и мужеского пола. Те, обуреваемые страстью, извергли проглоченный ими Свет, и стал он упавшим на землю семенем. Оно слилось с мерзостным месивом Греха в темных существах и забродило в них, как дрожжи в тесте. От этого греха зародились пять деревьев, а от них – вся растительная жизнь.

Женщины-демоны были на сносях, но,

узрев красоту Демиурга, не донесли. Плоды их упали на землю и выжили, питаясь почками света с деревьев, и так зародилось царство животных.

Стало быть, Свет все еще заточен в растениях и даже (хотя и в меньшей степени) в животных.

Первый человек, Адам, был порождением двух демонов, как и Ева. Их появление – замысел Князя Тьмы. Адам был воссозданием космоса, Светом в Материи. Так, подобно слону, выгравированному на перстне, говорят китайцы, мир человека воссоздает Вселенную – не убавляя и не прибавляя.

Адам ничего не знал ни о своем темном происхождении, ни о дьявольской природе плоти.

Но вот посланником к нему пришел Иисус Света и открыл ему суть его истинного существования: ешь – и буди снедаем, срешь – и буди высираем, трахаешь – буди оттрахан, воняешь – вдыхай вонь других. Иисус Света дал Адаму вкусить от Древа Жизни, и Адам издал вопль, в котором, по словам Маковена, средоточие манихей-

ского понимания Вселенной. Он зарычал, как неистовый лев: «Горе, горе создателю плоти моей! Горе тому, кто заключил в ней мою душу, и горе тем нечестивцам, что уготовили мне узилище!»

Согласно Мани, который считал, что половые сношения и еда – корень зла, первые двое детей Евы, Каин и Авель, были сыновьями не Адама, но демонов. Единственным отпрыском Адама, зачатым в минуту слабости, был Сет, и именно он является прародителем всех нас, в ком все еще теплятся частицы Света. Наш мир, по мнению Мани, по мнению Маковена, – это Скверна, и зло в нем рождено не нашими грехами, а демонами тьмы, которым мы потакаем и потворствуем. Надо освободить Свет, но сделать это трудно, ибо на пути будет много боли и разрушения. И все же надо сделать все, что в наших силах. Так говорит Маковен. Он учредил две церемонии: при встрече надо сжать правую руку – так, по его словам и по представлениям манихеев, сделал Демиург, или Дух Живой, когда пробудил Первочеловека ото сна, а так-

же необходимо касаться трех «печатей» – рта, рук и груди. Запечатанный рот не вкушает мяса и вина (!), запечатанные руки не причинят вреда ни одному живому существу, содержащему частицы Света, а запечатанная грудь – указание на избирательное целомудрие и воздержание от деторождения. Эти довольно изящные ритуалы упраздняют наши традиционные фарраровские похлопывания, принося облегчение одним и раздражая других. Должен сказать, что Гидеон, похоже, упивается всеобщим энтузиазмом, ощущением обновления, *грезой* – общей *грезой*, – и, говоря «общей», я разумею и себя, и, конечно же, Зага. И под кислотой, и без.

Вчера мы праздновали солнцестояние. Было решено развести костер – в полночь, преполовение самой длинной ночи. Каноник Холли – конечно же, приверженец идеи универсальности обрядов в духе «Золотой ветви»[59] – предложил

[59] Примечания: 59

«Золотая ветвь. Исследование магии и религии» — популярный труд антрополога и религиоведа Джеймса Джорджа Фрэзера, опубликованный в 1890 г. в двух томах и впоследствии разросшийся до двенадцати.

подкинуть в костер мертвое дерево и таким образом символически представить обновление. Он также возомнил себя Савонаролой и предложил устроить «сожжение суетности»: каждый пусть бросит в костер что-то свое. И вот мы развели костер вокруг старой скрюченной яблони, которая уже много лет не плодоносит. Она стоит на краю фруктового сада, и мне все казалось, что пламя вот-вот перекинется на сливы, груши и яблони-кислицы. Не помню, рассказывал ли: манихеи считают, что Иисус вовсе не был распят, что история о распятии – это символический рассказ о распятии Страдающего Иисуса на Кресте Света (*crux luminis),* которым являются все деревья, все лозы и все растения. В них Свет заточен во плоти фруктов и цветов, а если мы съедаем, скажем, яблоко, то его заточение пуще удлиняется. В общем, костер у нас вышел на славу – горела старая мебель и обломки курятников. Писал ли я, что мы выпустили всех птиц? Бройлерная была похожа на какое-то логово демонов из Толкина – огромные красные фонари,

каждый как огненное око, а белые пернатые бестии сгрудились и раскудахтались в кровавом зареве. Сейчас они на свободе, но ходить им еще тяжело.

Ночью для разжигания Огня устроили шествие, честь возжечь костер досталась Люси. Затем каждый бросил в него по заветной вещи. Люси – обручальное кольцо. Клеменси Фаррар тоже бросила свое. Так что за ней – и Гидеон. Друг на друга они не смотрели. Клеменси весь вечер жарила сыр и каштаны, пекла картофель, разносила кружки с яблочным соком, сидром, какао, родниковой водой. Заг пожертвовал плюшевым медведем. Как он сказал, все ведь заметили, как он его любит – вон какой замусоленный. Как он съеживался в пламени – противно смотреть. Женщины бросали одежду – красивые платья, свитеры, и украшения – браслеты, кольца. А я, спросите Вы? Я решил играть по правилам (к тому же я действительно *увлекся,* но сейчас отхожу). И я бросил в огонь свой любимый экземпляр «Толкования сновидений» со всеми закладками, заметками и комментариями на полях.

То была подлинная жертва, но никто из присутствующих не мог ее оценить. Мне же, разумеется, интересно узнать Ваше мнение как специалиста.

Итак, мы собрались вокруг костра. Пламя вздымалось в черную высь, и казалось, частицы Света по окаему пламенного круга возвращаются в эфир. Заг принес несколько пальтишек – кажется, дубленок – с золотым шитьем, солнцами, лунами и цветами на светлой коже и шерстяной подкладкой. Накинул на Маковена, Гидеона и себя, а в завершение раздал всем что-то вроде тибетских ермолок из козлиной шкуры с болтающимися наушниками и кисточкой. Сейчас мы как никогда великодушны. Никто не сказал, что одежда из овечьей шерсти для вегетарианцев не комильфо. Маковен, Фаррар и Заг смотрелись как настоящие жрецы.

Дерево занялось, затрещало – прямо как надо. Поводили вокруг него хоровод. Каноник Холли вспомнил «Ноктюрн святой Люси» Джона Донна. «Полночь года, полночь дня».

Любовь меня казнит и возрождает

К тому, чего под солнцем не бывает[60].

Затем экспромтом произнес небольшую проповедь. В ту ночь кто только не проповедовал, благо слушали их внимательно и более или менее восторженно. Я избавлю Вас от остальных, включая свою собственную, которую из-за кислоты подзабыл. Зато я помню выступление Холли. Он обратил блестящую мрачно-эротическую фантасмагорию Донна в молитву к *Deus Absconditus,* Мертвому Богу, который должен возродиться в частицах света в каждом из нас. В словесном жонглерстве благочестивцам не откажешь. А может, они и правда видят истину, или ту истину, которую мы обычно не замечаем.

Смейтесь кто хочет. У англичан такое, кажется, принято. Возвышенное у нас возможно только с примесью издевки в качестве самозащиты. Да, мы вели себя

[60] Примечания: 60
Перевод А. Сергеева.

нелепо – мы, англичане среднего возраста, – приодетые и нет, плясали, а то и скакали вокруг костра, распевали гимны, слов которых мы не знали: «бум-тра-та-та», размахивая руками в пароксизме спонтанного телодвижения. Каноник Холли отметил, что имя Люси происходит от слова «свет», *Lux, Lucis,* она – Дева Света и благословенна между женами за то, что предоставила Слышащим свой чертог. Не то застольная речь, не то языческий дифирамб. В свете костра блестели его хищные зубы, и улыбнуться в ответ я не смог. Клеменси возразила (ее первая ошибка?), что Люси – не Дева, а Маковен (который ничего не говорил, просто стоял в своей мантии, пламя озаряло белоснежную шерсть его шевелюры) сказал, что отныне она ею стала, ибо Солнцестояние все переменило, и тут-то – почти совпадение – занялась заря. И Люси стояла в своем огненном руне, маленькая и ладная, как яблоко, к ногам прижался ручной барашек Тобиас. Ее седеющие волосы выбивались из заколок, по аккуратному круглому лицу текли слезы.

Мир превращается в Свет, произнес Маковен. Вокруг кудахтали куры, взбудораженные светом, теплом и беспорядком. Тявкнула где-то лисица. Услышал я и сову. Небо пестрело искрами, а выше – звезды. Я все чувствовал. Не мог я, что ли? Почему не вернуть себе горящего в ночных лесах тигра[61], и агнца, и Древо Жизни, и Древо Смерти (огонь истекал из мертвых пальцев сведенной судорогой яблони). Почему не может быть пения, обряда, смысла и великой цели – как когда-то у наших предков? Без шуток: я чувствовал себя Сыном Божиим.

Уже на рассвете было решено взять головню из кострища и развести ею огонь в очаге в нашем чертоге. Вызвался Заг. Сказал, что разжигать любит. Никто с этим самоназначением спорить не стал – от него как будто такого и ждали. Так что мы последовали за ним в дом, и камин (все-таки, по правде сказать, при помощи зажигалки) был разожжен.

Утром мы отправились спать.

---

[61] Примечания: 61
Аллюзия на стихотворение Уильяма Блейка «Тигр».

XVI

Семья готовилась к Рождеству: наряжали кустистую густую ель с редкими шишками, еще пахнущую смолой и живицей. Украшали, как повелось с недавних пор, золотыми проволочными шестигранниками и многогранниками, которые Маркус сделал для Стефани. Собралось много народу: Билл и Уинифред, дети Стефани Уилл и Мэри, Фредерика и Лео, а также только что приехавший Дэниел. Гостили у них и Ага-та с Саскией, в тот год решившие съездить во Фрейгарт. Под влиянием последнего разговора с Винсентом Ходжкиссом Маркус в дополнение к традиционным украшениям смастерил новые. То были золотые и серебряные спирали, абстрактные закрученные конусы, ангелы Фибоначчи. Он намотал вокруг дерева большую змеящуюся спираль, отмеряя равные интервалы. Уилл развесил фонарики — красные, синие, зеленые, белые — развесил произвольно, вторгаясь в порядок Маркуса. Он громко напевал «Люси в небесах с бриллиантами». Фредерика сказала Агате, что никогда бы не поверила, что ее отец будет жить в

доме, где с чердака слышится поп-музыка, раз за разом, снова и снова. Агата заметила, что слышала, как сам Билл напевал «Элинор Ригби»:

— Там стихи хорошие.

— Думаешь, он заметил? — пожала плечами Фредерика.

Уиллу было четырнадцать, он пел, чтобы не надо было говорить. Грузный и смуглый в отца. Мэри, которой было двенадцать, солировала в церкви на рождественской службе. Тогда был первый день ее первых месячных, которые, вслед за девочками из школы, она называла «проклятием». Часто она уединялась и со странным благоговением смотрела на красные пятна крови на мягкой белой глади прокладки. Пачку прокладок купила сама, не сказав ничего Уинифред — бабушке пусть и любящей, но уже слишком далекой от этих женских дел. Ничего не сказала и школьным подругам, хотя как бы между прочим все это обсуждали. Событие было личное, и необычное, и радостное. Все же она хотела с кем-то поделиться: подумала о Фредерике, но раздумала. Не очень она отзывчивая, с ней не посекретничаешь. И Мэри решила рассказать все Агате Монд, тихой и доброй и к тому же немногословной и скрытной. Мокрые красные пятна

вызывали смутные воспоминания о Белоснежке: ее мать увидела три капли крови на снегу и родила дочь с красными как кровь губами, черными как уголь волосами и белой как снег кожей, а потом умерла. Ее собственная мать была по неосторожности убита холодильником, и Мэри наказала ее полным забвением. Она напевала «Средь зимы студеной» Кристины Россетти[62]. Пела обо всем белом: о снеге, о груди, полной молока, об агнце. У нее самой грудь начинала оформляться, что вызывало беспокойство. Да, она поговорит с Агатой. Надо без обиняков расспросить, что делать, что нормально, а что — нет.

Позже Агата рассказала Фредерике, что Мэри ей доверилась.

— Она из везунчиков. Прекрасно выглядит, нет пятен, нет судорог, и чувствует все правильно. Просто взяла и повзрослела.

— Точно? По ней и не скажешь.

— Да что ты. Это уже зрелая деловая барышня.

— Какое же я чудовище, Агата! Ведь она должна была с этим пойти ко *мне*. Не к тебе. Но я…

---

[62] Примечания: 62

Кристина Россетти (1830–1894) — английская поэтесса, сестра поэта и живописца Данте Габриэля Россетти. Ее стихотворение «Средь зимы студеной» было положено на музыку и исполнялось как рождественская песнь.

В пору рождественских праздников мертвые оживают вполне явственно. Милая и жуткая, Стефани мерцала в теле Фредерики.

Агата говорила, не совсем искренне, что «проклятие» — это обряд посвящения, что правильно было обратиться не к кому-то из родственников. Ведь и она знает, что Фредерика для этого не годится.

Фредерика думала было объяснить Агате, что все собрание — это не семья — или недосемья — незавершенные фигуры, как две стороны квадрата или один из фантастических кубов Ричарда Грегори, подвешенных на проволоке, у которых, как оказалось, очень необычные свойства. Но ничего говорить она не стала, потому что неизбежно всплыла бы тема отсутствующего, безымянного, неизвестного отца Саскии. В большей степени, чем какой-либо другой ребенок, Саския казалась продуктом партеногенеза.

Все детство Фредерики Билл Поттер яростно нападал на идею Непорочного зачатия. Прикажете верить, кричал он, святошам-недотрогам, которым невыносима даже мысль о здоровых человеческих телах и которые придумывают побрехушку о чистой и нетронутой деве с прекрасным благоуханным чревом, покладистом

рогоносце-муже и Боговоплощении на скорую руку. «Слово стало Плотью», — рычал он, да только *миленькой* девичьей плотью, а не настоящей, *страстной* и грубой. Ну и воображение было у них, святош этих! Фредерика хотела только одного — чтобы он поскорее умолк, и поспешно соглашалась. Выходя к ужину в канун Рождества и услышав раскаты его голоса, она решила, что это опять его ежегодная акция протеста. Но все обстояло не так. Он проверял собравшихся детей — Лео и Саскию, Уильяма и Мэри — на знание Библии и остался недоволен. Они знали про вола и осла, но об избиении младенцев не слышали. Знали об ангелах, поющих пастухам, но слыхом не слыхивали о Люцифере и его падении. Билл произносил нараспев пророчества Исаии о Мессии, а они только хлопали глазами. Он декламировал:

> *Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.*
>
> *И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому.*

И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи.

Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ве́дением Господа, как воды наполняют море.

Дети хлопали глазами.

— Не знают больше Библию, — сетовал Билл.

— Вот уж не предполагал, что вам до этого есть дело, — заметил Дэниел.

— А как читать Мильтона, Лоуренса, Диккенса, Джордж Элиот?

— Но Библия не для этого писалась. Если она больше не нужна, то все придется переосмыслять. Священное Писание — не *литература*. Если каноник Холли прав и Бог и правда умер, нам предстоит демонтировать все мифы, в том числе литературные. Я уже об этом размышлял.

Спорить ему в радость, подумал Билл.

— Но нельзя же *все* вот так разом — и упразднить.

— Ну почему? В этом смысл революции.

— Какая еще революция?

— Студенты выступают. Говорят о Новом мире.

Но он непредставим, пока мы не выпутаемся из пут омертвевшего прошлого. И вы, и я.

Дэниел смотрел на тестя с мрачной ухмылкой. С годами некогда рыжая шевелюра Билла стала пепельно-серебристой, а крутой нрав смягчился. В ответ он тоже улыбнулся — невесело.

Когда стемнело, все отправились в церковь слушать рождественские песни. Билл надел куртку с шерстяной подкладкой.

Фредерика в недоумении воскликнула:

— Как? Ты тоже идешь? Ты же никогда…

— Запрещаешь?

— Нет. Просто наблюдение. Нельзя?

— Хочу послушать, как внучка поет «В середине зимы» Кристины Россетти. А то вот Дэниел говорит, что скоро старому миру конец.

— Я не пророчествовал. Только сказал что думаю.

— Так, а что действительно происходит — не скажешь?

— Нет. — В тот вечер он надел пасторский воротничок как символ — символ чего, он и сам не знал. — Я, в конце концов, просто человек. Просто священнослужитель.

— Скажите еще, что рады видеть меня в этой пастве.

— Не знаю. Вы как будто диверсант. Но что мы все вместе послушаем Мэри, я рад.

Поттеры гуськом вошли в церковь Святого Кутберта. Фредерика всю дорогу держала Лео за руку, даром что он уже взрослый. Агата и Саския — еще одно неполное семейство. Лео получил от отца здоровенный сверток, который он привез с собой, но, не вскрывая, положил под елку. Уилл шел рядом не с отцом, а с Уинифред. Билл и Дэниел держались вместе. Мэри уже находилась в ризнице вместе с хором. Церковь была украшена остролистом и плющом, сосновыми и еловыми ветками, золотыми шарами и серебряными звездочками. Старый добрый, с детства знакомый запах листвы, свечей, налившегося теплом камня.

Паства собралась обширная. В этом году добавилась делегация из Дан-Вейл-Холла — англиканцы из числа Слышащих: Гидеон и Клеменси, каноник Холли в длинном черном и мохнатом пальто, Руфь с выводком — трое детей Люси Нигби в вязаных шапочках, младшая с розовой повязкой на глазу, и трое других. У Гидеона и Клеменси тоже было четверо, всем уже за двадцать, но они не приехали. Впрочем, заметить это мог только Дэниел, так как только он и знал их в лицо. На Гидеоне

и Холли тоже были пастырские воротнички. На Гидеоне была дубленка, в которую облачил его Заг на праздновании солнцестояния, — вышитые на коже и шерсти золотое солнце и цветы. На Клеменси было пальто — широкое, свободное, из черного бархата. Злая королева из сказки про Белоснежку, подумала Фредерика, по крайней мере, если смотреть сзади. Была на ней и черная бархатная шапочка с красной кисточкой. Все в церкви украдкой посматривали на прибывших из Дан-Вейл-Холла. Про тамошних обитателей что только не рассказывали.

Позже появилась Жаклин. В прошлом году она была вместе с Поттерами. В этом — одна, вид у нее был изможденный. Она молитвенно склонила непокрытую голову, подняла глаза и увидела Руфь, а та, узнав старую подругу, просияла улыбкой, тут же преобразившей ее хмурое личико.

Вошел хор. Раздался звук органа. Саския громко заметила, что они как ангелочки — такими они и были: накрахмаленные белые балахоны струились и колыхались. Каждый нес свечу, которую потом ставил на стеклянный подсвечник. Хористы были всех возрастов: мамы, тетушки, отставные священнослужители, а еще прыщавые подростки, дети и почти уже не дети, как Мэри. У

всех — и у нее — шея поверх белого воротничка с рюшами была повязана алой лентой. Фредерике пришел в голову образ гильотины, Дэниел вспомнил жертвенных агнцев и со скорбью посмотрел на дочь, на ее серьезное круглое личико, светло-рыжие волосы, легкие, выверенные движения, а потом понял, что скорбит он по Стефани, которая незримой тенью витала вокруг дочери. То же очертание век, тот же изгиб шеи с пульсирующей жилкой, щечка, озолотившаяся в свете пламени. Он стряхнул с себя эти видения. Мэри — это Мэри, и вот она — живая и здоровая. И он, Дэниел, тоже пока более-менее жив. А вот облизнула губы — готовится петь.

Начали с «Остролиста и плюща»:

Зацветши, древо остролист
Бело, как снег зимой.
Зацвел в яслях Марии Сын:
Он Искупитель мой.
Приносит древо остролист,
Как кровь, багряный плод.
Мария Сына принесла,

Он грешных нас спасет[63].

Мэри пела партию сопрано. Ее голосок поднимался по каменным стенам, ввысь, а затем спускался — будто каменное здание дышало. Огоньки свечей плясали и мигали. Тень Мэри призрачно колыхалась по каменной стене, хотя сама она стояла недвижно, пламя же не унималось. Затем запели «Трех волхвов». Дэниел себе под нос промурчал куплет про смирну.

Печалился, вздыхал,
Страдал и умирал.
Теперь лежит в холодном склепе:
А-а-а,
Звезда чудес, звезда ночная…

Священник, больше похожий на фермера, попросил директрису фрейгартской школы мисс Годден прочесть начало Послания к евреям. Читала она хорошо, помня заповеди архиепископа Кранмера, внятно и ровным голосом — о таинстве, бесконечности и со-вечном ему Богочеловеке, которому, согласно апостолу Павлу, и ангелы поклоняются.

---

[63] Примечания: 63
Перевод В. Ланчикова.

> Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь…

Фредерика всегда была неравнодушна к ангелам. Она подняла глаза к сводам церкви: оттуда глядели на нее маленькие каменные пернатые существа. Огромные, невероятные, скользящие по воздуху полулюди-полуптицы на пороге

земного бытия. Она перевела взгляд на Агату, которая придумала ужасных свистал из «Бегства на Север» — да, ее ум пребывает в мире живых метафор, мире мифа и сказки, а она, Фредерика, только все сшивает, латает дыры, но швы все равно видны.

Мисс Годден продолжала:

В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и, как одежду, свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.

Вести ангельской внемли…
Во плоти Сам Бог явился,
Образ взяв раба, смирился.

Дэниел пел, наслаждаясь самим звуком. Позади слышался чарующий голос Гидеона, становившийся все громче и отчетливее, а еще чуть дальше — тихий, скрипучий, непривычно хриплый голос Билла Поттера: Билл Поттер поет гимн Чарльза Уэсли во Фрейгартской церкви!

Приходской священник возвестил, что всем присутствующим выпала большая удача: сегодня

среди нас находится видный и даже, не побоюсь этого слова, *знаменитый* каноник Адельберт Холли, один из самых деятельных и передовых богословов новой формации. Каноник Холли любезно согласился выступить по столь радостному поводу. Он расскажет о значении Воплощения в годину сомнений и тревог. Он покажет, что все меняется лишь для того, чтобы сохранилась твердость и необоримость.

Выходя к кафедре, каноник Холли проскрипел мимо Дэниела, сидящего возле самого прохода. Пахнуло всеми годами, месяцами, неделями, днями и часами выдыхаемого и застоявшегося табачного дыма. На канонике Холли — как на Дэниеле, да и на Гидеоне — был пастырский воротничок. Белесые волосы развевались как у хиппи, а во всей прическе было что-то от библейских патриархов или даже ангелов. Для начала он не без помпезности подтвердил: да, он прославился истолкованием восторженного *принятия* новой богословской доктрины — доктрины «смерти Бога». Которая по сути своей парадоксальна. Но разве сама *теология*, «слова о Боге», «теория», «предание», «*логос* человека о Боге», не есть также парадокс?

Он сгорбился над кафедрой так, что белесая

голова оказалась прямо между черных плеч, и добродушно произнес:

— Вижу-вижу, думаете, вот сейчас старичок заладит на час-другой и так мы и не доберемся до рождественских пирожков. Вовсе нет. Слащавых банальностей вы не услышите — что, мол, надо творить добро, не быть заблудшими овечками и все в таком духе — нет, только по существу. Мы в Божьем доме, что был построен для Бога, дабы в стенах его жили Вера, Надежда, да и Любовь, дабы стал он для них пристанищем… Но где же Бог? Где встречаемся мы с Ним в делах насущных, в час молитвы, посреди недавних ужасов неискупленной истории? Где искать нам Его?.. Богословы отмечают, что Бог постепенно отдаляется от дел земных. Вот глубокоуважаемая дама нам читала о том, как Бог напрямую общался с Авраамом, с Моисеем, а потом послал ангелов, которые являлись людям, и пророков, и их устами Он говорил гласом трубным, огненным. Но Его больше нет среди нас. Он ушел. Ницше, возвестив Его смерть, выразил то, что люди уже осознали, и именно поэтому слова Ницше взволновали столь многих.

Адельберт Холли расплылся в благостной улыбке, но его лучезарный лик портили пожелтевшие зубы и обвислые щеки: приметы смертности. В

момент Вочеловечивания, продолжал он, Вечный и Неизменный Бог *опустошил себя* — по-гречески это называется *кеносис,* — умалил свою бесконечность, которая вне времени, и влил ее в бренную плоть. Когда Бог вочеловечился, вневременное вошло в историю. Бесконечное стало конечным. Окружность вытянулась прямой стрелой. То, что не имело начала и конца, зачалось и стало младенцем, с полной крови пуповиной, с губами, вслепую ищущими молока, и молоку и крови было назначено сопровождать начало и конец всякого человека, страдающего и в конце концов умирающего. Некоторые считают, что идея «смерти Бога» в том, что все смертные должны научиться жить в этом мире, не предвкушая Рая и не боясь Ада, преодолевая ад земной, который в разной мере ведом каждому. Но я говорю вам, провозглашал каноник Холли, что, когда Бог умер как Бог и стал Человеком, Он вошел в Историю, и радость от таинства Его рождения воспроизводится ежедневно в историческом времени, как и, конечно же, печаль от таинства Его смерти, ставшей бесконечно конечной.

Он блаженно улыбнулся. Фредерика мысленно ощетинилась. Рассуждения почти последовательные, но то-то и оно, что *почти*: было тут что-то

от игры со словами. Однако каноник, кажется, видит в них смысл. Какой? Она нахмурилась.

Рождественский концерт продолжился. Свечи, догорая в стеклянных цилиндрах, мерцали все неистовее. Вот и Мэри встает, чтобы спеть «Средь зимы студеной»: остальные погасили свечи, и теперь свет идет только от вертепа, стоящего на пересечении центрального и поперечного проходов. Поет высоко и чисто. Фредерика, музыкальностью не отличавшаяся, звук слышала, но смысл улавливала только в словах — впрочем, заметила, что исполнение придает словам легкость, воздушность.

Средь зимы студеной
Вьюга застенала.
Воды стали камнем.
Твердь железом стала.
Все бело, белым-бело,
Куда ни бросишь взгляд.
Средь зимы студеной
Много лет назад.

Прекрасные стихи. Прямое — без оговорок и вывертов — изображение всех осязаемых элемен-

тов: снега, воды, льда, камня, а к ним в придачу еще и определение — «студеная». Вьюга застенала, как человек, а вот и женщина с сыном. Стенает земная твердь. А дальше — бесконечность.

Божьего величья
Миру не снести.
Бог придет во славе —
Миру отцвести…

Какая красота, какая словесная рачительность, думала Фредерика, строки летят одна за одной. Миру Его не снести, мир отцветет.

Что младенцу нужно?
Теплый уголок,
Млеко материнское,
Сена под бочок…[64]

Голос Мэри становился все ласковее, воспевая ангелов, девичий поцелуй, пастуха и агнца, проникал в самое сердце. Отец видел, как трепещет ее голос в горле, в движении губ, в блеске зубов, как качает она своей прекрасной головкой в такт ритму, как колышутся густые рыже-золотистые волосы в свете единственной горящей свечи.

---

[64] Примечания: 64
Перевод В. Ланчикова.

Рядом с ним Билл Поттер невесело кашлял, подавляя подступающую в пересохшей гортани мокроту. Стефани Поттер среди живых больше нет, но жизнь, дарованная этим старым брюзгой, горит в этой девочке, смешалась с его собственной, пришедшей от его сварливой матушки и отца, которого Дэниел не знал; и вот она, вспыхнувшая среди тьмы, поет о молоке, руне, снеге.

Почему он назвал ее Мэри? Имя бесхитростное, но с историей. Со смущением он вспомнил слова Адельберта Холли о том, что Бог низверг себя с небес. Билл снова откашлялся, и Дэниел подумал, что из этого каменного здания Бог тоже тихо вышел. Только поэтому старик и чувствует, что может переступить его порог: живая сила, которая некогда удерживала камни вместе — «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая», — сверкнула и погасла.

Мэри пропела: «Свое сердце отда-а-ай». И, наклонившись, задула свечу, так что лицо ее окутали завитки пахнущего воском дыма.

Дэниел услышал биение собственного сердца. Тук, тук, тук — раздавалось в ушах. Кровь перекачивается. Вот она есть, а завтра все закончится.

Билл снова откашлялся.

— Прямо ангел, — сказал он.

— А? — басовито переспросил Дэниел.

— Поет как ангел Мэри наша.

— Верно. Так и есть.

— Это не от Поттеров. Нам медведь на ухо наступил.

Потом все собрались вокруг вертепа поесть рождественских пирожков с мясом. Вертеп был в двух цветах — белое с золотом. Фигурки итальянские, крупные, из глянцевого белого фарфора — в стиле работ делла Роббиа[65]. Ясли из настоящей соломы и дерева. Фигурки белые, гладкие. Богоматерь в белом платке, степенный вол, лохматый осел — все белоснежные, как и пухленький младенец в яслях из палочек. Как положено, чуть в стороне, как бы случайный гость: озадаченный, со сложенными глянцевыми руками и белоснежной бородой. У колыбели прилег белый ягненок, а на соломенной кровле белые голуби. Другой цвет — золото. Над стропилами повисли вокруг огромной звезды из золотой мишуры золотые ангелы. Золотые яблоки из набивного шелка, золотые остролист и плющ — сложенные в кучу

---

[65] Примечания: 65

Лука делла Роббиа (1399–1482) — флорентийский скульптор и керамист, мастер майолики.

там, где следовало бы, будь это сцена, находиться софитам. Вокруг яблок и листьев — свечи в стеклянных подсвечниках.

— Симпатично, — сказала Саския.

Переодевшись, прибежала запыхавшаяся Мэри. Гидеон и Клеменси не преминули похвалить и поздравить ее. Уилл вместе с дедом стоял в стороне, в тени. Гидеон, прихлебывая горячий пунш, заговорил о том, что в Дан-Вейл-Холле зарождается новая общность людей, что дух поднимается как на дрожжах, энергия — как куры и индюки — рвется на волю.

— О, как они потягиваются и суетятся. Пытаются распушить перья. Ты долго этого ждал, мечтал сделать вот так, а оказывается на самом деле…

— Немного пуха на шее у бедняжек отрастает, — заметила Руфь.

Гидеон погладил длинную змеящуюся золотую косу, которую она — далеко не девочка — отпустила.

— И у всех есть ощущение, что получится нечто вроде древнего монастыря, духовной обители, где подвизаются созерцатели истины, иные же приходят отдохнуть, восстановить силы, сбежать от мирской суеты, а третьи, оказавшиеся на перепутье, могут взглянуть на то, как все *может*

быть… Мы планируем проводить дни открытых дверей для детей, рассказывать истории — этим займется Руфь, — устраивать дни молитвы, дни пения, танцев…

Жаклин Уинуор спросила, как поживают собственные дети Гидеона и Клеменси. Фредерика, отчасти все еще под впечатлением от строгой точности слов Россетти и голоса Мэри, отчасти жаждущая вернуться домой, взглянула на Жаклин рассеянно. При случайной встрече и не узнала бы. Некогда крепкая, как каштановый орех, девица ссохлась, съежилась, губы почти запали. Что ж, ей к лицу. Личина сброшена, вылез наружу интеллект.

Гидеон ответил, что с детьми все хорошо, очень хорошо, они прокладывают в этом мире свои пути, спотыкаются, падают, набивают шишки, но идут дальше — как все дети.

— Джереми сейчас в Индии, совершает духовное паломничество. Таня работает в замечательной группе творческих людей, продающих необычную одежду на Карнаби-стрит. Дейзи учится на социального работника — она смуглая, и она чувствует, что должна работать с такими же. Доминик живет среди бездомных, с теми, кто живет на пособие, решил разделить их участь и

образ жизни. Он ищет, ищет. Мне жаль, конечно, что они никак не найдут свое место в жизни и не остепенятся; это потому, что я старый неисправимый мещанин. Но их мужество меня восхищает. Так и знайте.

Клеменси Фаррар посмотрела на Дэниела и отвела взгляд. Уж Дэниел-то знал, что Доминика не раз арестовывали за скупку, знала и она. А вот что знал Дэниел, но не она — что Таня от увлечения смесью конопли и ЛСД тупеет и тупеет. Но что знала она, а не Дэниел — что они не получали вестей от Джереми уже два года и не ведали, жив он или мертв. Она сожгла письмо сына, где он писал, что надеется обрести покой, а значит, не собирается возвращаться, и, пока он в поиске, ему необходимо разорвать все связи. Бесстрастно глядела она на белую фарфоровую Богоматерь и белого бутуза. Она знала, что Дэниел знает: Дейзи, черная девочка с белым именем, отказалась от приемных родителей, переехала в черный район, где всем лгала о своем происхождении и воспитании.

Гидеон снова погладил золотую змеистую косу Руфи, тепло поприветствовал Жаклин, которая была у него в Группе церковной молодежи, а Дэниел тогда служил вместе с ним.

— Обязательно приходи, тебе надо познакомиться со Слышащими, Жаклин. Руфи будет очень-очень рада тебя видеть. Да и все мы.

От объятий Жаклин уклонилась.

— Приезжай, пожалуйста, — подтвердила Руфь. — Послушала бы ты Джошуа Маковена. Необыкновенный человек. Самый… Ты не представляешь. Его надо видеть…

Исступленное бледное лицо, надрывный голос.

— Может, приеду, — отозвалась Жаклин.

— И Дэниел. И Маркус. Всем обязательно надо приехать, — не унималась Руфь. — И увидеть, что́ мы уже сделали, как все изменилось, как все реально, как *ново*!

Жаклин ответила, что проводит трудоемкий эксперимент в одиночку.

— И ты тоже приезжай, — сказала Руфь Мэри. — Мы часто поем. А у тебя такой чудесный голос, все были бы в восторге. Все-все.

Она прижалась к плечу Гидеона и всем улыбнулась.

Потом они это вспоминали.

На следующее утро под елкой среди подарков лежали две одинаковые книги для Лео и Саскии: подарки Агаты. Саския нашла книгу первой, а Лео сидел в ворохе оберточной бумаги и рассмат-

ривал подарок отца — громадный заводной танк с пушками, которые мигали, дымили и с воем пускали пульки. Саския невозмутимо открыла книгу. Это было «Бегство на Север» из пробного тиража, книга выходила в новом году. Броская суперобложка, в основном в черно-белых тонах, с вкраплениями малинового и алого. Заглавие малиновыми буквами пересекало строй заснеженных башен или горных пиков, на вершинах которых на фоне багрового неба виднелись силуэты черных петушков. Группа путешественников стояла у тернового куста слева внизу, а в центре, расправив белые крылья, парили свисталы с птичьими шеями, женскими лицами и человечьими волосами. Саския взвизгнула и прижала книгу к груди.

— Там посвящение есть, — сказала Агата.

Саския прочитала: «Для Саскии и Лео, которые слушали эту историю. С любовью».

Лео поднял глаза от танка.

— У тебя тоже есть, — деловито произнесла Саския. — У тебя тоже есть такая. Посвящается нам.

Лео прополз среди упаковочной бумаги и нашел свой пакет. Развязал ленточку, снял обертку. Рассмотрел обложку, прочел посвящение. Саския обняла маму:

— Я не знала, я ничего не знала.

— Было трудно сохранить все в тайне. — Агата держалась как ни в чем не бывало. Хранить тайны она умела.

— В печати все выглядит совсем по-другому, — сказала Саския.

Она наугад открыла книгу и прочитала:

— Что проку от твоей книжной мудрости? — сказал паж принцу.

— А вот увидим, — отвечал принц. — Книги — вещь не пустая: в них рассказано, как устроен мир. Просто меня дальше порога учебной комнаты не пускали. Но теперь все по-другому.

— Нам бы надо держаться вместе, — решила Доль Дрозди. — Если что, скажем, что мы одна семья, так будет труднее нас разоблачить. Скажем, что мы братья и сестра.

— Хорошая мысль, — согласился Артегалл.

— Не так-то это будет просто, — возразил Марк.

— Поживем — увидим, — отозвался Артегалл.

Все отметили, что Саскии выпал хороший отрывок. А вот раскрыл свою книгу и Лео, поднеся близко к лицу.

Кто увидит свистал, тому конец. Чего там: и услышать их опасность смертельная. Они летают, скользят по воздуху, словно серые тени, издают

звук вроде свиста, пронзительный и такой тонкий, что, кажется, не всякое ухо расслышит.

Он захлопнул книгу. Подошел к Агате и поцеловал.

— Спасибо, — сказал он. — За посвящение.

Он держался напряженно, на раскрасневшемся лице сияли отблески разноцветных елочных огней. Быстро вышел из комнаты и осторожно закрыл за собой дверь. Напрягая слух, Фредерика услышала, как он крадучись поднимается по лестнице. Дэниел и Уинифред поздравляли Агату и разглядывали книгу Саскии, то и дело восклицая от изумления.

— Он ведь сейчас не читал. Он знал наизусть, — сказал Фредерике Билл.

— Стесняется признаться, что пока плохо читает. Как быть — ума не приложу. У него твой… наш характер. Самолюбивый. — На глазах у нее выступили слезы.

— Действовать нужно *сейчас,* иначе будет поздно. И лучше, чтобы этим занялась не ты, а кто-нибудь еще, по крайней мере поначалу. Давай я с ним поговорю. Может, обратиться к Маргарет Годден из фрейгартской школы? У нее весь первый класс к концу года читает. Потом ей сверху спустили распоряжение никого специаль-

но не подгонять, дескать, пусть каждый учится в своем темпе. Но так ничего не добьешься.

Фредерика смотрела на него в упор. Слезы вот-вот хлынут ручьем.

— Раз сама его учишь, плакать нечего. Давай я попробую. Времени в праздники, конечно, не много. Но хотя бы начну. У меня нрав поменялся. Теперь я само терпение. Да я и всегда был хорошим учителем. А еще, Фредерика, он похож на меня. Мне поначалу тоже трудно было…

— Тебе?

— Да. И этим фокусом я тоже пользовался. Читал наизусть. По его глазам я все понял.

Фредерика так и не узнала всего, что ее отец сказал ее сыну. Услышала начало разговора, голос Билла — разумный, спокойный, взрослый, мужской, — и незаметно ушла. Позже она увидела, как они вместе шли в деревню — приземистые, крепкие, один разгорающийся, другой затухающий. Направлялись они к Маргарет Годден, директрисе фрейгартской школы, которая спустя какое-то время представила Фредерике свой профессиональный диагноз в отношении Лео. Возвращался он вприпрыжку. И затем они с дедом закрылись в кабинете Билла. Она расслышала голос сына, он произносил простейшие

звуки. «Змей (й)ест (й)яблоко». «Женщина и мужч(щ)ина» сидят под «де-ре(и) — вом». На дереве змей. На дереве яблоко.

В вашем случае, сообщила мисс Годден, начинать надо со звуков. Серьезной дислексии у вашего сына нет: он просто не соотносит написанное и произнесенное, но память фиксирует буквы и формы как следует. Мальчика нужно научить анализировать звучание букв, ведь, похоже, его учили читать «методом целых слов». Ему нужны — как и многим из нас — жесткие структуры мышления, в которые он мог бы встраивать собственные открытия и придумки. Большинству из нас для этого достаточно знания алфавита, пусть бездумного, и возможных способов звучания букв. Так, всем нам помогает знание таблицы умножения, ее зубрежка — как визуально, так и на слух. Не стоит ожидать, подобно многим нынешним учителям, что дети сами откроют для себя умножение и деление или составят свой собственный уникальный алфавит. Зубрежка — это не род пытки, не подавление чего бы то ни было. Это инструмент. А еще она может быть в удовольствие. А в случае с таким ребенком, как ваш сын, у которого память устроена на свой лад, она даже необходимость. И не нужно превращать

средство в цель. Алфавит учат не для того, чтобы просто его знать, а для того, чтобы им *пользоваться*. Но от знаний человек получает удовольствие. Как от перспективы в живописи, как от умения держаться в воде на плаву.

Мисс Годден — высокая, с пышной, похожей на белую шерсть, шевелюрой. На ней было прямое длинное платье из шерсти хвойного цвета. Лицо вместе и строгое, и доброе. Она принесла коробку с карточками для чтения, которые собственноручно сделала для таких детей, как Лео: на них были не только мамы и рамы, дома и машины, но много любопытных слов, рифм и рассказов о приключениях. Были на них и звуковые игры. «Грус(т)но сверс(т)никам на пас(т)бище». Коробку она оставила Биллу. И вот дед и внук закрылись в кабинете и вместе скандировали. Потом Фредерика услышала, как на лестнице Лео напевает. «Для маленького мишки мамаша шьет штанишки. Так спешила, что не дошила».

Билл сообщил Фредерике, что Лео делает колоссальные успехи. Все у него в голове начало сходиться. Фредерика разрыдалась.

— Ты что? Маргарет Годден говорит, что он справится. Научится. Наверстает.

— Через полторы недели мы возвращаемся в

Лондон. И он опять пойдет в эту свою школу.

— А не хочешь ненадолго оставить его здесь? — предложил Билл. — Во фрейгартской школе ему понравится. Ему подойдет. А еще здесь Уилл и Мэри…

— Не могу.

— Подумай. Не навсегда же. На семестр, но как все поменяется! В его возрасте мальчишки уезжают учиться в интернатах.

Фредерика рыдала так, словно сама была ребенком, которому предстоит разлука с родителями. Билл неловко положил руку ей на трясущееся плечо:

— Ты *мой* ребенок. О тебе я тоже беспокоюсь. Поступай, как считаешь нужным.

— А *что* мне считать нужным? — с отчаянием спросила Фредерика.

Лео вошел и уставился на нее. Его мать никогда не плакала. Он расправил плечи и вопросительно посмотрел на Билла:

— Что случилось?

— Да ничего. Правда. Я тут с ней сам. А ты беги по своим делам. Я тебя не прогоняю, но все нормально. Я с ней сам.

Они обменялись проницательным, оценивающим взглядом. Лео ушел. Фредерика вытерла

глаза и шмыгнула носом.

— Смышленый парнишка, — сказал Билл. — Все быстро схватывает. И мудр не по годам.

— Не от хорошей жизни.

— Ну вот опять. Не плачь ты. Разберемся.

Вернулся, проведя Рождество с родителями в Уэлин-Гарден-Сити, Джон Оттокар. Пол-Заг не поехал, остался со Слышащими. Радостно выкрикивая: «Джон О, Джон О, Джон О вернулся!» — Лео встретил гостя у дверей и прыгнул к нему в объятия. Билл и Уинифред приняли гостя радушно. Агаты и Саскии не было: Агата собралась к коллегам в университетский городок. После чая Билл забрал Лео на упражнения по чтению.

— Я читаю материалы, которые дедушка и мисс Годден сделали специально для меня… — рассказал Лео Джону. — А началось все со сказки Агаты. Ее напечатали. Я тебе покажу, я ее читаю…

— Так и светится от радости, — сказал Джон Фредерике, когда они остались одни.

Он обнял ее и поцеловал в макушку. Коснулся спины. От удовольствия по телу пробежала дрожь.

— А ты? Как провела Рождество?

Фредерика ответила, что получилось как-то

странно. Рассказала многое, но не все, поделилась мыслями об их странных неполных семьях, матерях-одиночках, бабушках, дедушках и внуках, одиноком Дэниеле. Сдержанно посмеялась над Иосифом и ребенком, который был не от него, ангелами, волом и ослом. Рассказала об удивительном союзе мисс Годден, Билла Поттера и Лео с их специальной программой обучения чтению. О Стефани говорить не стала. Да, а еще Билл предложил — всерьез ли? — оставить Лео у них на семестр. Смысл, кажется, в этом есть. Но соглашаться ли, она не знает. В конце концов, за странную жизнь своего сына ответственна только она. Смышленые пальцы Джона Оттокара массировали ей затылок, благодарно наливавшийся колючим теплом. Спросила, как прошло Рождество у Джона.

Да так себе. Он был там только родным для галочки. Родители волновались за Пола. Боялись, что он стал наркоманом. Про то, какую жизнь он избрал, ничего не знали.

— Я же был только отсветом его отсутствия. Как и всегда. Был с ними и не был. Ведь я был только я. А один сын для них — это полсына.

— Нет, правда?

— Правда-правда.

И он снова заговорил об успехах Лео. Его ум — это лабиринт зеркал, сказала Фредерика, он как будто где-то научился письму наоборот. Ему, продолжала она, будет здесь хорошо. А Лондон не для него, не для таких эмоционально неустойчивых детей. Сейчас она за эту мысль ухватилась, и все остальное отошло на второй план.

— Что же, все, похоже, идет к тому, что нам надо пожениться, — заметил Джон. — Ты найдешь тут работу — например, в университете. Лео будет ходить в школу. И заживем как настоящая семья: мужчина, женщина, ребенок — хотя бы один сын, — добавил он, улыбнувшись робко, нервно и бесцветно.

— А про меня ты подумал? — ощетинилась Фредерика.

— Милая, ну сама посуди. Ты сама сказала, что не хочешь, чтобы он жил в большом городе. Вы здесь, я тоже здесь. Вокруг природа, свежий воздух, но и кипящий жизнью университет.

— А моя жизнь?

— Нет, я не хочу сказать, что в твоей жизни должны быть только мы с Лео. Ты ведь можешь заниматься чем-то, да много чем, *где угодно*. Ты прекрасный преподаватель и можешь работать тут… Я прошу, потому что ты — самое прекрас-

ное, что было у меня в жизни. И я очень хочу попробовать…

Он говорил ласково, волновался, но будто бы предвидел, что ничего не получится. И Фредерика почувствовала и отвращение к себе, и желание ранить.

— А Пол?

— Пол со Слышащими. У меня теперь своя жизнь.

— В которой буду я.

— Да.

Он держал ее в объятиях. Тело ее отвечало теплом, но ум оставался холодным, ясным, и никакой радости она не чувствовала.

— Тебе же не так важно мелькать на телеэкране. — Джон попытался изобразить простодушие.

— Это работа, — отрезала Фредерика. — Мне нравится.

«Нравится» — пустое словечко. Руки Джона постепенно двигались ниже. Она чувствовала, как внутри все сжимается, а в голове пустота. Привиделось: по пустоши, взявшись за руки, идут мужчина, женщина и мальчик. Вспомнила Найджела и его ярость. Она вышла за него замуж по зову тела. И вот теперь у нее есть Лео. Сможет она

снова последовать этому зову ради нежности? Чего она хочет? Какая же она…

В этот момент раздался звонок в дверь. Жаклин Уинуор пришла предложить Дэниелу и Маркусу — и Джону, раз уж он там, и всем желающим — навестить Слышащих в Дан-Вейл-Холле. Посмотреть, как там Руфь. Если ехать, то лучше всем вместе. Дэниел знал, что она придет, вышел из своей комнаты и сказал, что готов. Пошел искать Маркуса. Тот, к его удивлению, тоже заявил, что ехать готов. Жаклин спросила Джона, не хочет ли он к ним присоединиться. Он посмотрел на Фредерику.

— Нет, я не поеду. Не люблю религию. Не люблю общины. Ты же знаешь, — сказала она Джону.

— Я тогда съезжу, посмотрю, как дела у Пола. Я обещал родителям. Жаклин права, вместе будет спокойнее.

— Они там не кусаются? — спросила Фредерика.

— Кто их знает, — отозвался Дэниел. — Всякое может случиться. Вот и посмотрим.

Фредерика на короткое время оказалась наедине с Жаклин. Вежливо поинтересовалась, как дела на работе, и в ответ выслушала неожиданно

пространный рассказ о нейротрансмиттерах, аксонах, ионах кальция и сложности уравнений, из-за которой помощь Маркуса совершенно необходима. Всех подробностей она не восприняла, но подметила ноты воодушевления в резком голосе, озабоченное выражение осунувшегося лица. Жаклин — всегда миловидная и спокойная — теперь выглядела загнанной, раздраженной, нездоровой.

— Ты чем-то болела? — спросила Фредерика, когда Жаклин прервала рассказ.

Она поняла, что Фредерика не слушала, не понимала. Огонек в глазах угас.

— Были трудности. Сейчас все в порядке. Мне просто нужны конкретные результаты, — сказала Жаклин. Потом вежливо добавила: — Я видела тебя по Ящику. Здорово все придумано. Тебе наверняка нравится.

— Это заработок. Надо же зарабатывать.

Они смотрели друг на друга внимательно и выжидающе. Обе чувствовали в голове холодную пустоту, которую нужно оберегать, но которая и пугала. Жаклин собралась было рассказать Фредерике о выкидыше, о пережитых сумбуре и ужасе, но решила промолчать. На роль задушевной собеседницы Фредерика не подходила,

даже в положении, когда обе пытались быть кем-то другим. Фредерике было неприятно от ощущения, что Жаклин знает, чего хочет, знает, что делает, — знает лучше, чем она сама. Да, неприятно, ведь она привыкла быть, по крайней мере, самой умной в компании, а Жаклин привыкла воспринимать как просто милую девицу, знакомую Маркуса. Ей бы сказать: как же тяжело тебе, увлеченной интеллектуалке, сражаться с собственной биологией! Но вместо этого предложила оживленно и как бы невзначай:

— А знаешь, приходи к нам на передачу, расскажешь всем о нейротрансмиттерах и тому подобном.

Жаклин возразила, что никто, наверное, ничего не поймет. Фредерика ощутила едва заметную колкость.

Наконец все собрались, взяли теплые куртки, шерстяные шапки и приготовились отправиться в Дан-Вейл-Холл. К компании добавился Уилл. Дэниел пытался его отговорить, неуклюже увещевая — дескать, поездка его утомит, но с Уиллом Дэниел никогда не умел разговаривать. Уилл сказал, что ему очень нравится Руфь и почему бы ему не посмотреть, как там живет община. Руфь, добавил он, приглашала его *лично*.

До Дан-Вейл-Холла ехали полчаса загородным автобусом и еще полчаса шли пешком. Маркус сел рядом с Уиллом: Жаклин подумала, что он, возможно, ее избегает, но не из неприязни, а просто потому, что его смутил всплеск эмоций в группе «нематанов». Джон Оттокар устроился один, глядя в окно на обмерзшую пустошь, давно не таявший снег в лощинах и стальное небо над кромкой горизонта. Первая, автобусная часть пути пролегала вдоль небольшой гряды, с каждой стороны от которой простирались болота, а за ними — долины, сначала ровные, а потом начинающие постепенно вздыматься холмами. Жаклин оказалась рядом с Дэниелом. Какое-то время они молчали. Затем обсудили события, приведшие к образованию общины Слышащих. Жаклин сказала, что уловила в голосе Руфи ноты экстатического восторга. Она поинтересовалась, не думал ли Дэниел к ним присоединиться. Он ответил, что нет, всякие группы ему не нравятся, главы общин тоже.

— Но к церковной иерархии ты же принадлежишь.

— Не совсем. Прихожу на работу в свою церковь — здание вроде прочное. Но видятся мне руины. Я работаю на месте бомбежки, среди руин, внимаю

безликим голосам. И это мне вроде бы подходит.

— Ты помогаешь людям, — заметила Жаклин. — А я, кажется, нет…

Дэниел некоторое время сидел молча. Автобус грохотал. И под шум мотора он произнес:

— А выглядишь ты неважно. По-другому. Будто ждешь подвоха.

— На работе все нормально. Я обнаруживаю новые интересные данные. Химические основы функции памяти — все наши представления о мозге могут поменяться. И я сильно переживаю, когда что-то не получается, а когда все опять встает на свои места, жизнь прекрасна. — Она добавила с сухим смешком: — Мама сказала на Рождество, что я очень уж выкладываюсь на работе. Нужно, мол, расслабиться, оглядеться вокруг, выйти замуж и тому подобное. Сказала, что время уходит. Мама, она не может выслушать двух предложений о строении клетки, переключается на чистку духовки и планирование следующих праздников. Она сказала, что я сама себя пожираю и ни один мужчина на меня не взглянет. Да-да, так и сказала. Я рассердилась. Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю.

— Работа у меня такая — слушать. Она рассказала тебе, чего от тебя ждет. Имеет право. А я бы

сказал: ты знаешь, куда идешь, и с этого пути не сворачивай.

— Я собиралась выйти замуж за Лука. Сказала ему «да», а потом пошла на попятную. Ужас что было. Он очень злится и, наверное, мучается. Маме я рассказывать не стала.

— А почему ты ему отказала? — спросил Дэниел простодушно, не ломая голову о возможном ответе.

— Потому что не хотела за него замуж. Потому что… потому что хочу сосредоточиться на своем деле. Потому что не хочу разрываться. Я про себя многого не знала. Всегда думала, что всему найдется свое место: и работе, и жизни, и сексу. Но не получилось.

Ответ был искренним. Дэниел молчал, никаких дежурных слов успокоения — все изменится, вот увидишь, или дежурных утешений: выбрала свой путь — им и иди. Нет, своим большим телом он прислушивался к стуку ее сердца, к жужжанию в голове, следил за тем, как она сжимает и разжимает лежащие на коленях руки. Помолчав, она сказала, будто отвечая на незаданный вопрос:

— Вообще-то, я думала, что беременна. Я была уверена, и мне казалось, что брак в этом случае — правильное решение. Но оказалось, что нет.

И я поняла, что больше не могу. Все получилось как назло. Я хотела быть просто человеком, но я… не такая.

— Понятно.

— И Лук из-за меня намучился.

— Ну, он-то выдюжит.

— Он пишет работу о проблемах мейоза и ненужности самцов.

Дэниел рассмеялся. Жаклин повернулась к нему, улыбнувшись осторожно и задумчиво.

— Хорошо тебе смеяться, — сказала она. — Это было ужасно. Осознать, что ты не совсем человек. Мне всегда казалось, что люди мне интересны…

— Людьми можно интересоваться по-разному.

— У тебя-то получается.

Дэниел посмотрел в окно на землю и воздух, на замерзшую траву и папоротник. Не глядя на Жаклин, он сказал:

— Если ты будешь и дальше смотреть на людей как на часы со сломанной пружиной, то в итоге станешь точной и безучастной, как ученый, который смотрит в микроскоп и наблюдает за копошащимися бактериями. Пытаешься всем поставить диагноз. Объект наблюдения отвердевает. Какая уж тут обычная любовь.

Он повернул тяжелую голову, взглянул на заты-

лок сына, и наблюдательная Жаклин заметила, как у него на лице заиграли желваки.

— И ты потеряешь способность просто любить.

— Что-то я не слышала, чтобы ты так говорил о себе.

— Разумеется. С моей-то профессией.

Сидели молча, автобус грохотал. Их мысли текли в одном направлении.

— Гидеона интересует Гидеон, но и обычная любовь, — сказала Жаклин.

— Так и есть. У него ее в избытке.

— Волнуюсь я за Руфь.

— Знаю. Так всегда было.

— А Гидеон — нет.

— Как знать. Но я тоже так думаю.

— Дэниел, а этот Джошуа Маковен, который теперь с ними, что он за человек?

Дэниел подождал, пока автобус проедет попавший под колесо камень.

— Он набожный. Тянется к Свету. Хочет любить Бога. Он болен физически, у него бывают приступы — он много чего испытал. Он…

— Он — что?

— Чуть было не сказал — опасен. Но не имею права. Я просто иду по шаблону: визионерство, экстаз… насилие. Может, на этот раз обойдется.

Но чувствуешь: вот-вот рванет. Все будто трещит. Он хочет как лучше. Да-да, как лучше…

Жаклин внезапно представила себе изящный зигзаг возрастающих пиков на ее осциллографе, его красоту, его важность. Электрический заряд материи, проходящий через один гигантский нейрон. Соединение. Она рассмеялась. Дэниел удивился, и она рассказала, какой образ родили в ней его слова. Вот и молодец, отвечал он. Главное насчет себя ты поняла. Так что дерзай, чадо. Он увидел, как распрямились ее плечи.

Из автобуса они вышли на вершине гряды. Спустились в долину. Вдалеке отблеском в холодном воздухе виднелось озеро Миммерс-Тарн. Жаклин и Маркус эти места знали, ведь именно они часто приходили сюда считать улиток. Но сейчас все было иначе. Жаклин взглянула на Маркуса: руки глубоко в карманах, голова опущена. Она спросила, не тревожно ли ему за Руфь. Он пожал плечами.

— Она ведь тебе очень нравилась, — напомнила Жаклин.

— Разве?

— Она, кажется, так думала. Но ты ничего никогда не говорил.

— А зачем? У нее голова всегда была забита

этим. *Идеями.*

Маркус хотел увидеть Руфь, потому что его напугал Винсент Ходжкисс. Философ расшатал его самоощущение, и без того шаткое. Тогда, в мерцании свечи, он заворожил мысли Маркуса, запрятанные глубоко, свернувшиеся спящим змеем. Он же их видел, смотрел на них сверкающим взором, взывал к ним на змеином языке, и те выползли наружу. Маркус тогда заметил, как внимание язычками пламени бегает по его телу, которое чувствовало себя одновременно прозрачным и раскаленным. То есть горячим. Но жар этот ему не нравился. Ему хотелось вернуть все как было, ведь его будто нагрели до состояния расплавленного стекла.

Ему надо было вспомнить, каково оно — желание прикоснуться к Руфи, к ее тяжелой золотистой косе, к ее чистой мягкой белизне.

Убедить Руфь уйти от Слышащих — на такое он не надеялся. Просто — видеть ее, желать ее, вернуть себе устремленность. Вернуть себе себя. Глядя на заиндевевшую пустошь, он думал: «Мне нужен знак, только знак — и больше ничего».

А еще интересно бы как-нибудь обсудить Фибоначчи с Жаклин. Она, похоже, с удовольствием бралась за трудные задачи.

Гостей в Дан-Вейл-Холле уже ждали: тогда община еще была связана с внешним миром телефоном. Дверь открыла Клеменси Фаррар в тесно облегающем белом фартуке, лучезарно улыбаясь. На гостей пахнуло чудесным запахом пекущегося не то хлеба, не то печенья или кексов (кто же печет пирожные?), сахарных и румяных. Другие Слышащие собрались на каменных отмостках, под той самой площадкой, где Люсгор-Павлинс нашел раненых детей. В темном помещении из дерева и камня было тепло и светло. Кругом стояли обычные свечи и чаши с плавающими маленькими свечками. Висели венки из вечнозеленых растений: остролиста, тиса и плюща. Пол-Заг выскочил и обнял брата, каноник Холли по-манихейски пожал руку Дэниелу, Руфь, в белом платье и белых чулках, подставила теплую щеку для поцелуя Жаклин и радостно улыбнулась Маркусу. Гидеон Фаррар заключил всех по очереди в свои медвежьи объятия, дружески похлопал по спине. Он был в том же ярком плаще, рыжие с золотым отливом волосы ниспадали по плечам. Каноник Холли был в таком же пальто, правда на нем оно сидело не так ладно. Несмотря на обилие свечей и теплый запах печеного, в зале было зябко.

Прошли в обеденный зал, там уже ждала трапеза. За длинным столом, тесно обставленным складными стульями, могло поместиться человек тридцать — тридцать пять. На столе была большая белая скатерть и уйма всякой снеди: свежеиспеченный хлеб, тарелки с булочками и печеньем, миски с яйцами, деревянные чаши с яблоками, грушами, сливами, сушеным черносливом, ранетками, ежевикой — словом, всем, что растет в окрестностях. И хозяева, и гости расселись кто куда, хотя кое для кого места были явно предназначены заранее. Во главе стола Люси Нигби (в широком белом фартуке) и Клеменси Фаррар сели по обе стороны от стула, который, по всей видимости, был отведен для Джошуа Маковена. Дэниел сел напротив, но не в самом конце, где расположился каноник Холли, а с ним рядом. Гидеон сидел в середине длинной стороны стола, между Руфью и Элли; напротив него — небольшая группа квакеров, а вокруг них расселись дети — трое Нигби и трое других. Жаклин заняла место рядом с Дэниелом. Маркус собирался сесть рядом с Руфью, но не смог, так как там все уже было занято детьми. Элвет Гусакс предложил Джону Оттокару сесть рядом с ним. Джон отказался, отдав предпочтение группе квакеров. Гусакс

последовал за ним, нашептывая что-то на ухо.

— Во время трапез здесь принято музицировать или читать стихи и выдержки из религиозных писаний. Заг всегда играет и поет. А если бы еще вы ему подыграли, мы были бы очень рады.

— Кларнет у меня не с собой.

— У нас есть. По счастливому или роковому стечению обстоятельств нашелся у Милли Фишер. Сыграете что-нибудь рождественское? «Король танца», а?

Пол протянул брату уже собранный кларнет: трость новая, пробка смазана.

Клеменси Фаррар и Люси Нигби принесли из кухни два закопченных котла с дымящейся похлебкой и поставили на сервировочный стол, где лежали половники.

— Состряпали сами, из того, что Бог послал, — обратилась к Жаклин сидящая рядом женщина. — Там картошка, лук-порей, капуста, крапива, спаржа, морковь, молоко коровье и козье и немного дрожжевого экстракта. И пряные травы. Ничего, вкусно. Только овощи. Вы вегетарианка?

— Нет.

— Вы из квакеров? Или англиканка? Или что?

— Я ученый.

— Ученый — значит неверующий?

— Не обязательно. Но в моем случае — да.

— А по какому вы здесь поводу?

— Приехала повидать старую знакомую.

— А трудно женщине заниматься наукой? Мешают разные препоны?

Жаклин этот светский допрос, устроенный миниатюрной девушкой, порядком надоел.

— Теперь ваша очередь. Вы-то тут какими судьбами? Кто вы по профессии?

— Ну… — Бренда Пинчер поменяла местами вилку и нож, — я — искатель истины, исследователь, наблюдатель.

— Вы тут живете или просто приехали ненадолго?

— Живу. Я из самой первой группы. Дэниел меня знает.

Тот кивнул утвердительно, но не слишком уверенно. Кто эта барышня и чем она занимается, он вспомнить не мог. Пытаясь избавиться от ненужного внимания Жаклин, Бренда затеяла разговор с Дэниелом: что думает об общинах вроде этой, какого мнения о манихействе…

Появился Джошуа Маковен. Торжественно оглядел стол, обвел взглядом всех собравшихся, останавливаясь на каждом лице. И каждый подумал: он пытается увидеть, что у меня на душе,

распутать сплетения и узелки. Маркус заметил, как Руфь смущенно покраснела и улыбнулась, хотя ладонь ее лежала на столе рядом с Гидеоновой. Красивый он, подумала Жаклин. И в зале, и в прихожей гуляли сквозняки, было зябко, несмотря на тепло от тел и пар от овощной похлебки. Величественно уселся Гидеон, заняв не одно место: расположившись в центре длинной стороны стола, он напоминал Христа с «Тайной вечери» Леонардо. Маковен же стоял как столп — недвижный, точеный, — и все вокруг замерли.

— Вкусим посланной нам пищи, но не больше, чем нужно, ибо тела наши — лишь временное вместилище духа. Воистину мы живем в шелухе и однажды она отпадет. Будем же принимать плоды земные с благодарностью, но и со скорбью и будем помнить, что грядет время, когда никаких потреб тела не будет, один чистый свет. Думайте о Свете, когда едите, заточенном во всем живом.

Пока Маковен говорил, на свободное место рядом с Маркусом тяжело уселся запоздавший. Знакомый голос произнес:

— Прекрасно-прекрасно, но суп-то все равно хорош. Видел я, как его варили.

Знаком был Маркусу и запах тела нового соседа — все такой же густой, тревожно-едкий. Узнал

он и легкий, но слегка неспокойный смешок. Узнал он даже теплоту мягкого седалища. Маркус даже не посмотрел на соседа. Маркус едва дышал. Дыхание перехватило.

Лукас Симмонс — тот, чья навязчивая набожность и набожное вожделение некогда погрузили Маркуса в пучину ужаса и бреда, — соседа узнал.

— Ты?! Я молился, чтобы эта минута наступила. Ты, конечно. Как ты тут оказался? Собираешься остаться? Я так мучился, переживал из-за тебя — где ты, как ты, что обо мне думаешь, осталось ли у тебя в мыслях и в душе для меня место… А здесь хорошо. Тут я отдыхаю после всех моих мытарств. И здесь есть Он, Маркус, человек, который видит самую суть вещей. Ты ведь остаешься тут с нами, тоже станешь…

— Нет, — ответил Маркус и в отчаянии поднял взгляд.

Джошуа Маковен как будто смотрел на него издали. И будто чувствовал его ужас, его отвращение, его беспокойство, его онемевшую душу.

Маковен встал и произнес:

— Пусть звучит музыка. Есть будем молча и послушаем Зага и его брата. Они помогут нам воспарить к Свету и забыть обо всем.

Со своего горнего престола Джошуа Маковен

обозревал общину. Подмечал умиротворение и смятение, жар и холод, страх и восторг, чревоугодие и воздержанность, веру и сомнение. Едва его взгляд останавливался на ком-то, тот сразу поднимал глаза: в этом скрещении взглядов читались и искания, и доверие. Вокруг лиц и очертаний тел Маковен видел нечто вроде духовного ореола. Юный Маркус, которого он не знал, ощетинился хрупкими сосульками. Лучезарными, но сосульками: растают. Тот, кто подсел к нему, взмокший, будто его жарили, — его ореол состоял из огромных сгустков, в которые как бы влипали его курчавые волосы и шерстяной наряд. Бренда Пинчер всегда виделась ему безглазым, пушистым дрожащим комочком. Он продолжал осмотр и от источающего млеко и мед Гидеона перешел к Дэниелу Ортону.

И вновь видел он — ибо не видеть не мог — стекающую кровь. И шла она изумительным образом из темной шевелюры Дэниела, струилась по густым бровям и тяжелым щекам, забегала в уголки рта, когда он проглатывал бледно-зеленый суп; по крепкой шее, пропитывала воротник свитера и оттуда растекалась по скрытым свитером плечам, груди и животу. Видения всегда были ясны до малейших подробностей: видел

он и летящие с бороды на шею брызги, и капли, монотонно падающие с корней волос. Он видел — нет, не примысливал: видел — алые струи, яркие, густеющие. Это его дар, о даре — ни слова. Дэниел — темный вулкан, извергающий не лаву, но кровь. Может, он и есть долгожданный демон? Нет, не он. Грузный, а таких он не любит: они ему мерзки — ну да с этим чувством надо бороться. Нет, это кровь: кровь — это его, Маковена, демон, это он придумал ее Дэниелу. Дэниел ел. Выливал из ложки бледно-зеленый суп в мерзкую тьму ротовой полости, между крепкими, цвета слоновой кости зубами над ковриком скользкого языка. Дэниел преломил свежий черный хлеб, с улыбкой похвалил Жаклин, толсто намазал ломоть золотистым маслом, и жевал, жевал. Джошуа Маковен положил ложку, к супу не притронулся. Кровь мигом унялась. Вокруг Дэниела все опять уныло, пыльно, бесцветно. Маковен отхлебнул воды из глиняного кубка, сделанного для него Клеменси Фаррар. Люси спросила, не голоден ли он, он ответил, что сыт, доволен и малым.

Музыка играла и играла. Играли «Короля тан-

ца»[66], и «Остролист и плющ», импровизировали, кларнет — партии голоса, гитара — аккомпанемент, подстраиваясь, подхватывая, обыгрывая вокруг да около. И в такт музыке двигались два тела, золотые головы кивали, ноги выстукивали, пальцы плясали, мелькали, замирали. Вот только если Заг в экстазе лукаво улыбался во весь рот, Джон сосредоточенно смотрел на инструмент. Два ангела, сказала одна квакерша другой. О, восходящий солнца лик! О, мчащийся олень!

После ужина стали прощаться с гостями, которым предстояло успеть на последний автобус, а уже вступил в свои права зимний вечер. Маркус все-таки подошел к Руфи, помогавшей убирать со стола. Где-то сзади суетился Лукас Симмонс. Дэниел хлопнул его по плечу и спросил, как он поживает, решительно отвлекая его внимание от Маркуса.

— Руфи, здравствуй.

— И ты здесь — прекрасно. Рада видеть всех.

— Тебе тут хорошо?

Ее бесхитростный взгляд встретился с его взглядом, руки сложились на груди, как у ангелов на

[66] Примечания: 66

«Lord of the Dance» — религиозный гимн, написанный в 1963 г. Сидни Картером на мелодию песни американских шейкеров «Simple Gifts» («Простые дары», 1848).

полотнах старых мастеров.

— А как же иначе? Разве тут не чудесно? Просто увидеть, уловить — это уже немало, а тут все это настолько прочно, реально…

Дрожащей рукой он попытался ее коснуться. Она отстранилась.

— Я рад, что у тебя все хорошо.

— По тебе не скажешь, что рад. Вот ты приезжай почаще. А лучше — оставайся. Жизнь — она ведь одна. И возможность только одна.

Она пополнела, уже не совсем та изящная девочка. И он понял, что ничего не чувствует. Ничего. А с другого конца комнаты доносился влажный жар из-под мешковатого свитера и фланелевых брюк Лукаса Симмонса.

— Счастливого пути, — сказала она, отворачиваясь.

— Мы будем за тобой приглядывать, — пообещал Маркус.

— Это зачем? Звучит жутко, — поежилась Руфь. — У меня все в порядке. Буду за тебя молиться.

И, набрав стопку тарелок, она отвернулась, а живущая собственной жизнью коса метнулась в сторону.

На пороге Джошуа Маковен подошел к Дэни-

елу:

— Вы не ощутили, что хотите присоединиться к Слышащим?

— Нет.

— Те, кто хорошо вас знает, — и каноник, и Гидеон — ценят вас высоко.

— Каноника очень не хватает в часовне. Звонков меньше не становится.

— Он сделал верный выбор — как Мария.

— Что ж, мистер Маковен, а я, как вы знаете, Марфа. Земной, от земли.

— Бедная земля.

— То, что под ногами, — ухмыльнулся Дэниел.

Рядом с ними, пристально глядя на Маковена, стоял Уилл.

— Ваш? Очень похож…

Дэниел испугался. Дикий страх, ни с того ни с сего.

— Нам пора, — заторопился он. — Опоздаем на автобус.

Голова с серебряной сединой кивнула, прощаясь и отпуская.

К проезжей дороге поднимались по склону. Вокруг — живность. На фоне плотно-серого неба белоснежные голу́бки и жемчужные голуби возвращались в Дан-Вейл-Холл гнездиться. То и

дело встречались стайки бесцельно бродящих, одичавших кур, которые тревожно кудахтали и суетливо перебирали желтыми шершавыми лапками. Прошли, курлыча, одна-две тучные индюшки. Вдалеке блеяли овцы и выли собаки.

— Он тебе не понравился, — вопреки обыкновению заговорил Уилл с отцом.

— Я этого не говорил. Кажется, намерения у него благие. И человек он добрый.

— Но ты говорил с ним резко.

— Как это — резко?

— Он пытался быть… быть вежливым, а ты его оттолкнул.

— Я не нарочно. Но все, что там происходит, вызывает опасения.

— А на *меня* произвело громадное впечатление. Это что-то новое. Интересное.

— Ну, если «интересное» — это единственный критерий…

— Ты меня не слушаешь.

— А есть что слушать?

— Да, я тебе пытался кое-что сказать, но ты не слушаешь.

Они все поднимались и поднимались, а навстречу им спускались то овцы, то молодая свинка, то стайка черных молодок.

XVII

В январе «Бауэрс энд Иден» издали «Бегство на Север» и «Наслоения». Книга Агаты прошла едва замеченной. Пара теплых отзывов в некоторых обзорах фэнтези и научной фантастики, а также книг для юношества; подобная литература обычно активнее рецензируется перед Рождеством. А вот «Наслоения», напротив, наделали шума. Были заголовки «Просто разделить», «В мире ножниц и клея», «Ицзин для умных козочек». Были и статьи о Фредерике, в которых говорилось о «новой мини-личности», «квазинаивном взгляде из Зазеркалья», «руководстве для умных женщин по сочинительству на досуге». И те рецензенты, которым «Наслоения» понравились, и те, кому они по вкусу не пришлись, одинаково хвалили «острый ум» автора. Недоброжелатели добавляли: «поверхностно», а острый ум если и хвалили, то добавляли: «раздражающий». Благосклонные рецензенты сравнивали ее метод нарезок с Бер-

роузом и Джеффом Наттоллом[67], но отмечали, что писательница не способна идти до конца, задействовать весь потенциал этого метода. Задавались вопросом, стало ли целое больше суммы отрезанных и разорванных частей, и пришли к выводу, что скорее нет, просто все сделано с умом, очень умно.

Фредерикина фотография появилась в «Ивнинг стэндард»: она стоит, облокотившись на перила у входа в свой цоколь, в высоких сапогах и длинном пальто, в меховой шапке а-ля этакая Анна Каренина. Жители Хэмлин-сквер выглядывали из окон или толпились позади фотографа с велосипедами и футбольными мячами. Фредерика появилась также и в журнале «Нова». На этот раз фотографировали ее на съемочной площадке «Зазеркалья», в цвете: лицо отражалось и преломлялось в зеркалах, экранах и прозрачных перегородках. На ней было приталенное бутылочно-зеленое платье с узкими рукавами, шерстяной повязкой на бедрах и очень неброским белым воротничком. Снимок получился хороший, с осколками геометрических наложений, каркасов, острых граней,

[67] Примечания: 67

Джеффри Эддисон Наттолл (1933–2004) — поэт-авангардист, актер, джазовый трубач, скульптор и политический обозреватель-анархист; влиятельная фигура в британской контркультуре 1960-х гг.

продублированными настороженными глазами и рябью рыжих волос. «Обрывками этими я укрепил» — начиналась статья, к которой относился снимок. Строку эту Фредерика возненавидела: до этого ей пришлось воевать с редакторами, предлагавшими ее в качестве эпиграфа, но ведь это такой штамп, кто только это не цитировал по всякому поводу. Она представляла себе лодку на взморье, окруженную, как на картине кубистов, защитной стеной или контрфорсами из обломков камней и гальки, а еще фрагментами резных ангелов, древнегреческих крылатых богинь победы или грудей Дианы Эфесской. Но не было — она знала — ни взморья, ни берега, ни лодки. Только принц Аквитанский у разрушенной башни[68]. И цитаты.

Родителям про книгу она не рассказала. Отец был для нее тем же, чем для большинства из ее поколения Фрэнк Ливис[69]: мало что соответ-

---

[68] Примечания: 68

«Обрывками этими я укрепил» — строка из поэмы «Бесплодная земля» Т. С. Элиота (в переводе А. Сергеева). Образ принца Аквитанского у разрушенной башни, символа из колоды Таро, — отсылка к тому же произведению.

[69] Примечания: 69

Фрэнк Реймонд Ливис (1895–1978) — английский литературный критик, представитель социокультурного направления. Одним из первых отметил и высоко оценил творчество Т. С. Элиота, Дж. М. Хопкинса и Э. Паунда.

ствовало его высоким требованиям. Ее сочинительство было тайными, скрытыми от его взгляда заметками. Она даже не думала использовать возможность писательской карьеры как повод не переезжать на Север: писателем она себя не считала и ни о какой писательской карьере не помышляла. И никаких идей для новых книг не было: только те же наслоения, те же бессвязные нарезки, а на это ведь каждый способен. Едва плоды ее писаний оказались на виду, она почувствовала к ним презрение. Как-то она увидела, что один студент читает ее книгу в автобусе; ей было приятно (опять клише), но сама она ее не открывала. Обложку сделали неплохую, из фигур Эшера, ножниц и персонажей знаменитых рисунков-граффити. Биллу и Уинифред экземпляры она не послала. А они, даже если что-то и узнали, вида не подали.

Большинство начинающих писателей пытаются поразить, задобрить, потрясти воображаемых родителей. Но с настоящими родителями все по-другому.

Из Фрейгарта стали приходить большие конверты. Но не Фредерике, а Лео. В них были упражнения по звуковому методу обучения чтению, а также задания на труднопонимаемые и нелогич-

ные места — на примерах из романа Агаты Монд «Бегство на Север». Все сцены и фразы были Лео знакомы, все это он слышал, но теперь они были выстроены в соответствии с планом для обучения тех, кому трудно дается чтение. Указания имелись и для Лео, и для Фредерики. «Для отработки омофонии согласных». «Для отработки долгих гласных». Мать и сын стали читать. Лео был как помешанный. Хохотали от души. Фредерика спросила, знает ли он, что «смеяться» пишется не через буквы «ц» и «а». Ну это уж слишком, рассмеялся Лео.

— Тано сказал, что, когда его мама видит тебя по телевизору, всегда смеется. Ты это нарочно? — озабоченно спросил он.

— Во всяком случае, стараюсь быть остроумной. Ну и смешной тоже. Людям надо чаще смеяться.

— Тогда все в порядке. Она еще сказала, что ты слишком быстро говоришь.

— Все говорят слишком быстро в телевизоре.

Лео успокоился.

«Зазеркалье» стало регулярно выходить на новом канале «Би-би-си–2». Уилки старался раскидывать сеть пошире, выбирать темы самые разные и неожиданные. В первом квартале 1969 года гости были как на подбор.

Например, Бенджамин Лодж, постановщик пьес Александра Уэддерберна «Астрея» и «Соломенный стул», который теперь в театре «Дельфин» делал новую постановку «Ченчи» Перси Шелли с элементами «театра жестокости». В пылу воодушевления он рассказывал об отмене полномочий лорд-камергера в отношении театральной цензуры. Его собеседником был Джуд Мейсон, автор романа «Балабонская башня», отбившегося в суде от обвинений в непристойности (на апелляции) и неплохо продававшегося. Цензура была темой передачи, а героем — Д. Г. Лоуренс. *Предмет* же лежал перед Фредерикой в круглой коробочке, перевязанной малиновой лентой. Она вскрыла ее, и телезрители увидели огромный темный клубок упругих, вьющихся волос — то ли настоящих, то ли искусственных, на экране не разобраться. Лодж и Джуд остроумно рассуждали о мюзикле «Волосы», моде на длинные прически среди хиппи и студентов, ревю «О, Калькутта!» Кеннета Тайнена[70] с прилюдной демонстрацией лобковых волос. В уже более серьезном тоне говорили о Леопольде фон Захер-Мазохе и ме-

[70] Примечания: 70

«Oh! Calcutta!» — эротическое музыкальное ревю, впервые поставленное в Нью-Йорке в 1969 г. и в Лондоне в 1970-м; соавторами некоторых сцен выступили Сэмюэл Беккет и Джон Леннон.

хах, фетишизме и андрогинности. Джуд Мейсон, которого для заседания суда обязали остричь длинные сальные седые волосы, снова отрастил их, и из-под локонов выглядывали рыбьи глазки шкодливого чертенка. Волосы же Фредерики были аккуратно убраны под ободок — тоже малиновый, — как у Алисы. Студия была украшена изображениями Королевы Червей, кричащей: «Отрубить ему голову!»

В последующих выпусках обсуждали сон, подземелья (включая, понятное дело, метро, пропавших мальчишек из «Питера Пэна» и кроличью нору Алисы), героев войны (в качестве гостей пригласили велеречивого генерала и награжденного медалью поп-певца). «Кто такие немцы?» (кусок жира Йозефа Бойса[71], немецкий кинорежиссер и американский киноактер, который играл немецких генералов в фильмах про войну). Также темой был «Посторонний» Камю, приходили Колин Уилсон и грозный, но бойкий

[71] Примечания: 71

Йозеф Бойс (1921–1986) — немецкий художник, постмодернист и концептуалист; в его работах и личной мифологии важное место занимали жир и войлок.

на язык Джеймс Болдуин[72].

Одна передача получилась особенно интересной. Говорили о младенцах и вообще детях: специалист по естественным родам и детский психолог разбирали теорию привязанности Боулби, а потом пытались понять, как повлияло на их поколение то обстоятельство, что детей было принято оставлять кричать на определенные периоды времени. Героем передачи был Уильям Блейк: «Лучше убить младенца в колыбели, чем лелеять несбыточные желания» и «Дитя-радость». Предмет — жутковатый прорезыватель для зубов, к которому крепился серебряный паяц с болтающимися бубенчиками. На экране время от времени появлялась иллюстрация Тенниела к Льюису Кэрроллу: младенец превращается в поросенка. Плодотворно обсудили сдвиг в общей чувственности, из-за которого и появились «дети цветов», а также врожденную спонтанность, подавляемую в Век Разума.

Потом Уилки внезапно взбрело сделать передачу об играх с мячом, и он долго разыскивал умеющих связать два слова игроков в снукер, теннис,

[72] Примечания: 72

Колин Уилсон (1931–2013) — английский мыслитель и писатель-фантаст. *Джеймс Болдуин* (1924–1987) — американский писатель, активист движения против расовой дискриминации в США.

футбол, гольф: его завораживали геометрические и физические ограничения, заложенные правилами этих игр. В конце концов он устроил великолепную беседу, в которой приняли участие физик, интересующийся динамикой и траекториями, и поэт, поборник силлабического стиха, который к тому же был оксфордским профессором и завзятым игроком в крокет. Предметом передачи была средневековая игра бильбоке, позаимствованная из музея. Фредерика спорт презирала, особенно командные игры. И тут ей приоткрылись все, все плоды человеческой изобретательности, которые она раньше не удостаивала вниманием.

Она старалась не опростоволоситься, задав дилетантский вопрос или сделав глупое замечание. Она научилась скользить по поверхности, различать подводные камни, переходить от важного к важному, распознавать остовы идей и занятий, в которых не разбиралась и рассуждать о них не могла. Она вырабатывала что-то вроде условной, кратковременной или полукратковременной памяти. Она увлеклась, и все-таки это было не то.

Ее начали узнавать в магазинах, на улицах, когда она забирала Лео и Саскию из школы. На разного рода вечерах. Люди думали, что знают

ее, знают, что она скажет, не успеет она и рта раскрыть. Раньше ей казалось: как здорово быть знаменитостью! Обаяние, писали газеты, мини-обаяние мини-личности. Но она обнаружила, что, становясь «персоной», как личность она убывает, и мысль эта была ей неприятна. Не лицо, а маска, пленка, изображение на экране, что встает между ней и другими людьми, мешает их слышать, наблюдать за ними, говорить с ними напрямую, ведь они составили невесть откуда взявшийся ее образ и обращаются не к ней, а к нему. После передачи о королеве-девственнице ей, как и следовало ожидать, приснилась густо-прегусто набеленная маска престарелой Елизаветы, а под ней черные глаза. Она идет по Хэмлин-сквер и несет эту белую маску перед собой на шесте. За всей этой бутафорией — настоящая женщина (она одновременно пребывала и не пребывала внутри своего тела; она также была сострадательным, тревожным наблюдателем), а на ней — только лифчик и расстегнутая рубашка. Уличные сорванцы потешались над тощими голыми ягодицами и замерзшими пальцами ног.

Другое дело — обаяние преподавателя факультатива. Она продолжала читать лекции группе взрослых студентов, и время от времени ее об-

жигали идеи. Она читала лекцию по «Идиоту» Достоевского. Эта фантасмагорическая книга фаталистична. Один из немногих романов, где финал, как и все, что ему предшествовало, одновременно и правилен, и великолепен: никакой недосказанности, полумер, худосочности или угасания напряженной работы воображения. Потому ли это, спрашивала Фредерика студентов, что Достоевский *не знал,* что произойдет в конце? Потому ли, что не создавал своих героев изначально добрыми или злыми, невинными или преступниками? Записки сохранились, и поэтому известно, что вся фантасмагория творилась им непосредственно в процессе написания. Разбирая это литературное чудо, Фредерика отмечала полноту, страсть и внешнюю наглядность. В нем был заключен миф Запада: чистый, нездоровый князь Мышкин был Христом, и его чистота и доброта трогали Фредерику, как не трогал и Новый Завет.

В похожем состоянии души, разбирая с учащимися «Великого Гэтсби», она зачитывала сцену, в которой убийца пробирается сквозь желтеющие деревья и находит Гэтсби в бассейне.

> …он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он до-

> рогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Наверно, подняв глаза, он встречал незнакомое небо, просвечивающее сквозь грозную листву, и, содрогаясь, дивился тому, как нелепо устроена роза и как резок свет солнца на кое-как сотворенной траве. То был новый мир, вещественный, но не реальный, и жалкие призраки, дышащие мечтами, бесцельно скитались в нем… как та шлаково-серая фантастическая фигура, что медленно надвигалась из-за бесформенных деревьев[73].

Фредерика восхищалась этим отрывком, на нем были аккуратные пометки, которые они обсуждали в завершение лекции. «Новый мир», «вещественный, но не реальный» — эти слова чрезвычайно важны для *американской* литературы. Гэтсби, подчеркнула она, создал целый мир из платоновской идеи о себе, своей романтической мечты, и мир этот распадается.

Но, прочитав это место вслух, она будто заново уловила в этом безупречном абзаце о разруше-

---

[73] Примечания: 73
Перевод Е. Калашниковой.

нии, в этом совершенном в своей легкости абзаце о распаде всю силу простоты каждого слова. Она почувствовала то, что всегда считала мифом: волосы на затылке встопорщились — простейшая физиологическая реакция на совершенство цивилизации, отклик тела на душу.

Она остановилась на полуслове и начала сначала, более отчетливо. Знаете, сказала она, я только что *увидела,* насколько прекрасен этот абзац. Обратите внимание на прилагательные, на их простоту, послушайте, как верно подобрано, как точно употреблено каждое из них. Взгляните на слово «незнакомый» и представьте человека, который сам придумал себе небо и землю, который *был* своей собственной семьей. А «грозная листва»? Плоские листья, пугающие, но не слишком. «Как нелепо устроена роза». Идея замысловатого совершенства природы рушится при помощи метеорологических и психологических эпитетов.

А потом «резкий» для описания света солнца — как он додумался? Резкий — это грубый, а грубый — простой, аляповатый, отсюда — «кое-как сотворенная трава»: девственный мир либо в содрогании зарождения, либо в предсмертной судороге. И от этих чувственных прилагательных

— нелепый, резкий — мы переходим к рациональным — новый, вещественный, нереальный: прочное творение распадается на фантасмагории, фантазмы, призраки, мечты; и наконец, блестящее дополнение ко всеобщей аморфности, «бесформенные» деревья.

Но там, где есть слово с отрицательной приставкой, неизменно присутствуют и все его однокоренные братья — форма, оформление. Быстро, коротко и *ясно* Фицджеральд *упразднил* то, что искусство и литература воспроизводили снова и снова, — образ человеческого разума, безмятежно пребывающего в красоте и уюте сотворенного сада, с формами деревьев, цветом неба и травы и замысловатой красотой розы.

Фредерика исступленным взглядом уставилась на класс, а они смотрели на нее. Затем она улыбнулась, как обычно, довольно и понимающе. Но всю оставшуюся жизнь она возвращалась к этому мгновению, к переменам в атмосфере, к тому, как встопорщились волосы, к тому, как она *будто впервые читала* каждое слово текста, который она вроде бы «знала». И в этот момент она ощутила: она должна преподавать, потому что она понимает — понимает и врожденно, и приобретенно — то, как слова выстраиваются

в порядке, как создаются миры, как возникают идеи. Улыбаться на камеру — не убого ли это по сравнению с этим подлинным искусством, которое раскрывает суть вещей?

И все же, и все же. Окрашенный по методу Гольджи срез, броские движения шаров для снукера, новорожденный младенец, выскользнувший из кровавой сорочки, вымирание сельских районов (следующая идея для «Зазеркалья») — все это тоже существует за пределами студенческой аудитории, за обложками книг. И то и другое подлинное, настоящее.

XVIII

Всестороннее планирование конференции «Тело и мысль» стояло на повестке дня университетской Комиссии по общим вопросам, которая собралась в начале весеннего семестра. В ее состав входили вице-канцлер, декан по делам студентов Ходжкисс, заведующие кафедрами со всех факультетов и два представителя студенчества — Николас Шайтон, председатель союза, и Мэгги Крингл. На повестке дня также стояла деятельность Антиуниверситета.

Заседание проходило в зале для совещаний, расположенном на верхнем этаже восьмиугольной Башни Администрации: там стоял восьмиугольный стол, покрытый кожей кроваво-красного оттенка, несколько похожих на троны кресел и несколько сиротливых китайских ваз на восьмиугольных постаментах. Председательствовал Винсент Ходжкисс. За чашкой кофе, незадолго до начала, он шушукнул Вейннобелу:

— Пришло тревожное письмо от Хедли Пински. Почитайте, но обсуждать на заседании я бы не стал.

— Он приедет?

— Да. Пожалуй, приедет. Но у него есть сомнения этического характера. Поэтому вам надо обязательно взглянуть.

Ник Шайтон находился в пределах слышимости и ни с кем в тот момент не разговаривал, поэтому последнее замечание услышал. У него и у самого были опасения по поводу Пински, высказанные ему теми, кого он представлял. Дело в том, что Джонти Сёртиз получил сразу из нескольких надежных студенческих источников из-за рубежа сведения о том, что работа Хедли Пински по изучению мыслительных процессов, памяти и потери памяти тайно финансируется ЦРУ и рассчитана на применение при допросах и для идеологической обработки.

— Подними вопрос, но не в лоб. Посмотри на реакцию, но шуметь пока не надо, — сказал ему Сёртиз. — Мы еще не решили, выступать против его приезда или устроить светопреставление, когда он приедет. Если приедет. В общем, поднимите вопрос. Пусть подергаются.

Нику Шайтону не нравилось, как Джонти Сёртиз с ним разговаривал. Откидывая назад свою густую рыжую гриву, он смеялся и раздавал приказы — вождь, голубая кровь, анархист с бес-

печностью аристократа. В то же время Шайтон восхищался способностью Сёртиза обстряпать любое дело. Разрастающийся караван-сарай Антиуниверситета явно работал, если под этим понимать то, что людей и машин прибывало, все больше приходило студентов и постоянно организовывались новые события — от фейерверков до группового секса, от трехчасовых лекций о Кропоткине до психологических экспериментов с сенсорной депривацией, ведра сточных вод и ведра гиацинтов, стробоскопы и камеры-обскуры, хеппенинги с проползанием сквозь тесный и скользкий туннель из тел.

Ник Шайтон был из семьи ремесленников и социалистов. Отец трудился на электростанции, мать занималась перешивом одежды. Он верил в мир без социальных различий, где все будут жить в примерно одинаковых домиках с одинаковыми скромными садиками, расти и учиться вместе. Он верил в профсоюзы, а на Советский Союз потерял всякую надежду после того, как танки вошли в Прагу. Испытывал, если можно так выразиться, «инстинктивную» неприязнь к напыщенному блеянию оксфордских интеллектуалов вроде Винсента Ходжкисса, и это чувство сыграло не последнюю роль в том, чему суждено

было произойти.

Благодаря его вере в то, что любой цели можно добиться, была устроена большая сидячая забастовка в университетской библиотеке. Тогда библиотека еще строилась. Редкие книги хранились в старой библиотеке в Лонг-Ройстоне в изысканном здании, доступ в которое был ограничен. Новая же библиотека находилась в зиккурате Башни Языка: там имелось подземное хранилище и малюсенький на тот момент читальный зал с небольшим числом столов и стульев. Библиотекари, как известно, читателей не жалуют, а библиотека (с сожалением признал сэр Герард Вейннобел) была спроектирована с учетом рекомендаций библиотекарей. Студенты неоднократно обращались к вице-канцлеру с жалобами: не хватает стульев, столов, да и самих книг, ведь университет основан недавно и находится в отдалении от крупных городских библиотек. Власти уверяли, что книги будут в установленный срок. Студенты никаких сроков ждать не могут, заявлял Шайтон. Сам он был настолько занят делами профсоюза, что за книгу садился редко, но и он, и его подопечные в чтении нуждались. И еще до начала движения антиуниверситетов Шайтон организовал в библиотеке

сидячую забастовку: были заняты все свободные ступеньки, вся площадь пола. Сидели десять дней. Мирно и спокойно. И университет нашел средства и возможность закупить на распродажах старые собрания книг, перепланировать помещения для выдачи и каталогизации, а также вдвое увеличить читальный зал. И Вейннобел, и Шайтон извлекли из этого происшествия уроки. Вейннобел понял, что Шайтон — человек разумный и решительный. Шайтон же осознал, что говорить бесполезно, нужно действовать. Включение студентов в комиссии он приветствовал с осторожной радостью. То были разговоры. Надо еще посмотреть, к чему они приведут. Возможно, придется действовать.

Но групповые чувства, как известно, быстро становятся стадными, и мысль приобретает неожиданный поворот, что впоследствии и случилось. Ник Шайтон был умеренным английским леваком, осторожным, осмотрительным, практичным. Но барабанная риторика Антиуниверситета, революционные помыслы и вера в то, что все изменять можно уже *сейчас*, в этом году, в этом месяце, развенчание всех авторитетов (все они — зло, говорил Джонти Сёртиз), идея, что само преподавание есть беззастенчивое угнетение

тех, кто не менее одарен и значим, чем угнетатели, — все это волновало его кровь. В ту пору многие из молодежи мучились из-за компромиссов, на которые шли. И Ник чувствовал, что даже то скупое уважение, которое он испытывал к сопернику-вице-канцлеру, было компромиссом, причем сомнительным. Зато своим презрением к блеянию Ходжкисса он упивался. Интересно, что там написал Ходжкиссу Пински, — чем это он не хочет делиться со всей комиссией.

Подготовка к конференции, по словам Ходжкисса, шла бодро. Он попросил вице-канцлера огласить список заявленных докладов и докладчиков — как уже согласованных, так и планируемых. Всем раздали ксерокопии.

Тело и мысль

Хедли Пински, Калифорнийский университет в Ла-Хойе	Формы мысли. Гешталът, когнитивные структуры и как мозг организует мышление
Теобальд Эйхенбаум, Грюневальдский исследовательский центр	Инстинкт и научение у диких и домашних животных
Лайон Боумен	Нейрохимические механизмы памяти
Джейкоб Скроуп	Способна ли машина мыслить?
Лук Люсгор-Павлинс	Пол у слизней: биологические недостатки полового воспроизводства
Кристофер Кобб	Как научиться петь: различия в моделях поведения у гнездовых и выводковых певчих птиц
Гризельда Брагге	«Естественны» ли музыкальные интервалы?
Эдмунд Уилки	Вермеер и Пикассо: представление акта восприятия
Каноник Адельберт Холли	Новое в истолковании Боговоплощения
Профессор сэр Брендан Кливер	Животные или растения: участвует ли сознание в «стойком вегетативном состоянии?»
Винсент Ходжкисс	Что такое философия? Витгенштейн, математика и языковые игры
Сэр Герард Вейннобел	Глубинная структура и поверхностная речь. Проекты общечеловеческого языка

Список был в целом одобрен — Шайтон о своих сомнениях по поводу Пински помалкивал, — и разговор, как и положено, пошел о том, чего не хватает. Профессор английской литературы Колин Ренни указал, что в темах докладов явно отсутствует, даром что конференция посвящена человеческой природе, такая важная область, как литература. Винсент Ходжкисс сообщил, что буквально на днях общался с выдающимся ученым, доктором Рафаэлем Фабером, который мог бы выступить с темой «Пруст и память, биологическая и культурная». Колин Ренни новость одобрил, но заметил, что нужны темы и по английской литературе. Д. Г. Лоуренс, отозвался Лайон Боумен, только и писал что о крови и сперме. Может, он подойдет? Ник Шайтон подумал, что по обворожительной, плотоядной улыбке Боумена никогда не скажешь, смутьянствует он или нет. В Эдинбурге, продолжал Ренни, есть выдающийся специалист по Лоуренсу, который писал именно о Лоуренсе и чувстве крови. Было решено к нему и обратиться. Боумен вскользь обмолвился о фашизме и опасных теориях о «чистой крови», «высшей расе» и тому подобном. Ходжкисс поспешил спросить, какие еще области не охвачены. Единственная присутствующая

женщина, специалист по антропологии Минна Ласеллс заметила, что едва ли можно провести такого масштаба конференцию, не включив в нее ни одного антрополога. И предложила собственную кандидатуру: доклад о языке тела и украшении тела в разных культурах. В том числе о декоративных увечьях и современных прическах. Да и психологи нужны, не говоря уже о психоаналитиках. Кто-то же должен рассказать об идеях Пиаже о развитии ребенка. Вейннобел сказал, что в Комиссии Стирфорта по изучению преподавания родного языка был подходящий специалист.

— А психоанализ? — спросил Боумен. — Сейчас это самый писк моды. Почему бы не позвать Элвета Гусакса? В работе с большими аудиториями он как рыба в воде. Заклинатель змей, не иначе!

Ходжкисс, несколько поморщась, сообщил, что к Гусаксу уже обращались и тот предложил, кажется, весьма любопытный доклад на тему «Кривое зеркало: восприятие шизофрениками собственных частей тела». Но сейчас он все чаще бывает среди «тех, кто разбил возле нас лагерь»: читает лекции о расширении сознания. Голос Ходжкисса прозвучал на тон выше обычного. Ник Шайтон возразил, что не видит в этом ни-

чего дурного. В Антиуниверситете много кто читает лекции, и лекции интересные. Осмелев от внушительности своего голоса, он добавил, что очевидно не хватает докладов по истории и политологии. И предложил, чтобы кто-нибудь выступил на тему сравнения людей с фабричными станками: «руки, головы и голодные рты». Вейннобел улыбнулся Шайтону. Идея отличная. Не мог бы сам мистер Шайтон выступить как представитель университета? Ник промямлил, что у него нет времени, он не готов: работа, диплом, экзамены. И теперь собственный голос вызывал у него раздражение. Он покраснел.

— А если уж речь зашла об Антиуниверситете, который нас окружает и уже проникает к нам, — заметил Боумен, — не стоит ли включить доклад и о телах астральных и эфирных?

Шорох, тяжелая пауза. Ник Шайтон не понимал, к чему клонит Боумен, и поэтому злился. А сам Боумен едва заметно улыбался своим мыслям.

— Многие из вас, возможно, знают, что моя супруга много выступает с такого рода темами перед… альтернативной аудиторией, — начал Вейннобел. — Что ж, каждый имеет право на собственные убеждения и свободу слова. Но я, увы, никогда не соглашусь с тем, что доклад на

подобные темы как-то обогатит нашу конференцию. Хотя, разумеется, все по-своему интересно…

Он нахмурился.

Ходжкисс заметил, что вице-канцлер с пугающей серьезностью придумывает, как вызвать у собравшихся ученых интерес к лекциям об астральных и эфирных телах. Ну, этот может. Одной из причин его огромного уважения к вице-канцлеру была та рассудительность, с которой Вейннобел находил что-то интересное во всем. И он представил себе леди Вейннобел в черно-фиолетовом бархатном плаще, лучезарно оглядывающую собравшихся корифеев науки.

— Все, думаю, согласятся, что данные вопросы выходят за рамки нашей конференции, — сказал Вейннобел. — Она и так выходит весьма представительной. Давайте остановимся на этом и прервемся на кофе.

Кофейня находилась этажом ниже. Все двинулись к лифту. Ник Шайтон задержался. Ходжкисс оставил свои бумаги на столе, и Шайтон подумал, что можно украдкой взглянуть на «тревожное письмо» от Хедли Пински. Он прислушался к жужжанию лифта, а затем быстро пролистал бумаги Ходжкисса. Отчасти потому, что не смог задать неудобный вопрос, как просил Джонти

Сёртиз.

Дорогой Винсент,

как я говорил, для меня честь выступать на конференции, которая обещает быть насыщенной и увлекательной. Однако есть вопрос, на который, как мне кажется после долгих раздумий, нужно обратить внимание. Это касается Теобальда Эйхенбаума. Не знаю, в курсе ли Вы, что его, как и других ученых, сохранивших свои должности в Германии и Австрии во время войны, обвиняли в «фашистском прошлом». Конкретно про него говорили немного, но факты имеются, и эта бомба может рвануть. Прилагаю работу, писанную им в 1940 году, о стадном чувстве и врожденной и рабской психологии, а также о необходимости избирательной селекции. На мой взгляд, это пример некритического социал-дарвинизма и заигрывания с евгеникой. Журнал выходил только на немецком и только в качестве периодического издания, и в нем, как Вы убедитесь, время от времени встречаются некоторые термины из отвратительно-

го лексикона национал-социалистов. Можно с большой долей вероятности утверждать, что написан этот текст в известных целях. Эйхенбаум никогда не переставал работать, в то время как, скажем, Тинберген побывал в нидерландском концлагере за то, что протестовал против увольнения профессоров-евреев.

Нет, я не отказываюсь выступать на одной трибуне с этим человеком, которого я лично не знаю. Многие его научные достижения неоспоримы, и отвечать ему ни перед кем не приходилось. Но я не обещаю – *cave canem*[74], – что не буду задавать неудобных вопросов, буде потребуется.

[74] Примечания: 74
Берегись собаки (*лат.*).

Больше всего меня беспокоит сейчас непредсказуемая реакция студентов. У меня в стране никого не смущает, когда в участии в разного рода собраниях отказывают правым политикам, шовинистам всех мастей, военным историкам и т. п. Я слышал, что и Ваши студенты выступают все активнее и все громче. Прежде всего я верю в свободу слова. Но не все верят в то, что она действительно есть. Обязательно прочитайте статью Эйхенбаума и поразмыслите над всем этим. Я, впрочем, ни к чему Вас не подталкиваю и ни на чем не настаиваю.

С сердечными пожеланиями,
Хедли

Ник Шайтон по-немецки не читал. Перед ним лежали ксерокопии страниц работы Эйхенбаума «Helder und Herde»[75]. Закралась мысль взять весь документ, спуститься на лифте и поискать копировальный аппарат. Но это слишком рискованно. Он достал ежедневник, переписал немецкий заголовок, выходные данные издания,

---

[75] Примечания: 75
«Герои и стадо» (*нем.*).

дважды перечитал письмо, запомнил фразу «отвратительный лексикон национал-социалистов» и спустился пить кофе к самому концу перерыва.

Когда все снова собрались в зале для совещаний, вице-канцлер отметил, что многого уже удалось достичь. Конференция станет свидетельством того, что новый университет воплощает заложенные его создателями идеи и является особой структурой, сетью, микрокосмом взаимодействия наук и концепций. Ходжкисс смотрел на Вейннобела со смесью восхищения и легкого раздражения: он-то знал, какая картина рисуется вице-канцлеру. Новые замысловатые связи между кровообращением, историей генов, богословскими тезисами и ребусами, языками людей и зверей, плотью, костями, мозгом, мыслями и чувствами. Вейннобел был человеком Возрождения, эрудитом, обладавшим необычной памятью на связь тончайших нюансов в самых разных сферах. И эта его страсть к нюансам распространялась и на планирование университетской жизни. Для него были важны и дизайн стульев, и проектирование дорожек, а также их значение для жизни всего этого мирка. Интересовали его микроскопы и телескопы, вычислительные машины и эстетические теории. Ходжкисс часто

думал о том, что такие, как Вейннобел, наивные идеалисты не понимают, что вселенной управляют грубые силы, которым нет дела до его знаний и взглядов, — эти силы относятся к ним настороженно. Как и большинство вице-канцлеров, он не знал, что многие из его коллег либо рассматривают конференцию как возможность продвинуться по службе, либо раздражены из-за того, что область их научных интересов и политическая конъюнктура остались без внимания. Все это он замечал, только когда ему указывали.

Ник Шайтон напомнил: кажется, надо иметь в виду, что студенты сильно обеспокоены непосильностью четырехлетней программы, включающей множество дисциплин. Им — многим из них — не нравится заниматься математикой и языком. Не тянут.

Ходжкисс ответил, что всегда готов с ними это обсудить.

Зашла речь и об Антиуниверситете. Он разрастался. Дома на колесах и палатки занимали уже два поля. Шум-гам не прекращается: музыка, барабанный бой. Все чаще туда на лекции забредают студенты университета — особенно на те, где говорят о проблемах пола, астрологии и анархии. Откуда тут взять время на математику

и языки.

— Закона они не нарушают, — возразил Вейннобел.

— Формально — нет, — отозвался Ходжкисс. — Те первые домики, в которых они расположились, стоят на территории университета. А вот рисунки и листовки на стенах — насчет них не знаю.

— Кому и знать, как не вам, — встрял Лайон Боумен.

Ходжкисс хотел было сказать, что провоцировать администрацию университетов на вызов полиции — уже проверенная тактика. Но решил смолчать. Ведь, кажется, именно ему, декану по делам студентов, следует быть более бдительным в отношении всего, что происходит как на территории университета, так и на соседних фермерских землях, и что может быть расценено как угроза здоровью или внезапно привлечь внимание полиции.

— Что ж, похоже, мне надо совершить визит вежливости, — сказал он.

— Но так вы автоматически признаёте их право там хозяйничать. — заметил Боумен. — Хотя многое зависит от того, что вы им скажете.

— Они действительно пользуются правами на вселение, — сказал Шайтон.

— Это они так считают? — спросил Боумен.

Шайтон не ответил. Боумен спросил, как к этому относится владелец соседней земли.

— Земля принадлежит мистеру и миссис Ганнер Нигби, — отозвался Ходжкисс. — Мистер Нигби покинул страну, скрываясь от правосудия. Миссис Нигби до недавнего времени находилась в больнице. Сейчас она — член терапевтического сообщества, располагающегося в ее собственном доме, Дан-Вейл-Холле. По поводу заселения ей писали, но ответа, насколько мне известно, не было. Земля эта никогда не использовалась, хотя время от времени туда забредают овцы, и ее, и чужие.

— Нам просто надо быть бдительными, — заключил Вейннобел. — И пока все.

— Когда им наскучит наше попустительство, — натянуто улыбнулся Ходжкисс, — они снимутся с лагеря и двинутся дальше.

Шайтон, озадаченно смотревший на Вейннобела, почувствовал, что здоровая неприязнь к Ходжкиссу вернулась, и виной тому был писклявый смешок, которым тот сопроводил последнее замечание.

Антиуниверситет тем временем и правда стал настоящим лагерем. Кто-то раздобыл — украл или одолжил — два больших шатра, какие обыч-

но арендуют для свадеб или цветочных выставок. Один выкрасили в кроваво-красный цвет и обвесили флагами с изображением серпов, молотов и маленькими латунными колокольчиками. У входа была табличка: «Шатер Мао и Маркса». Там же висел плакат с изображением Че Гевары. Внутри пространство было разделено на несколько зон: зал для выступлений («Приходите со своими стулом, табуретом, подушкой, ковриком») и несколько маленьких отделов для дискуссий. Второй шатер был аляповато разрисован психоделическими цветами — экзотическими и оранжерейными: розовые, лиловые, лазурные, оранжевые, цвета банана и цвета лайма. Над входом висела доска, любовно расписанная Деборой Риттер, на которой сообщалось, что это «Образовальня космоэмпатической мудрости». Шедевр этот (украшенный цветами лотоса и огромными безучастными глазами) был покрыт граффити, сплошь и рядом заявленное название опровергающими: Ничемучитьнельзя, Мудростьничто, Космослишьпесчинка и — даже — Эмпатиянасилие.

Стены Образовальни представляли собой переносные холщовые и бумажные ширмы с росписью. Все было завалено матрасами, бархат-

ными подушками и индийскими покрывалами, имелись круглый помост для музыкантов и куча подушек для слушателей, были стойки вроде ярмарочных киосков, где можно было узнать о биотической диете и буром рисе, где менялись пластинками, а опытный мастер раскрашивал руки, волосы и другие части тела хной. Повсюду плавающие свечи в чашах и ведрах, висячие медные лампы с красным стеклом. Оба шатра отапливались хлипкими примусами. Пахло керосином, благовониями, карри, но и нечистотами (этот запах в анти-университетском городке проникал всюду).

Ежедневно на досках у входа в шатры и на дверях домиков, в которых проживал «костяк» («администрацией» они называть себя не хотели, да и слово «комитет» многим было не по нутру), появлялись объявления о лекциях. Добрая половина из них, правда, отменялась, а некоторые длились не больше минуты: «Если вы думаете, что от меня что-то узнаете, раскиньте мозгами». Но некоторые продолжались по четыре-пять часов. Слушателей бывало то двое-трое, то полсотни.

Частенько случалось — дело было зимой, шел дождь или снег, — что расписания собраний

стекали струйками чернил или разлетались по деревьям и кустам (с которых никто не считал нужным их собирать). Деревья и кусты были также увешаны блестящей рябью полиэтилена, зыблющегося, как тени призраков, или тускнеющего, как рыцарские вымпелы. Некоторые из мистически настроенных участников Антиуниверситета считали, что эти бесцветные лоскутки сродни тибетским молитвенным флажкам. Другие находили их уродливыми и считали наглядным олицетворением пережитков капиталистического расточительства. Но принести лестницу и снять никто не додумался.

Шайтон и Мэгги Крингл брели под дождем, по вязкой грязи, между большими и маленькими палатками, деревянными хижинами и кусками мешковины. На Мэгги Крингл была мини-юбка клубничного цвета, облегающий синий джемпер с пришитыми к нему серебряными и голубыми звездами и прозрачный плащ с капюшоном, тоже мини, который обтягивал ее клубничные ягодицы, венчающие темно-сливовые, цвета незабудки, и покрытые гусиной кожей мясистые ляжки, которые, в свою очередь, венчали пару узких белых и заляпанных грязью сапог. Ее волосы под капюшоном превратились в спутанную

шевелюру горгоны Медузы. Шайтон, следуя за ней, подумал: «Мини-юбки не для такой фактуры». Мэгги Крингл, студентка второго курса, была избрана, потому что вице-канцлер решил, что два представителя от студентов лучше, чем один, — так они будут чувствовать себя свободнее и опять же обсуждать все проекты и дебаты насчет них будут вместе. Шайтону же Крингл только мешала. Добро бы поддерживала — она всё его оценивает. На заседаниях комитетов она никогда не высказывала своего мнения, а только сидела и теребила разные части своего тела, то скрещивая, то раздвигая ноги. Все лицо в макияже, тщательно подведенные глаза, темно-коричневые румяна. Под всем этим скрывалось маленькое, соразмерное лицо с умными серыми глазками, которые он никогда по-настоящему не видел из-за накладных ресниц и низкой челки. Но он заметил, что она все время поглядывает на Джонти Сёртиза. Как легавая в стойке, подумал он, когда они вошли в один из домиков.

При входе висели написанные от руки объявления:

Мысль Мао Цзэдуна – гениальный мыслитель, пламенный поэт и государствен-

ный муж

Верная теория есть факт, потому что она верная

Продолжаем изучать буржуазную идеологию: критика британской философии и экономики

И увидел я новое небо и новую землю. Где молодым, которым опротивели меркантилизм и узколобость взрослых, искать реальность? Изменим умы. Буквально! И мысль изменит материю. Это возможно. Приходите

Знаки зодиака и их эзотерический смысл. На этой неделе – СКОРПИОН. Частные консультации по раскладу Таро, Ясновидение и защита от дурного глаза

Последним Мэгги Крингл заинтересовалась. Остановилась почитать, Шайтон ждал. Давай заглянем, послушаем про Скорпионов, сказала она; я как раз Скорпион. Шайтон с равнодушным видом согласился. Ему хотелось взглянуть на Еву Вейннобел.

Атмосфера в домиках на Гриффин-стрит и возбуждала бесцельной энергией, и усыпляла дымом курений, видом валяющихся повсюду

тел и непрерывным потоком речи. Там и тут были разбросаны груды бумаги, желтой и фиолетовой, плакаты и брошюры, машинописные и рукописные документы. Все это вперемешку с эмалированной польской посудой, алой и темно-синей, с недоеденным карри, очистками и огрызками. Стояли два примуса, и, когда Ник и Мэгги вошли, угрюмый огонь за решеткой извергал дым, было и душно, и одновременно сквозило. Трещала пишущая машинка: это Грег Тод писал статью о подспудной идеологии в британских исторических трудах. Брякнул половник: это Дебора Риттер готовила суп в большой алюминиевой кастрюле. От ее варева шел крепкий аромат абрикосов и тмина. На Тоде было тартановое одеяло, похожее на плащ, и малиновая вязаная шапка. Вальтраут Росс спорила с Джонти Сёртизом. Обрывки слов и фраз журчали в воздухе, будто скабрезные заигрывания, которыми, возможно, и были. Грег Тод время от времени беспокойно поднимал взгляд и принимался клацать еще громче. «Культура, чьи догматы изображают самоорганизацию презренной и унизительной», «Гипостазирование статичной концепции свободы, определяемой как свобода от невроза», «Вылечить человека — значит принять бунт или

мученичество», «ложное сознание», «иллюзорный центр нашего „я“»…

— А, Шайтон, — перебил Дебору Джонти Сёртиз. — Пришел поделиться?

Ник Шайтон поежился. Он прекрасно знал, что Сёртиз считает его своим агентом влияния в университете. В катехизисах революционеров Сёртиз прочел, что главное — побудить человека к действию можно, изображая интерес к поставленным перед ним сиюминутным целям (избавление от уроков математики и родного языка, упрощение экзаменов, улучшение библиотеки), а там уж можно использовать в делах более радикальных. Он видел в нем приспешника, рапортующего генералу. А Шайтон понимал, что это не так, и не возражал. Они друг другу полезны. В конце концов, эти антиуниверситетчики действительно могут освободить студентов от оков правил и распорядка!

Но он здесь не только для этого. Он чувствовал дух невообразимых, сокрушительных перемен, который притягивал его, как мощный магнит. Что может произойти, он не знал. Но отступать не хотелось. Он сел, не дождавшись приглашения, и выложил Сёртизу лакомые сведения. Пински считает Эйхенбаума нацистом. Есть выходные

данные компрометирующей статьи. И он пересказал все, что смог вспомнить из письма Пински: «Встречаются некоторые термины из отвратительного лексикона национал-социалистов», «избирательная селекция», «социал-дарвинизм», «евгеника».

— Гадость какая! — фыркнула Вальтраут Росс. — Нельзя его сюда пускать.

— Пински нам тоже не нужен. Его финансирует ЦРУ.

— Наверняка мы не знаем, — заметил Грег.

— Так еще хуже, — не унималась Вальтраут. — Ладно бы в открытую, а так втихаря.

Дебора Риттер отложила половник и присоединилась к разговору:

— Устроим марш протеста.

— Я — за, — подхватил Ник Шайтон.

— Да погодите вы! Время не пришло, — осадил их Джонти Сёртиз и повернулся к Нику Шайтону. — Надо раздобыть копию всей статьи Эйхенбаума и сделать перевод.

— Вот и раздобудь. У тебя есть знакомые в Германии. Я кто: студент, у которого и библиотеки-то приличной нет. Старой немецкой их периодики точно нет.

— Тогда микрофильмы. — Глаза Сёртиза бле-

стели от удовольствия поспорить.

— Хорошо, закажу. Если получится. А они пусть думают, что мы интересуемся. Хороший ход.

— Он прав, — сказал Грег Тод. — Спроси у немцев.

— И потом устроим марш, — стояла на своем Вальтраут.

— Да погоди ты! Пусть они приедут, тогда и выступим. Затаимся, а когда они сюда съедутся, обрушимся как снег на голову. «Критика и критика», как говорил Че, а потом, когда враг предстанет во всей красе, начнем подрывать основы. Развенчаем институции. Разоблачим их испорченность и тлетворность. Да станет Круглый стол сэра Герарда шабашем ведьм!

— А цель? — спросил Ник Шайтон.

Сёртиз улыбнулся. Такой довольной, такой одухотворенной улыбки Шайтон в жизни не видел.

— Сначала — анархия. Затем свободная перестройка. Новое Небо и новая Земля, так сказать.

Мэгги Крингл ответила ему улыбкой. Шайтон собрал волю в кулак и процедил, что его собственные цели скромнее. Но он тоже не хочет принимать людей вроде Пински и Эйхенбаума, окормляемых приспешниками зла или их окормляющих.

— Зло, говоришь… — протянул Джонти Сёртиз. — Но такого слова нет в моем словаре. Признать зло — значит начать создавать новые Небеса и новую Землю после того, как все в этом мире сгорит дотла.

Шайтона передернуло: Сёртиз явно расширил свое сознание химическим путем. Сам он был человеком осторожным. Такие эксперименты — это для тех, кто не ценит самоконтроль. И все же, и все же струйка сернистого дыма, треск невидимого пламени — есть в этом что-то привлекательное. *Что, если* не идти на компромисс, *что, если* разрушить всю эту гнилую конструкцию, *что, если* снести самодовольных сильных мира сего? Он подумал о том, что́ поборники евгеники творили в Освенциме, чем во Вьетнаме занималось ЦРУ; о конной полиции, охраняющей штаб американских войск на Гросвенор-сквер.

— Нечего им здесь делать! — возмутился Грег Тод. — Не пустим, и точка!

— Напротив: пусть приезжают, — сказал Сёртиз. — Будем тише воды ниже травы, тайно спланируем наши действия, а потом разнесем все в пух и прах. И так, чтобы приехали полиция и журналисты: мы им всё расскажем об этих двух и о том, как власти предержащие им содей-

ствуют…

Ник Шайтон заметил, что на конференции обязательно будет телевидение: Эдмунд Уилки собирается все заснять.

— Надо зазвать к нам съемочную группу, — предложила Дебора Риттер. — Расскажем всему миру, что происходит.

К аромату абрикосов примешался запах горелой патоки. Дебора вернулась к стряпне. Сёртиз злобно ухмыльнулся Нику Шайтону.

— Сегодня важный день, — сказал он. — Хорошо сработано, Шайтон. Гляди там в оба. Держи нас в курсе. Супа, кстати, с нами не отведаешь?

Ник чувствовал, что задыхается. Да и не обедает он в это время. Он отказался, сказал, что пора уходить, и увел Мэгги Крингл.

Мэгги предложила одним глазом посмотреть, что происходит в Учебном центре, не говорят ли об астрологии. Это так увлекательно!

— Астрология! Вот чепуха, — буркнул Ник Шайтон.

— Как и почти все остальное, — не сдавалась Мэгги. — А она древняя, и, кажется, часто по делу, и это очень *увлекательно*…

Ник сообразил, что это хороший случай взглянуть, как здесь поживает леди В. Она ведь,

кажется, ахиллесова пята вице-канцлера. Хорошо бы выяснить, чем она тут занимается.

Астрологический отсек Образовальни был залит тусклым палевым светом, проникающим сквозь полотняную крышу, две декоративные серебряные лампы со стеклянными абажурами, временно установленные на чугунных треножниках, разливали вокруг себя кармазинное свечение. Слева от них стоял небольшой чугунный столик в псевдоегипетском стиле, с ножками в виде острогрудых позолоченных сфинксов. На нем располагались земной и небесный глобусы, лежала астролябия, стояли серебряная вазочка с павлиньими перьями и несколько фигурок — кошки, скарабеи, свернувшиеся змеи, кресты-анхи, крылатые вестники и гиппопотам. Он был ярко-синий впрозелень, расписан узором из цветов и листьев. Здесь же лежали различные книги в кожаных переплетах и какие-то пыльные бумаги. Сама докладчица стояла за латунным пюпитром в виде орла с расправленными крыльями. Ножка пюпитра была выполнена в виде чешуйчатого дракона, чьи когтистые лапы сжимали сферу, служившую противовесом орлу. У дракона не было головы, и вообще весь этот впечатляющий экспонат, похоже, был собран

из разных деталей. За спиной докладчицы, на полотняной стене палатки, висела черная карта небес с золотыми знаками зодиака: идущий бочком Рак, свернувшаяся кольцом Рыба, величественный Овен, крепкий Телец, Близнецы в объятиях друг друга, двое в одном. Все было самодельное, но впечатление производило. С пюпитра свисал Скорпион из черного картона с золотыми крапинками, обсыпанный малиновым бисером: хвост занесен для удара, клешни раскрыты. По обе стороны от докладчицы лежали толстые бордер-колли, Один и Фригга: носы на лапах, хвосты в пыли, сонные глаза-щелки. Под столом стояла черная миска с водой, с золотой надписью: «Собака». Запах псины смешивался с запахом благовоний от свечей и палочек в стеклянных горшочках, расставленных по всему помещению.

Когда появились Ник Шайтон и Мэгги Крингл, лекция о Скорпионе уже началась. Аудитория была немногочисленная, но восторженная: несколько молодых женщин со струистыми волосами и загадочными повязками на голове, несколько длинноволосых мужчин в индийских рубахах, двое с ожерельями из колокольчиков на шее и какие-то непонятные субъекты в плащах,

съежившись, словно от непогоды, хотя примусы в шатре распространяли жар, смешанный с собачьим духом и ароматом курений. Некоторые из слушателей сидели на килимах и восточных коврах. Недалеко от входа на принесенном им самим складном стуле сидел этнометодолог Аврам Снитткин: шерсть на воротнике его куртки сплеталась с длинными нечесаными волосами, которые также струились по бороде и доходили до обшитых шкурой чувяков. Он делал заметки, отвлекая внимание от жужжания диктофона, скрытого под его мешковатым нарядом. Губы растянуты в вечной благодушной улыбке. Он занимался одним из своих многочисленных проектов — изучал определения понятия «харизма», даваемые теми, кто считал себя «харизматичным», а также теми, кто подвергался воздействию этой самой харизмы или порождал ее (если она вообще существовала, что было пока недоказуемо).

Ева Вейннобел держалась уверенно. На ней был длинный черный просторный балахон, скрывавшийся под темно-фиолетовым бархатным плащом с огромным, как у киношных ведьм, капюшоном. Очень прямые черные волосы были пострижены бахромой, как на древнеегипетских изображениях, и блестели — то ли сами по себе,

то ли от масел. Губы были подкрашены кроваво-темной помадой, а большие черно-карие глаза смотрели из-под позолоченных век и густых черных бровей и ресниц. Кожа у нее была ровного алебастрового, немного мертвенного цвета. На шее висела тяжелая позолоченная нагрудная пластина на золотых цепочках, обвешанная крошечными колокольчиками и амулетами. Когда она увидела Мэгги Крингл и Ника Шайтона, топтавшихся на входе, то вскинула руки, будто летучая мышь или большая птица, и круговым взмахом пригласила войти.

— Самый страшный, наименее привлекательный, возможно, самый могущественный и поэтичный из всех Знаков…

Добро пожаловать, добро пожаловать, пожалуйста, устраивайтесь на подушке. Беседа наша о непростом предмете — знаке Скорпиона, который из всех знаков — как часто считают — самый несчастливый, и, будь у нас свобода воли, которой у нас, конечно же, *нет*, никто бы не вздумал под ним родиться.

Скорпион — это заскорузлое, жуткое существо с чешуйчатым экзогенным скелетом. Он таится под камнями, обитает в пустынях, а в кончике его хвоста таится страшное жало. Время года,

отведенное мудростью древних для господства этого существа, — это время осеннего убывания солнца, время распада и разложения, не синтеза, но анализа, время превращения живых клеток в мертвые продукты выделения.

Знак Скорпиона — это Водный знак, но он воплощает не текучие вешние воды Рыб, приливы и отливы, источник жизни, и не целованный солнцем океан Рака, лучезарный в середине года, но темные глубины, куда свет почти не проникает и где материя разлагается и обращается в ил и грязь. Скорпионы бегут света, ибо они порождения тьмы. Из-за этой связи с Темными Силами знак Скорпиона всегда считался космическими вратами для сил зла. Он парализует свою добычу жидким ядом, ему чужда гармония других существ, и он пытается жадно удержать то, что имеет, при себе. Характер Скорпиона в человеке чреват большой злобой и желанием упиваться чужими страданиями. Это так, об этом говорили не раз. И вот вопрос: как рожденные под этим темным знаком могут преуменьшить опасности и душевные изъяны, дарованные их судьбой?

Я расскажу вам. Ведь я тоже родилась под знаком Скорпиона и много лет страдала от ощущения того, что путь мой пагубен и пролегает

во прахе. Но есть эзотерические учения, раскрывающие иные стороны этого знака. Они хоть и не отменяют вовсе, но придают немного иной смысл роли этого Насекомого-полубога в нашей личности и жизненном укладе.

Мадам Блаватская в своей «Тайной доктрине» описывает те далекие времена, о которых говорится, что древним были известны лишь десять знаков. Но это относилось только к профанам. Посвященные же всегда знали о двенадцати. Ибо с тех давних пор, когда человечество впервые разделилось на два пола, знак Скорпиона также разделился на два: Скорпиона и Деву, и в тайной доктрине они неразрывно связаны — темный и светлый образы друг друга. Вы возразите, что при таком раздвоении все равно получается одиннадцать знаков. Но есть еще один, совершенно тайный знак. Для профанов, чтобы его обозначить, греки позднейшей эпохи придумали знак Весов — единственный рукотворный, неживой в зодиаке. Сокровенное имя последнего знака я раскрывать не буду. Однако скажу, что для нас, темных Скорпионов, надежда в том, что мы породнимся с чистым светом Девы. Мы связаны, как связаны инь и ян, и одно постоянно рождает другое.

Был в Древнем Египте великий царь по имени Селек, Скорпион, а женская форма Селкет: это имя богини — покровительницы белых колдуний, целительниц той цивилизации. Не случайно я родилась в Египте и носила фамилию Селкетт. Дважды избирали меня богиней Скорпионов. Мы, Скорпионы, — толкователи: наш знак наиболее тесно связан с мистицизмом, интуицией и оккультизмом, сферой могущественного женского разума. Правда, Скорпион также всегда был связан с губительной стороной мужской сексуальности. Форма этого существа, его яд, истекающий из хвоста, служат достаточным напоминанием об этом. Но в мифологии он часто символизирует разрушительность, подчиненную женской силе и мудрости.

Богиня-девственница Артемида послала скорпиона убить охотника Ориона, который вторгся в ее заповедную рощу. Затем она превратила того и другого в созвездия, и Скорпион вечно преследует Охотника на небесных равнинах. Когда Сет-разрушитель зарезал и расчленил Осириса, богиня Исида бежала, и сопровождали ее семь скорпионов… Святой Иоанн называл скорпионами опасные секты, но он не знал их эзотерического значения…

Ник Шайтон отвлекся: не сказать ли жене вице-канцлера, что скорпион — это не насекомое, а паукообразное? Потом шепотом предложил Мэгги Крингл пойти домой. Мэгги заупрямилась. Она сказала, что хочет гороскоп, и они дождались конца лекции. Леди Вейннобел села за свой столик. Слушатели не решались подойти, но и уходить не хотели. И вот к столу подошла Мэгги и попросила составить гороскоп. Леди Вейннобел сказала, что ей придется обратиться к ней в частном порядке: нужно будет записать множество подробностей с точными датами и даже часами.

— Вы, конечно же, Рыбы, — сказала она ей с непререкаемой уверенностью.

— Я… — ответила Мэгги. — Откуда вы знаете?

— В вашем характере чувствуется переменчивость, лабильность. Весенняя мечтательность во взгляде. Мягкость. Отзывчивость. И ваша просвечивающая одежда — тоже для Рыб очень естественно.

— А я? — поинтересовался Ник. К этому моменту он уже закипал, ему хотелось вырваться из этой затхлости. — А я кто?

— Вы спрашиваете резко, а смотрите пристально. Вы — Стрелец.

— А вот и нет. Я такой же, как вы, я Скорпион.

— Едва ли я ошиблась. Когда вы родились?

— Двадцать третьего ноября. Значит, Скорпион.

— Нет. На самой грани, но вы — Стрелец. Разумеется, под сильным *влиянием* Скорпиона, поскольку вы на самом стыке. У вас получится интересный гороскоп. У вас тяжелая животная натура лошади, послушная и покладистая, а голова и руки охотника-воина, которые наносят страшный удар — особенно страшный, особенно коварный из-за соседства со Скорпионом и его тонкого жала. Опасная комбинация: животная страсть и человеческие хитроумные чаяния. Да вы, наверно, и сами знаете.

Ник всегда воображал своих ленивых подопечных из Студенческого профсоюза лошадьми с карикатур Дэвида Лоу, тяжелыми и неуклюжими. Он язвительно улыбнулся:

— Добьюсь я в своих чаяниях успеха?

— Я не *предсказываю будущее*. И я не знаю — потому что, пожалуй, вы и сами не знаете, — каковы ваши чаяния. Но, узнав о них, вы станете грозным. Я угадываю характер. Я не предсказываю события.

Какая-то многозначительная кокетливость преобразила тяжелое бледное лицо: она видела

меня в кабинете вице-канцлера, подумал Ник, она со мной играет. Он внезапно почувствовал угрозу.

— До свидания, — произнесла леди Вейннобел, не успел он и рта раскрыть.

Легкое жужжание ознаменовало конец записи Аврама Сниткина. Чтобы скрыть его, он негромко кашлянул. Ник удалился, уводя за собой Мэгги.

XIX

Как фигура, имеющая вес в студенческой среде, декан по делам студентов чувствовал моральную обязанность и стратегическую необходимость наблюдать за тем, что происходит в анти-институции. По причинам совсем иным, в большинстве своем относящимся к его преданности и привязанности к Герарду Вейннобелу, он знал, что должен следить и за тем, чем занимается и о чем вещает Ева Вейннобел. Знал он и то, что лазутчик и полемист из него плохой. Инстинкты в нем жили глубоко либеральные. На свою должность он согласился отчасти потому, что университетская карьера подразумевала не только научную, но и административную деятельность, а отчасти из желания упростить и прояснить какие-то моменты для студентов. Ему было проще справляться с собственными природными склонностями — ограничениями, запретами, — чем с принципиальным противодействием ради противодействия, право на которое он признавал, но прочувствовал не до конца. Оглядываясь на события первой полови-

ны 1969 года, он задавался вопросом, были бы они другими, если бы в ту пору ему не случилось неожиданно и горячо влюбиться. Именно так он понял свое чувство к Маркусу Поттеру из группы «нематанов», язвительно признавшись себе, что произошло нечто почти невероятное. К последующей бешеной одержимости он был совсем не готов.

Еще со школьной скамьи он знал, что влюбляется исключительно в мужчин. Еще в школе довелось ему это испытать — и романтические отношения, и затейливые, но краткие телесные связи. С тех пор он, не слишком из-за того переживая, жил во внутренней изоляции. Преподавая в Кембридже, он с легкостью влился в гомосексуальное общество, где только и говорили что о содомитских утехах, возникших и оборванных связях и романах. В компании таких мужчин он держался довольно-таки непринужденно, никогда не завязывая интриги и не пускаясь во все тяжкие. Инстинктивно и не без гордости умел держаться середины. Поговорить на эти темы он умел: ловко пошутить, тонко намекнуть, посудачить, вставить словечко. Но от природы — это он про себя понял — он был аскетом, да и красотой не отличался. Он думал, что напрасно

из-за этого так мучается, и даже написал работу о красивых и некрасивых философах, которая весьма позабавила его студентов.

Винсент Ходжкисс считал, что ему, не наделенному ни страстностью, ни смелостью, суждено со временем превратиться в старомодного холостяка. Кроме того, он очень по-английски считал, что аскетизм должен быть ненавязчив, неброск. Носить простую рабочую одежду, пить исключительно воду из-под крана, на досуге изнурять себя пешими походами или, вторя Витгенштейну, обставлять жилище складными стульями и ломберными столиками, выражая мимолетность своего присутствия, — нет, это не его. Он предпочитает защитную окраску: дорогие книжные издания, изящные льняные занавески пастельных цветов, современные стеклянные графины с хорошим вином, узорчатые шелковые галстуки и туфли ручной работы. Он шутил, но старался, чтобы шутки не были злыми. Оставаясь дома в одиночестве — а это происходило гораздо чаще, чем думали его стараниями окружающие, — он вел себя так, будто никого тут нет, никакой личности, просто наблюдающий, управляющий собой интеллект. Можно сказать, что он был развоплощен, но о теле своем не забывал, поддерживал

его в чистоте и хорошем состоянии, ухаживал за всем — от ногтей до зубов, хотя мало кто мог это оценить. Ему нравилось подбивать приятелей строить догадки о том, кого он любит, чем и с кем занимается. В таких случаях он напускал на себя загадочно-чопорный вид, и друзья ласково над ним посмеивались. Интересно, думал он, было ли сексуальным то удовольствие, которое он испытывал, находясь один в своей комнате и мысленно переходя к действиям. Скорее да, но он старался, чтобы до нарциссизма или онанизма не доходило. Хотя и они его интересовали. Порой интересовало его и как переживает то же самое женщина из думающих, но близких подруг у него не было, и узнать наверняка он не мог.

Он был в некотором смысле подготовлен к тому, чтобы влюбиться в Маркуса Поттера: до этого, на протяжении двух лет, он был безнадежно и временами до боли влюблен в Рафаэля Фабера. Старался, чтобы Рафаэль этого не замечал. Сам Рафаэль был аскетом идейным, с прихотливой сверхчувствительностью, частично вызванной тем, что́ его семья пережила в войну в лагерях и оккупации. Но Рафаэль своим аскетизмом очаровывал и искушал. Он был утонченно жаден. Ему нравилось, когда его любили, как мужчины, так

и женщины, хотя он отвечал любовью на любовь лишь урывками, с жестокими перерывами и разрывами. Он любил хореографию флирта: тут отступить, тут продвинуться вперед, поворот спиной, поворот лицом, назад, вперед, шаг вперед, шаг назад, оборот, поворот головы, шаг назад, шаг вперед. Если бы Ходжкисс захотел поиграть в эту игру — а он не хотел, — вышло бы неуклюже. Он использовал свой интеллект, чтобы держать дистанцию, не спешить: дистанция возбуждала пытливую похоть Рафаэля, разжигала его, побуждала действовать. Ходжкисс с томлением глядел на точеные губы Рафаэля, на каскад его прекрасных волос. Он хотел, чтобы Рафаэль был с ним, и поймал себя на неуместной склонности, которую тонко и подспудно прививал ему Рафаэль: видеть в каждом соперника.

Весь этот танец протекал без единого слова. Двое мужчин были приятелями, как и раньше, и должны будут стать ими снова после. Так просто и так цивилизованно. Когда Ходжкисс — отчасти для того, чтобы развеять эти чары, — решил переехать в Северный Йоркшир, Рафаэль проявил нехарактерное для него беспокойство. Он прикасался к своему другу при встрече и расставании, как не делал этого раньше. Однажды

он пришел уже ночью с серьезным вопросом о Витгенштейне и белых пятнах в его биографии, но после разговора задержался и спросил:

— Он ведь спал со своими молодыми товарищами? Ты должен знать.

— С его точки зрения — ничего особенного. Он считал это естественным. Если он и сомневался, то только из-за них: не хотел смущать.

— А ты что думаешь сам?

— Надеюсь, у меня никогда не будет учеников.

— Ты славный, Винсент. А со мной ты бы не переспал?

— Ну, тут будет не до сна, — уклончиво ответил Ходжкисс.

Губы Рафаэля разомкнулись, как клюв у птицы, собирающейся напасть или запеть.

— А ты думал об этом?

— Ты же знаешь, что думал.

— Давай попробуем. Слишком много думать, но не решаться на поступки — для мужчины плохо.

Винсент, помнится, в тот момент сидел у камина. Все его тело напряглось. Он старался не шевелиться и смотрел на своего друга с резонным недоумением.

— И что, по-твоему, из этого выйдет?

— Не знаю. Наверное, поэтому мне и интерес-

но.

— Все знают, — сказал философ, — что удовлетворение желания есть конец желания.

– *Omne animal post coitum triste*[76] и все в таком духе. Разве посткоитальное умиротворение этого не стоит?

— Ну что же, — отозвался Винсент и шутливо, и злобно. — На что не пойдешь ради толики умиротворенной посткоитальной грусти.

После такого Рафаэлю следовало бы взяться за дело, но он не взялся. И Винсент, нетерпеливый, неловкий, разгоряченный смущением, непонятным гневом и слепым желанием, начал суетливые ласки, о которых по сей день вспоминал со стыдом и тревогой. Когда все закончилось, он обнял прекрасное в свете камина тело Рафаэля, поцеловал его в ключицу и произнес:

— Этого не должно было произойти.

Тонкие губы Рафаэля коснулись его лысины — той части тела, которая ему больше всего не нравилась, — а пальцы Рафаэля бегали по выступающему животу — еще одному постыдному месту.

— Знаю. Помрачение нашло. Не будем больше

---

[76] Примечания: 76
После соития всякая тварь печальна (*лат.*).

об этом вспоминать, хорошо?

— А я ведь был готов тебя убить, Рафаэль Фабер.

— Ну вот еще! Ты еще скажешь спасибо, вот увидишь.

Так и произошло. Он снова обрел себя, снова скрыл свою наготу. Желание, удовлетворенное, истаяло.

Так что же такого было в Маркусе Поттере? Ходжкисс был хорошим учителем. Он гордился своей способностью неожиданно выявить целый спектр интеллектуальных способностей у косноязычного студента, умением додумать наполовину изложенную идею, перефразировать ее, дополнить, чтобы студент потом развил ее как свою, разглядел, куда она ведет. Он не был учителем эффектным, как, вероятно, Сократ, как, несомненно, Витгенштейн, целеустремленный, непоколебимый, при всем своем самоумалении. Ходжкисс был наблюдатель. Больше всего он радовался, наблюдая за тем, как другие учатся ясно мыслить. В отличие от Витгенштейна, он не любил особенно наивных и послушных. Ему нравились растерянные, затаившиеся, даже безнадежные. В группе «нематанов» он внимательнее прочих присматривался к необычному

и своенравному интеллекту Маркуса Поттера. Наблюдал за его математической проворностью и умением воплощать мысль, за случайными взволнованными движениями его бледных, почти прозрачных, неловких рук, за тем, как свет и жизнь появляются и исчезают за мутными кругляшками его очков.

Потом он увидел, как разум Маркуса отливается в его теле. Несвязная череда жестов, бледная бесплотность, будто обитатель тела сам не уверен, что существует во плоти, в пространстве. Он увидел сутулые худые плечи, очертания длинных, нескладных ляжек под невзрачными брюками, движение, которым длинные пальцы пробегали по жидким, неброским волосам, по, как видно, нецелованной щеке, повернутой в смущении или из скромности, трепет белесых ресниц, окаймлявших светлые невидящие глаза. Он хотел помочь ему двигаться с легкостью: его неловкость казалась Винсенту изящной формой грации, но не свободой, и он хотел, чтобы Маркус стал *легким*, хорошо ощущал себя, как говорят французы, в собственной шкуре. Не надо ему съеживаться. Когда с ним это началось и почему?

Единственное, что Винсент Ходжкисс знал о семье Маркуса Поттера, — это то, что он брат той

напористой Фредерики, и этот факт его искренне удивлял. Фредерика ему не нравилась, он считал ее развязной, вульгарной и тщеславной. Рыжая, сухопарая, но думает, что обладает сексуальной энергией. Куда привлекательнее увядающая утонченность ее брата. Винсент Ходжкисс придумал о сестре и брате историю в духе Фрейда: Фредерика всегда требовала места под солнцем, тепла и внимания, мнила себя умной, а свои интересы ставила выше всего. Должно быть, родители в это поверили. Он не знал о погибшей Стефани, и в его сказке места ей не нашлось. Не знал он и о причастности Маркуса к ее смерти.

Знал же он — наполовину благодаря интуиции, наполовину благодаря способности восстановить что-то из мимолетных проговорок Маркуса, — что однажды некий мужчина против его воли сблизился с ним. Почему Маркус этого не хотел? Может, нет у него к этому склонности? Или есть, но он испугался? Как это сказалось на отношении его искусителя к себе? Как поступить ему, Ходжкиссу? Соблазнять или признаваться в любви он не умел. Лучше всего делать то, в чем он знает толк: учить, прислушиваться, уделять все свое внимание — и смотреть, что из этого выйдет.

Один из клочков бумаги, парящих между Зикку-

ратом и Башней Эволюции, сам выбрал декана по делам студентов: перелетев через лужу и поднявшись вверх, испачканный в грязи, он приклеился к его груди. Афиша анонсировала «плюралистическую беседу» с Грегом Тодом и Вальтраут Росс. «Британская культура инертна. Почему? Чем чреваты мысли исследователей обыденного языка, особенно Витгенштейна? Почему у нас нет социологов? Радикальная критика…» Афишка была напечатана алым цветом на тусклой телесно-розовой бумаге. Ходжкисс решил, что пора пойти и послушать. Маркуса Поттера он позвал с собой. Не только же по ресторанам его водить. Маркус немного оторопел. Ходжкисс объяснил, что он нужен ему для прикрытия. Надо слиться с аудиторией. Маркус ответил, что сливаться не умеет. Ни с чем. Да и в британской культуре не разбирается, даже инертной.

— Мне нужна моральная поддержка, — сказал декан.

— Это не про меня. От трудностей я обычно убегаю — любых трудностей.

— Вот именно. Ты выглядишь совершенно безобидно. Прикрытие, я и говорю.

У него сложилось впечатление, что до него никто и никогда не обсуждал Маркуса с Марку-

сом. На бледном лице мелькали сменяющие друг друга выражения беспокойства и сдержанного удовольствия.

Они отправились в Образовальню, оба в плотных однобортных полупальто с надвинутыми на глаза капюшонами. Ходжкисс, теряющий голову от любви и почти увлеченный этой вылазкой, представлял, что они хоббиты, надевшие эльфийские плащи, а потом, когда они проходили вдоль ряда полотняных палаток, источающих тусклый свет, озаренных сиянием свечей, наполненных до отказа звоном колокольчиков и прерывистым дыханием флейты, он вспомнил о Христианине и Верном, пробирающихся через Ярмарку Суеты[77].

Они прошли мимо палатки Евы Вейннобел. Из благовонного сумрака доносилось ее мурлыканье:

— Овен — воинственный знак. Он обладает победоносной энергией и безграничной уверенностью в юности года. Овен отталкивается от земли, но прыгает в небеса. Это не грузный Бык, который твердо стоит на тяжелых копытах в

[77] Примечания: 77

Отсылка к сюжету романа-аллегории английского писателя Джона Беньяна (1628–1688) «Путешествие Пилигрима в Небесную страну».

грязи и перегное. Овен огненный и горячий, он брызжет светом своего золотого руна…

Над другой палаткой висел плакат: «Рождение трагедии из духа музыки»[78]. Внутри группа музыкантов играла помесь чего-то восточного и джазового. На них были позолоченные маски. В центре сидел Пол-Заг в тунике, покрытой пламенеющими блестками, и серебристых чешуйчатых брюках. Белокурые волосы колыхались. На нем была полумаска с козлиными рогами, тоже позолоченная.

Наперерез им пробежал ребенок со всклокоченными волосами, обвешанный бисерными бусами. За углом стоял киоск с бумажными яблонями, бумажными гусями и воротами из фанеры. «Сад матушки Гусыни. Истории для детей, вечных детей и впавших в детство, для уставших быть взрослыми, простаков и мудрецов. Нет конца без нового начала». Внутри Дебора Риттер, сидя в кресле-качалке, читала вслух:

И тут Артегалл услышал голоса невидимых тварей. Дрозд-задавака все говорил, все бранился. Но сквозь журчанье его речи донесся до Артегалла

---

[78] Примечания: 78

«Рождение трагедии из духа музыки» (1872) — трактат Фридриха Ницше, исследующий борьбу между двумя типами эстетического переживания, аполлоническим и дионисийским.

шепот жуков, крошащих в труху мертвое дерево, шипенье пауков, плетущих свои тонкие тенета, бормотанье мух, бестолково снующих близ этих шелковых нитей. Услыхал он медленные, холодные речи слепых извилистых червей, пролагавших ходы в слежавшейся прели. Услыхал, как выползают на пригреве из раковин скользкие улитки, как от голода плачет крохотная личинка в муравейнике…

Маркус заметил, что здесь запах как в канализации. Ходжкисс, не поднимая головы, пробормотал, что это и его забота. Хотя часть земли относится к Дан-Вейл-Холлу.

Маркус нахмурился.

Ходжкисс спросил, знает ли он, что там происходит.

Маркус неохотно ответил: кое-что очень серьезное и религиозное. Он вспомнил Лукаса Симмонса и рассказал, что там его знакомая, девушка по имени Руфь.

— Я за нее беспокоюсь, — добавил он не слишком убедительно.

Лицо Лукаса Симмонса, румяное и улыбающееся, как солнце, поднялось над краем его мысленного горизонта, но Маркус отогнал это видение. Он вздохнул. Ходжкисс ничего не сказал.

«Плюралистическая беседа» шла в «Шатре Мао и Маркса»: собралось человек тридцать пять, некоторые, если не большинство, учились у Ходжкисса. Аврам Сниткин все так же сидел на своем стуле в углу и мягко улыбался. Там же стояло несколько школьных скамеек. Ходжкисс и Маркус сели рядом, сзади, с краю. Маркус нахохлился, стиснул свои тонкие руки коленями и стал похож на отдыхающую летучую мышь. Винсенту Ходжкиссу привиделся его скелет, прозрачная слоновая кость.

Тод и Росс вели беседу отработанным контрапунктом. Каждое слово — дротик, подумал Ходжкисс, метит в конкретную цель. Тод обвинял британцев в том, что они выдают инертность за эмпирический скептицизм. Британцы уклоняются от концепций, а значит, и от самого мышления. История, подхватывала Росс, уберегла британцев от идеи революции, изолировала их от нее. Со времен Гражданской войны XVII века — никаких беспорядков. Капиталисты, буржуа и оставшиеся аристократы сговорились убедить рабочий класс в том, что перемены невозможны и нежелательны. А вот современная французская философия только и делает, что создает условия для появления новых концепций. Англичане же отрицают

и их необходимость, и их возможность.

Слово снова взял Тод. Взгляните на современную британскую философию. Ученик Витгенштейна, Уиздом, считает мудростью утверждение, что философия начинается и заканчивается трюизмами. Умник-разумник Остин превозносит простой язык, здравый смысл как хранилище накопившейся мудрости. Не уточняя, о чьем именно языке идет речь, он тем самым самодовольно одобряет существующее положение вещей. Витгенштейн бежал из Европы, от ее потрясений, чтобы просиживать штаны в богатом британском университете, играя в языковые игры, которые одобряются, потому что предполагают существование неизменного набора идей и неизменного социального контекста, управляющего ими.

В Британии, продолжала Вальтраут Росс, «обыденный язык» маскирует намерение обскурантов свести все проблемы к застольной болтовне, теннису и пасьянсам, гипотетическим носорогам[79] и «общей идее яблока». Люди страдают, живут в оковах механического повторения, голода, скуки.

---

[79] Примечания: 79

Имеется в виду логический спор между Б. Расселом и Л. Витгенштейном. Последний утверждал, что не может быть ничего очевидного. Рассел ответил, что ему очевидно, по крайней мере, что в комнате сейчас нет носорога. Витгенштейн с ним не согласился.

Они не верят, что перемены возможны, потому что не знают, что язык — это *оружие,* которое нужно использовать для революции, для подготовки к свержению системы…

Несколько студентов Ходжкисса бурно зааплодировали. Один сказал, что пришел изучать философию, чтобы понять добро и зло, любовь и смысл жизни, а застрял на семантике крикета и рецептах рыбных блюд. Грег Тод одобрительно похлопал. Он посмотрел на Ходжкисса, и тот понял: Тод с самого начала его узнал.

— Вот вы, — сказал Грег Тод. — Что думаете вы?

Несколько студентов обернулись и увидели Ходжкисса.

— В том, что вы говорите, что-то есть, — ответил Ходжкисс.

— «В том, что вы говорите, что-то есть!» — воскликнула Вальтраут Росс, передразнив оксфордский выговор Ходжкисса. — Какая прелесть эта английская терпимость к чужому мнению!

Ходжкисс встретился с ее холодными серыми глазами и увидел, что она пылает ненавистью. Безличная ненависть, которая все больше становилась личной.

— Вам здесь не место, — сказала Вальтраут

Росс. — Уходите.

— Мы живем в свободной стране, — невольно улыбнулся Ходжкисс.

— В том и дело, — сказал Грег Тод. — Что страна эта несвободна. Не свободная и не справедливая. Кто не с нами, тот против нас.

— Хорошая дискуссия, — не сдавался Ходжкисс, — это образец того, как можно соглашаться и спорить, не прибегая к насилию.

— С вами нам спорить не о чем, — отрезал Грег Тод. — У нас есть дела поважнее.

Среди студентов прокатился угрюмый ропот. Ходжкисс внезапно осознал, что Маркус сильно переживает происходящее. Вид у него был растерянный. Еще выставлю себя в глупом свете, подумал Ходжкисс. Он встал, сказал Маркусу: «Пойдем» — и вышел из шатра. В спину ему почти кричала Вальтраут Росс:

— Власть имущие вечно твердят о «свободе слова»! Свобода слова — опредмеченная и искаженная абсолютная ценность. Они используют ее, чтобы подавить сомнение, привести все убеждения к одному знаменателю, хотя на самом деле есть реальные, неотложные и *правые* дела. Свобода — это не свобода молоть языком, вместо того чтобы действовать. Свобода — это перемены, а

перемены — это действия!

В вегетарианскую забегаловку Образовальни заходить не стали и вернулись в Блесфорд. Пошли в «Око Аргуса», заказали сосисок с пюре и сели в привычном углу. Ходжкисс был весь на нервах. Стоит ли что-то делать с этими бунтарями, и если да, то что? В конце концов, они ему только нагрубили, а грубость, по его либеральным канонам, — не грех, а только поступок. Кроме того, он плохо соображал из-за близости Маркуса. Тот пил шенди[80] и молчал.

— Разумеется, насчет Витгенштейна они заблуждаются, — сказал Ходжкисс. — Кембриджского образа жизни он не выносил, и по тем же причинам, что и они. Он был аскетом и человеком крайностей. Во время войны он работал в госпитале, а затем лаборантом. Внес важный вклад в изучение последствий травматического шока от бомбежек. И начал он, конечно же, с обыденного языка. Он предложил не использовать слово «шок», которое, по его словам, не было диагнозом: оно ничего не *значило* и лишь затушевывало проблемы, на которые следует обратить внимание.

---

[80] Примечания: 80
Шенди — коктейль из пива с лимонадом.

Маркус заметил, что Витгенштейн, похоже, был человеком незаурядным и добрым. Ходжкисс расценил это как попытку поговорить с ним о том, что его интересует.

— Он был добрым — почти святым — и совершенно невообразимым. Он влюблялся в молодых людей — как правило, очень умных, которые понимали, что он говорит, но также, что характерно, в довольно невинных юношей, восприимчивых, учеников по натуре. А потом он управлял их жизнью как деспот-моралист, призывал работать на фабриках или в мастерских, потому что такая работа чиста и незапятнанна — с моральной точки зрения…

Маркус отдернул руку от вилки, которую собирался взять. Ходжкисс, слегка вздрогнув, продолжил:

— Странно, ведь Тьюринг, еще один гений, о котором я тогда рассказывал, когда мы занимались математикой, был таким же. Он пытался изменить себя. Во время войны он обручился с женщиной, криптологом. Он показывал ей сосновые шишки, рассказывал о Фибоначчи. Но он с ней порвал. Молодой человек, с которым он, так сказать, подружился, его ограбил, а когда Тьюринг сообщил об этом в полицию, к уголов-

ной ответственности привлекли его самого. За растление.

Маркус молчал. Ходжкисс, чувствуя, что губит себя, решил заполнить молчание своими мрачными и честными мыслями:

— Его, конечно же, признали виновным. Был выбор между тюрьмой и добровольной гормональной терапией. Чтобы укротить его сексуальные позывы. Напичкали эстрогеном. Женский гормон, ты наверняка знаешь. Он растолстел, у него выросла грудь. Он шутил, что он Тиресий, андрогин, но, по-моему, потому он и помешался. Перестал ясно мыслить.

Ему вновь явилось видение: изящный и добродушный мальчик отплясывает среди канатов на крыше.

— Он, наверно, испытал что-то вроде стресса, который, как говорят, испытывают женщины перед менструацией. Только у него это было постоянно. Он покончил с собой. Съел яблоко, обмакнутое в раствор цианида. Это было в пятьдесят четвертом году.

Маркус по-прежнему молчал.

— У него была гипотеза о формировании регулярных пятен, полос в естественных образованиях. Шкуры зебр, глазки' бабочек, павлиньи перья,

рыбы-ангелы. То, о чем мы недавно говорили, — райские сады. Он думал, что эти формы создаются физическим взаимодействием двух веществ: одно течет или расширяется, другое — которое он называл «ядом» — химически подавляет его.

— Я о чем-то подобном размышлял. Там очень сложная математика.

Голос Маркуса был чистым, бесцветным.

— Неправильно это — считать свое естество противоестественным. Или неприемлемым.

Маркус поднял голову и встретил взгляд Ходжкисса. Он приоткрыл рот, а потом снова закрыл. Сам Витгенштейн не нашел бы слов, чтобы описать цвет его волос или глаз — они не имели цвета. Дай мне знак, мысленно умолял Винсент Ходжкисс, чувствуя, как на ключицах, в паху и на груди проступают бусинки пота. Но зачем начинать с таких историй, будто хочешь расстроить все, не дав отношениям начаться.

— Сейчас другие законы, — сказал Маркус, слегка отодвигаясь от Ходжкисса.

— Прошу прощения, — произнес Ходжкисс на обыденном языке.

— Не за что, — ответил Маркус вежливо и быстро. — Как подумаешь о сложности птичьей раскраски, о радужных переливах, о крючках и

глазка́х, об узорах, которые образует множество перьев на птичьем хвосте…

— Еще шенди?

— Нет, пожалуй.

* * *

Стоял весенний день. Нет, не на темной возвышенной пустоши, но чувствовался он в розовой дымке почек на серебристых березах, в зелени темных сучьев терновника, в первых белых цветах на нем в лесу ниже в долине. С фермерского двора стала видна шагающая фигура — там, на гребне, черном и твердом, а вокруг гуляет ветер. Голова задрана — черный диск на фоне голубого неба, — руки время от времени вздымаются: как рукава у пугала, подумали одни, как у жреца, приветствующего солнце, подумали другие. Развевающиеся черные юбки выписывали прихотливые фигуры, задирались и снова опадали. Выше пронеслись, изо всех сил хлопая крыльями, черные вороны. Фигура кружилась и махала руками в начале дан-вейловой тропы, а потом как будто слилась с тропой и исчезла.

В лесу, все еще по-зимнему голом и сажисто-черном, было полно жухлой листвы, жухлого папоротника, но из него тянулись побеги серова-

то-синих колокольчиков — точь-в-точь мужчины и женщины в капюшонах, — а кое-где и анемоны. Из подлеска доносились треск и шуршание. Это разбегались полуодичавшие куры: оперение запачкалось, шеи, некогда общипанные до крови, теперь опушились. Если эти существа произошли от диких птиц, то в зарослях, где жили их предки, они были легкой добычей: шорох их чешуйчатых лап и неуклюжие шараханья вмиг привлекли бы хищника. И правда, на тропе валялись кости, когти и разбросанные потроха — свидетельства того, что многие из них были убиты и — по крайней мере, частично — съедены. Они наперебой кудахтали и тревожно смотрели из зарослей глазками с желтым ободком. Две собаки бросались на них с остервенением, но куда таким толстякам за ними угнаться. «Кыш, кыш!» — презрительно кричала леди Вейннобел. Она прошла, разогнав выводок золотистых цыплят. Дальше в зарослях закулдыкал и поднял иссиза-зеленый блестящий хвост индюк. Один и Фригга ретировались. Когда они дошли до конца тропинки, путь им преградили белые гуси с высоко поднятыми головами, длинными, круто изогнутыми шеями. Стая зашипела. Леди Вейннобел остановилась и крикнула: «Кыш!», но уже не так уверенно. Из дома вышли

Клеменси Фаррар и Пол-Заг, и Клеменси, мурлыча что-то успокаивающее, разбросала гусям зерно.

— Охраняют нас.

— Вы весталки? — с полной серьезностью спросила леди Вейннобел.

— Не то чтобы. У нас здесь община.

— Я знаю, кто вы. И пришла к вам.

Как будто предложение нужно было закончить. Пришла вас повидать. Пришла у вас учиться. Но остался обрубок.

— Не могли бы вы как-то… приструнить ваших собак, взять на поводок? Они распугивают уток и голубей.

— Насилие им не требуется. Они слушаются приказов. Один, Фригга, не трогайте птиц! Ко мне!

И те, подбежав, улеглись замаранными в грязи брюхами у ног Клеменси и оскалились в собачьей улыбке.

— Чем могу служить? — спросила Клеменси привычным пастырским тоном.

— Я слышала, что вы привечаете всех, кто в поиске. Я — астролог.

— И серьезный астролог, — вмешался Пол-Заг. — Я был на вашем выступлении.

— Я не выступаю. Я общаюсь. Я учу.

— Прошу прощения. Не так выразился. Это я там выступаю. Таков *мой* путь.

— Я вас тоже видела.

— Чаю? — предложила Клеменси. — Милости просим. Мы рады всем. Чай сейчас заварю.

Один и Фригга всполошили целую стаю голубей, в которую затесалась утка со встрепанной шеей. Леди Вейннобел сдвинула брови, и Клеменси решила строить дальнейший разговор не так, как сначала задумала. Она наклонила голову и прошла в низкую дверь, ведущую в Дан-Вейл-Холл.

XX

От Элвета Гусакса Перту Спорли

Огромное спасибо за содействие с выпиской Джошуа Маковена (он же Джош Агниц) и Люси Нигби. Теперь все перевернулось с ног на голову: она – хозяйка, а он – средоточие того причудливого мира, в котором я оказался. Люди нашей профессии оптимистами не бывают и с подозрением относятся к… как сказать точнее? Не экстаз, не упоение, хотя есть что-то общее с кислотными состояниями, в которых я пребывал вместе с Загом. Это чувство надежды и благополучия. И при этом я, старый циничный врач-душевед из безнадежной кромешности, я боюсь, что, как и всякое счастье, оно недолговечно. Все мы – каждый на свой лад – истово молились о преображении, и вот теперь мы трепещем у самого его края, и нам страшно. Ибо что делать преображенной душе в оковах пространства и времени? Как нам коротать бесконечные дни? Мы

еще не добрались до конца пути, чему я рад, ибо не готов. От моих пальцев все еще разит табаком, от подмышек и паха исходит привычная животная вонь, я не идеален. Молясь, я вторю святому Августину: «Господи, даруй мне умеренность и целомудрие, но не сейчас». Не сейчас. Я боюсь света, который мельком вижу, как мужчина может бояться растратить свое семя в бесконечно затягивающемся оргазме. А что потом? Что потом? У Донна есть стихотворение, которое я использую в работе со своими так называемыми пациентами (а многие из них были, как я теперь понимаю, из этого приграничья). Знаете ли Вы его? Называется «Лекция о тени» (очередной пример того, как убежденного фрейдиста неминуемо засасывает в мир К. Г. Юнга). В ней описан механизм аффективных отношений, схожий с тем оргазмическим подъемом, о котором я только что рассуждал.

Любовь растет, пока в зенит не станет,

Но минет полдень – сразу ночь

нагрянет[81].

Противоположности манихеев и правда существуют. Свет. Мрак. Все мы стремимся к Свету. Но что дальше – вспыхнем и развеемся, как клубы дыма? И ведь думаешь иногда, что так все и будет.

Хотя, быть может, мы достигнем такого состояния, в котором жизнь, даровав нам ослепительное просветление, станет терпимой и даже необходимой. Первые симптомы описать трудно. Один из них – чувство, которое вроде есть у каждого из нас – у одних возникает урывками, у других постоянно, – чувство, что мы – не отдельные существа, а единое Бытие. Квакеры к этому уже были подготовлены, с их-то «духом собрания». Рушатся стены, мы выбираемся за пределы собственной кожи, движемся в чудесной синхронистичности, и не важно, работаем мы, или поем, или танцуем, или слушаем, или сидим в прозрачном безмолвии. Знаю, когда пробуешь выразить все это сло-

[81] Примечания: 81
Перевод Г. Кружкова.

вами, получается фальшь. Но *так оно и есть.* Другой симптом, который я заметил – и многие из нас отмечали, – это когда мы воспринимаем повседневное как преображенное. Как бы Вам объяснить? Я накрываю стол к завтраку – скажем, сегодня, моя очередь, – и вот я смотрю на вилки и ложки, как они блестят на свету, на овалы ложек, зубцы вилок – все поражает меня, все кажется утонченным и совершенным, как будто я художник, вычленяющий те формы, которые создает свет, и потом собирающий их вновь – увиденными *в свете* – бесконечно удивительными. Меня изумляет поверхность надломленного хлеба, зернистость, надлом, мягкость, то, как мой язык воспринимает приятный вкус. А вид из окна? Невыносимое откровение. Прелесть неровного стекла, пузырьки, струйка дождевой воды, беготня белых птиц во дворе, темная линия края пустоши, невыносимое разнообразие синевы неба. Я знаю, что остальные ощущают все так же, почти всегда. И мы об этом разговариваем. Гидеон Фаррар и его су-

пруга, как обычно, готовят угощение, и все мы смакуем каждый кусочек, будто умирали от голода. Гидеон, как и подобает его натуре, видит преображенными всех женщин. Толкует о бесконечной красоте человеческой плоти, и самые безобразные из нас улыбаются и начинают с гордостью носить свои жалкие тела.

А что же, спросите Вы, как Вам и подобает, Джошуа Маковен? Харизма льется с него водопадом, то теплится как свеча, то пылает как солнце. Меж нас он бродит как в водолазном куполе – на предательской глубине, в мутных водах и зарослях ламинарий. Только прикоснись к нему – а он этого не любит – и получишь, ей-богу, удар током. Укол, вспышка. Если это секс (а наш Учитель все прикосновения к нему сводит), то надо отклонить и преобразить. Он искренне *против* сексуальной активности любого рода, как и его предшественники катары и манихеи. Он аскет. Он часто говорит – в беседах, которые проводятся по вечерам, – об уходе, об исчерпании себя, о самоуничтожении. Многие религиозные вожди,

как известно, навязывают целомудрие всем остальным, но сами при этом становятся полным воплощением его противоположности, родителями всех детей, исполнителями всех желаний. Мое старое «я» считает, что эта его неприкасаемость зиждется на том, грубо говоря, что хочешь его еще больше, потому что не можешь получить. Я понятия не имею, сознательно или бессознательно он это делает, – и *не осмеливаюсь спросить*, что также любопытно.

Но с ним другая история. Он побывал где-то там, за гранью мира и индивидуации – в запредельном краю, который одновременно и манит, и пугает. Он *знает* то, что мы хотим знать и боимся знать. Он наш оберег – вот-вот, оберег. Говорит с нами сурово и красиво, и мы прислушиваемся к голосу опыта, не обращая внимания на неточности слов (они ведь никогда не выражают мысль точно).

Ну ладно, перейду от сфер невыразимого к сплетням, коим несть числа.

Сегодня у нас была неожиданная гостья. Свалившаяся с неба жена вице-канцле-

ра Ева Вейннобел, которая проводит сеансы астрологии в Антиуниверситете. Гидеон хочет, чтобы Дан-Вейл-Холл стал средневековым постоялым двором, странноприимным домом. Его желание принять всех и очаровать своим вниманием, порой язвительно думаю я, граничит с патологией. (Но вообще-то, язвительность у нас не в чести, а он и правда великолепен в своих бело-золотой гриве и бороде, с религиозными побрякушками на просторной белой рубахе. Анхи, змеи, кресты, уроборос, какая-то пластмассовая русалка – все эклектично.) Как бы то ни было, он приветствовал ее, а она стояла черная, взмокшая, мрачная и совершенно *не* сияющая, хотя ее лицо лоснилось после напряженной ходьбы, а черные волосы действительно блестели каким-то жирным блеском. Она пришла в сопровождении изрядно злобных, виляющих задницами собак. Просто отвратительно! Превратить таких красивых зверей, как бордер-колли, в жирных подобострастных зубоскалов.

Зовут их Один и Фригга, – впрочем,

их хозяйка, видимо, предпочитает египетскую мифологию, в антропософском изводе. У нее прическа под древнюю египтянку. И черный плащ, как из театрального реквизита, поверх жреческого черного одеяния с уймой пурпурных ленточек там и сям. И ногти. Кроваво-красные, совсем не в тон. У Зага ногти радужные, каждый переливается, как рыбья чешуя (так говорят), жемчужно-голубые, сиреневые, желтые, оранжевые. Очень странно – простите, я немного забегаю вперед, – но Заг, похоже, установил с ней какие-то отношения, когда оба выступали в Антиуниверситете. Не могу подобрать слово. Сговор – вроде да, но слишком слабо. Она его лапает. Да, дорогой Перт, такой вот получается сеанс психоанализа в духовном выгребе. Так и подбивает использовать все эти словечки, описывающие недобрые чувства, от которых, как мне казалось, я избавился.

Эта женщина вызывает у меня физическое отвращение, она лапает Зага, а Заг гладит ее по руке, похотливо улыбается и обнимает на прощание. Они

сидели рядом за обедом и говорили о Близнецах, сдвоенных, не имеющих меж собой границы Душах, и об алхимической «работе» (опять Юнг), где Камень – это гермафродит, который проявляется как Меркурий, ртуть, в расплаве пестрого света становящийся белым. Она с аппетитом угостилась картофельной запеканкой Клеменси и чередовала показушную велеречивость (так она, полагаю, ведет себя в своей антиу-ячейке) с мрачным молчанием, как разминающийся вулкан. Один из нас, некто Лукас Симмонс, который тут вроде «социального работника», – работал учителем и, разумеется, бывал в ваших палестинах, возможно даже в «Седар маунт», – так вот, Лукас С. также много знает об алхимии, гермафродите Меркурии и *mysterium coniunctionis,* и он разулыбался и по-собачьи жаждал сопричаститься. Каноник Холли заметил, что из такого материала легко лепятся всякого рода химеры, за что был практически оплеван и предан анафеме.

Нашим женщинам она тоже не по нраву. Элли просто пересела на другой конец

стола. Клеменси старалась как могла, чем, правда, заслужила лишь снисхождение, выражаемое по отношению к прислуге. Она приняла это по-христиански, только удвоив заботу и гостеприимство, но нахмурилась, и ее свет немного померк. Что касается Люси, которая по-настоящему оживает только в присутствии Джошуа Маковена, то она была чрезвычайно встревожена нападением Одина и Фригги на ее домашнего барашка Тобиаса. А ведь Тобиас – полноправный член Слышащих. Он не ест мяса, облачен в шерсть и само добродушие. Есть у нас тут и дети: отпрыски квакеров, а еще те, что приходят на занятия по вышивке, кулинарии, сочинению рассказов и гончарному делу, которые проводит Клеменси: это в общественном мнении наш патент на добропорядочность. Самые вертлявые любят с Тобиасом играть, и он разрешает им даже вплетать ему в шерсть разные штуки, чуть-чуть бодает, но очень деликатно. И вот, спасаясь от укусов и рычания, он забился в угол у камина и в недоумении наблюдал оттуда за

происходящим. Ева В. велела нам не обращать внимания. Дескать, такова собачья натура, они сгоняют овец в стадо. Гидеон заметил, что этот барашек тоже считает себя собакой, но это ей показалось полной несуразностью. Она вновь крикнула: «Один! Фригга!» – и вновь без результата.

К нашему счастью, именно в этот момент вошел Маковен. Успокоил всех, влияя своим новообретенным авторитетом. Она поплыла сразу. Я слышал, как за обедом она говорила Загу, что волосы у него белоснежные, настоящее руно. Он же сидел хмурый, между Клеменси и Люси, а под стулом жался барашек. Порой мне кажется, что он опаздывает, потому что не ест, но не хочет, чтобы это заметили. Да, человек может быть нездоров, в нашем старом, «профессиональном» смысле, но при этом являться духовным вождем – вот чему научило нас наше время. Не в обход, а напролом, и к Еве В. это тоже относится.

Надеюсь, она больше не придет. Хотя знаю: придет. Она взяла его на заметку, она чувствует силу его притяжения и

отпускать не хочет. Он же очень спокоен, но счастья не испытывает.

Кто знает, быть может, она нам зачем-то нужна. Вы – поклонник наших склонностей. Знаете, бывает, появляется раздражитель, который вынуждает всех сплотиться. Песчинка в раковине жемчужницы. А может, из-за нее мы разлетимся, как бомба-вонючка. Или же, когда мы воспарим к небесам на серебристом воздушном шаре, она станет тяжелым черным балластом, тянущим корзину и горелку вниз. В последнее время у меня глаза на мокром месте, как после кислоты или передозировки оголтелой духовности. Сижу тут, хнычу про себя и хихикаю над ловкостью, с которой расправляюсь с этой опасной дурой при помощи дешевых метафор. Господи помилуй. Куда девалась моя человечность? Новая духовность, Перт, не очень-то человечна. Спросите вон у Зага, который ждет не дождется дионисийского расчленения и высвобождения. Как это вице-канцлер ухитряется так долго с ней жить? Как выносит эти монументальные телеса,

пылающие на супружеском ложе? Как, сидя у очага, терпит этих псов-выродков? Брак для меня – загадка, мистика, *mysterium coniunctionis,* как сказали бы алхимики, Ева В. и Карл Густав, будь он благословен.

В Еве Маковен распознал соперницу. Когда он появился, она подошла прямо к нему, вплотную, и опустила голову. Стояла очень близко. Он думал было отодвинуться или ее отодвинуть, но не стал. У нее за спиной суетились две собаки, а когда заметили барашка Тобиаса, пришедшего вместе с Люси, внезапно бросились вперед вихрем из шерсти, зубов, когтей и пушистых хвостов. Тобиас тонко заблеял и забился в просторный камин. Один и Фригга бросились за ним, прижав к стене.

— Уймите их, — велел Маковен.

— Они от природы такие, — ответила Ева Вейннобел. — Лежать, мои хорошие. Сюда, к мамочке. К мамочке.

Один и Фригга возбужденно рычали. Тобиас дрожал как осиновый лист. Все притихли, Ева Вейннобел опустилась на колени и попыталась оттащить собак за крупы и виляющие хвосты.

— Плохие собачки. Плохие. Мама очень злится. — Ее голос звучал хрипловато и совсем не по-матерински.

Наконец от Тобиаса они отстали, и Люси, всхлипывая, стала его успокаивать. Лодыжка у него кровоточила. Ева Вейннобел же вернулась к Маковену, на правой щеке у нее были пятна крови и золы.

— Всего лишь укусы колли, — сказала Ева Вейннобел. — Они же пастушьи собаки. Вы нас не прогоните?

Она стояла совсем рядом — так, что он мог заглянуть в темный приоткрытый рот. Дыхание влажное, запах мяса, свернувшегося молока. Он хотел отступить, но не стал. Ее черные, будто подведенные глаза на замаранном лице смотрели на него в упор, глаза в глаза.

— У вас, кажется, есть то, что мне нужно, что я искала, — произнесла она настойчивым голосом. Она перед ним лебезила, а у ног, вторя ей, извивались собаки. Она шипела ему на ухо: — Волосы белоснежные, как руно, так написано. И я вижу пелену крови, да, я вижу ее, знак господина, багровый пот, красные слезы, я вижу, кто ты.

Он хотел выгнать ее. Его обыденное «я», сущность зыбкая и призрачная, знала, что она

«шарлатан», небытие, поглощающее плоды духовной работы. Его же дух знал, что она видит в нем — в белоснежных, как руно, волосах, в омытом кровью теле — того, кем он призван стать. Прикосновений он не выносил, а она почти теснила его, обдавала своим дыханием. Он боялся собственного гнева, которому он никогда не позволял вырываться наружу, проявлять себя. Он знал, что Слышащие боятся его гнева, и правильно делают. Это показывало, что они понимают друг друга без слов, ведь при них он никогда не гневался, никогда: только терпение, мягкость, участливость.

Он посмотрел на женщину и увидел, как призрачная кровь, которая являлась ему с того самого дня, когда пережил ужас пухленький, жалкий мальчуган, выступила из-под густых черных волос и потекла по широким скулам и крепкой шее. На мгновение его озарило: она — то самое Пятно, в которое в конце всего, когда свет отделится, соберется темная материя. Она улыбнулась, будто услышала его мысли:

— Я постигала тайны. Я знаю, как довести Работу до конца. Не отвергайте меня. — И добавила: — В каждом человеке есть семя света, вы знаете.

— Садитесь, — произнес он. — Можете разде-

лить с нами трапезу, мы привечаем всех. Но пусть собаки не трогают овец.

— Ко мне, к маме, — сказала она, отводя взгляд от его лица и разрывая поток электричества между ними.

Он сидел за столом вместе со всеми, но к еде не притронулся. В тот день он не ел совсем, да и с каждым днем ел все меньше. Он знал, они любят, чтобы он был рядом, разделял с ними заботливо приготовленные кушанья, пробовал все, чтобы их порадовать: овсяные хлопья, пшеницу и чечевицу. Еда нужна для жизни. Но его тело в пище словно и не нуждалось. Оно будто становилось прозрачным. Иногда за едой он с ними беседовал. Рассказывал, как манихеи почитают частицы света, заключенные в семенах и яблоках. Говорил им о духе, заточенном в плоти, который можно выпустить на свет, обуздав и умалив плоть. Он знал, что стоит начать говорить, как сам воздух в комнате замирает и тяжелеет от их внимания — так сила сосредоточивается вокруг громоотвода перед раскатом грома. Он вглядывался в поднятые лица, и они лучились мягким светом, бледно-золотым теплом. Но и темные провалы глаз, и разверстые рты с влажным блеском зубов засасывали его, поглощали его тело света, как

пламя пожирает свечу.

Они пожирали его, а он был достаточно начитан в богословии и понимал, что кроется за этим образом. Во время всех этих трапез Гидеон по-прежнему торжественно преломлял хлеб и разносил сложенные в корзине теплые и ароматные корки и мякиши. Если его пожрут, станет ли он светом или ничем или распадется на частицы световой энергии? Не бог, но тварь: он не понимал своей природы, но знал, что она не такая, как ему внушали. О том, кто он, знал Сизигий, но он давно не являлся. Зато явилась эта недоегипетская мумия. На хлебе Гидеона он видел кровь. Никому из них о крови он не говорил. Как и пламя его гнева, ее нужно было скрывать, пока она не вырвется наружу и не утопит все вокруг.

Они опустошали его, высасывали его существо, оставляя ледяную шелуху, носящуюся среди света.

Почти всю ночь напролет, во тьме, он бродил. Обходился не только без еды, но и без сна. Он молился, если это можно назвать молитвой, подняв белоснежную голову и бледное лицо, когда бродил по темным пастбищам, в свете бледных звезд и белой луны. В полнолуние ходилось больше и быстрее. Он не верил, что свет льется полными

ведрами в колодец Луны, ибо кое-что знал, хотя и не очень много, о планетах, звездах и космосе современной науки. Он знал, что Луна движет непомерной массой океанов по скалистой сфере планеты, на которой он стоял, знал о ее расплавленном ядре, но знал и что бледный свет тянет его, вытягивает из него жизнь. Он знал, что тело нуждается во сне, как и в пище, и знал, что его собственное тело бунтует, пытается отказаться от того и другого. Холодная энергия поступала в него из других мест. Его внутреннее пламя сжималось до булавочной головки, как трепещущий огонек на фитиле почти пустой зажигалки. Он чувствовал, что его собственная кровь течет, как топливо в зажигалке, и знал, что состоит она из красных телец и белых, и мысленным взором видел, как его вены становятся прозрачными, а опасный красный цвет превращается в белый, бледные семена света гасят кроваво-красный цвет, который пытается их поглотить, утекая, капля по капле, из кровеносной системы в непорочный воздух. После прогулок он дремал, чутко, как кошка. Устав телом, он не видел снов: сны он не любил.

А еще он завел, как он их называл, «ночные бдения». Ему нравилось сидеть неподвижно, на полу, перед телевизором, который он любил включать,

когда на экране мельтешили только снежинки света. Он выдумал себе духовное упражнение: наливал кровь в стеклянный резервуар ящика, а снежинки впитывали ее и рассеивали, будто ее и не было. Никому про кровь он не рассказывал. Самое сокровенное он хранил в сердце. Он был сильным и очень хрупким. Некоторым избранным Слышащим он позволял наблюдать за собой в темные часы. Люси приходила и тихо сидела. Лукаса Симмонса он прогнал: ему было вежливо сказано, что он возмущает токи в ящике. И шутка, и нет. Гидеона, который приходил не часто, Джошуа дважды просил уйти, потому что от его одежды пахнет похотью. Но этого он не произнес. Сказал лишь, что дух Гидеона встревожен, и тот, сдержанно улыбнувшись в бороду, принял его приговор. Иногда приходили Руфь и каноник Холли, которому было запрещено курить, но запах дыма все не выветривался. Приходила Клеменси. Приходил и Заг, но не мог долго усидеть на месте.

Вечером того дня, когда явилась Ева Вейннобел, ему было не по себе. Он поднялся в комнату для «ночных бдений» и удалил тех, кто робко и кротко пытался к нему присоединиться. Мне надо побыть одному, объявил он решительно, не же-

лая показывать слабость просьбой о понимании. Люси все же отважилась: «Я хочу бдеть с тобой». Ему пришлось ей ответить: «Не сегодня», но пришлось и коснуться ее волос и дрожащей красной щеки. Она поцеловала его пальцы и удалилась. И он остался наедине со своей тревогой.

Он включил ящик, но в обыкновенную позу для созерцаний садиться не стал. Ходил беспокойно по комнате и вдруг заметил, что мерцающий прямоугольник отражается, будто призрак, и в темном окне, и в окошке на потолке. Он разулся, встал там, где линии, соединяющие тени с их истоками, перекрещивались, когда он поворачивал голову. Почувствовал силу, и все казалось знакомым, будто эта пустая комната — прекрасное место, о котором он знал и которое искал всю жизнь. На черных окнах и в ярком ящике зыбилось улыбающееся лицо Сизигия. Другой заговорил, как говорил с ним и прежде: выйди, выйди на лунный свет. И Маковен увидел полную луну, повисшую в окне и потолочном стекле, безупречно обрамленную, плывущую громаду, то скрытую за облаком, то ясную, то скрытую, то ясную, до головокружения. Через черный ход он, не обуваясь, решительно вышел на улицу; уверенно, с осторожной поспешностью задвинул за

собой засов, бесшумно пересек двор, прошел под деревьями, закрывавшими луну мятущимися ветвями, и оказался на пустоши: здесь луна плыла высоко, клочья облаков спадали, как отмершая кожа, отмершие ресницы, обнажая огромный серебряный глаз, глядящий в пустоту. Другой шел к нему сквозь вереск, тоже босиком, весь в белом. От волос исходило белое сияние, лучилась и улыбка. Знак был явлен тебе, сказал Другой. Невыносимо сладко звучал его голос. Тебя посетили, и теперь ты готов спуститься. Будет трудно и больно, но если ты вернешься, то сможешь их спасти. Себя и их всех.

Пойдешь ли ты со мной, спросил он Другого. Тот улыбался все ярче. Я должен пойти, ведь я — исполнитель. Я провожу экзекуцию и эвакуацию. Я буду с тобой. Мы спустимся во тьму вместе.

И тут при свете луны на него накатил приступ, он рухнул в вереск. Текла пена, дергались и дребезжали кости и зубы, плоть саднила и кровоточила.

Долго они спускались вместе, в воронку в скале, такую глубокую, что устье воронки стало меньше призрачной луны, а потом — меньше булавочной головки, а потом наступила тьма. Ноги замерзли, неровные ступени были ледяные и скользкие. Он

обрел дар речи и спросил Другого, которого больше не видел, не смерть ли это. Нет, откликнулся Другой, ты не умер, но мы идем среди мертвых, и, побеседовав с ними, ты узнаешь смерть. Смерть я знаю, ответил он Другому, я знаю смерть. Другой же сказал, нет, тебя экстрадировали, эвакуировали и элиминировали. Мертвые, продолжал Другой, висят на подземных корнях Древа и не могут отпустить рук. У них своя луна, но она фальшивая, и ты ее не увидишь. Из украденного света ее сделали. И в голове у них, мертвых, все фальшивое, и лучше бы им не цепляться за корни.

Потом, спустя мгновение, или часы, или бесконечность, он узрел, как мертвецы свисают — будто черные плоды, или свернувшиеся летучие мыши, или пучки проводов — с огромного узла яростно торчащих у него над головой жестких металлических корней; и ползли эти корни сквозь земляную корку, как огромные слепые черви, покрытые волосками, которые тоже торчали, цеплялись, утолщались, проникали в трещины и расщелины. Мертвецы двигались лихорадочно. Пахло перегноем и чем-то знакомым, тошнотворным.

Они шли все дальше и дальше. И минуло много времени, и он начал мучиться удушающей тес-

нотой. Он спросил, есть ли у мертвых лица. У них не лица, но личины, был ответ. Они создают себе личины. Сами, по своей воле. Ты увидишь лица. Он отвечал, что видеть их не хочет, но было сказано: его желание тут ни при чем. Голос Сизигия о чем-то напомнил. Голос его отца в храме, когда тот говорил ему, что́ полезно для души. Повешенного отца он увидеть не хотел, но рот его сковало. Беспомощность во сне, в видении, в сновидении — беспомощность полная, ибо когда ты жив, то обладаешь хотя бы подобием воли или мысли.

Повернув, увидели они фальшивую луну. Она свисала с корневого свода, подвешенная за тонкую алюминиевую проволоку, — кривобокий серебристый воздушный шар, сжатый и сморщенный там, где его не удалось надуть, и неумело расписанный серо-голубыми фальшивыми континентами, кратерами и океанами. Жалкий свет шел от нее, как от дешевых ламп дневного света в дрянных забегаловках.

На куче тряпья сидели трое, которых он узнал, и, узнав двоих из них — одну в отвратительной телесно-розовой ночной рубашке и другую в истлевшей пижаме, — понял, что Сизигий говорил правду: не лица у них, а личины. Как-то бестолково протянули они руки в его сторону, как

тряпичные куклы, которые не могут держаться, как их посадили. Грязные ноги больше напоминали плоть, чем как будто искусственные щеки и лбы. Третья же фигура была преисполнена какой-то грубой жизненности. Волосы блестели, глаза сверкали, губы и ногти багровели. Она сидела без напряжения, протягивала к нему сильные руки, как бы желая обнять. В сырых опилках вокруг кучи тряпья сновали всевозможные твари. Уховертки, слизни, слепые белые улитки со спиралевидными домиками на спине. И скорпионы. Толстые и розовые, черные и суетливые, бурые и ржавые, с лихо изогнутыми хвостами.

Первой заговорила мать. Протез все еще наполовину вываливался изо рта, она мычала, бормотала, и слова лязгали на вставных зубах. Ева сказала: я могу истолковать тебе ее речь. Мы, Матери, приветствуем тебя. Мы насыщаем поднимающимся соком, только мы поможем тебе… она не сказала, в чем поможет. Но я знаю.

Мать еще что-то прошамкала. Сестра же подняла сломанный палец, показывая синяки. Он увидел, что мертвые не дышат, когда говорят. Не мог он и представить, как омерзительна речь без дыхания. Дышала только Ева, долгими, медленными, сонными вдохами наполняя огромную

грудь, — вдыхала, выдыхала, вдыхала, выдыхала.

Здесь дурно пахнет, сказал он Сизигию. Мне не нравится эта женщина, тоже сказал он близнецу, но мысленно.

«Нравится или нет — это ни при чем. От нее нельзя отказываться. Она тебе пригодится. Она тебе нужна. Она не та, что здесь. Или там. Она *есть*. Чтобы закончить Работу, ты должен принять и то, чего не хочешь».

Дальше — в памяти сохранились обрывки — Сизигий, белесо улыбаясь в свете фальшивой луны, вынул нож и расчленил его. Боли он не чувствовал, более того, он все видел: как искусно сдирается кожа, обнажаются нервы, укладываются еще трепещущие органы в таинственно раскрашенные фаянсовые чаши и вазы. Видел скорее глазами Другого, чем своим телом, которое не чувствовало боли, но все больше недоумевало, ощущало свою разъятость, утрату связности, предвестием чего были судороги. И вот он стал начисто выскобленным живым скелетом, с красными пленками, прилипшими к живой белизне, и с любопытством выглядывал из костяной коробки черепа. Сизигий сказал, что теперь он разберет и кости и сложит их в груду, снизу боль-

шие, сверху малые.

— И если ты сможешь вновь собрать все части, вдеть нервы и приладить мышцы, — с улыбкой сказал Сизигий, — ты обнаружишь, что способен взобраться на дерево и подняться на высоту, подобную этой глубине. И увидишь в небе, как подготовиться к тайне, которая будет исполнена, к грядущему свершению.

— А если не смогу? — пролязгали окровавленные зубы.

— Тогда со временем плоть сгниет, а кости вскоре рассыплются. Но ты, кажется, сможешь. Ты готов.

И он снова собрал себя, дрожа, слыша в голове голос упитанного парнишки из далекого прошлого, поющего духовную песнь… Все было прожито с точностью, руки приладил к грудной клетке, и пальцами этих рук собирал таз, и крепил бедра, кость за костью. Он присел на корточки под корнями, и кожа покрыла скользкую кровавую поверхность на груди и ягодицах. Потом он обнаружил, что может стоять, и сила его была запредельной, а чувства обострились настолько, что он слышал, как черви за много миль от него бороздят почву, а на легком ветру под ночным небом шуршит верхушка дерева. И

он полез, ловкий, как обезьяна, проворный, как древесная лягушка, прорывался сквозь кору, как слепой крот, обернувшийся мартышкой, змеей, ящерицей. Он поднимался все выше и выше, и уже настоящая луна обрушивала ему на голову серебряные потоки, а он стоял на самой верхушке дерева и вопил и вопил, встречая солнце.

Его нашли на пустоши, израненного, бесчувственного, кровь шла ртом, ногти сломаны, покрыты торфяной пылью вереска. Отнесли в Дан-Вейл-Холл, который он два дня не узнавал, как не узнавал и никого из окружающих. На третий день, на рассвете, он открыл глаза, увидев чистый, омытый свежестью мир: рядом сидела Руфь. На ней было бледное одеяние с квадратным вырезом и складками, ниспадающими, как у школьного сарафана или древнегреческого одеяния. Руфь всегда ему нравилась. Сосредоточенное лицо, немногословность. Он пошевелил израненным языком, хотел сказать ей, что она — дева света. Она, похоже, не разобрала, и он произнес снова, отчетливее. В глазах у нее стояли слезы. Она утерла их тыльной стороной руки. Не плачь, сказал он, я вернулся. Она кивнула, и слезы так и хлынули.

От Бренды Пинчер Авраму Сниткину

Писать тебе, Аврам, – это подвиг веры. Такой же иррациональный, как лихорадочная обстановка, которая тут становится все лихорадочнее. На что-то все это похоже, но не могу припомнить на что. До библиотек добраться не могу. Насколько я помню, многие из недавних культов цементировались такими штуками, как групповой секс или право вождя спать со всеми подряд и плодить детей. У нас положение необычное, потому что единого вождя нет. Есть Овен, воистину экстатичный и воистину аскетичный, и есть старый добрый Гидеон, шантеклер в нашем курятнике, который, кажется, не всегда понимает, как его угораздило влезть в дела Овна.

Разумеется, *все в итоге упирается в женщин*. Гидеон здесь потому, что Клеменси от него отстранилась, а Клеменси здесь потому, что она влюблена в Овна, как, впрочем, и все женщины, включая тех, кого дрючит Гидеон. Лежа под ним, они, скорее всего, воображают, что он – это тот, другой, но старый балбес слиш-

ком самовлюблен, чтобы это понять, хотя в конце концов придется. Кое-кто из мужчин тоже влюблен в Овна. Пару недель назад (время здесь течет по-другому) он отправился в духовное путешествие – то есть у него был довольно сильный эпилептический припадок, – и вернулся он к нам со всевозможными новыми предписаниями, запретами и упражнениями. Большинство из них усложняют, так сказать, наше физическое существование. Мы теперь очень много копаем, возим тележки, строим этакую оградищу, чтобы отгородиться от всех нечистых людей. А еще мы все меньше и меньше едим – состязаемся в постничании: тоже нововведение Овна, который твердит, что тело от самоотречения расцветает. Элвет Гусакс подлил масла в огонь – рассказал, что эксперименты на крысах, а также истории из жизни степных народов действительно доказывают, что снижение количества потребляемой пищи ведет к долголетию. Отказ от еды больно ударил по Клеменси Ф., ведь ее значительным вкладом всегда были булочки и пече-

нье. Но она взяла себя в руки и теперь готовит изысканные супчики и овощные закуски, почти не содержащие калорий, которые торжественно и *очень медленно* пережевываются. Я тоже копаю и не ем и очень постройнела. Ты бы меня не узнал, старый охламон, а я уже настолько прониклась к Овну, что меня мутит от одной мысли о складках на твоем упитанном брюхе, хотя иногда я по тебе скучаю и плачу по ночам, Аврам, иногда мне страшно, *почему ты не пишешь, сволочь*?

Я теперь поняла, что можно получить и сексуальный, и духовный кайф, если много трудиться и мало есть. Я не сплю и думаю, каким блаженством стал бы хороший долгий трах. Вру. Я не сплю, как и все остальные, и представляю, что Овен выбрал меня, чтобы, так сказать, нарушить свой пост, что он взошел ко мне в чулан-кровать и стоит, нежно улыбаясь, со вздымающимся членом, а у меня *внутри все клокочет* от желания, чтобы он прикоснулся ко мне, мое несчастное проклятое влагалище хватает пустоту (иногда я пытаюсь ему помочь, но вот-

ще). Слушай, Аврам Сниткин, говнюк ты этакий, я пишу тебе эту порнуху, чтобы показать, что я не вросла в этот балаган, хоть этнометодологически я и настроена на то, чтобы наблюдать *изнутри.* А еще хочу тебя наказать за молчание. Если бы я тебя не знала, то давно бы бросила, ведь любой *нормальный* человек уже понял бы намек, что его письма не нужны. Но я тебя знаю, и мне кажется, что ты просто сидишь обдолбанный и лыбишься, и думаешь, как забавно, что она там дошла до такого. А вот и нет, черт тебя дери, Аврам Сниткин. Это не смешно, это страшно.

Все культы – это уже не терапевтическая группа, а полноценный *культ* – рано или поздно распадаются. Теория гласит, что единственный их путь – в пропасть. Растет нетерпимость к отклонениям, все процессы синхронизируются – включая даже такие вещи, как менструация, я и это попыталась исследовать, но пока безуспешно. Люди начинают одинаково одеваться. Белые льняные рубахи и платья. Здесь есть девушка по имени Элли, которая была пациенткой Гусакса – нам

теперь запрещено использовать слово «пациент», и называть всех надо «духовные искатели», – и она вроде как изобрела очень новую сложную технику вышивки белым по белому. Солнца, луны, виноградины, маргаритки и прочие манихейские штуки. Со всевозможными узелками и челночным стежком (спорим, ты не знаешь, что *это* такое, я вот не знала) – как все это долго! Стулья, столы и кровати постепенно покрываются белой материей с этой вот белой вышивкой. Белые с едва заметными пятнышками крови: как бедняжкам не уколоться – классика. Все как и следовало ожидать. Потом есть особые способы пить воду. И старые добрые чтения каноника Холли: поэзия XVII века, «о, семя света» и все в таком духе. Он читает, как скрипящая дверь, но мы сейчас все преисполнены любовью к ближнему и слушаем с доброжелательностью.

У меня есть своя теория о том, как именно все начнет рушиться. Разгул Гидеона обязательно принесет свои плоды (пусть и метафоры будут *растительные*). И что потом? Он же не свою жену трахает. Что

будет дальше? Загвоздка в том, что *Овен, похоже, не знает, чем занимается Гидеон*. Может, конечно, он ему эти дела, так сказать, делегировал, но этнометодологически эта теория несостоятельна, и я не буду ее развивать без доказательств, которых у меня нет.

А еще из того, что *может произойти,* – мы полностью отгородимся от мира. Мы возводим ограду. И я уже вижу, как Овен торжественно запирает ворота: овцы да пребудут внутри, а козлища пусть блуждают по пустоши. Пока же много еще кто приезжает и уезжает. Например, этот потешный блейковед Ричмонд Блай, всегда такой милый и озадаченный. Наведывается кошмарная жена вице-канцлера, гадает по руке (ну не совсем, она составляет гороскопы). Думаю, многое зависит от Элвета Гусакса. Он, как и я, относится ко всему с профессиональным интересом. Он отлучается, выступает с докладами, но все реже. Он, полагаю, будет против изоляции. Но он ловит свой кайф от всего происходящего – он, похоже, видит в этом способ переступить черту, занять-

ся духовными исканиями и, возможно, захочет довести дело до конца. Ему нравится этот Зигги-Заг, который довольно частенько бывает под кайфом и нуждается в помощнике. Может, мы могли бы обойтись и без него, но его пение по вечерам, как и декламации каноника Холли, – из числа наших повседневных ритуалов. Некоторые квакеры, кажется, вполне в своей тарелке: для них вроде как естественно смотреть на все религиозно-созерцательным взглядом. Они до сих пор устраивают собраньица для молодежи из внешнего мира, которая приходит послушать истории, повырезать из картона и т. п.

Но вот если мы уйдем от мира и над нами нависнет угроза помереть с голоду – едим-то мы больше, чем производим, – что прикажешь мне делать? Пропущу последнее действие (надеюсь, оно состоится) – весь проект коту под хвост. Но – страшно. Как те коробки, которые висят на столбах и на которых написано: «Под напряжением. Опасно для жизни. Не влезай, убьет». А я влезла. И я шлю тебе

письма, а ты, скотина, не отвечаешь. Или, может, они никуда не уходят, и читает их и оценивает комитет, состоящий из Овна, Гидеона и Гусакса? Нет, быть не может, это уже чистая паранойя, порожденная групповым менталитетом. Я почти все письма бросала в почтовый ящик *собственноручно*. Так почему ты не пишешь, скотина?! Что мне делать?

XXI

Как вернуть лоск оперенью, блеск глазам, уверенность поступи? Только усердной работой. Лук Люсгор-Павлинс в несколько невеселом настроении принялся за свой полудодуманный доклад о непрямом делении клеток и обнаружил, что с трудом пробивается сквозь гулкий рой фактов и фамилий, уместных и неуместных. В то время несколько ученых дерзко поставили под вопрос адаптивные преимущества полового размножения (которому противопоставили партеногенез и почкование) в дарвиновской картине мира. Предлагаемые ими гипотезы не были убедительными, но все равно увлекали, возбуждали воображение, не давали покоя.

Лук читал исследования о засеве семян вяза и разметывании икры трески. Читал о жизненном цикле тли, которая плодит партеногенетические клоны до конца жизни, а под конец плодит самцов и с ними спаривается. Читал он о медленном распространении земляники и кораллов, о повадках сидячих существ вроде устриц, а также о вязах, о борьбе за территорию, о скученности

и смертности в ее зависимости от количества потомства у трески и скворцов, мельчайших морских обитателей и улиток. Изучал гермафродитов и клонов. Вникал во все тонкости головоломных исследований поколений муравьев и тараканов, пытался разобраться с теоретическими моделями распространения, соперничества, статистических преимуществ, передачи генов и хромосом.

И он видел новые захватывающие траектории, а перед его взором пролетали стаи и проносились стада разных организмов. С математическим аппаратом он был знаком не очень близко. Чтобы сформулировать вопросы, не говоря уже о том, чтобы ответить на них или внести поправки, ему требовалась помощь. И он стал подстерегать Джона Оттокара, выпрашивая у него дополнительное время для работы на большом компьютере, приглашал вместе выпить: ведь ему нужна помощь в том, чтобы обратить вопросы о причинах жизни, смерти, размножения и бессмертия в изящные уравнения и хорошо выверенные цифры. Он забрасывал терпеливого — и обычно неразговорчивого — Джона множеством вопросов, которые все равно уже было не вместить в один доклад на конференции «Тело и мысль».

Работая с компьютером, он время от времени

встречал Жаклин, также несущую пачки перфокарт и кипы распечаток. Воздух между ними все еще был морозно-колким. Он спросил, как продвигается работа. На мгновение она просияла. Да, сказала она, да, уже есть результаты. Походка у нее стала пружинящей. Еще месяц назад такая хлопотливая самодостаточность его бы ранила. Теперь же он быстро вернулся к коловраткам и крылатым семенам.

Однажды вечером — было уже довольно поздно — Джон Оттокар нагрянул к нему в квартиру, принес целую груду давно обещанных результатов. Лук, уже не первую неделю увлеченно рассказывающий Джону о дарвиновских идеях об альтруизме и эгоизме, бесцеремонном самовоспроизводстве и безобидности клонированных слизней, впервые заметил, что Оттокар выглядит болезненно. Свои сияющие белокурые волосы он отрастил до плеч. Он держал их в чистоте и прятал за их завесой лицо. Лук с тревогой спросил, не перегружает ли он его, пригласил войти и налил стакан виски. Сам он смотрел по телевизору новости: протесты студентов в Лондонской школе экономики, препирательства министров из-за несанкционированных забастовок. Только Джон Оттокар взял стакан, как на экран выплыло

«Зазеркалье»: камин, стеклянный ящик, Траляля и Труляля, Фредерика Поттер в коралловых и белых шелках. Лук вспомнил, что Оттокар был прежде — или все еще — как-то связан с Фредерикой. Однажды он назвал ее «своей барышней», и Люк тогда подумал, насколько такое обозначение не подходит этой угловатой особе. Он решил не переключать канал. Джон Оттокар, вытянув ноги, устроился в кресле и бесстрастно уставился в экран. Смотрел, как показалось Луку, набычившись.

В тот вечер гостями Фредерики были Рой Стронг[82], а также Люсинда Дикки, фотожурналистка, на которой был джемпер в деловом стиле и очки в темной оправе. Предмет передачи — миниатюрный портрет неизвестной дамы елизаветинских времен. Ее прекрасное лицо, мягкие золотые локоны, изумительно сверкающие жемчужное ожерелье и кольца в ушах, поверх синего бархата, на фоне вечнозеленых листьев, ненадолго заполнили экран. Персоной, разумеется, была Елизавета I, королева-девственница, а темой — объявила Фредерика — «Сходство и воспроизводство». Придумал Уилки — как всегда,

[82] Примечания: 82

Сэр Рой Колин Стронг (р. 1935) — английский искусствовед, писатель, телеведущий.

что-то мудреное.

Все трое бойко рассуждали о портретах Елизаветы, сравнивая их с иконами, отметили тот факт, что большинство из них были копиями с копий, и речь даже не шла о том, чтобы точно отобразить внешность королевы. Говорили о *мане,* особой магической энергии ее портретов, которые, как ликующе отметил Рой Стронг, и становились объектами почитания, и использовались в колдовстве — вдруг получится заколоть до смерти булавками и иголками. Фотожурналистка, как и следовало ожидать, переключилась на тему отказа представителей некоторых культур быть «запечатленными» на снимках и фотографиях в силу их веры, что каждая репродукция, каждая копия забирает жизнь из подлинника, истончает его. Фредерика согласилась: есть что-то на удивление тревожное в свободном распространении собственного образа по миру. Сравнивали с иконой также и бесконечно тиражируемый лик Че Гевары, который висел в студенческих общежитиях, ночлежках всех видов, партизанских палатках.

Фредерика попыталась по заданию Уилки завязать разговор о разных словах. Подобие. Сходство. Воспроизведение. Репродукция. У каждого из

нас свое лицо, начала она, и все же мы порождены бесконечной репродукцией генов наших предков, так что есть у нас и, так сказать, лицо семейное. Внимание Лука привлекла эта, возможно не очень осознанная, уловка — просто потому, что она дополняла мозаику его собственных мыслей о клонах и диплоидных зиготах. Рой Стронг говорил о семейном сходстве между Елизаветой и ее братом из Тюдоров. Люсинда Дикки вспомнила Энди Уорхола, мастера, который возвел повторения образа в жанр; Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор. И Мэрилин замелькала на экране в серебристых, зеленых и оранжевых тонах, виноградно-пурпурных и кричаще-розовых. Рой Стронг заметил, что выбрал для передачи эту миниатюру, потому что это изображение отдельной личности, с собственной историей и отношением к миру, которые нам, увы, неведомы; и все же она здесь, и — даром что стиль художника придавал всем моделям некое сходство — она неповторима. Фредерика буквально воскликнула: каждый день в метро она разглядывает лица всех пассажиров и *все* они уникальны, неповторимы. Из ее уст это прозвучало чересчур слащаво. Однако Лук почувствовал в ней единомышленницу: это же его тема. Если бы человек размножался не поло-

вым образом, то люди в подземке все были бы одинаковые, как черные слизни *Arion ater*.

— Тьфу ты. Как она может там сидеть между этими двумя и разводить турусы на колесах? — буркнул Джон.

Лук было подумал, что это он про Роя Стронга и Люсинду Дикки, и не мог понять, чем они ему вдруг не угодили. Неужели он настолько ею одурманен, что ко всем ревнует? И только потом он понял, что под «этими двумя» имелись в виду вырезанные из картона кэрролловские Траляля и Труляля, действительно стоящие с обеих сторон от Фредерики. В университетском городке он иногда видел Пола-Зага. Со временем волосы близнецов стали совсем одинаковые. Однажды, когда вечерело, Лук даже принял Пола за Джона и заметил, как пустой взгляд сменился хитрой ухмылкой — дескать, обознался. Люсинда Дикки выдвинула теорию о том, что в будущем на стене у каждого будет движущийся портрет возлюбленного, вроде телевизионного экрана. Лук встал и заткнул ее, выключив ящик. Он хотел о чем-то спросить Джона, но не до конца понимал о чем.

— Когда Фредерика опять будет на севере?

— Не знаю. Наверное, на Пасху. И Лео возьмет. Они же и конференцию вашу будут снимать. Она

так сказала. Не знаю. Так что да, приедет. — Каждое слово Джон будто вымучивал.

— Тебе все это не нравится? — спросил Лук.

— Нет.

Повисло долгое молчание. Джон Оттокар отхлебывал виски, по-всякому вытягивал свои длинные ноги.

— Говорильня — не мое дело, — сказал он. — Я до одиннадцати лет и на родном языке почти не разговаривал. Только на тарабарском и математическом — с братом. Это тоже непросто. Так говорить с ним.

— Непросто, наверно, — растерянно промямлил Лук.

— Я думал… Мы вроде клонов. Или как будто непорочное зачатие, один от другого, — не знаю, смогут ли ученые когда-нибудь это изучить. Эти все твои дела, я из-за них и задумался. Биологию я знал плохо, только математика, компьютеры. Куда должны плыть танкеры — в этом я разбираюсь. А ты пытаешься объяснить все. С точки зрения клеток и организмов. И многое как будто теряет смысл. Добро, любовь. Бог.

— Ну, без Бога можно вполне обойтись.

— Я знаю, что ты так думаешь. Но ты не знаешь, что думаю я. Бога не может не быть. Он — причи-

на, — выпалил Джон, но уточнить, причина чего, видимо, не сумел.

Лук пробормотал что-то несуразное о том, что да, мол, трудно, наверное, когда ты тут, а Фредерика там… Джон Оттокар обжег его взглядом:

— Я приехал для того, чтобы она приняла решение. Да или нет. А еще — отлепиться от него. Стать собой.

— Но он сейчас здесь.

— Знаю. Но его не было. Когда я приехал. Приехал сам по себе, по своим делам. И вдруг — он. Святоша из святош. Судьба, не иначе. Эта компания могла податься куда угодно, а вот — здесь. Но вообще-то, конечно, никакая это не судьба, никто нас не… не опекает. Есть только гены, как ты говоришь. Ну и хорошо, — добавил он с ненужной иронией, — что тебя это греет. Меня — нет. Ты *прав,* но как-то из-за этого пусто. И все равно он — моя судьба, у нас же общие гены. Мы взаимозаменяемы, не будет одного — второй заменит.

— Пей, я еще налью. — От растерянности Лук заговорил подчеркнуто по-мужски. — Я думал… здорово, когда есть такой же, как ты.

— Так и было. Пока мы были одним. Пока не оказались среди других. И все сразу усложнилось. Конечно, у него есть группа. У меня — лаборато-

рия. Но когда я играю с ними, они звучат лучше и музыка красивее.

— Ты, по крайней мере, об этом задумываешься.

— Да. Можно так сказать. А толку-то?

Он залпом прикончил виски и замолк.

Фредерика действительно приехала на север на Пасху, взяв с собой Лео, чтобы на каникулах он повидался с бабушкой, дедушкой, кузенами и кузинами. С ней поехал Эдмунд Уилки: нужно было решить несколько вопросов относительно съемки некоторых частей конференции «Тело и мысль» для телевидения. Они встречались с Герардом Вейннобелом, Винсентом Ходжкиссом, Абрахамом Калдер-Флассом и Лайоном Боуменом, обсуждали, что и как снимать, согласятся ли «звезды» Пински и Эйхенбаум дать интервью на камеру, каким образом лучше представить неповторимую архитектуру университета. У Винсента Ходжкисса возникла идея, которую он считал стратегически дальновидной: пригласить на встречу Элвета Гусакса. Он разузнал, что Гусакс выступает с докладами — о мифах и психике — в Антиуниверситете, и полагал, что с его помощью они выяснят, одобряют их или клянут в оплоте контркультуры. Доклад Гусакса, запла-

нированный для чтения на секции по вопросам гуманитарных наук и посвященный шизофреническому восприятию частей тела, поставили рядом с докладами об аутизме и формировании понятий в детстве.

В то утро Ника Шайтона Ходжкисс не позвал: заседание неофициальное. Оно проходило в кабинете Герарда Вейннобела, за столом из палисандра, стоявшего у окна, выходящего на уединенную лужайку. Был холодный, светлый весенний день. Представители университета были в брюках в рубчик разных фасонов и поношенных пиджаках. Уилки был элегантен: плотно облегающая темно-синяя шелковая водолазка, вельветовый костюм стального оттенка. Гусакс и Фредерика по странной случайности оба надели длинные шерстяные жакеты крупной вязки. Впрочем, на этом сходство заканчивалось. На Гусаксе была беловатая шерстяная рубашка со старомодным воротником, расстегнутая, и мешковатые брюки. На Фредерике же — полупрозрачная черная блузка, подпоясанная ремнем, и длинная черная юбка с маками и васильками. Ходжкисс с социоисторической точки зрения рассматривал просвечивающий черный кружевной бюстгальтер и едва видимую заостренную

маленькую грудь. Полуобнаженные женщины на заседаниях у вице-канцлера — весьма неожиданно. Он мысленно поставил Фредерику во множественное число, хотя других женщин не было. Ему подумалось, что и Маркус такой же сухощавый. Так или иначе, ее грудь показалась ему чересчур уж маленькой.

Увидев Мондриана и Рембрандта, Уилки заохал. Какие идеальные пропорции, какая *завершенность*! Во время интервью вице-канцлер обязательно должен сидеть на их фоне. Вейннобел ответил, что интервью давать не планирует. Предпочитает оставаться за кулисами. И Эйхенбаум, и Пински недавно отозвались, оба едут, и оба дадут интервью с удовольствием, но ни слова друг о друге. А дальше последовал ожидаемый вопрос. Задал его Уилки. Вейннобел ответил, что у профессора Пински есть возражения по поводу некоторых взглядов профессора Эйхенбаума, — это давние политические вопросы, не имеющие отношения к конференции. Ходжкисс взглянул на Уилки, он знал его повадки: терьер вот-вот вцепится в крысу. Уилки, не заметив взгляда Ходжкисса, спокойно сказал, что все в порядке, он согласен на любые пожелания и рад само́й возможности побеседовать. Ходжкисс

насторожился. Герард Вейннобел перешел к следующему пункту. Он заявил, что университет готов поучаствовать в создании как можно более полной видеозаписи происходящего. Да, вы потом будете отбирать, отбрасывать, сказал он, но телевизионный фильм — это средство передачи информации, за которым будущее, и раз уж мы обсуждаем то, как сходятся тело и мысль, очень важно иметь визуальную запись тел, так сказать, выражающих свои мысли. Для нашего архива. Станем в этом первопроходцами.

Уилки, который, как всякий телережиссер, мог только приветствовать обилие катушек и груды материала, с радостью согласился. Он сказал, что надеется, что будущая передача — то, что у него получится, — будет верна целям конференции, которые он горячо, горячо уважает. Ходжкисс вновь насторожился.

Перешли к содержанию докладов: фундаментальные науки, прикладные науки, гуманитарные науки, точные науки, творческие дисциплины, языки, философия, даже спорт. Фредерика рассеянно смотрела в окно. В саду каменное творение Барбары Хепуорт непостижимым образом парило вокруг выхваченного фрагмента воздушного пространства и беззвуч-

ных струн. Фредерике в голову пришла простая до банальности и бодрящая мысль: вот женщина, которая и вправду творила. Молотками, киянками, зубилами. Так ей представлялось. Затем, в подтверждение научных теорий, ее внимание переключилось по той причине, что заговорили о предмете, ей понятном. Рафаэль Фабер собирался выступить с докладом о метафорах у Пруста, отражающих умственную деятельность. Вейнобел произнес это с придыханием, Ходжкисс не удержался от чопорно-ироничной улыбки. Он заметил, что доклад этот, без всяких сомнений, станет первым среди равных.

Где-то далеко на горизонте Фредерика увидела кольцо заснеженных гор, хотя их там не было. Она читала Лео вслух «Властелина колец» и вот осознала, что полностью захвачена безраздельностью толкиновских пейзажей и батальных сцен. «Совет там состоится в срок, — невпопад вспоминалось все утро, — и Моргул будет бит». Какой же судорожный раздрай и сумбур сейчас у нее в голове. А ведь Фредерика, куда более юная, знала, что метафора — это мерцание вымысла и связности в мире религиозной веры в эпоху, когда, как она считала, могущество и непререкаемость этой самой религиозной веры

были на излете, во времена «Потерянного рая». Она помнила, что буквально требовала — или униженно умоляла? — чтобы ей дали написать диссертацию у Рафаэля Фабера о религиозной метафоре, но он отверг ее, отгородился стеклянным экраном, дескать, он работает с французским и вообще занимается современностью. Но почему специалист по Малларме не должен понимать «Потерянный рай»? — сердито подумала Фредерика, блуждая в тумане собственного прошлого, а затем усмехнулась своим мыслям. (Ухмылка эта была замечена и неверно истолкована Ходжкиссом, который, тоже ухмыляясь, воображал Рафаэля голым.)

Фредерика оглядывала почтенное собрание и дивилась, почему ее ум начинает работать так быстро, так уверенно именно там, где люди обсуждают идеи, не имеющие ничего (или почти ничего) общего с тем, о чем думает она. Мысль о том, что она может сидеть в библиотеке, что у нее есть возможность изучать природу метафоры до тех пор, пока она ее не постигнет — ну или пока ее понимание не изменится качественно, — переполняла ее грустью. Она сделала неправильный выбор. Сидеть, самой одетой как хитроумная метафора, в легкой для восприятия

метафорической стеклянной коробке — русалка из паноптикума! — и задавать тривиальные поверхностные вопросы с тривиальной поверхностной искоркой. Муха-однодневка, подумала она, а потом заменила метафору, вообразив стрекозу медного цвета — из тех, что порхают и сверкают. Она оглядывала почтенное собрание и видела не как Ходжкисс — виражи и маневры узкопрофессиональной зависти и больших амбиций, а полулюдей-полуангелов, посвятивших себя мысли, додумыванию до конца. Туманным взглядом она все еще смотрела на каменный туннель Хепуорт.

Герард Вейннобел как раз говорил об искусственных незримых барьерах между науками. Разуму естественно возводить их и работать в их пределах: и именно этим формам, философии, биохимии, грамматике, башни университета придали метафорическую плотность. Но эти формы суть подпорки, продолжил он, а башни — смотровые площадки, с которых можно видеть другие формы и установить с ними связь. Мир бесконечно многообразен, а его элементы просты и могут рассматриваться с бесчисленных точек зрения, в бесчисленных сочетаниях.

Фредерика слушала не очень внимательно, но

потом вспомнила каждое слово: чтобы запомнить, половины внимания было достаточно. Она была поглощена мыслями о Джоне Оттокаре и его идее о том, что она должна работать здесь, с этими людьми, размышлять над этими вопросами…

Винсент Ходжкисс с умилением смотрел на Герарда Вейннобела и видел в нем Зодчего Вавилонской башни. Но не к всечеловеческому столпотворению и смешению языков стремился этот архитектор, а к открытию необыкновенного порядка и раскрытию его пред людьми.

Его любовь к вице-канцлеру всегда приводила на память строку из стихотворения Браунинга «Похороны грамматика» — о том, как в пору Средневековья ученики несут гроб помешанного на мелочах, поверженного временем ученого сухаря, своего наставника, к месту его последнего упокоения на вершине высокой горы. «Безвестный миру, старец был велик / В жизни и смерти!»[83] Большинство видит в этом стихотворении комическое осуждение жизни, растраченной на одержимость мелочами. Так оно и было, и все же нет, ибо прекрасно быть прекрасным человеком, а грамматика *плоть от плоти* человека,

---

[83] Примечания: 83
Перевод М. Донского.

думал Ходжкисс. Герард Вейннобел едва ли был бы польщен, узнай он, что кто-то в момент его сосредоточенности на работе рисует его героем надгробной элегии.

Вдруг все замолкли: за окном шла леди Вейннобел в сопровождении Одина и Фригги, решительная и грозная. На мгновение она замерла, ее крупное лицо под треуголкой было обращено к ним. Затем она махнула рукой и пошла через лужайку, оставляя следы во влажной траве.

Когда она скрылась за живой изгородью, Элвет Гусакс сказал:

— Она старается изо всех сил, в вашем, так сказать, теневом учреждении ее очень ценят.

Вейннобел ничего не ответил. Уилки спросил Гусакса, чему она учит. Астрологии, ответил Гусакс и добавил, что и сам недавно очень увлекся этой наукой. По сути, это древняя форма мысли, переживания, в которой, так сказать, жили целые поколения.

Ходжкисс поймал момент и как бы между прочим спросил, есть ли у Гусакса предположения о том, как Антиуниверситет может отреагировать на конференцию. Гусакс ответил, что, по его разумению, многие из его участников с удовольствием поприсутствовали бы, если им позволят.

И, ни к кому не обращаясь, добавил, что неприятностей они не устроят, если намек на это. Они заняты своими делами. Потихоньку занимаются. Ходжкиссу не нравилось, как Гусакс выглядит: похудел, постарел. И еще казался каким-то вечно рассеянным.

За чашечкой кофе поболтали. Уилки и Гусакс обсуждали загадку доведенной до крайности простоты Мондриана. Уилки недоумевал, почему это люди стремятся свести свой мир к элементарным формам. Горизонтали и вертикали, частицы и точки, — возможно, это заложено в мозге. Возможно, работы Мондриана — это карта его мозга или всякого другого человека. Гусакс беспокойно огляделся по сторонам и устремил свой взгляд на рембрандтовского астролога. Он заметил, что сам все больше и больше увлекается более элементарными, то есть более стихийными, формами опыта. Определение «примитивные» в данном случае нонсенс.

Фрейд начинал как невролог, напомнил Гусакс. Он создал свою карту психики, трехэтажный дом, в подвале которого буйствует Ид, а под карнизом хмурится Суперэго. Но в конечном итоге все это было его *личным* опытом. Карл Густав же был шарлатаном старой школы, а старые шарлата-

ны в таких вещах, как всеобщее сознание, толк знают, не то что узколобые циники вроде в высшей степени рационального Зигмунда. Каких вещах? — спросил Уилки. Полуприкрытые глаза Гусакса смотрели поверх его головы. О богах и демонах, ответил он. Силах природы. То, с чем встречаешься в больших снах, а не в мелких и надоедливых о своем житье-бытье. То, что скрывается за формами, которые придумали для сохранения тайны, вроде алхимии и астрологии.

— Эти чада… — он небрежно махнул рукой в сторону лагеря за садом, за университетом, — эти чада контркультуры играют с явлениями духа так, словно это облака цветного дыма, или соломенные безделушки, или чашки, разрисованные симпатичными раками, скорпионами, быками и агнцами, которые дарят на дни рождения.

— В них нет ничего страшного, — поспешил заметить Уилки.

— А я думаю, что страшное есть, — отозвался Гусакс. — Идеи сильнее отдельных людей, вот и формы духовной жизни тоже, они кривляются, они затягивают. Они воплощаются.

Появился Лайон Боумен и выразил надежду, что Уилки покажет по телевизору его доклад о химической и электрической связи в нейронах.

Обязательно, пообещал Уилки. А сам думал о варианте с психоаналитиком. Ему только что пришла в голову интересная идея.

К удивлению Фредерики, ее потрепал по плечу вице-канцлер. Сказал, что хочет ей кое-что показать. На его длинном лице щелкунчика появилась улыбка.

— Это новый проект, — сказал он и повел ее в прихожую зала Лонг-Ройстона с хорами; в этом помещении теперь стояло несколько стеклянных витрин. — Мы собираем коллекцию, хотим показать историю этого здания и историю университета. Как видите, пока собрали мало. Но кое-что вас, вероятно, заинтересует.

Он показал ей коробку с эскизами Александра Уэддерберна к костюмам для постановки «Астреи» 1953 года. Здесь же были некоторые костюмы и фотографии актеров и актрис. Ленты и вышивки, нагрудники и рюши, конус искусственных рыжих локонов, ожерелье из фальшивого жемчуга и фальшивой эмали. Был черно-белый снимок Марины Йео, царственно умирающей на подушке. Была корона из стекла и проволоки, музыкальные инструменты — ребек и лютня, трубы и тамбурины. Был там и Уилки в роли сэра Уолтера Рэли, куда более худой и с умным озорством

во взгляде. Сам Александр, держащий за руки Фредерику и Марину Йео, на общем снимке всей пестрой труппы обормотов. Была там и ее старая школьная учительница Фелисити Уэллс, которая потом умерла во время школьной экскурсии, совершенно неожиданно, перед гобеленом из Байё, подняв палец, чтобы объяснить: здесь изображена смерть Гарольда, последнего английского короля. Марина Йео была жива, но ее искалечил артрит, руки скрючились, ноги подкосились. В какой-то степени ее спасло телевидение, где она играла злобных и очень проницательных детективов в многосерийных триллерах, закутанная в шифон и восседающая в кресле.

А вот на карточке и сама Фредерика, бежит мимо фонтана с голыми купидончиками, струятся рыжие волосы, а сквозь оборки юбок проглядывают тонкие ножки.

Она смотрела на выморочные платья и безжизненные лица в безвоздушном пространстве.

Время тогда не остановилось, нет.

Все фотографии были черно-белыми (и, конечно же, серыми).

Шелк, атлас, нейлон и вискоза выцвели, немного испачкались, но не сильно.

Она разгладила своими уже настоящими рука-

ми настоящую вычурную юбку и почувствовала землю под ногами.

— А вот интересно, — сказал вице-канцлер. — Можно спросить, остались ли у вас какие-нибудь… сувениры от того времени?

Фредерика ответила, что, кажется, нет. Уж точно ничего существенного.

И они вернулись к остальным, обратно в кабинет.

Уилки сказал, что ему пришла в голову блестящая идея, о которой он расскажет ей позже.

Кто же скажет мне, кто я?

XXII

Лук Люсгор-Павлинс отправился за Джоном Оттокаром. Искать его было не нужно, ведь в рабочее время он всегда был у своей машины. У Лука же расчетов становилось все больше. Он шел по университетскому городку, который разрастался — возводились новые здания, — и спрашивал, не видел ли кто Джона Оттокара. Но неожиданно наткнулся на него сам — вернее, на них: они сидели в заросшем травой амфитеатре перед статуей короля и королевы работы Генри Мура.

Сидели лицом друг к другу, устроившись на каменной скамье, дальновидно расположенной там для тех, кто пришел отдохнуть и полюбоваться статуей и простирающейся за ней пустошью. На обоих были джинсы и свитеры в цветах радуги, похожие на рыцарские плащи, которые и по отдельности смотрелись бы ярко. Джон свой, кажется, не надевал уже давно. Склонившись друг к другу, они, судя по всему, спорили: длинные, с челкой волосы свисали с обеих сторон, головы клонились то вперед, то в сторону, что-то

подчеркнуто выражая или отметая. Руки оба то вытягивали, то в лад ими жестикулировали: один правой — другой левой, один левой — другой правой. Может, они зеркальные близнецы? Так Лук думал и раньше, но никогда не спрашивал. Вопрос слишком личный и неудобный. Колени их соприкасались. Рядом со статуей короля и королевы они были похожи на двуглавую игральную карту: валет червей или валет бубен. Не разберешь. Любопытно все-таки, подумал он, что удвоенная действительность кажется менее реальной, чем единичность.

Он подошел, они застыли, повернув к нему одинаковые лица с одинаковым вопросительным взглядом.

Кто из них кто, он понял, потому что у одного, когда он поправлял волосы, ногти блестели синим, черным, розовым и зеленым.

Опять трудности с цифрами, сообщил Лук.

— У нас у самих трудности, — ответил Пол-Заг. И мило улыбнулся.

Джон продолжал смотреть в никуда. Лук сказал, что он в полном отчаянии, причем произнес это совершенно ровным тоном.

— Отчаяния бывают разные. — отозвался Пол-Заг. — Есть отчаяние и отчаяние.

Лук растерялся, но, на счастье, появилась Фредерика Поттер со своим рыжеволосым сыном, решительная и озабоченная. Пол-Заг сунул руки под бедра. Братья смотрели на вновь пришедших одинаковыми взглядами.

— Привет, Джон О., — сказал Лео, кажется, им обоим.

— Я искала тебя, — обратилась Фредерика к Джону.

— Очень мило с твоей стороны, — отозвался Джон. — Ты не говорила, что приезжаешь.

— Говорила, но вообще. Когда именно, не сказала. В общем, я здесь.

— Вижу.

Близнецы занимали всю каменную скамью. Остальным пришлось стоять. Фредерика, стараясь звучать предельно вежливо, спросила Пола, как дела в общине.

— Большое дело делаем, — ответил Пол. — Строим Ограду. Отгораживаемся от мира. Быть может, мы станем закрытым орденом.

— Закрытым?

— Чтобы никто не входил. И не уходил, — ответил Пол Заг. — Правда, в земледелии мы еще не сильны. Но лиха беда начало.

— А где будет эта Ограда? Как она протянет-

ся? — спросил Лук.

— Вокруг и окрест. Вокруг всех угодий. Охватит все. Надо уберечь землю от истощения и эксплуатации. Надо ее сохранить.

– *Всю* землю? — переспросил Лук; как-то на пустоши, вдалеке он видел людей с лопатами и небольшой белый фургон, набитый штакетинами.

— Да, *всю,* — ответил Пол-Заг. — Тяжелый труд полезен для тела и души. А потом нам всем придется сделать выбор, — обратился он уже к Джону.

— Но пока ты то там, то тут, — сказала Фредерика. — Ты выступаешь с музыкой. Там, в Антиуниверситете. Уилл нам рассказал, он приходит тебя слушать. Он считает, что ты как музыкант лучше всех.

Пол-Заг покачивался на скамейке взад-вперед. Сказал, что это скоро закончится, все закончится. Ни к селу ни к городу добавил, что это рождение трагедии из духа музыки, и заговорщицки подмигнул Фредерике — ей показалось, что в нее плюнули.

Ниже, по гравийной дороге ехал тот самый белый фургончик. За рулем был Элвет Гусакс: он остановил машину, припарковал и поднялся к

ним, в амфитеатр короля и королевы. Приветливо кивнул Фредерике, поздоровался с Луком, погладил Лео по голове, а Полу сказал, что рад, что нашел его: подвезет обратно в поместье. Пол встал, опустил голову, руки повисли. Джон раздвинул ноги так, что теперь крепко сидел на скамье, лицом к остальным, почти подражая позе бронзовых фигур.

— Вы с нами? — спросил его Гусакс.

Джон не ответил.

— Пока нет? — произнес Гусакс любезно и повернулся к Полу. — Пока нет.

— Говорят, вы огораживаетесь? — обратился к Гусаксу Лук.

— Да, это так. Важный материальный символ. Создаем заповедник для самопознания, самоконцентрации.

— Концентрационный лагерь.

Гусакс отмахнулся:

— Шутка не вашего калибра, Павлинс. *Дурная* шутка. Выбирайте выражения, а то ведь и обидеть можно.

Он отвел Пола к фургону, обернулся и дружески помахал Джону и остальным. Фургон, удаляясь, странно блестел, будто подмигивал. В нем было много зеркал, нагроможденных друг на друга,

они-то и расплескивали отраженный свет.

Лук, обеспокоенный теперь не только своими цифрами, но и судьбой своих улиток, повернулся с намерением урезонить Джона Оттокара.

— Что мне делать? — обратился тот к Фредерике. — Как думаешь? Пойти туда к ним?

— Да брось! Тебе все это не нужно. Чепуха. И чем дальше, тем она опаснее. Ты сам знаешь.

— Выходит, знаю? А ты знаешь меня? Думаешь, можно вот так расстаться с богом, с которым вырос, только потому, что ты объявила его чепухой?

— Джон…

— Займусь-ка я лучше материалами Лука, — сказал Джон, выхватывая папку с расчетами. Не успел Лук открыть рот, чтобы объяснить, в чем вопросы, Джона и след простыл.

Фредерика и Лук остались на скамейке за статуями. Ей хотелось плакать, кричать, но не в присутствии же Люсгора-Павлинса, который так резко оттолкнул ее при их последней встрече.

— Чепуха какая, — тихо произнесла она.

— Еще бы не чепуха. Но видимо, не для него.

— Не понимаю, как можно верить… можно всерьез верить…

— Не понимаете? А я понимаю. Я и сам когда-то

верил. Но больше не верю. Когда-то мне было ясно, что есть… э-э… — он замялся, — Бог. А теперь совершенно ясно, что его нет, или, во всяком случае, нет ничего, что мы можем познать или принимать близко к сердцу.

Помолчали. Лео неподалеку рассматривал статуи.

— Напрасно я так. Вечно меня заносит.

— Да вроде нет. Это он не в настроении. Допек я его своими расчетами.

Вновь воцарилось молчание, но уже не такое неловкое.

— Если они поставят эту клятую Ограду вокруг моих улиток… — начал Лук.

— Вряд ли, вас-то они обязательно пустят.

— С какой это стати?

Фредерика промолчала.

— Им вдвоем, наверное, непросто, — сказал Лук.

— Непросто. — Фредерика задумалась, а потом продолжила: — Сущий ад. Я сказала себе, что не сдамся, что не позволю всему этому, то есть *им*, меня победить.

— Что тут изменишь, — сказал Лук со злорадством человека, чья собственная жизнь складывается неудачно. — Хотя если один все-та-

ки упечет себя в концентрационный лагерь…

— Он убежал сюда от него. И вот — опять.

— В своем деле он ас, — размышлял Лук. — Просто незаменим. Я пишу доклад для конференции. Запутался в расчетах. А он мне здорово помогает.

— Да, он молодец, — сказала Фредерика и спохватилась, что хватит плакаться в жилетку. Спросила, как дела у Жаклин.

— Насколько мне известно, все нормально.

В этом «насколько мне известно» прозвучала целая история. Фредерика поспешно кивнула. Затем спросила, о чем доклад Лука.

— О недостатках полового размножения в контексте дарвиновской теории адаптации. Чрезмерные затраты на мейоз — понимаете, что это? — разделение оплодотворенных клеток для образования зиготы. Требует много энергии по сравнению с другими методами.

— А какие еще бывают?

— Партеногенез. Клоны. Почкование.

— Понятно. Ну, я ничего этого не знаю, но интересно. Приду на ваш доклад.

— Близнецы, конечно, это и есть своего рода клоны. Иногда. Или же один отпочковывается от другого. Так считают. Джону мои штудии не нравятся. Ему претит, с его *религиозной* точки

зрения, идея, что альтруизм — это своего рода механизм самовоспроизводства интереса. И ему не нравятся мои теории о том, что мужское начало излишне.

На лице Лука мелькнула улыбка: он думал о том, что его доказательства и аргументы вполне убедительно выстроены, несмотря на всю сложность вопроса.

— Главное, — продолжал он, — разглядеть и описать все максимально верно. Описать мир таким, *каков он есть*.

— Это точно, — отозвалась Фредерика. — Может, мне пойти за ним?

— А вы хотите?

Фредерика задумалась.

— Надо разобраться.

— Пусть он сначала разберется с моими цифрами, — сказал Лук Люсгор-Павлинс.

Мужчины есть мужчины, подумала Фредерика, но тут Лео — не клон, не почка, а самый что ни на есть настоящий — подошел и обнял ее. Запах сена и меха, запах его волос. Люсгор-Павлинс отодвинулся, встал и зашагал прочь.

— До скорого, — бросил он.

— До свидания, — ответила Фредерика.

Уилл и Лео вошли в Образовальню. От резкого

запаха нечистот и благовоний Лео сморщился. Уилл стал молчаливым, нелюдимым подростком; смуглый, как отец, но стройнее, темные глаза отца и мягкие губы матери придавали его юному лицу меланхолическое выражение. С Лео он, похоже, сдружился и с удовольствием брал его с собой, хотя был на пять лет старше.

— Музыка — отпад, — рассказывал он Лео. — Когда играет этот. Он то играет, то нет. Это как повезет.

— Хорошо, — покорно согласился Лео; глухотой к очарованию музыки он был в мать.

Пока они пробирались по грунтовым дорожкам между палатками, он объяснял Уиллу, что с тех пор, как у него появилась новая семья, все поменялось. Новые единокровные брат и сестра младше его. Когда он навещает отца, то больше не катается верхом. Уголек умер, а новая семья, Робин и Эмма, завели новых маленьких пони, которые слишком малы для мальчика его возраста. Их зовут Панцирь и Пти-Гри. А для краткости — Панни и Петти. Нелепо бы я выглядел, заметил Лео, если бы залез на одну из них. Даже если бы попросили, хотя никто и не просит. Обидно, отозвался Уилл, прислушиваясь к звукам. Он там. Сейчас послушаешь. Улетишь в космос,

уверенно сказал Уилл. Лео спросил, не чувствует ли Уилл чудной запах. Естественно, но ты скоро привыкнешь.

Войдя в помещение, где поют, Лео с удивлением увидел, что главный исполнитель — неприятный брат Джона О. Это от него такой запах, догадался он. Певец сидел на трехногом барном стуле, склонившись над гитарой, с которой свисали пунцовые, золотые и серебряные ленты. На нем был шутовской камзол, ногти были выкрашены попеременно черным с белыми завитушками и белым с черными. Веки тоже блестели. Публика была пестрая, восторженная. Несколько хиппи, много парней и девушек приблизительно возраста Уилла, группа молодых людей, похожих на студентов. Все они сидели на чем-то вроде восточного настила из лоскутных подушек. Было довольно темно. День выдался пасмурный, и сквозь брезентовую крышу свет пробивался тускло-румяный. Лео открыл было рот, сказать, что это всего лишь Пол О., но Уилл шикнул на него и потянул вниз, на подушки. Лео прислушался к звуку струн. Микрофона не было. Просто поток музыки, а потом — чистый голос.

Лео подумал, что, если бы эту музыку описывал Толкин, он бы сказал, что она подобна беско-

нечной ряби и журчанию небольшой речки, с порогами и водоворотами. В зале было немало толкинистов — с серебристыми лентами на голове и в тонких просторных рубахах с фигурными манжетами на рукавах. Лео они не нравились. Все какие-то ненастоящие, выдуманные, они умаляли сияющую реальность толкиновского мира, каким Лео его представлял. Он почувствовал, как Уилл рядом с ним устраивается на подушках, и вгляделся в его лицо, на котором застыла мягкая, тихая улыбка.

Песня же не была ни тихой, ни мягкой, но звенела и пульсировала бесконечной репризой.

Один – это много, много – один.
Пламя в огне, камень в оправе,
В черепе мозг, хрящ в суставе,
Тень на солнце, ветер с вершин.
Кисть винограда, кость домино,
Куст пальцев. Нас много, и мы – одно.
Одно мы, нас много, в воде ли, в беде ли.
Сожгут – вернемся, сожрут – уцелели.
Червяк в черноземе, кашне на каштане,
Подсолнечник в полночь, пузырь в океане.

Одно мы, нас много, нас много – одно.

Спрядем эту нить – оборвем все равно.

Я Бог, я букашка, скрипач и струна,

Я и тело, и дух, я и шквал, и волна.

Я стрелок и стрела, я один – меня много.

Убью – воскрешу, так какого вам бога?

О козы и шкуры, о праздник и краски,

О рожки и ребра, о гомон и пляски.

Весь праздник мы будем опять и опять

Мечтать, танцевать и себя истреблять.

Запали, преврати меня в пламя и свет,

Пожирай мое сердце, и мозг, и скелет.

Мы одно, и нас много, мы и нет, мы и да.

Мы и бог, мы и кровь, мы ушли в никуда[84].

Лео разглядывал лицо Пола-Зага, его разметавшиеся волосы, дым от благовоний. Ему не хотелось попасться певцу на глаза, и вообще ему

---

[84] Примечания: 84
Перевод В. Ланчикова.

тут не нравилось. И он потихоньку отодвинулся от Уилла, который с закрытыми глазами кивал в такт музыке, пополз на животе к краю палатки и выбрался наружу. Глубоко вздохнул, забыв о запахе, а потом подумал, что запах тут как в стойле Уголька, когда тот только что пописал в солому. Эх, и про смерть Уголька рассказать некому. Он побрел по одной из дорожек между палатками и пришел к воротам с надписью «Сад матушки Гусыни», за которыми Дебора Риттер читала рассевшимся вокруг детям. Нет, для таких сборищ, где рассказывают сказки, он уже слишком большой, да к тому же школу напоминает. Не нравились ему и бумажные подсолнухи, и картонная капуста. Но тут он услышал знакомые строки и обернулся.

— А между тем у нас с тобой есть кое-что общее, — сказала свистала Камнедраку.

Таких непохожих существ еще поискать, подумал Артегалл: долговязая птица-дева с длинной шеей и мягчайшим оперением, покрывающим пух, и ящерица из кремня, почти неподвижная, если не считать золотистых глазенок, мерцающих, как капли света из сажи. Ветер ерошил перья свисталы, и она казалась такой невесомой, что еще немного — и воздушный поток унесет ее

за тридевять земель. Камнедрак же был приземист, коренаст, даже крепкие его когти, когда он не двигался, казались выцарапанными на камне. По черной спине то и дело пробегали огненные струйки.

— Мы по природе не одно или другое, — угрюмо продолжала свистала.

Свисталы бывали не только угрюмы: они могли и кричать от восторга, отдавшись на волю ветра, могли с жаром кого-нибудь отчитывать, могли петь стройным хором. Камнедрак в ответ буркнул что-то под нос. У него было только два состояния: либо вялость, граничащая со столбняком, либо бешеная радость, от которой мороз по коже продирал. Сейчас на него напала вялость.

— Мы не женщины и не птицы, — говорила свистала, — а ты не змея и не камень. В жилах твоих струится не кровь, а каменный свет, а в наших — не доброта человеческая, а волшебные чары, в которых дышит небесный простор и воздушная стихия. Друга жизни нам никогда не найти, ибо пришлось бы выбирать: человек или птица, а с оперением мы расставаться не хотим.

Что до него и ему подобным, сказал Камнедрак, они появляются на свет, когда в кремнеземе образуются, примерно сказать, завязи. Из них

получаются яйца, а из яиц получаемся мы, объяснил он. На каждом горном хребте обитает самое большее один камнедрак.

Лео стоял прямо у входа и слушал. Закрыв книгу, Дебора Риттер заметила его, приветливо улыбнулась и спросила, понравилась ли ему эта сказка.

— Конечно. Это моя сказка.

— *Твоя?*

— Давайте покажу, — сказал Лео. Он открыл воротца и вошел. — Посвящается мне. Для Лео и Саскии. Видите? Нам эту историю еще до книжки рассказывали.

— Как интересно, — вежливо сказала Дебора Риттер. — Так ты знаешь автора этой книги? У нее, наверное, денег куры не клюют.

— Да нет, — ответил Лео. — Мы все живем в *захудалом,* то есть *обычном,* месте. На самом деле мы не семья, но что-то вроде семьи. Две женщины и двое детей, и эту историю рассказывали нам…

Он был счастлив, читая, с некоторым высокомерием своей матери, собравшимся детям лекцию о жизни на Хэмлин-сквер. Но тут явился Уилл и оттащил его в сторону. Он был сконфужен. И дулся из-за того, что чувство ответственности вынудило его уйти с концерта. Домой возвращались

в напряженном молчании.

* * *

За завтраком Герард Вейннобел смотрел на свою супругу, сидящую на другом конца стола. Она неистово втыкала вилку в яичницу, с жадной радостью запихивала в рот тосты с блестящим сливочным маслом.

— Ева, я никогда не ограничивал твою свободу и не диктовал тебе свою волю. Ты не можешь этого не признать.

Леди Вейннобел жевала. И, продолжая жевать, улыбнулась.

— Пожалуйста, выслушай меня. Я очень прошу тебя *не делать этого*.

Она проглотила прожеванное и улыбнулась:

— Ты не можешь мне помешать.

— Нет, не могу, — терпеливо ответил Вейннобел. — Но я никогда раньше не просил тебя — напрямик — об уступке, об одолжении. Пожалуйста, подумай, что поставлено на карту. Близится конференция. И со студентами все очень зыбко.

— Хмф. Вся моя жизнь была подчинена твоим прихотям и твоей *значительности*. Но вот меня пригласили высказаться от своего лица. И ты пы-

таешься мне помешать. Ты в своем репертуаре.

Все не так, мысленно возразил он. Не так. Не совсем или совсем не так.

— Свобода слова, — произнесла его жена, жуя еще один тост. — Ты же признаёшь свободу слова.

— Разумеется.

— А *меня пригласили* высказаться — в эфире, лично — о том, во что я верю. И ты ставишь мне палки в колеса.

— Но время неподходящее.

— Тебе не нравится то, о чем я хочу говорить, — так и скажи. Но ты не остановишь меня, Герард, разве что ограничишь мою свободу в прямом смысле. Физически, так сказать. Физически.

Он опустил взгляд на стол и на полированном дереве увидел свое собственное деревянное лицо.

Она уже все решила, понял он, убеждать — будет только хуже. Бог знает, что она выкинет, если, например, он в обход ее обратится к Эдмунду Уилки, а тот во всяком случае должен был подумать обо всех этих вопросах — своих собственных проблемах, — прежде чем приглашать ее, затевать это явно опасное и абсурдное дело.

Как бывало часто, Ева словно прочитала его

мысли.

— Этот молодой человек был на одной из моих еженедельных лекций, — сказала она. — Он, несомненно, оценивал меня, как я себя держу и все прочее. Сказал, что весьма впечатлен. Что в наши дни астрологией очень интересуются.

— Что правда, то правда, — честно согласился Вейннобел.

— Ну и вот. Вполне естественно, что ко мне обратились. И я, естественно, не могу не согласиться. Сделай милость, выкинь это дело из головы.

Герард Вейннобел удрученно склонил свой стяг в знак поражения.

Джон Оттокар стоял в дверях своей университетской комнаты и не выпускал Фредерику. В этот раз любовью они не занимались. Фредерика чувствовала, что больше не может обнажиться перед этим мужчиной, который знает каждый дюйм ее кожи, снаружи и внутри. Она хотела существовать сама по себе. Она хотела уйти. Она не думала. Джон — тот и думал, и говорил, как если бы сейчас она могла его услышать. А его голос шумел у нее в голове, как вода на дне глубокой ямы, едва слышно. Он говорил, что тогда ходил к ней на занятия, чтобы научиться говорить, и вот

теперь он говорит, а она должна слушать. Она должна ему помочь, должна спасти его, потому что его разрывает на части, от него ничего не останется. В те дни, когда она еще не научила его говорить, у него была только математика, только мычание, которого никто не понимал. Кроме Бога, может быть, а Фредерика не любит Бога. Он хотел быть, сказал он с запинкой, *индивидом* в обычном мире, а она — его дорога в этот мир, и она не должна его отпускать. Он пытался… пытался держаться на плаву с помощью работы, но и в работе полно ужасных вещей, она разрушает душу. Я работаю, чтобы доказать, что человек — ничто, красиво выразился Джон Оттокар. Фредерика стояла в дверном проеме и ждала. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, сказал Джон Оттокар, и мы станем для Лео отличной семьей, и ты сможешь делать все, что захочешь, все, что пожелаешь.

Когда-то ей нравились в нем особое изящество и уверенность в себе — где они теперь? На нее навалился чудовищный груз ответственности, страшно хотелось сбежать, вырваться, уехать. Она втянулась в это инстинктивно, и инстинкт же теперь вытаскивает ее за волосы, а рассудок и человечность куда-то исчезли. Она дождалась,

когда он договорит, — а говорил он долго, потому что теперь хорошо владел словом и, похоже, считал, что сейчас на кону стоит его жизнь.

И тогда она сказала, что должна уйти.

Стерва, вырвалось у него.

Так и есть, ответила Фредерика, она такая, она сама видит, что она такая.

И добавила: выпусти меня.

В знак поражения он склонил свой стяг, и она вышла. На следующий день она уезжала в Лондон.

Она проплакала в постели, казалось, много часов. Голову накрыла подушкой: незачем Лео в соседней комнате слышать чужое горе.

Когда она наконец заснула, ей приснилось, что она бежит меж деревьев, обнаженная, платье изрезано, превратилось в лохмотья. Кто-то позади нее, настигает, хватает сзади и высоко поднимает, вгоняя незнакомый член ей между стиснутых ляжек. Кто-то гладит ее по голове, и она оборачивается, чтобы посмотреть, кто это, потому что она терпеть не могла заниматься любовью во сне и боролась со вторжением и невольной капитуляцией. А ее поднимали вверх, вверх, до нелепости высоко, а эта твердая шту-

ка все время была между ног. Наконец ее лицо увидело другое лицо между листьями, и в голове промелькнуло воспоминание о встрече Алисы с сердитой Голубкой. Это было лицо Люсгора-Павлинса, и он смеялся.

* * *

Вице-канцлер смотрел «Зазеркалье» один у себя в гостиной. Шторы были распахнуты, по чистому небу рассыпались звезды, перемежаясь с тонкими облаками и перемигиваниями выстроившихся правильными рядами искусственных огней. Алиса в ящике с зеркалами на этот раз появилась в сопровождении исчезающей ухмылки Чеширского кота, вперемежку с рыбьими костями и звездочками. Фредерика была одета в черное, на шее ожерелье из шарообразных зеленых стеклянных бусин. По правую руку от нее сидел Гусакс в белом одеянии, обливаясь потом в белом свете. По левую руку сидела Ева, одетая в бархатное платье тускло-фиолетового цвета, с вырезом-лодочкой и массивным позолоченным воротником со вставками из камней, почти наверняка имевших символическое значение. Ее густые волосы были приглажены и уложены лаком, причем обилие лака придавало им сход-

ство с хрустящей корочкой безе, а цвет казался пепельно-черным.

Он сразу увидел, что она очень нервничает. Ноздри раздувались, дыхание участилось, она вытирала донельзя красные губы смятой салфеткой. На хмуром лбу, над грозно нависшими бровями, блестели бисерные капельки пота. Одно утешает: она не испугается и после не расклеится. Он злился на себя: его только и заботит, что она скажет и *как* скажет.

Наблюдал он и за Фредерикой Поттер, которая, должно быть, уже умела улавливать состояние собеседников. Она начала с тривиальных, простых вопросов. Астрология — это ведь не разделы с предсказаниями в газетах, так ведь? Астрология существовала всегда, ее использовали для объяснения исторических событий, человеческой психики и движения небесных тел, ведь так? Ева принялась разводить свои обычные рацеи — многословно, злобно, почти угрожающе. Как бык, подумал он, нет — как корова, которая бросается на развевающийся плащ из розового шелка. Ей стало легче оттого, что она, как и все, открыла рот. Она сказала, что луна, вопреки здравому смыслу, тянет за собой моря, а ничтожные человеческие жизни — это часть больших космических процес-

сов. И на протяжении веков люди — некоторые люди — научились чутко эти процессы и связи распознавать. Астрономия, по словам Гусакса, вышла из астрологии, как химия — из алхимии, и есть два способа взглянуть на все древнее: один — понять, что все это было очень человеческое, очень-очень человеческое, не заблуждения, но ключи к нашей собственной природе, как гены и хромосомы. Так же и сны. При этом у всего есть свои недостатки. Но и своя сила.

Поговорили о Джоне Ди[85] — личность передачи, — о его оккультных знаниях, их значимости для человечества. Поговорили о том, что во многих современных культурах и обществах до сих пор ничего не делается без консультации с астрологом. Гусакс сказал, что контркультура знает о стародавних духовных формах, глубоко занимается их возрождением, с тем чтобы, так сказать, снова пролить на них свет…

Осмотрели предмет вечера — небесный глобус эпохи Возрождения, на котором были изображены существа, рассредоточенные в темноте: рак и скорпион, бык и овен, козерог и рыбы. Фредерика

---

[85] Примечания: 85

Джон Ди (1527–1609) — английский натурфилософ, математик, алхимик и оккультист. Был придворным астрономом и советником при Елизавете I.

призналась, что в детстве воспринимала их как поэтические образы, выдумки, то, чего не было — но, по вашим словам, было. Она никак не уразумеет, что такое небесный глобус: земной глобус — это понятно, но ведь вне его бесконечности, а это лишь условное изображение в форме шара.

Леди Вейннобел, оскалившись в улыбке далеко не миролюбивой, заметила, что Фредерика, скорее всего, была — а вероятно, и сейчас остается — несмышленышем: да, это поэтическое выражение истины, но такой истины, которую все ваши — она пренебрежительно махнула рукой, сотрясая декорации, — молекулы и тому подобное выразить не в состоянии и не выразят никогда. В голосе заклокотали какие-то новые нотки. Творец, продолжала она, хотел создать мир, в котором Он был бы Творцом существ *одушевленных,* связанных со всеми мыслимыми областями природы самым тесным образом. Каждое *одушевленное* существо имело бы свою форму, клешню и рог, плавник и щупальце, которые соединяли бы его со всей Вселенной. В древних мифах об этом говорится. Современный же человек препарировал все своими органами чувств и породил новое невежество.

— Инстинкт — более чуткий и мудрый провод-

ник цельности природы, ведущий нас к мудрости превыше человеческого понимания. Мы, люди, научились передвигаться по воздуху и по воде, но неестественно, неловко, и с каким ущербом для земли, для воды, для воздуха. Так вот, знаки — это фигуры, которые направляют нас *вспять*…

На экране — ее широкое, сосредоточенно-напряженное лицо. Герард Вейннобел встал, будто хотел схватить стеклянный ящик и разбить, как будто так он ее остановит. Фредерика Поттер продолжала со светской непринужденностью:

— Знаете, тем из нас, у кого *человеческий* знак, приходится нелегко. Когда покупаешь керамическую кружку, или коврик, или что-то еще со своим знаком, то рак, или скорпион, или рыбы — это красиво. Козероги, овны и быки тоже выходят неплохо. Даже Стрелец ничего. А вот Дева и Близнецы всегда пошловаты, сентиментальны. Вроде диснеевской Белоснежки или безвкусных типовых статуэток Девы Марии со слащавой кукольной мордочкой. Я знаю, ведь я сама Дева.

Камера отъехала от Евы, чьи длинные фразы прорезали взбитую Фредерикой словесную пену, как морские водоросли. Вице-канцлер смотрел на улыбчивое лицо ведущей, современное, обыкновенное, вселяющее уверенность.

Леди Вейннобел не смогла удержаться от неизбежного вопроса:

— Вы, значит, Дева?

— Вы удивлены?

— Нет-нет. Я сразу поняла, что вы Дева.

— А Девы — они какие?

— Замкнутые. Смотрят в себя, отгораживаются от внешнего мира. Они невинные и от тайнознания далеки. Но вообще-то, за эту оторванность от реальности приходится дорого платить.

Гусакс вступил в разговор и предложил Еве диагностировать его — определить его знак. Он Стрелец, ответила она и попала в точку, боевой конь и лучник, животное и полубожество, два существа в одном. Леди Вейннобел испачкала зубы помадой. Разговор постепенно перетекал в русло многих, многих прошлых разговоров и плавно завершался.

Вице-канцлер успокоился: могло быть гораздо хуже. Раз уж она там оказалась. Сколько миллионов ее услышали, лучше не прикидывать. Разумеется, вполне возможно, даже вероятно, что в ее словах для них больше смысла, чем в его объяснениях алгоритмов Универсальной грамматики. Как всегда, он с удовольствием вспомнил безупречное грамматически, но абсолютно бес-

смысленное предложение, придуманное Ноамом Хомским. «Бесцветные зеленые идеи яростно спят». Он всегда в связи с ним вспоминал витиеватое, но не бессмысленное метафоричное определение мышления, которое дал сэр Чарльз Шеррингтон. «Мозг — это заколдованный ткацкий станок, на котором мириады снующих челноков плетут распускающийся узор». Он решил включить обе эти цитаты в свое вступительное слово на конференции. Поэзия высекается из чего угодно, как искры из кремня. Астрологические знаки — не что-то новое, напротив: изношенные, затертые символы. Он улыбнулся галантной банальности Фредерики Поттер и нарисованному ею образу кисейных барышень с керамическими кружками. И в уме свел вместе, да уж, кошачьи оскалы, рыбьи кости и звезды с, чего греха таить, оскалом своей супруги и колючими бусинами ее ожерелья. В стеклянном ящике. Еще метафора.

Ну, супруга в Лондоне, а не здесь, можно сесть и почитать. Он взял книгу, за которую как раз принялся. После окажется: ее читали все.

И тут Артегалл услышал голоса невидимых тварей. Дрозд-задавака все говорил, все бранился. Но сквозь журчанье его речи донесся до Артегалла шепот жуков, крошащих в труху мертвое дерево,

шипенье пауков, плетущих свои тонкие тенета, бормотанье мух, бестолково снующих близ этих шелковых нитей. Услыхал он медленные, холодные речи слепых извилистых червей, пролагавших ходы в слежавшейся прели. Услыхал, как выползают на пригреве из раковин скользкие улитки, как от голода плачет крохотная личинка в муравейнике…

Вице-канцлер читал дальше. Хорошая книга. А там, во внешнем мире, что-то прорисовывалось, и он это чувствовал. И читал дальше.

XXIII

Конференция открылась без всяких происшествий 15 июня. Герард Вейннобел встретил гостей в Университетском театре в Центральной башне, произнес небольшую речь о «замысле университета». Затем состоялся приветственный вечер в большом зале Лонг-Ройстона — телевизионщики вперемешку с собравшимися учеными. У студентов к тому моменту сессия уже закончилась. Одни разъехались по домам, другие решили прийти на конференцию. Собравшиеся ученые добродушно улыбались небольшой группе протестующих, организованной Ником Шайтоном, с плакатами, обличающими несправедливую тиранию экзаменов. Внутри же гостей ждали очень недурные бутерброды с ржаным хлебом, красное и белое вино, а также летний фруктовый пунш. Хедли Пински и Теобальд Эйхенбаум присутствовали оба, но друг с другом не разговаривали. Фредерике было приятно, когда Пински ее узнал. Он стоял под открытой галереей у колонны, сам будто сверкающий столп: белоснежная голова, голубые очки, льдисто-синяя рубашка, белесый

парусиновый пиджак и такие же брюки.

Уилки указал ей среди собравшихся Эйхенбаума. Тот был невысокого роста, ножки коренастые. Полным не назовешь, но широкий в кости, крепко сбитый. Лицо упруго-морщинистое и загорелое — несомненно, потому, что добрую часть жизни он работал вне дома. На носу — тяжелые очки, делающие его похожим на сову, очень густые седые волосы, переходящие в очень густую, раскидистую седую бороду, из которой выглядывали полные замысловато-изогнутые губы. Живая легенда. В его работах о волчьих стаях, домашних собаках, лисах и шакалах были хрестоматийные описания поведения зверей в дикой природе и при одомашнивании. Занимался он и исследованием моделей обучения, родительского и сексуального поведения, ритуалов спаривания и вытеснения у целых поколений домашних птиц и диких перепелов. Жил он у озера, в германских лесах, в знаменитой лесной хижине, куда уединялся для размышлений. Работал там в окружении животных, которые считали его не то оленем, не то гусем, не то лисой, не то кроликом, не то вороном, не то курицей, не то лесным богом. Он всегда умел придумать, как изучить ту или иную модель поведения, но не утруждал

себя экспериментами согласно методологическим требованиям современной науки. Женат не был, а ассистентов, как говорили, держал на расстоянии.

Его все чаще критиковали за убежденность в том, что люди, как и все остальные существа, преисполнены особой энергией, которую он называл агрессией, а по-немецки, вторя Лоренцу, *sogenannte Böse,* «так называемым злом». Говорили, что, по его мнению, эта сила заложена природой, а ее подавление наносит животным, в том числе и человеку, вред. До тех же, кто верил в общечеловеческую кротость или возможность научить льва лежать рядом с агнцем (если только речь не о львах, выращенных в неволе), дела ему не было. Врожденное он считал важнее приобретенного. Этим он объяснял все, так рисовал себе картину мира. Имелись сделанные тайком снимки, на которых он разгуливал нагишом среди кустов и деревьев: загорелая шкура сливается с корой, блестит щетка волос. Детям рассказывали о человеке, который умеет общаться с животными. Среди социологов истории ходили другие — о его нетерпимости и непонимании человеческих общества и общности.

Фредерика увидела Люсгора-Павлинса, он стоял

под гипсовым фризом «Смерть Актеона». Разговаривал с Жаклин Уинуор и Лайоном Боуменом: все трое состроили светские улыбки. Жаклин была еще сухощавее и еще красивее. На ней было простенькое светло-шоколадное мини-платье, которое могла надеть только женщина, полностью уверенная в своей стройности, а к Жаклин теперь это относилось без оговорок. На бедрах у нее нежно алел пояс с пряжкой. Фредерика попыталась угадать нынешние отношения между тремя учеными и не смогла. Но все равно подошла. Всех она знала и всех была рада видеть.

Ее появление, казалось, послужило сигналом для Боумена и Жаклин, которые сразу отошли в сторону. Остался только Лук, на вид расстроенный. Подготовка неоднозначного доклада его вымотала, и к тому же ни с того ни с сего возник сильнейший страх публичных выступлений. Вскоре после весеннего визита Фредерики Джон Оттокар исчез. В одно прекрасное утро он просто не пришел на работу, не пришел и на следующий день и вообще больше не появлялся. Из его комнаты исчезли все личные вещи — одежда, бритвы, зубная щетка, но по-прежнему лежали на полке книги и логарифмическая линейка. Лук посоветовал Абрахаму Калдер-Флассу спросить

у Элвета Гусакса, не числится ли пропавший ученый-компьютерщик в Дан-Вейл-Холле. К тому времени Ограда была возведена, вход в Дан-Вейл-Холл торжественно закрыт, телефон отключен. Гусакса и, конечно, каноника Холли туда все еще пускали. Обоим предстояло выступить с докладами на конференции. А небольшая группа членов общины, в основном квакеры, разочаровавшиеся учредители «Тигров духа», по рассказам, со всеми попрощались и ушли прочь от запертых ворот в сторону пустоши. В течение следующих нескольких недель оттуда ушли еще один-два человека: ничего особенного не сказали, сели на поезд и уехали обратно на юг. Правда, по пустоши с посохами и сумками через плечо тянулись патлатые искатели истины из Калверли и более далеких мест, и их принимали с радостью. Некоторые, впрочем, опять уходили. Элвет Гусакс посоветовал Абрахаму Калдер-Флассу о Джоне Оттокаре не беспокоиться. Он действительно там внутри, и он в безопасности. Калдер-Фласс спросил: он уволился, в отпуске по болезни или *что*? Гусакс ответил: в помощи он определенно нуждается — таково мое мнение как специалиста. И он себя там обретет — таково мое личное мнение. Что же касается выплаты оклада, поступайте как знаете.

Лук в то время был больше обеспокоен простоем с расчетами, чем духовными исканиями Оттокара или обоих Оттокаров. Он пытался — с некоторым, но не полным успехом — убедить Маркуса Поттера помочь ему с некоторыми функциями и уравнениями. Маркус уже помогал Жаклин — ее гигантские нейроны производили новые всплески биопотенциала — и Кристоферу Коббу, который делал доклад о научении у певчих птиц, особенно зябликов. Кобб, руководитель расположенного на пустоши Центра полевых исследований, был признанным во всем мире специалистом по муравьям, но вот переключился на птиц и работал со студентами в новом Центре поведения животных при университете. С математикой у него было еще хуже, чем у Лука, и приближение конференции тревожило его еще сильнее. Он был шапочно знаком с Эйхенбаумом, уважал его как ученого — с оговорками и нюансами, но сугубо научного характера. Политика его не занимала. Ему требовалась компьютерная поддержка.

В довершение бед Слышащие огородили тот кусок земли, на котором жила популяция изучаемых Луком улиток и который он поэтому считал своим, хотя прекрасно понимал, что земля, на

которой они находятся, принадлежит Люси Нигби, а улитки — улитки принадлежат только сами себе. Как-то Лук подошел к главному въезду в Дан-Вейл-Холл. Его, так сказать, вяло охраняли двое очень отощалых молодых людей, с очень длинными всклокоченными волосами, в белых рубахах. Лук рассказал им об улитках. Объяснил, что наблюдает за ними уже не один год. За спиной стражников собрались гуси: будто в порядке эксперимента расправлялись белые крылья, а остроклювые головы увенчивали извивавшиеся по-змеиному шеи, из гло́ток вырывался трубоподобный гогот. Войти нельзя, сказали молодые люди и отвернулись.

Письмо Гусаксу и письмо Люси Нигби остались без ответа. Лук рассудил, что не весь же периметр охраняется круглые сутки. На рассвете он возобновил наблюдение за улитками. Пришлось порыскать: та самая кишащая улитками стена, увы, находилась рядом с местом, где Ганнер хранил свой мотоцикл и где стояла батарея-курятник. Лук решил, что эти постройки, вероятно, используются, и попытался подсмотреть через отверстия в заборе. Он слышал, как бегают и суетятся куры, слышал пигалиц, но не людей. Нет, не концентрационный лагерь. Ни

вооруженной охраны, ни сторожевых вышек. Он вернулся затемно с пилой и лопатой и, оторвав треснувшую доску, проскользнул внутрь, а за собой вставил новую цельную доску. Занялся разведкой. Птицы с фермы, завидя его, разбегались кто куда. Окна строений были покрыты пылью, двери настежь. На следующий день он пришел тоже затемно, на этот раз с черным рюкзаком за плечами. Пришлось припарковаться подальше, а вещи перетаскивать через вершину холма, по пересеченной местности. Сделанная им брешь в заборе осталась нетронутой, и немного спустя он почувствовал, что можно совершать регулярные предрассветные вылазки, записывать передвижения улиток, наносить новые синие пятна, считать. Все это переполняло его какой-то злобной энергией.

В темном уголке души он возлагал ответственность за бегство Джона Оттокара на Фредерику Поттер, не думая о том, какую роль мог сыграть он сам, не говоря уже о Поле-Заге.

Он тоже смотрел астрологический выпуск «Зазеркалья». И его отношение к ней от робкой симпатии вернулось к полумашинальной враждебности.

Фредерика не знала, стоит ли поминать Джона

Оттокара, отсутствие которого было сильнее иного присутствия. Она улыбнулась Луку своей телевизионной улыбкой и сказала, что с большим нетерпением ждет его доклада о размножении. Лук просиял. Фредерика еще лучезарнее продолжала, что надеется на интервью с ним. Выбранная им тема наверняка заинтересует телезрителей. Лук сказал, что не в восторге от телевидения, все-то оно опошлит. И даже хуже.

— Хуже? — спросила Фредерика, по-прежнему излучая дружелюбие.

— Ну в каком свете выставили вы вице-канцлера? Не стыдно? Позволить этой женщине опозорить себя — да и его — на глазах у миллионов. Распространяя при этом опасную ложь.

Фредерике представилось, как на фоне первозданного ландшафта распространяются грибковые споры. Взорвался гриб-дождевик. Слова Лука возбудили в ней боевой задор, тем более что к вице-канцлеру, который был по-своему добр к ней, она относилась с участием.

— Да ладно вам. В астрологии нет ничего страшного. Своего рода поп-поэзия. Люди начинают мыслить метафорами. Составлять перечни, сопоставлять. Людям это нравится. По-своему очень красиво.

— Ничего себе красиво! Это все ложь, выдумки, и выдумки вредные, потому что мешают людям мыслить. Эта женщина опасна.

— Нелепая. Но что ни говори, держалась она молодцом.

— Все равно что смотреть в окно, затянутое отвратительной паутиной, и говорить: вот оно какое, небо, — не унимался Лук.

— Помилуйте, вы же ученый. Если там и правда паутина, вам следует ею заинтересоваться. Нельзя же сказать, что ее там нет. Есть, и уже не одно столетие.

Лук растерялся. Но тут же перешел в наступление:

— Нет, нет! Это гнусные, ложные формы мышления.

— Их породил наш мозг.

— Но это *мертвые* формы. Они гораздо менее интересны, чем… чем реальные вещи.

— Реальность — это то, что мы ею считаем.

— Нет, неправда. Это то, что *есть*. Вы же умная, как вы можете с этим спорить?

— Не я предложила позвать ее на передачу. Это Уилки, он любит похулиганить. И попал в точку: мы получаем сотни писем, зрители жаждут вот такого — астрологии, алхимии, спиритизма…

— Так вот почему…

— Можете не продолжать. Я знаю. Я тоже терпеть не могу Элвета Гусакса. И он гораздо опаснее, он-то явно *в своем уме.*

Тени Джона Оттокара и Пола-Зага пронеслись между ними.

— Сколько я ночей не спал, когда готовил доклад. Он слишком пространный. И бессвязный какой-то, — признался Лук.

Утешать его, подбодрить что-нибудь дежурным вроде «Ну-ну, все будет хорошо» — попахивает высокомерной снисходительностью. Фредерика только пообещала, что обязательно послушает его доклад. Если только студенты все не сорвут.

— Пока что были только плакаты и подозрительно безобидная небольшая демонстрация.

Организатор этой самой демонстрации Ник Шайтон тем временем встречался с Деборой Риттер, Грегом Тодом, Вальтраут Росс и Джонти Сёртизом. Он знал, что демонстрация — только начало, и с тревогой подозревал, что кое о чем ему не рассказывают. Комната в домике изменилась: нет, ее не прибрали перед важными событиями, но, наоборот, еще сильнее загромоздили. У одной стены стояли четыре очень больших предмета, похожие на спальники, накрытые старыми

одеялами. Рабочий стол Грега Тода был завален размноженными на ротаторе и сшитыми листами какого-то документа. Вместе с Вальтраут Росс они собирали их в пачки.

— Пришли, — сказал Сёртиз. — Боялся, что не успеют.

По рукам начали ходить переводы выдержек из «фашистской» статьи Теобальда Эйхенбаума 1941 года «Helder und Herde», в которой он опирался на главу из книги Фрэнсиса Гальтона «Исследования человеческих способностей» под названием «Стадные и рабские инстинкты». Эйхенбаум исследовал поведение в стадах, стаях, косяках — везде, где массовость кажется залогом безопасности. Он наблюдал, какое воздействие на хищников оказывают скопления и перемещение потенциальной добычи. Также, вслед за Гальтоном, он занялся сравнением интеллекта дикого и одомашненного скота и сравнением с цивилизованными, «домашними» людьми. Гальтон утверждал, что люди унаследовали от некоего стадного первобытного предка то, что он, возможно, злополучно назвал «рабской» установкой, — уклонение от ответственности, неспособность мыслить самостоятельно. Он считал, что демократия и тщательный отбор

умных особей (евгеника) повысят общий уровень ответственности человечества. Гальтон также считал, что современный одомашненный скот более независим, чем его дикие собратья, потому что более агрессивные и своенравные особи не «отсекаются» от стада львами и леопардами, а размножаются сами. Эйхенбаум тонко сместил акцент — во всяком случае, на уровне языка — и использовал фразы, заимствованные из лексикона национал-социализма, проводя мысль о том, что существуют высшие и низшие расы скота (и людей), одни из которых герои, а другие рождены, чтобы стать рабским стадом или быть уничтоженными.

Грег Тод написал красноречивое предисловие к этой работе, напечатанной на бумаге, которую он назвал «дерьмово-коричневой». Оно начиналось словами: «Имеет ли такой человек, как автор данной работы, хоть какое-то „право“ высказываться в свободном обществе?» — и далее с риторическим напором разъясняло каждый сомнительный термин и его политическую подоплеку. Досталось и Гальтону, и зловредной евгенике и селекции. Проводились параллели между восхищением Эйхенбаума агрессивной борьбой в волчьих стаях, прусскими боями на

саблях и ритуалами посвящения в СС. Все это было проиллюстрировано карикатурой Росс, на которой Эйхенбаум предстал тщедушной шавкой с облизывающейся волчьей головой (аллюзия на знаменитый эксперимент Эрика Цимена) в окружении свастик.

Ник Шайтон присвистнул. Не собираются ли они забаррикадировать Театр, или устроить сидячую забастовку, или…

— Мы им дадим прикурить, — отозвался Джонти Сёртиз, пышущий воодушевлением. — Будем подбрасывать, чтобы они не знали, откуда берется, а потом, капля по капле…

— Они уж поймут откуда.

— Нет, не поймут и не узнают. А меня не спрашивай. Чего не знаешь, того не расскажешь. Начнем с *мелочей,* с досадных пустяков, пусть надеются: это все, это *все,* а это, конечно же, будет не все. Хороший командир не дает бойцам почувствовать, что продвигаются слишком быстро, слишком далеко… Но — никакой стихийности. До поры.

— А это что такое?

— Это для финала. В свое время узнаешь.

Он тряхнул гривой и жизнерадостно улыбнулся. Ник Шайтон почему-то был и уязвлен, и

восхищен.

— Мы ведь не дадим ему выступить? — произнес он.

— Еще чего! Но сначала надо, чтобы у него поджилки тряслись. И у остальных тоже. Вот так-то. Тогда и грянем. Тогда-то самое время грянуть. Для дела Революции. — Он снова ухмыльнулся. — Ну а до этого — хорошенькие фейерверки, поводы для переполоха и отвлекающие маневры…

* * *

Открывалась конференция докладом Хедли Пински. Он стоял посреди круглого зала, окруженный рядами синих бархатных сидений, глаза скрывались за поблескивающей голубизной очков, белый пиджак, под которым виднелась небесная синева рубашки, выделялся светлым пятном. Тема доклада — «Метафоры материи и мышления».

Он начал с комплиментов в адрес Вейннобела, который, по его словам, попытался составить схему развития разветвленных форм языка, семена или зародыши которых, как он сам убежден, *потенциально* заложены в развивающемся человеческом мозге еще до рождения. И ветвистые графики гипотетической грамматики напоми-

нали окрашенные по методу Гольджи дендриты и синапсы — что, так сказать, показывает их связь с физикой и химией, да и с метафорами. Термин «дендрит» произошел от греческого слова, обозначающего дерево, и термин появился по аналогии. Человеческие существа не могут мыслить без метафор и аналогий такого рода, и потенциал действия для электрического скачка к сравнению должен был родиться вместе с разветвлениями грамматических форм в мозге эмбриона. Но сегодня давайте сделаем все эти красивые метафоры, при помощи которых люди пытались мыслить о мышлении, прозрачными, зримыми, животрепещущими.

Нет никакого сомнения, что мозг, нервная система и мышление — это *одно и то же*. Нет, продолжал Хедли Пински, никакого «призрака в машине», никакой внешней и невидимой души, никакого духа, пришедшего из рая, ада или желудка, где-то помимо этого сложного многослойного куска белого и серого вещества и его отростков и пульсаций. Когда-то все психоаналитики — сам Зигмунд Фрейд — были неврологами, пытались отыскать такие феномены, как повторяющиеся внушения, в замкнутой цепи нейронов. Но теперь гуманитарные науки от неврологии отошли. По

крайней мере, отчасти это было связано с тем, что им не нравились метафоры. Было очень сложно создать философию мышления, которая не сосредоточивалась бы на каком-то языке.

Его самого привлекает мысль о такой науке о разуме, которая имела бы дело с тем, что является языковым объектом лишь *в приближении*. Мы называем нечто, но именами это нечто не исчерпывается и не ограничивается. Мы не знаем, как действует это нечто и что собой представляет. Физикам помогла понять природу атома аналогия с Солнечной системой, планетами, движущимися вокруг Солнца. Это помогало, но и мешало, ведь электроны, позитроны и нейтроны не похожи на планеты, движущиеся вокруг Солнца.

Он порассуждал об образах из механики, использовавшихся для описания разума. Создатели кибернетики придумали своей науке название, метафорически употребив греческое χμβερνητης, что значит «кормчий», и это породило у людей представление о мозге как о некоем разуме, ведущем прекрасно сконструированное судно сквозь волны хаоса, или, возможно, некоем создателе системы, вычислительной машине, *наместнике*, действующем в другой системе.

Он говорил о глубоком человеческом непри-

ятии идеи о мышлении как механизме или о механизмах мышления. А ведь источников подобной идеи было много, источников часто парадоксальных. Это и старое представление о Боге-часовщике, и человеческая потребность вообразить творца-чертежника, конструктора всего, что работает слаженно и четко. Позднее появился совсем иной страх — перед автоматами, искусственными, неживыми существами, которые могут петь, танцевать, вычислять и могут научиться воспроизводить себя. Этот страх перед машиной во многом определил ту тревогу, которую в свое время вызвало сделанное Гальвани открытие «живого» электричества — механических подергиваний отрезанных лягушачьих лапок, прикрепленных к магнитам.

Брали метафоры и из сферы коммуникации и их же браковали. Такие слова, как «программа», «код», «информация», «транскрипция», «шифрование», «сообщение», «перевод», были изначально придуманы не для описания работы нейронов мозга или физических механизмов вычислительных машин. А заимствованы они были из фактических описаний письма и речи, из человеческого языка, говорящего о самом себе.

Он рассказывал о психологических метафорах:

«вход» ощущений в мозг, «воспроизведение» внешнего мира в виде «представления» внутри головы. Говорил о прекрасной идее эпохи Возрождения, вытекающей из всего вышеперечисленного, согласно которой физический мир, растительный мир, геологический мир, с существами, которых Адам нарек в Эдемском саду, были, так сказать, *подписаны* Богом — названия присущи самим вещам, являясь, так сказать, их природой.

Он рассказывал о механических метафорах, почерпнутых из мира вычислений. Называть определенные модели поведения, реакции на стимулы, желания или отвращения «встроенными», «запрограммированными» — значит затушевывать столько же, сколько и освещать в физиологии психических процессов, ведь никакой *проводки* там нет, как нет и никаких программ, а связь постоянных функций и воспоминаний со случайными или «свободными» движениями не похожа на схему принятия решений у вычислительных машин.

Он рассказывал об опасностях аналогии: слишком бездумно явления нейробиологического мира мы описываем в категориях простого электромагнетизма и химических реакций; без-

ответственно упрощаем экономику, переводя всю человеческую деятельность в фунты, шиллинги и пенсы, отчеканивая ее в валюте. Но различия *бесконечно* более поучительны, чем аналогии, заявил Хедли Пински. Аналогия проводится, когда словесно выраженная мысль дает сбой. Нам нужна философия языка, иначе не разобраться в прекрасных и роковых хитросплетениях, в которые нам — не изначальным замыслом, а фактом формирования эмбриона — *суждено* вплестись с помощью слов. Но мысль — это не слова, жизнь — не слова.

Он закончил свое выступление простым и ясным обобщением того, что, по его мнению, представляет собой современное знание о деятельности мозга. Теперь нам известно, что нервная система активируется химическим набором сигналов, а также двумя другими, уже известными формами кодирования — сложной геометрией молекулярных связей и симметрий и временной последовательностью электрических нервных импульсов. Раньше это называлось отрицательной энергией, а теперь известно как потенциал действия, биопотенциал.

Он рассказал о последних исследованиях химических сигналов и кодов, об их распространении

все дальше от мозга, например в кровотоке. Он рассказывал, как химические сигналы вносят разнообразие в синаптические связи с одинаковой геометрией, — и от обилия терминов Фредерика потеряла нить мысли.

О чем он говорил, она понимала: это было ясно и интересно, но что именно он говорил — тут сказалось ее невежество, тупое, непроходимое. Она знала слова — нейрон, синапс, дендрит, — и они ей нравились, потому что она понимала их происхождение. Человеческий мир — включая, возможно, кое-кого из ее предков — изобрел микроскопы и телескопы, препарировал ткани и идентифицировал клетки, и, если бы завтра все это исчезло, она *бы не знала, с чего начать,* хотя смогла бы, скажем, записать по памяти довольно значительную часть «Потерянного рая» (где бы ни базировалась ее память и как бы ни работала).

Электричество, химические сообщения, геометрия.

Материя мысли.

Кто-то пропихнул ей под ноги коричневый сверток с подписью: «Чем подтираться. Открой на свой страх и риск». Его пинками переслали сюда с другого конца ряда. Она подняла. Внутри

оказалась брошюрка Эйхенбаума. Первая партия расходилась по назначению.

Вечером первого дня конференции состоялся ужин. В университетском городке студенты устроили сходку, не очень людную, разошлись мирно. Статья-подтирка попала и к Ходжкиссу, и он спросил у Вейннобела, не поговорить ли с Эйхенбаумом. Решили подождать до завтра. Сотрудники университета понятия не имели, откуда берутся копии.

Утром обнаружилось, что статуи короля и королевы работы Генри Мура варварски испорчены. Ночью кто-то от души побаловался темно-красной краской. У монарших особ вокруг шеи красовались широкие кровавые полосы, похожие на ленты, которые с вызовом носили французские аристократки в период Реставрации, изображая гильотинированных при Терроре. С этих лент стекала краска-кровь. Расколотый шлем короля был расписан под кровавый петушиный гребень. Бронзовые бедра королевы тоже были в краске, как будто у нее было кровотечение — лужицы, липкие на ощупь. А на каменной скамье была нарисована ладонь, белым цветом, длань Изенгарда, с красными ногтями. И эльфийским

шрифтом: «Вас предупредили».

Лук почти всю ночь переделывал свой доклад. Студентам он всегда советовал так не делать. Удалил несколько уравнений, которые так мучительно выводились, но без которых многое теряло смысл. Он впопыхах добавил несколько общих слов о человеческом обществе, хотя обычно на этот счет рассуждал осторожно. Посмотрел на себя в зеркало и взялся ножницами подравнивать бороду, воинственно заостряя. Утром надел было костюм, но потом снял. Вместо него надел черный рубчатый свитер и черные вельветовые брюки. Вроде аккуратно, но уж прямо как балетный танцовщик. Наконец накрутил вокруг шеи батистовый шейный платок с рисунком в виде павлиньих перьев. Они были изумрудного цвета, с вкраплениями насыщенной берлинской лазури; павлиньи глазки были белые, с крошечными фиолетовыми пятнышками посредине. Перья разворачивались на густо-малиновом фоне. Лук завязал все это великолепие на шее и отправился в Театр. Он знал: выступление обязательно пойдет не так. В доклад вложено столько сил, но он обречен на фиаско.

В зале был аншлаг: присутствовали и Вейнно-

бел, и Пински, и Эйхенбаум, и телевизионщики. Лук прошагал на сцену и объявил, что будет говорить о том, что давно озадачивает добросовестных специалистов в области популяционной генетики. Как и почему развивалось половое размножение, хотя существуют и другие методы самовоспроизводства и передачи генов, которые, в согласии со строгой дарвиновской теорией, являются функцией организмов и с биологической точки зрения не так трудоемки. Мы свыклись с мыслью, что размножение означает секс — что дети рождаются у родителей, — и даже не задумываемся, что на *клеточном уровне* количество этих самых клеток уменьшается. В ходе данного процесса из *двух* клеток получается *одна* — зигота. Почему бы женщине не отдать предпочтение партеногенетическому размножению, при котором передается больше ее генов?

Он обосновывал свои доводы изящными схемами и слайдами, демонстрирующими необычайную плодовитость тли. Он говорил о диффузии и территориях, о разлетающихся семенах и ползающих червях, о вязах и устрицах, о тлях и коловратках, о сидячих организмах вроде клубники и кораллов. Говорил бойко и ясно. Экспромтом шутил. Рассказывал, какое

бремя это мужское начало, цитировал письмо Чарльза Дарвина сыну: «Вид пера в павлиньем хвосте всякий раз вызывает у меня тошноту». В зале засмеялись. Он же чувствовал, что смех и внимание аудитории сближают его с ней, словно он плетет электрическую паутину. Он рассказал о своих исследованиях слизней, о румяных *Arion rufus* и черных *Arion ater,* одни ползают с южной стороны, другие — с северной, одни агрессивны и разделены на два пола, другие кроткие и размножаются клонированием.

Говорил он горячо, резко, упоминал, не особенно напирая, пока не изученное и непонятное, отчего его доводы звучали не так категорично. Речь, разумеется, не о том, что секса быть не должно, — эта форма воспроизводства может как-то измениться, — но факт остается фактом.

Он остроумно прошелся насчет теории альтруизма — отбор, мол, подтверждается на уровне групп, существа, мол, могут действовать «на благо вида». Он терпеливо, рассудительно, задорно объяснял, что соперничество между организмами имеет место в пределах небольших групп и с помощью механизмов непосредственного выживания, а значит, самопожертвование ради идеи — это нонсенс. Если ты отдаешь свою жизнь за

другого, говорил он, все твои альтруистические гены уничтожаются вместе с тобой, разве что у этого другого окажется столько же таких генов, что и у тебя. Нам такие рассуждения не по душе: мы выросли с верой в самоотречение, в то, что надо подставить другую щеку, и вера эта, как кто-то думает, дарована нам Отцом, сущим на небесах, или языческими божествами.

Возразят, продолжал Люсгор-Павлинс, вспоминая Фредерику и ее свербящую мысль, что воображаемые паутины реальны, — возразят, что, если идея удержится на долгое время, у нее появляется здоровая цепкость. И можно утверждать, что религии и нравственные учения выживают в мире, потому что подобны более крупным организмам, борющимся за существование. Можно утверждать, что христианство распространилось и стало мировой религией, потому что было лучше приспособлено к выживанию, чем манихейство. В первом приближении — справедливо: строгое манихейство запрещает и прием пищи, и половое размножение, поэтому по своей сути оно обречено на самоуничтожение. Но вероучение — не живой организм, а выживание зависит от жизнеспособности клеток благодаря их адаптации. Позвольте напомнить

вчерашнее предостережение профессора Пински о том, что не стоит слишком уж произвольно мыслить аналогиями и метафорами.

В недавно вышедшей книге «Жизнь насекомых» сэр Винсент Уигглсуорт писал, что насекомые не живут только для себя, а посвящают всю жизнь виду, представителями которого являются. Ничего подобного. Вопрос о «преданности» или «представителях» здесь не стоит. Пожалуйста, поймите, что мы говорим совсем не о том, что в гнезде муравьев все рабочие — сестры, дочери одной матери, с одними и теми же генами. У них нет благородной заботы о своем виде. Немецкий философ Фейербах пытался доказать, что идея Бога — это просто олицетворение «вида», Всечеловека, как колония — это гигантская муравьиная матка. Такого рода идеи, правильные они или нет, никак не способствуют осмыслению выживания и приспособленности на уровне делящейся клетки и наследуемой ДНК. Идея — не клетка. Хотя для формирования идей клетки нам нужны.

Так откуда же все это берется? Профессор Эйхенбаум, доклад которого закроет конференцию, в своих работах писал, что одомашненные виды вырождаются в том смысле, что они менее способны общаться друг с другом, чем их сородичи

в дикой природе. За исключением человека, у которого коммуникация достигла поразительной степени развития. Мы бормочем и лепечем, поем и скандируем, рисуем и вырезаем, мы используем провода, лампы, усилители — от натянутых шкур мы дошли до кнопок радиоприемника. Профессор Эйхенбаум описывает виды вытеснения у существ, живущих в неволе. Дж. Б. С. Холдейн предположил, что этолог мог бы определить религию как коммуникативную деятельность для заполнения пустоты — ритуал вытеснения, в котором человеческие существа общаются с несуществующими Слышащими.

В человеческом обществе, продолжал Лук, как и в других нишевых формированиях, где имеет место соперничество, есть победители и проигравшие. В проигрыше оказываются самки. Им приходится тратить питательные вещества на воспроизводство — рост зиготы — как для себя, так и для своей пары. Человеческие общества возвели свои этические и религиозные традиции на фундаменте моделей полового размножения. Люди устроили так, что женщины угнетаются мужчинами, а дети — и теми и другими. Однако, если посмотреть на то, как складываются жизни, я бы сказал, что в конечном итоге в проигры-

ше оказываются ненужные самцы. Достаточно взглянуть на различия по полам в статистике заболеваемости и смертности в любом возрасте.

Фредерика наблюдала за Луком, поражалась и восхищалась. Ну просто золотисто-огненный демоненок, сыплющий искры с пальцев (которыми он часто и очень эффектно помавал, расхаживая по сцене). Поначалу она прониклась его боязнью сцены, а теперь заразилась его радостным взаимодействием с публикой, которая превратилась в одно внимательное существо. Расхаживает по сцене, распустив хвост, как большой павлин, — как ни смешно для того, чтобы продемонстрировать напрасную бессмысленность подобных проявлений мужского начала. Потом ей вдруг вспомнился сон. Странно заниматься любовью во сне. Там было не его тело, а нечто ею воображенное, но ей так не казалось. Уж не «влюблена» ли она в этого человека, с чьей тенью в своем спящем воображении она обнималась? Он очень увлеченно объяснил, что такой вопрос и задавать нельзя. Добродушно, не впадая в раж, он разбирал по косточкам все — этику, романтическую любовь. Что такое с ним сделала Жаклин?

После выступления его засыпали поздравлени-

ями. Сам Эйхенбаум подошел и протянул руку.

– *Du bist der Geist der stets verneint*[86], — сказал он. — Тема непростая. Но аргументация *блестящая*.

Лук сиял. Когда он выходил из Театра, кто-то сунул ему брошюрку для подтирки.

Следующие два доклада были посвящены биологии памяти. Первым шел доклад Кристофера Кобба о птичьем пении. Он дополнил свое выступление как записями пения птиц, так и собственными очень музыкальными переложениями. Описал разницу между зябликами и канарейками: последним для обучения необходимо пение слышать, но они могут учиться в изоляции, создавая при этом хорошо структурированную песню, тогда как зяблику нужно слышать и свою собственную песню, и песни других птиц. Зяблик, оглохший в первые три месяца жизни, будет лишь немузыкально чирикать. Он не может научиться петь у пернатого наставника, который отчетливо выводит мелодию голосом зяблика, но по записям пения зябликов петь научится, даже если записи воспроизводятся задом наперед. Пти-

[86] Примечания: 86

Вы — дух отрицания (*нем.*). Так описывал себя Мефистофель в трагедии Гёте «Фауст».

цу можно обеззвучить, уничтожив левую часть ее нервной системы, но, поскольку птицы более пластичны, чем люди, канарейка, страдающая афазией, свою песню восстановит. Кобб смахивал на мохнатого Пана, когда складывал руки у рта и издавал клокочущие, нечеловеческие звуки.

Кто-то в зале — это была Вальтраут Росс — крикнул:

— И чтобы это узнать, надо лишать свободы и калечить свободных существ?

— Ну разумеется, такой вопрос перед нами всегда встает, — кротко ответил Кристофер Кобб.

— Позор! — бушевала Вальтраут Росс.

В зале на мгновение раздались крики и встречные возгласы. Кобб как ни в чем не бывало включил свою акустическую систему, и раздался хор пестрых соловьев. Кобб рассказал, как они придумывают новые песни, разнообразят услышанные, разучивая новые последовательности в группах. Публика утихла, аплодировали ему тепло.

Последний доклад того дня представил Лайон Боумен, и рассказывал он о споре между теми, кто утверждал, что конкретные нейроны выполняют очень специфические, точные функции, и холистами, или гештальт-мыслителями, которые

полагали, что сложные сети функционируют пластично. Он объяснил, что в коре головного мозга на каждый кубический миллиметр приходится, наверно, 600 миллионов синапсов. В коре головного мозга человека насчитывается где-то 1014–1015 синапсов. Оперировать большими числами разуму нелегко. Скажем, если бы вы могли считать по тысяче синапсов в секунду, чтобы пересчитать их все, потребовалось бы от 3000 до 30 000 лет. Не говоря уже о том, чтобы распутать ветви и ножки аксонов и дендритов. Тем не менее работа проводилась над отдельными группами нейронов, а в некоторых случаях даже над отдельными нейронами: например, работа Алвинга по изучению нейронов, генерирующих ритмическую активность, у моллюсков *Aplysia* и работа его собственной лаборатории над гигантскими нейронами у моллюсков *Helix aspersa*. Он рассказал о расположении в анестезированном мозге кошек и макак определенных наборов клеток, которые, как оказалось, очень точно реагируют на едва заметные углы и движения источников света. Он описал химические процессы в нейронах улитки. Тут поднялась возмущенная Дебора Риттер. Вы говорите «препарат», но речь идет о продырявленном живом существе. Какое

право имеете вы строить догадки ценой жизни беспомощной кошки или обезьяны? Жаклин Уинуор безмолвно слушала, как результаты ее работы представляют, не удостоив ее признания. Ее труды — месяцы проб и ошибок, неудач и триумфов — плавно стали частью в целом отличной работы лаборатории. Заслугой Боумена. Она — с боку припека.

Прозвучало еще несколько возражений. Боумен улыбнулся и, заговорив погромче, закончил доклад.

Затем был фуршет с коктейлями. Жаклин стояла в стороне, клокоча от негодования: ее научное будущее — улитки, осциллограф, место в лаборатории — перебирают пухлые пальчики Боумена. У нее за спиной вырос Люсгор-Павлинс.

— Класс! — сказал он. — Это же все твой материал. Все получилось.

— А меня как будто и не существует.

— Ну, ты же потрудилась. А про эффект от введенного кальция — неожиданно…

— Ты вряд ли понял правильно. Ты, наверно, подумал, он увеличивает сопротивление мембраны, но, похоже, он увеличивает проницаемость… Надо бы проверить…

— Тебе бы самой выступить.

— Вот твой доклад — это да.

— Ярость отвергнутых, — усмехнулся Лук. — Заставляет мыслить.

Жаклин с усмешкой улыбнулась:

— Тогда мне лучше научиться вдохновляться яростью тех, чьи работы присваивают…

Подошел Боумен, ведя за собой Хедли Пински.

— Это моя молодая коллега, о которой я тебе рассказывал, Хедли. Жаклин Уинуор. Подает большие надежды. Профессор Пински создает новую — очень разностороннюю — исследовательскую группу. Я предложил ему пригласить тебя.

– *Нити,* — произнес Пински. — Кибернетика требует иерархии и централизованной власти. Нити — это хороший… ну, приемлемый образ. Сети нейронов, паутина. Но есть в ней и подшитые папки, это память, *mens,* мышление. Карл Лешли говорит, что двойные смыслы создают нечто вроде осадка ментальной репрезентации в клетках мозга. Нужно соединить одно с другим, произвольно, чтобы, так сказать, «уловить» идею. Расскажите о своих исследованиях, доктор Уинуор.

Боумен улыбнулся и, как Чеширский кот, растаял, оставив после себя улыбку. Перед Жаклин предстали ее препараты нейронов, чудесные

мерные всплески потенциалов действия, возмущения, пробелы.

— Так вот, я пыталась… — начала она; Пински внимательно слушал.

Вейннобел, Ходжкисс, Калдер-Фласс и Уилки собрались вместе обсудить противодействие Теобальду Эйхенбауму. Калдер-Фласс считал, что надо вызвать полицию. Вандализм, брошюра, а теперь и клеветнические плакаты об экспериментах на животных, евгенике и протофашизме. Если вызвать полицию, возразил Вейннобел, дело перейдет в разряд уголовных, перестанет быть сугубо внутренним делом университета. Ходжкисс выразил уверенность, что большинство протестующих как раз и добиваются, чтобы вмешалась полиция. Увы, из этого не следует, что кто-то может гарантировать профессору Эйхенбауму спокойное выступление. Уилки предложил спросить самого Эйхенбаума, Ходжкисс ответил, что предпочел бы его не беспокоить. Он имеет право свободно говорить; в конце концов, его же пригласили. Уилки предположил, что с ним такое случалось не раз. Такого с ним еще не было, возразил Вейннобел. Возмутившая студентов статья 1941 года никогда раньше не переводилась; пока Пински ею не поделился, она была в полном

забвении. Но как ее заполучили антиуниверситетчики? Ходжкисс помнил, как она попала к нему. Помнил письмо Пински. И вдруг припомнил, как ни с того ни с сего завелся Ник Шайтон.

Ну да расспрашивать его сейчас бессмысленно. Шайтон наверняка того и ждет. Упоминать Шайтона в разговоре с вице-канцлером Ходжкисс не стал. Само рассосется. Много позже он понял, что поступил легкомысленно, просто он не сообразил, что делать. Будем настороже, предложил он коллегам.

Вейннобел пообещал сам поговорить с Эйхенбаумом.

Предпоследний день конференции был посвящен так называемым гуманитарным наукам, то есть наукам о человеке. Можно подумать, проворчал Лук, обращаясь к Жаклин, генетика, неврология или биохимия *не о человеке*. Жаклин, немного ошарашенная появлением плакатов и листовок, на которых Лайон Боумен и Кристофер Кобб предстали живодерами, сказала, что, видимо, так их и видят: бесчеловечными.

Ходжкисс, боязливо оглядывая аудиторию и зная, что по натуре не смельчак, прочитал доклад об идеях Витгенштейна относительно цвета, где не было ни слова о длине волны, физиологии

сетчатки, но рассказывалось о том, как разум описывает свои собственные операции.

Были литературные и исторические доклады, в том числе о метафорах, касающихся анатомии, восприятия, изучения тканей и паутины, которые Джордж Элиот использовала в романе «Мидлмарч». Были доклады о Лоуренсе, об образах крови и спермы, о крови и мозге в произведениях Шекспира. Рафаэль Фабер говорил о зрительных метафорах у Пруста, а каноник Холли взволнованно рассказывал об идее Боговоплощения, о том, что Бог стал плотью и в Его теле были кровь, мозг и кости, а потом цитировал слова Марвелла о тюрьме из грудной клетки и нервов, о ходячем трупе, *насаженном* на дух, который тянется ввысь. Фредерика ожидала, что эти литературоведческие доклады будут самыми интересными. Она выросла в тесноте британской системы образования, которая ветвится, как дерево, обрекая тринадцатилетних подростков (в лучшем случае) на выбор: стать нечитающим физиком или не умеющим считать лириком. Она выросла в мысли, что быть литературно подкованным — значит быть сообразительным, дальновидным и глубоким. А ученые — зануды, а в наш ядерный век еще и очень опасные. Она вспомнила книгу

«Образование и университет» Ф. Р. Ливиса, которую штудировала, где говорилось, что средоточие любого образовательного начинания — кафедра английской словесности. Когда она слушала удручающие цитаты из романов Лоуренса, не соотнесенные с жизненной драмой самого автора и выставленные как довод докладчика, ей вдруг показалось, что это не более чем дарвиновская борьба за превосходство, хищность, драка за территорию.

Как же важно, думала она, защищать разум от неразумного.

XXIV

Джонти Сёртиз верил, что в истории все логично. Революция неизбежна, следовательно, осуществима, старый порядок должен быть свергнут, следовательно, будет свергнут, и он, Джонти Сёртиз, должен и будет все для этого делать. Он верил и часто говорил, что Сократ и Иисус были политическими активистами, которые в свое время задавали неудобные вопросы, учили молодежь задавать неудобные вопросы, а убила их тогдашняя правящая верхушка. Он изучал логику дестабилизации институтов и знал, что на данном этапе нужно использовать любые силы — даже если это юнцы, которые считают себя эльфами и волшебниками, идущими на Темную башню, — лишь бы шли. При этом новые формы правления, за которые выступают Грег Тод и Вальтраут Росс и особенно Ник Шайтон, по его мнению, не имеют ничего общего с настоящей анархией, которая, как он считал, нужна человечеству, но их еще нет, сейчас ему надо их выработать. Он объявил, что сейчас, после всех разговоров, пора *действовать*. Они сидели в дыму

ароматных курений и, как в дурмане, постигали логику его улыбки, его голоса, его стремительных телодвижений. Аврам Сниткин клевал носом, приходилось его тормошить. Ник Шайтон с благоговейным ужасом разглядывал три фигуры под покрывалом. Дебора Риттер угостила Мэгги Крингл гашишно-фруктовой помадкой и помешала в котелке сытный бобовый суп.

— Выступаем завтра, — сказал Сёртиз. — Отнесем это в здание, а потом пройдем маршем.

— А… это? — спросил Ник Шайтон.

Сёртиз стянул покрывала, словно фокусник, показывающий распиленную женщину. Это были чучела, как живые и от этого еще более ужасные: приземистый Эйхенбаум, бледный Пински и безошибочно узнаваемый Герард Вейннобел: длинное вытянутое лицо, долговязая фигура. Раза в полтора выше человеческого роста, в масках из папье-маше.

— Мы сожжем их перед Башней Математики, Башней Эволюции и Башней Языка, — сказал Сёртиз. — Студенты ведь устраивают демонстрацию против обязательной математики и языков.

Начало революции по всем правилам.

Шайтон усомнился: достаточно ли протестующих, чтобы запалить костры сразу в трех

местах?

Сёртиз хмыкнул: много ты знаешь. Наготове целая армия протестующих, из Эссекса, Лондона и других градов и весей. Они сейчас тут спорят, а те уже едут по шоссе A1. Надо приготовить им побольше плакатов. И пусть играет музыка.

— Полицию вызовут, — сказал Ник Шайтон.

— Вот-вот. Если нагрянут легавые, мы, считай, победили. Заставим их послать за легавыми и применить *силу*, вот и покажут истинное лицо.

Сёртиз так и пылал. Та часть Ника Шайтона, которая прежде сомневалась, теперь устыдилась. До этого были только разговоры. Настала пора *действовать*. В начале было *дело*. Он с отвращением оглядел склонившиеся набок муляжи власти. В голове звучали холодные грозные голоса чиновных мужей и их бездарных прихвостней. И легавых. Гадость.

Дебора Риттер, раздавая помадку, сказала:

— Пойдемте, нужна помощь с красной краской.

У себя в кабинете Герард Вейннобел подал Теобальду Эйхенбауму бокал вина и спросил, видел ли он коричневую брошюру. Эйхенбаум отставил бокал и сел, положив руки на колени — закрытая поза.

— Несколько человек — я их не знаю — взяли на себя труд меня с ней ознакомить. И ознакомили.

Вейннобел выжидающе молчал.

— Первоначальная статья — сам ее язык — была безрассудством и свидетельством недальновидности. Мое счастье, что не пришлось за это расплачиваться. Но *этот* вариант — искажение и работы Гальтона, и моей собственной. Мы оба ясно даем понять, что человеческие толпы — стада — под властью диктаторов перестают мыслить. Гальтон приводит статистику по заключенным — людям, заподозренным в выступлениях против государства, — при Наполеоне Третьем. Он любил статистику. Цифры не очень приятные. Он также говорит о фанатичных священнослужителях. Разумеется, эти отрывки не переведены. Я мог бы возразить, что написанное мной — это зашифрованные нападки на наших правителей. Но это было не так. Просто безрассудная глупость. Тогда я не понимал — хотя должен был понимать, — что пара слов способна разжечь огонь в толпе, той самой толпе, которую я ненавидел и ненавижу. Я ученый. Я недооценил силу слов.

— Нико Тинберген был узником концлагеря в Голландии, — сказал Вейннобел.

— Знаю. Мне очень горько. Его пытались выта-

щить. Но он не хотел. Он сам отказался.

— Как бы ваше выступление не вызвало неприятности. Ваши враги только его и ждут.

— Я собираюсь говорить о том, как мы перестали быть мужественными, как, одомашнив наших детей, отлучили их от природы. Не молчать же мне всю жизнь из-за одной оплошной статьи. Я бы только усугублял неправоту неправотой.

— Не ручаюсь, что обойдется без… без неприятностей, больших или не очень.

— Вы предлагаете мне отказаться от выступления?

— Нет. Что вы. Я верю в право говорить и быть услышанным. — Он издал короткий смешок. — Одно скажу: не ручаюсь, что услышать вас удастся.

Зал был набит до отказа. Над рядами слушателей словно реяло одно общее дыхание. Объявление на входе с названием лекции Теобальда Эйхенбаума «Одомашнивание и дегуманизация, инстинкт против культуры, онтогенез и филогенез» было замазано коричневым. Вице-канцлер и знаменитый этолог все-таки незамедлительно вышли на сцену. Эйхенбаум решил одеться в коричневое — слегка пыльный, мятый коричневый костюм и рубашка кремового оттенка как будто

с чужого плеча, из которой выходила его орехово-коричневатая плотная шея; веерообразная борода и седые волосы сверкали в сценическом освещении.

Вейннобел с места в карьер объявил: да, страстно отстаиваемые профессором Эйхенбаумом взгляды спорны, но ведь и говорит он о вещах непростых. Те, кому не по нраву его позиция в споре о врожденном и приобретенном, наверняка восхищаются его позицией против загрязнения окружающей среды, а в этом вопросе многие из его давних предостережений оказались пророческими. Университет — место для дискуссий и споров, и отрадно видеть, что собралось так много людей, чтобы послушать независимого мыслителя, истинного ученого-экспериментатора и ярого полемиста.

Вейннобел сел, и тут раздался барабанный бой. Эйхенбаум тяжелым шагом вышел на трибуну и взял микрофон.

— Я буду поговорить о стаях, группах, косяках, стадах и индивидуумах… — произнес он.

На этом заключительное выступление конференции, можно сказать, и завершилось, потому что дальнейшее потонуло в вое и криках зала, а снаружи двинулись участники марша Джонти

Сёртиза — пели, кричали, приплясывали и музицировали. Организовано все было так, чтобы они шли волнами, со всех сторон, из лагеря и из деревни. Наряжены они были кто во что: вакханки и оловянные солдаты, палачи в масках и карнавальные бесы, эльфы, ведьмы и волшебники, носатые персонажи комедии дель арте. Грохотали барабаны, гремели тарелки, звучали свирели и гитары. Несли плакаты: «Долой учобу», «За идеи Мао», «Свободу траве», «Умойся дождем», «Свобода слова — фетишизм», «Вздернуть верхушку», «Никакой грамматики, никакой математики», «Нет вивисекции».

Они пели:

Один – это много, много – один.

Тень на солнце, ветер с вершин.

Я стрелок и стрела, я один – меня много.

Убью – воскрешу, так какого вам бога?

И еще:

Фигуры в белом с сердцем из металла,

За ширмой стен, с надвинутым забралом

Творят из стали смерть стальною

дланью,

Скрывая солнца свет, небес зерцало.

В лесах же, под дождем, слепым от солнца,

Танцуют дети – молодая кровь!

Распевали и песню толкиновских древолюдей — энтов:

На Изенгард! Его оплот могуч и холоден, как смерть!

На Изенгард! Вперед! Разрушим каменную твердь!

Теобальд Эйхенбаум врос в пол, стиснул микрофон и заговорил громче:

— В современной культуре молодые люди вырастают слишком инфантильными, и дети начинают воевать с отцами, как будто они разной породы…

Но его едва ли расслышали. На сцену полетели яйца, тухлые и свежие, фрукты, книги, пара камней и причудливые сплетения из цветочных оберегов, венков из брионии и паслена, сухой травы и полыни, полевой гвоздики и жухлых маков.

Демонстранты ворвались в зал. Чуть позади, как бы направляя этот поток, возвышались

Джонти Сёртиз, деловитый, весь в синей джинсе, и Пол-Заг, в серебристом одеянии, с гитарой, украшенной красными и желтыми лентами. Пол бряцал на гитаре и пел «Один — это много, много — один».

Сёртиз прошествовал по проходу. Он двинулся на Эйхенбаума, который пока имел преимущество: стоял выше и в руках у него был микрофон. Свет в зале погас, прожектор выхватил из темноты Эйхенбаума, лицо которого исказила бешеная ярость. Он наклонился к Сёртизу и прорычал:

— Я вижу, кто ты. Знаешь, кто из стадных животных самый гнусный? *Крысы,* именно *крысы,* приручeнные жить в загоне. Знаешь, кто ты? Крысолов со сворой приручeнных юнцов…

Джонти Сёртиз, ловкий, уверенный, вскочил на сцену и кинулся на профессора, тот, вросший в пол и более грузный, сперва устоял. Но Сёртиз вырвал у него микрофон и рявкнул в него:

— Да не будут тебя слушать, старый перец, не будут!

Он завертелся на месте в шлейфе искр, подняв микрофон над головой.

— Свобода начинается *здесь* и *сейчас*! — заорал он и свалил Эйхенбаума крепким ударом микрофона, отчего в зале раздались визг и стон, а потом

микрофон заглох.

— Надо вызывать полицию, — сказал Ходжкиссу Вейннобел, сидевший в первом ряду.

— Надо же сначала отсюда выбраться. Пока не можем.

Вспыхнула потасовка: те, кто снаружи, лезли в зал, а те, кто внутри, — по крайней мере, менее воинственные — рвались наружу. Толкались, наступали на ноги и даже хуже. Ходжкисс поднялся на сцену и, не обращая внимания на Сёртиза, наклонился проверить, дышит ли Эйхенбаум. Сёртиз улыбался.

— Зачем? — спросил Ходжкисс, вытирая лицо Эйхенбаума носовым платком.

— Есть ли предел вашей глупости? — бросил Сёртиз, спрыгнул вниз и растворился в толпе.

Университету с досадой пришлось признать, что организовано все на славу. Рядом с Башней Эволюции, Башней Языка и Башней Математики уже высились столбы с подвешенными чучелами. К тому моменту, как преподаватели и руководство выдрались из Театра, чучела уже ярко пылали, распространяя запах бензина, а вокруг раздавались самые разные звуки, музыкальные и не очень. Вейннобел с нетерпением ждал полиции, но ехать было далеко. На мгновение он

оказался в пляшущей толпе прямо напротив своего чучела. Сквозь черный дым и мрачные языки пламени смотрело на него собственное вытянутое лицо. Мимо пробежали университетские врачи, скорее всего к Эйхенбауму, им никто не мешал.

Идем, идем под бой и гром: та-рунда-рунда-рунда-ром!

По всему университетскому городку вспыхивали костры и драки.

В окно Башни Языка бросили зажигательную бомбу.

Вейннобел успел запереться в кабинете декана и переговорить по телефону с полицией и пожарными. Полиция спросила, не будет ли препятствий, когда приедут, и вице-канцлер подтвердил: будут, так что надо быть готовым ко всему. Протестующих очень много, не только студенты университета.

Фредерика Поттер заметила пламя в окнах старинного Лонг-Ройстона. Пылали занавески, пламя ползло по ним вверх, хотя снаружи никого не было. Через некоторое время удалось найти сотрудников и вице-канцлера, которые устремились по лужайке. Фредерика тоже побежала, а за ней Уилки. Главный вход был открыт. В холле

горели небольшие костры — догорали аккуратно сложенные книги, и Фредерика сразу вспомнила. Игинк. Новый вид искусства.

Кто-то поджег занавески в опочивальнях Елизаветинской эпохи. Кровати сгорели, а потолок с изображением «Смерти Гиацинта» рухнул на кровать. Принесли огнетушители, пламя удалось погасить, но старинные вышивки и резьба сильно пострадали. Сбежались обитатели, в том числе Мэтью Кроу в бархатном халате и тапочках.

— Мою жену не видели? — спросил Вейннобел.

— Она была здесь, Герард, была где-то здесь, — отозвался Кроу.

— Ее видели — вы уж простите, вице-канцлер, — видели вместе с ними, с демонстрантами. С теми, кто пел, — сказал Уилки.

Вейннобел стоял посреди обгоревшей спальни.

— Надо ее найти. Я должен ее найти. Давно ее видели?

Никто ответить не смог. Фредерика сказала, что знает, кто возжигает стопки книг вроде этой. Это почерк Пола Оттокара. Одна стопка лежала у изножья кровати. А леди Вейннобел шла за Полом-Загом. Этого Фредерика не сказала, но знала, что вице-канцлеру известно.

— Многим, очень многим надо заняться, — ска-

зал Вейннобел. — Насчет моей супруги — разберемся, но это не так важно. И все-таки буду благодарен, если кто-то ее найдет, и очень рад, если ее уговорят приехать сюда… вернуться… домой.

В безотрадных поисках жены Вейннобел услышал шум в комнате с музейными экспонатами. Звенело стекло. Тяжелыми шагами он пошел туда и наткнулся на группу своих студентов, бьющих витрины шестами плакатов. Несколько человек были пьяны, в том числе Мэгги Крингл, которая в костюме героини «Доктора Кто» без особого успеха колотила по шкафу, где хранились реликвии «Астреи»; ее плакат гласил: «Чего нам надо? Изучать культуру. Зубрежку — долой».

Посреди этого сборища, размахивая руками, стоял Ник Шайтон. Он, впрочем, пытался всех урезонить. Потрясая при этом плакатом, на котором было написано: «Разорвите оковы разума! Нет обязательной грамматике и математике!»

Вейннобел двинулся к нему:

— Прекрати! Ты же историк. Ты должен знать, к чему приводит сожжение книг.

— Началась революция! — объявил Ник Шайтон.

— Против *чего*? — спросил Вейннобел, прибли-

жаясь, и что-то темное клокотало у него в душе. Все решения, принятые им в жизни, начали казаться ему ошибочными. Ударить бы кого-нибудь! Никогда он такого не испытывал.

— Против *вас,* — ответил Ник Шайтон, потрясая плакатом.

Вице-канцлер замахал руками, будто хотел разогнать вандалов, как стаю кур:

— Вон отсюда! Вы уже достаточно нагадили. Вон!

Большинство студентов бросились наутек. Ник Шайтон оглянулся. Ему тоже хотелось кого-нибудь ударить. Но ему к этому чувству не привыкать. Он с ненавистью смотрел на вице-канцлера сквозь одну из уцелевших стеклянных витрин, где стояли два стеклянных экспоната эпохи Возрождения, подаренные Мэтью Кроу: немецкий стакан из *вальдгласа,* старинного «лесного стекла», изготавливаемого с добавлением древесной золы, и вычурный французский кубок со спиралевидной ножкой, изображающий Изгнание из рая, с надписью: «En la Sueur de ton visage tu mangeras le payn»[87].

Ник видел отражение вице-канцлера в стек-

---

[87] Примечания: 87

«В поте лица твоего будешь есть хлеб» (*фр.*). Быт. 3:19.

лянном кубе, умноженное, превратившееся в армию призраков. Как и у Эйхенбаума, у него было два выхода: бежать или биться. Он выбрал второе: поднял плакат и хватил им по стеклянному ящику. Витрина и экспонаты разлетелись вдребезги. Его противник нагнулся, подобрал горсть мелких осколков и стиснул в кулаке. Затем поднял кровоточащую руку и жестом приказал Нику Шайтону убираться:

— Уходи. Вон отсюда. *Вон!*

Годы спустя, когда Шайтон был министром в правительстве Тони Блэра, он, бывало, просыпался ночью и вспоминал тот миг: пока еще целую витрину, яркие экспонаты, разбитую витрину, осколки стекла, высокого мужчину с мрачным ликом и окровавленными пальцами, странный пляшущий свет в помещении — факелы на улице и вспышки у него в глазах. Странно, что вице-канцлер никогда никому не открыл, кто разбил стаканы. И одно время Шайтон его за это ненавидел. А потом, повзрослев, почти полюбил. Он, как ему казалось, чем-то даже стал на него похож.

В другой части университетского городка Дебора Риттер руководила операцией по освобождению томящихся в неволе животных. Зооло-

гический исследовательский центр был построен вокруг прямоугольного здания с лужайкой. Освободители врывались в лаборатории, открывали клетки и загоны. Переворачивали стеклянные вольеры, отстегнули ошейник одной-единственной овце, которая только фыркнула и с места не сдвинулась. Освещали помещение факелами, огоньки качались, плясали, а освободители пока сбивали висячие замки и распутывали проволоку. По траве с довольным видом бродила процессия хохлатых уток, за ними следовали кролики и зайцы, белые и пестрые, которые то разбредались, то сбивались в кучу. Микки Бессик взял несколько банок и вытряхнул на траву колонии червей и жуков. Дебора Риттер, с глазами-калейдоскопами, подошла к вольерам с белыми крысами. Они таращились на нее — идите сюда, посмотрите, позвала она, — своими чудесными глазками: розовые самоцветы, багряно-огненные опалы, глядящие из чащи ощетинившихся белесых сосулек.

— Идите, голубчики! — кричала Дебора Риттер. — Идите и живите на воле!

Она вывалила их на пол, и крысы, сперва трусовато поежившись, принялись исследовать территорию. Туда же она вытряхнула пестрых

мышей. Одна крыса грозно запищала, несколько мышей бросились врассыпную. Микки Бессик открыл коробку, раздался пронзительный писк, и пара желтых челюстей впилась ему в палец. Он стряхнул разъяренную курчавую тварь на землю. Через десять дней его рана начала нарывать и гноиться. Затем кисть распухла, рука и плечо опухли и посинели. Он пролежал в больнице месяц и написал несколько стихотворений о ночных сиделках и стонах в темноте.

Вальтраут Росс выпустила на волю нескольких перебинтованных кошек, некоторые, как в дурмане, затрусили прочь, некоторые еле стояли на ногах, а одна упала и больше не двигалась.

Стайки мелких птиц выпархивали из клеток, разлетались в ночи. Птицы от освобождения выиграли больше остальных, потому что смогли улететь дальше лужайки, двора и зданий.

Кристофера Кобба предупредили, он метался в поисках помощи и наткнулся на Винсента Ходжкисса и Маркуса Поттера. Когда они добрались до Исследовательского центра, погромщиков-спасателей уже не было. Трава, пол в лаборатории, скамейки — все как будто ожило. Сотни только что вылупившихся птенцов носились по коридорам, отчаянно пища. На крышке кофеварки

роились муравьи. В темноте раздавалось кудахтанье, кряканье, шипение. Кристофер Кобб стоял перед клетками, где когда-то были зяблики, и воздевал руки к небу, словно призывая пернатых певцов. В глазах у него стояли слезы: Ходжкисс не мог понять, оплакивает он знакомых питомцев, или потерянные годы экспериментов, или и то и другое. Мимо прошел щетинистый кот с бритым брюхом, из пасти которого свисала полуживая черная мышь.

— Некоторые из них страшно опасны, — предупредил Кобб. — Бог знает, с чего начать. Многих придется убить…

Погас свет. Все здание как будто вздохнуло и погрузилось во тьму.

— Оставайтесь здесь. Постарайтесь никого не выпускать и никого не впускать. Я вызову пожарных. Или еще кого-нибудь. Смотрите, чтобы не покусали, — сказал Кобб.

Винсент и Маркус — оба не очень-то любили животных и вообще плохо разбирались в живых существах — спросили, не стоит ли водворить кого-нибудь на место.

— Нет. Охраняйте дверь. Берегитесь крыс. Была одна змея. Я ее пока не вижу, но она безобидная, милейшее создание.

Он ушел.

Винсент и Маркус бок о бок сели на траву возле двери. Они с опаской вглядывались во мрак и прислушивались к шуршанию, шорохам и писку. Пахло грязными опилками и, как подумалось Винсенту, формальдегидом. Он уставился вверх. Над двором в летнем сумраке висел тонкий серпик молодой луны.

— Не так я действовал. Надо было быть деспотом. С самого начала поставить их на место.

— Они только того и ждали.

— Но все это… этот разгром…

— Если кто-то хочет разгрома — разгромит.

Помолчали. Крупный, сильно пострадавший петух, белый, с зазубренным малиновым гребнем и трепетными крыльями, то подходил к ним, то отступал. Перья на хвосте поредели, но особенно омерзительной была шея, ощипанная, ярко-малиновая, торчащая над охапкой грудных перьев. Он вошел в пределы их видимости, уставился на них, склонив голову набок, безумными глазами с желтым ободком, и покудахтывая, удалился.

— Неагрессивный самец, — мрачно констатировал Ходжкисс.

Маркус сказал, что в таком состоянии они и правда кажутся родственниками динозавров.

Клюв и гребень, чешуйчатая бородка и что-то от змей. Интересно, протянул он. В темноте Маркус, похоже, держался свободнее. Они с Ходжкиссом даже не поворачивались друг к другу, только сидели бок о бок, глядя на серую траву и смутные фигуры, которые по ней шастали. Одна привлекла внимание Ходжкисса: она то ли подпрыгивала, то ли ковыляла, Ходжкисс улыбнулся своим мыслям.

— Это утка или кролик? — спросил он у своего возлюбленного.

— Многие люди и животные — они как бы на стыке категорий. Уткокролики. Петуходинозавры. Летающие наседки.

Он провел рукой, как слепое, ищущее существо, по темной траве, и его пальцы встретились с теми длинными нежными пальцами, которыми он любовался уже несколько месяцев. И в темноте они не отдернулись, не ускользали. Руки соприкоснулись, сжали друг друга.

— Ты мне снился, — прозвучал спокойный светлый голос Маркуса Поттера. — Хорошие сны, добрые. Я думаю, во сне… мы знаем… кто мы, что мы…

— Я думаю, во сне мы оборотни. Всё превращаемся и превращаемся…

Винсент Ходжкисс сжал тонкую руку, которая ответила пожатием. Массивное бедро Ходжкисса прижалось к другому, стройному. Он хотел коснуться волос Маркуса, но жаль было отпускать руку, которая уже в его власти. Подумал: пока хватит. Пока этого достаточно, это уже больше, чем я мог надеяться.

Уилки фотографировал пожары и пляшущих, ему помогали телевизионщики, работавшие на конференции. Фредерика металась между пепелищем выставочных комнат Лонг-Ройстона и хаосом вокруг университетских зданий, когда вдруг увидела крупную фигуру в черном плаще, которая, пригнувшись, стремительно неслась по дороге прочь от Лонг-Ройстона. Пусть бежит, подумала она, но тут ей вспомнилось лицо Герарда Вейннобела. Он бросилась вслед, но Ева Вейннобел была уже далеко и мчалась на удивление быстро. Фредерика огляделась и увидела Люсгора-Павлинса. Задыхаясь, она выпалила:

— Уйдет!

— Кто уйдет?

— Вон, женщина. Это леди В.

— Уйдет?

— Она была с ними. На демонстрации. Она… это точно… она поджигала, разводила костры,

устраивала игинки в Лонг-Ройстоне.

— Игинки?

— Он просил ее найти. Вернуть сюда.

— Я возьму машину. Полицейские кое-где дороги сторожат, но их мало. Меня-то пропустят. Можно ее догнать и… ну, уговорить вернуться, что ли. Но вы ведь знаете, что она *не в своем уме*?

— Вот в чем дело! То-то он вел себя так… необычно. Вокруг него все буквально рушится. Надо ему помочь. Попытаться ее вернуть.

— Ну, если это, по-вашему, помощь… — буркнул Люсгор-Павлинс.

К тому времени, когда его маленькая машина выехала за ворота Лонг-Ройстона, леди Вейнно-бел уже исчезла из вида. И тут впереди на дороге Фредерика заметила знакомый белый фургон.

— Это Элвет Гусакс. Я его весь вечер не видела, *там* его не было, странно.

Из-за живой изгороди на дорогу вышли и помахали фургону две фигуры, одна черная, другая мерцающая и переливающаяся. Он остановился, и они забрались внутрь. Он развернулся и, подпрыгивая на ухабах, поехал в сторону пустоши.

— И что теперь?

— Не знаю. Куда они?

— Нетрудно догадаться. Но можем проследить и узнать наверняка. Не желаете прокатиться ночью по пустоши?

— А давайте, — согласилась Фредерика.

— Извините за этот улиточный содом, — сказал Лук. — У меня не было ни времени, ни желания прибираться в машине.

— Пустяки, — отозвалась Фредерика; она приободрилась, как только полыхающий хаос университетского городка остался позади.

Белый фургон ехал все дальше и дальше, в самую глубь пустоши, а за ним на безопасном, но не так чтобы неприметном расстоянии следовал маленький синий «рено» Лука. Если водитель фургона и заметил преследователей, то не прибавил хода и не свернул. Впрочем, с дороги, идущей по кромке пустоши, свернуть было некуда. Фредерика взволнованно подалась вперед. Лук велел ей успокоиться.

— Я не очень понимаю, что вы хотите сделать.

— Я тоже.

В конце концов белый фургон подъехал к воротам Дан-Вейл-Холла. Кто-то вышел из машины — фары осветили лысину Элвета Гусакса, — отпер ворота, и машина въехала внутрь. Затем он вернулся и запер ворота. Лук остановился по-

одаль. Ему почудилось, что Гусакс с ними ехидно раскланивается.

— И что теперь?

— Теперь вернемся и расскажем вице-канцлеру, куда она уехала.

— У меня есть план получше. Поедем ко мне — это недалеко — и оттуда позвоним в университет. И перекусим: не знаю, как вы, а я умираю с голоду.

Лук надеялся, что другая женщина в Лодерби — любая, даже эта, которую он попеременно то недолюбливает, то объявляет ей вооруженное перемирие, — хоть как-то изгладит из памяти неприятный осадок от нелепого, как ему теперь казалось, ухаживания за Жаклин. Фредерика же думала, что, раз уж так складывается, раз такое приснилось, возможно, Лук хочет заняться с ней любовью. Дело было на заре сексуальной раскрепощенности, и любовное приключение казалось обычным делом. И еще Фредерика подумала, что, если так, будет как обычно: начало и тут же конец. А жаль, его лекция ей понравилась, так же как и его напор, и, вспомнив тему его доклада, она фыркнула.

— Вы чего смеетесь?

— Вспомнила ваш доклад.

— Ха-ха.

— Получилось блестяще.

— Спасибо.

— Должны были вогнать всех в тоску, но вышло наоборот.

— Спасибо.

Когда они подъехали к дому, совсем стемнело, Лук отыскал ключи. Давненько тут не был, объяснил он и включил свет. Пошел звонить в университет, но сначала нашел бутылку вина и налил Фредерике бокал.

— Чувствуйте себя как дома. — Он сделал жест, намекающий на гостеприимство. — Зажгите свечи: с электрическим светом все выглядит уныло.

Он сел к телефону в тесном холле и принялся долго и терпеливо дозваниваться до осажденного университета. Линия была то занята, то отключена. Поразмыслив, он попытался дозвониться до Винсента Ходжкисса, но безуспешно. Он услышал, как Фредерика Поттер зашла в туалет. Услышал, как спустила воду. Услышал, как она взбегает по лестнице, как расхаживает по кухне и кабинету. Захочет или нет, будет или не будет? Держится так, как будто без комплексов. Знает себе цену. Поступит так, как пожелает. А он хочет быть тем, кого она пожелает? Он по рации свя-

зался с полицейским в университетском городке и передал, что леди Вейннобел видели заезжающей в Дан-Вейл-Холл. Вместе с психоаналитиком Элветом Гусаксом. И певцом Полом Оттокаром. Да, это все, что он хотел передать.

Фредерика не стала на женский лад создавать уют, разве что, как велено, зажгла свечи и потушила электрический свет. Она расхаживала туда-сюда, брала в руки вещи — череп, раковины, перья — и возвращала их на место.

— Какой-то шалаш птички-шалашника, — сказала она. — Простите, просто пришло в голову. Мне *нравятся* павлиньи перья и засушенные лунники в кувшине на повороте лестницы. Очень красиво.

— Но приносит неудачу, — отозвался Лук.

— Вы же не признаёте астрологию, суеверия и все в таком духе. Павлиньи перья — красота неописуемая. Вы рассказывали, Дарвина при виде их мутило. Наверно, и вам не объяснить, какое значение для эволюции имело это многоцветие, и блеск, и все эти глазки. Я видела, как их складывают в большие веера, у Кроу такие есть. Они *поскрипывают*, трепещут, вздымаются, шуршат… — Она рассмеялась. — Безделушки, но от них дух захватывает. Всегда.

Лук взглянул на нее, худую, костлявую и темпераментную, со спутанными рыжими волосами, озаренными светом свечей:

— Лицо у вас такое, будто вы в костер сунулись. Хотите принять ванну?

— А у вас есть горячая вода?

— Ну разумеется. Газовая колонка, и вода сразу горячая, я зажгу. Дам полотенце. А потом приготовлю поесть. Особенно ничего нет — дежурный запас, — а кажется, будто последний раз ел неделю назад.

— Да, мне тоже.

На ней было облегающее вечернее платье из коричневого шелка. Немного порвалось у шеи, с пятнами от воды и сажи.

— И халат дам. Все как в глупом кино.

— Да-да, правда. Забавно получается.

Ее неуверенность придала уверенности ему.

— Да-да. Ванная вас ждет.

Он нашел ржаной хлеб, банку прессованной ветчины, банку оливок, банку темных томатов черри. Нашел несколько бутылок вина и взялся за штопор и консервный нож. Он слышал, как вода омывает женское тело, слышал шум газовой колонки и захлебывающееся бульканье в простеньком сливном отверстии. Она спустилась

— влажная, в сером халате, волосы мокрыми прядями рассыпались по плечам, лицо будто стало худее, обыденнее, реальнее, без колючей туши и переливающихся теней.

— Пришлось вымыть голову. Чего только в волосах не было.

— Попросили бы, я бы помог.

— Вроде справилась. Спасибо. Теперь пусть сохнут.

Сгорбившись в кресле, ела она жадно и съела бы и больше, но больше не было. Он вспомнил о запасах горького шоколада и мятных батончиков для вылазок к улиткам, и отломил несколько кусочков того и другого. То и дело ей подливал, а она пила и пила, что добрый знак, если бы он ясно понимал, чего хочет, как именно хочет, но он сам слишком много выпил.

— Ну что? — спросил он.

Фредерика подумала: вот и конец ухаживаниям, вот и начало секса и конец, конец, конец концов.

Секс был хорош, несмотря на выпитое. Лук был напорист, умел, а после — нежно-признателен (в разумных пределах). Фредерике он нравился. Ее возбуждали незнакомые, новые движения и

запах. Ей нравились его волосы и борода. И было грустно. Она сказала, нерешительно приблизившись ртом к его уху:

— Ты мне снился.

Лук поцеловал ее в губы.

— И ничего хорошего в том сне произойти не могло, — сказал он.

Она промолчала.

Спали, прижавшись друг к другу, словно их телам было лучше вместе. Утром вели себя церемонно и осторожно, с той куртуазностью, которой взрослые показывают, что пекутся не о себе, а о другом. Молока и масла не было, пили черный кофе и доедали ржаной хлеб.

Фредерика рассуждала о том, что произошло с Теобальдом Эйхенбаумом. Да, брошюру она читала, и это, конечно, отвратительно, но… не приведи господи оказаться на его месте…

Лук сказал, что в Господа Бога не верит и с европейской точки зрения дело выглядит иначе: многим приходилось делать трудный выбор, а другие об этом помнили. Его отец был одним из немногих датчан, которые *действительно* сражались в Сопротивлении. Он проходил подготовку в британской армии, а потом его десантировали вместе с отрядом спецназа. Он терпеть не мог тех,

кто приспосабливался, а потом открещивался.

— Так вот как ты стал наполовину англичанином?!

— Не совсем. С мамой он познакомился, когда они оба работали в христианской миссии в Эфиопии. И вернулись уже вдвоем.

— Они живы?

— Да. И такие же убежденные христиане. Я не согласился на работу в Копенгагене, потому что рядом с ними мне тяжело.

Он не смотрел на нее. Это был не разговор любовников, рассказывающих о своем прошлом. Он сражается в какой-то своей битве, думала она, у него своя война. И она — Фредерика — ему неинтересна, он ничего не спросил о Джоне Оттокаре и вообще… ничего…

— Вейннобел — вот кто европеец. Он был знаком с Тинбергеном, который всю войну провел в концлагере и отказался выходить, потому что для него сделали исключение. И у Пински многие родные сгинули в лагерях смерти. Они не прощают, даже если пытаются забыть. Даже если захотят забыть — не простят.

— Эйхенбаум тоже был в заключении. Он свое заплатил.

— Он был в плену у русских. Как военноплен-

ный — под конец войны угодил в армию. Расплата бывает разной.

После завтрака они покинули Лодерби. Лук довез Фредерику до дома ее родителей. Сам же собрался ехать в университет, помочь с оценкой ущерба. Он поцеловал ее очень нежно, но отсутствующе:

— Спасибо.

Спасибо — это конец, подумала Фредерика, заходя в дом. Спасибо тебе. Спасибо твоему телу. Большое тебе спасибо.

Винсент Ходжкисс и Маркус Поттер завтракали в квартире Винсента и непрестанно улыбались.

— Не жалеешь? — спросил Винсент.

А Маркус ответил:

— Ты же знаешь, что нет.

Вице-канцлер появился на ученом совете с туго забинтованными руками. Он четко и бесстрастно подвел итог ущерба, финансового и материального. Он сказал, что были допущены просчеты, не в последнюю очередь им самим, и что теперь все в значительной степени находится в руках правоохранительных органов. Абрахам Калдер-Фласс выразил желание занести в протокол, что конференция — до последнего вмешательства извне

— была очень плодотворной. Это надо учесть.

Профессор социологии сказал, что, учитывая значительные расходы на ремонт зданий и бурные настроения студентов, было бы разумно пересмотреть программу подготовительного года по математике и языкам. Для британского образования это нечто чужеродное. Отсюда и враждебность. По его мнению, от данной идеи следует отказаться. Но зато можно добавить больше культурологии…

— Представители от студентов сегодня, как я вижу, отсутствуют, — заметил Лайон Боумен.

— Я обратил внимание, — сказал Калдер-Фласс, — что телевизионщики запечатлели некоторые… события. Разумеется, эти материалы будут полезны полиции в расследованиях, но там были некоторые неприятные моменты… некоторые обстоятельства, которые, надеюсь, мы убедим не предавать огласке.

— Мы ее засняли, — сообщил Уилки. — Как она топает в черном плаще и размахивает своим жезлом.

— Нельзя это *использовать*, — сказала Фредерика.

— Но это — мечта журналиста!

— Ты не журналист. Ты его погубишь.

— Он ничего не понял.

— А вот они поняли прекрасно.

— Это целая кампания, все было спланировано, добром бы в любом случае не кончилось. Все уже смылись, дома на колесах, прицепы. Свернули весь лагерь. Полные автобусы едут обратно по А-один.

— Заварят кашу в другом месте. Уилки, ну пожалуйста, не показывай ее по телевизору. Он позволил ей заниматься тем, что она любит, — и был прав. Нельзя же его за это клеймить.

— Но это новости. Общественность имеет право…

— Нет, не имеет. Она просто жаждет крови.

— Какой бы вышел материалец! — сказал Уилки. — Ладно, при монтаже уберу. Но тебе сначала покажу.

— Я не хочу ее видеть. Не хочу о ней думать и ничего о ней знать. Она опасна.

XXV

Шло время. «Побоище» — такое название дали произошедшим в университете событиям — обросло легендами, пострадавшие здания начали восстанавливать. Лук опубликовал свою работу в «Нейчер», и потом ее предложила перепечатать одна воскресная газета, в которой он был представлен как воинствующий генетик-фаталист и моралист-пессимист. Уилки посоветовал Фредерике позвать его на передачу, обсудить тему размножения, а Фредерика ответила, мол, бесполезно, уже пробовали; по его мнению, это все пошлость, и не придет. Лук же, поднаторевший в публичных выступлениях и радиоэфирах, приглашения на телевидение, вообще-то, ждал, но оно так и не поступило. И Лук, и Фредерика время от времени вспоминали ту ночь в сполохах пожара. Очертания произошедшего менялись, причем в сознании обоих. Лук начал терзаться, вспоминая еще не высохшую голову обнаженной женщины, наклонившейся над раковинами улиток, но откуда эти терзания, не понимал, и позволил им кануть в колодец бессознательных

умствований. Фредерика не разубеждала Агату и Дэниела, которые решили, что она вдруг потеряла бойкость и уверенность в себе из-за неудачного романа с Джоном Оттокаром, что отчасти было правдой. Она купила себе батистовую рубашку с павлиньим узором, но носить не стала. Не слишком долго раздумывая, отказалась от секса. Стала еще лучше в качестве телеведущей, начала работать и на других передачах об искусстве. У нее хорошо получалось, как и с самого начала, потому что она не волновалась и не позволяла себя запугать. Ей было все равно.

В начале следующего учебного года, в конце сентября 1969-го, она пригласила Александра Уэддерберна и Дэниела на ужин к себе на Хэмлин-сквер. Была ее очередь приглядывать за Саскией и Лео: Агата сидела с ними, пока она ездила на памятную конференцию. Теперь же отбыла Агата, на конференцию по экзаменационным комиссиям и непростому вопросу о единообразии при оценке знаний. Фредерика сказала Александру, что, кажется, их привычному укладу скоро придет конец.

— Почему? Вроде живете вы в общем и целом неплохо.

— Агата, похоже, скоро о-го-го как разбогатеет.

Руперт Жако говорит, что «Бегство на Север» приносит огромные деньги. Допечатки, допечатки и допечатки. Книгу читают все: и стар и млад, и интеллигенты, и бунтари. И те, кто хочет снова ощутить себя ребенком, и дети, любящие сказки. Саския и Лео в школе у всех на устах. И трудно представить, что такая богатая женщина захочет и дальше жить в нашем южнолондонском захолустье.

— Но ваш район-то благоустраивается. Я заметил и латунные дверные молотки, и новые ставни под старину, и ящики для цветов на окнах по всей площади.

— Ты с Агатой об этом говорила? — спросил Дэниел.

— Нет. Все равно ей решать.

— Вы — семья. Семья необычная — две женщины и двое детей, — но вы одно целое. И она не захочет его рушить.

— Мне ее новая жизнь будет не по карману.

— Но она пока ничего не меняла, — заметил Дэниел.

У Дэниела были свои заботы. Уилл, никогда не отличавшийся успехами в учебе, но мальчик неглупый и находящийся под бдительным присмотром деда, внезапно провалил все экзамены.

Положение осложнялось тем, что Мэри в школе, наоборот, считали очень способной — вся в мать, думал Дэниел, — и перевели в класс постарше. Узнав об этом, Дэниел поехал на север поговорить с сыном. Ничего путного не вышло. Уилл глядел на отца исподлобья, переминался с ноги на ногу и в конце концов разразился упреками, которые, как почувствовал Дэниел, засели у него в голове уже давно. Он-де бросил его, еще совсем маленького. Дэниелу наплевать, что с ним происходит, его волнуют только сирые и убогие и болтовня в этой кошмарной часовне. Дэниел ничего не делал, когда маму можно было спасти. Дэниел плохой — плохой служитель Церкви, потому что не верит в Бога и не понимает, что Бог — это все, что Он важнее экзаменов.

Последнее обвинение задело Дэниела за живое. Его вера, сказал он, — это его личное дело.

Уилл ответил резонно и беспощадно: неправда. Он не имеет права изображать это… набожность, раз у него ее нет.

— Откуда такие мысли? — спросил Дэниел у сына.

— Очень тебе интересно, откуда такие мысли, о чем я вообще думаю, во что я верю! Ты хоть раз говорил со мной о Боге?

Ответить Дэниелу было нечего.

— Ни разу, — отрезал Уилл. — Понял? Ни разу. Ни единого раза. Только о *гребаных* экзаменах, которые вообще никому не важны.

— Не ругайся. Экзамены еще как важны. А о Боге, если хочешь, поговорим.

— А вот не хочу. Поздно. Сейчас… сейчас ничего уже не изменишь. Цацкайся и дальше со своими *несчастненькими,* с ними тебе хорошо, не со *мной.*

— Уилл… — начал было Дэниел, но Уилл выговорился, и больше из него ничего вытянуть не удалось.

Александр рассказал Фредерике, что в ноябре собирается на север: в университете попросили помочь со сбором средств и он хочет поставить в Лонг-Ройстоне спектакль. Эскизы костюмов для «Астреи» повредили вандалы, и вице-канцлер как раз решил, что средства надо собирать там… там, где был нанесен наибольший ущерб.

На этот раз Уэддерберн взялся за Шекспира. Собственные его опусы лавров не снискали, вдохновение выдохлось. И выбор пал на «Зимнюю сказку». Ставить надо будет в помещении, ведь и правда уже зима. А пьеса как раз о возрождении после несчастья. Вполне подходит.

Отец, вспомнила Фредерика, эту пьесу не любит.

Это почему? — поинтересовался Александр.

Там умышленно из трагедии лепится комедия в ущерб подлинным чувствам. В ущерб чувствам женщины, которую на шестнадцать лет упрятали под спуд, а потом услужливо вернули в виде статуи.

— «Как может лгать искусство», — задумчиво добавила Фредерика.

Александр спросил мнение Дэниела. Тот буркнул, что пьесу не знает, и уставился в пол, как будто пытаясь заглянуть под половицы.

— Ну тебе-то она нравится? — снова обратился к Фредерике Александр. — Я планирую поставить ее так же, как «Астрею»: в основном актеры-любители, только пара профессиональных. И тебе хотел предложить сыграть.

Фредерика колебалась. Обнесла гостей блюдом с фруктами. Темный виноград и бледно-золотистые сливы, гранаты, мандарины и киви. Пудинг готовить в последнее время некогда, объяснила она.

Для Утраты она уже стара, рассуждала Фредерика, для Гермионы — молода, а для Паулины недостаточно свирепа. Да и пропало у нее жела-

ние играть роли. Хотя, можно сказать, сейчас она постоянно их играет.

— Мне вдруг подумалось, что ты — Гермиона, а Мэри — Утрата, — сказал Александр.

— Нельзя так баловаться с генами. Прости, не хочу показаться резкой, просто размышляю вслух. Неправильно это. Тем более играть я больше не хочу.

Что-то не так, подумал Дэниел, но от усталости додумывать до конца не стал. Сидел и выковыривал семечки из фруктов. А ведь в Уилле тоже есть гены Фредерики и старого буяна Билла — в рыжей его половине. А другая половина — темная и грузная — от него. Тьфу ты.

Во время одной из осенних вылазок к улиткам Люсгор-Павлинс, как обычно пробравшись внутрь через свой лаз, услышал шум и замер. В этом месте сразу за Оградой начинался подъем. Он упал ничком и пополз, осторожно выглядывая из-за бугров.

На выжженной земле, где раньше стояли курятники, собрались Слышащие — как раз у «его» каменной стены. Они пели. Раздался звук ударяющихся о землю камней.

У стены высилась фигура — женская, в каком-

то белом плиссированном платье. На стене сидел Пол-Заг и играл на гитаре, а рядом стоял Джон Оттокар и выдувал на кларнете заунывную мелодию. Слышащие, приплясывая, притопывая, шли друг за другом с камнями в руках. Проходя мимо женской фигуры, они бросали камни в ее сторону. На мгновение Луку даже показалось, что камнями ее побивают, но потом все-таки увидел, что нет, не совсем. Они их набрасывали — много уже лежало у стены с улитками — перед ней и рядом с ней, громоздя что-то вроде надгробного кургана или каменного вала. Женщина стояла и дрожала — было прохладно, — а они пели.

Печальное зрелище.

Не зашибли бы они ее, подумал Лук. Остаться ему или позвать на помощь?

Но вскоре стало ясно, что тревожиться не о чем. Епитимия — если то была она — носила символический характер.

Лук удалился с грузом на душе.

От Бренды Пинчер Авраму Сниткину

Ну что ж, это снова я, жертва на алтаре точной этнометодологии. Пленка у меня закончилась, поэтому приходится тебе писать, нужно же с кем-то общаться,

иначе завяну и погрязну в том, что здесь происходит. Хотя какое это общение: пишу только я, переписка, называется! Не важно. Воображу, что ты реален, что ты где-то там и что эта записка в бутылке до тебя дойдет. Гусакс по-прежнему регулярно отлучается, Заг – время от времени. Так что на них – все необходимые покупки, и нам приходится уповать на то, что они не слишком крепко под кайфом и помнят, что должны привезти (туалетную бумагу, аспирин, батарейки для фонариков).

Трудимся мы все больше, едим все меньше и с каждым днем худеем и стройнеем. Вроде много убираемся, но почему-то – возможно, это мое субъективное мнение – все вокруг становится грязнее, краска обдирается, одеяла ветшают. Мы завели ритуалы. Манихеи много возились с зеркалами и светом, и вот Гусакс привез целый фургон: крутящиеся зеркала на кронштейнах, крепящиеся к стенам, старые зеркала из пабов, позолоченные зеркала в золоченых рамах из старых, скорее всего уже не работающих кинотеатров или чего-то такого. Теперь у

нас есть зеркальная комната, где *повсюду* зеркала, и мы выполняем в ней всякие движения, поем, танцуем. А еще мы много разговариваем. Джошуа много говорит о свете, опустошении и утрате себя. Ева В. много говорит о розенкрейцерах, астрологических тайнах и алхимических превращениях. Я точно не единственная считаю все это чушью, хотя любопытно, что никто ничего подобного остальным не скажет. Возможно, пережиток квакерского милосердия, которое порой очень строго. Но скорее это страх. Как будто все вокруг взрывоопасно или вот-вот таким станет, но взрыва пока никто не хочет. (Некоторые, включая меня, его не хотят совсем.)

Повсюду бегают полудикие куры, гадят: священные коровы по-йоркширски. Ощущение запущенности от этого усугубляется. Как ни странно, нам все еще разрешают смотреть телевизор, но не все подряд. Мы смотрим передачи о природе – куча кадров со змеями, притворяющимися листвой, и фиговыми деревьями-убийцами из Амазонии – и передачи для

детей. Новости – нет. Аврам, расскажи мне (если ты когда-нибудь получишь это письмо), кто такой Чарльз Мэнсон и что он натворил?[88]

Я вот думаю, почему все ладят с Евой В., ведь теперь она к нам совсем переехала. Ей даже досталась та комната, что некогда была спальней Люси. Подозреваю, что она своего рода громоотвод. Мы все испытываем к ней неприязнь; я хотела сказать, что мы все ее не любим, но это по-детски и слишком упрощенно, действительно *неприязнь* и *трепет*, если только не брать тех, кто ею очарован (Заг, Лукас Симмонс, каноник Холли). Остальные ее не принимают, но мы как-то сближаемся и не замечаем друг в друге того, что может раздражать.

Еще она каким-то образом гасит конфликт между Гидеоном – сексуально неуемным, обмельчавшим, поблекшим, брюзгливым Гидеоном – и Джошуа Маковеном, который все прекраснее, все

[88] Примечания: 88

Чарльз Мэнсон (1934–2017) — лидер южнокалифорнийской общины «Семья», члены которой в 1969 г. убили беременную актрису Шерон Тейт и ее гостей.

непререкаемее и выражается все афористичнее. Лицо у него правда красивое, что есть, то есть. Ева В. и ее белиберда его одновременно и отталкивают, и каким-то непонятным мне образом притягивают.

Я не хочу говорить тебе, Аврам Сниткин – Аврам Сниткин, который *должен* быть настоящим и обычным (ну нет, обычным ты не был никогда) и обитает где-то там, в обычном мире… Я не хочу говорить тебе о том, что меня пугает. Если мы в итоге все умрем, должен же кто-то обо всем узнать.

Он много говорит о *камнях,* а еще о свете, плодах и зеркалах. Все это – из Библии, из Книги Иисуса Навина, одной из самых кровожадных. Бог и Иисус Навин постоянно принуждают к повиновению, побивая камнями.

В сущности, как мы все знаем, один из грехов, за который людей традиционно побивали камнями, – это прелюбодеяние.

Так вот, одна из девушек – ну, женщин – мне страшно об этом писать, Аврам, – оказалась беременной. Та самая Руфь, с

болтающейся косой, и я подозреваю, что причастен к этому Гидеон, ведь партеногенез мы всерьез не рассматриваем? Когда ее расспрашивают, она только таращится – таращится *окаменевшим* взглядом – и говорит, что не знает, как все получилось.

Нет, камнями мы ее не побивали. Джошуа процитировал Новый Завет: Кто из вас без греха, первый брось в нее камень.

Затем он сказал, что виновны мы все, потому что мы все – одно, и в память об этом возведем груду камней.

Так что мы прошли мимо бедной глупой Руфи и каждый торжественно бросил в кучу перед ней свой некарающий камень.

Глупо и жутко.

Я хочу отсюда сбежать, но должна продолжать работу: профессиональная гордость этнометодолога требует, чтобы я довела дело до конца.

Но я не уверена, Аврам, что камни всегда будут символические. Ведь они *уже* были настоящие, она *уже* оказалась у чего-то вроде позорного столба.

Никто не послал за врачом, не отправили ее в больницу. Я заговорила об этом с Элветом Гусаксом, а он ответил: «Когда придет полнота времени[89], милая». И щелкнул пальцами. Если мы все тут сдохнем, пусть винят этих расширителей сознания.

Вполне возможно, что отец – Джошуа Маковен. Иначе почему он не накинулся на Гидеона? Кажется, что сама мысль о половом соитии и всем, что с ним связано, его *смущает,* причем смущает со всею мощью религиозного пыла.

Но плохой был бы из меня социолог, если бы я такого не чуяла. Нет, это точно Гидеон. Клеменси уже махнула на него рукой, так что угадать труднее.

Они все – включая Еву В. – хотят быть Девой Света.

А я – нет. Но приходится делать вид, что хочу.

А хочу я рыбу с жареной картошкой, батончик «Марс» и *тебя,* Аврам Сниткин.

От Элвета Гусакса Перту Спорли

---

[89] Примечания: 89

Ср.: «Но, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного)…» (Гал. 4:4).

Прочь тревоги, старик, прочь волнения, дружище, всё под моим надзором, а если и нет, идет полным ходом, цветет, и пахнет, и искрится.

Да, я заправляю всем, в том числе и леди Вейннобел, и продолжаю настаивать, что у нас здесь терапевтическая группа и эта дама с нами в безопасности (ну и другие, пожалуй, в безопасности от нее). Я уверен, что такая диспозиция – вкупе с моими заверениями о *личном интересе* – успокоит и вице-канцлера, и органы, и все иные заинтересованные стороны. И коли так, разрешите доложить, что Ваш бывший пациент Джош Агниц, Джошуа Маковен, куда вменяемее многих из нас (не исключая автора этих строк) и проводит, в полноте времени, Великую Работу, которая полностью изменит тех, кто в нее *вовлечен,* погружен, на ней сконцентрирован.

Все эти люди, не пациенты, не больные – больны разве что нетерпеливостью, – начали духовное странствие, которое неизбежно ведет их – и нас – через долину смертной Тени, но Свет виден, и лучше

двигаться вперед, чем лежать одурманенными лекарствами под больничными одеялами.

Мы живем в мире вечно мерцающих символических Истин, которые смыкаются с реальным миром в особых точках – Скалах, Камнях, Деревьях, Зеркалах. Что ни день познаю я красоту синхронистичности и многослойных совпадений, красоту неимоверную.

Женщина эта – Ваша бывшая пациентка, леди Вертоград, – глупая старая кляча, грымза, мымра, но из уст таких, как она, льются речи подлинных Жриц. Время от времени, и даже часто, я невольно это признаю. Перт, она – Проводник (о ужас! о прелесть!) для небесных и адских медуз и Медуз, крови, пота и слез.

Она прозревает на белом руне и бледном челе нашего жертвенного Агнца и мстительного Овна воистину кровавый пот, румяную росу Провозглашенного (по крайней мере, одного из них). Кровавая пелена. Он сам – Работа, *mysterium coniunctionis,* Камень, который есть истинный Меркурий-психопомп, рожденный

Белым Светом из всех цветов, павлиньего хвоста, *Cauda Pavonis*. Она поведала нам эзотерический миф о творении, в котором Бог создал павлина и показал ему его отражение в зеркале, и прекрасная птица была так поражена собственной красотой, что на лбу ее выступили бисеринки румяного пота – и из них были созданы все прочие существа.

Я штудировал и сейчас штудирую работы Юнга по алхимии и по мере чтения вижу, что завесы и переплетения цветов и связей в ткани бессознательного *более реальны,* чем мир… мир грязных носков, старых приятелей, брючных ширинок, маникюрных ножниц и прочего хлама. Я вижу это и знаю. Но знаю не так, как Маковен, который исполнен изящества и пребывает сразу в обоих мирах. Я же либо за цветной завесой, мельком вижу свет, либо прихожу в себя среди чаинок, мусора и отстриженных ногтей. Он видит свет и в них, он *может вывести его оттуда*. Обратили ли Вы внимание (хотя, наверное, к Юнгу Вы своего отношения так и не поменяли) на слова Юнга о том,

что одним из главных метафорических образов для описания алхимической работы является «пытка»? Высвобождая дух, плоть должна стенать, свет выжимается из Камня лишь с кровью, завесы плоти рвутся и кровоточат, и только потом Дитя Света родится и воссияет.

Это не безумие, Перт, это экстаз. Но кто тогда, спросите Вы резонно, отвечает за пациентов (жертв)?

ЗА ВСЕХ ОТВЕЧАЮ Я.

Договорились?

Я.

Жму руку, дружище Перт.
Элвет Гусакс

От Бренды Пинчер Авраму Сниткину

Слушай, ты, засранец, это письмо я тебе доставлю, и тебе придется хоть раз в жизни *что-то* сделать.

Началось. Много о чем я не пишу. А вещи происходят невеселые.

Ребенок родился. Никто так и не позвал врача, и ни с каким врачом никто ни разу не посоветовался. Роды проходили ужасно: она кричала, наверное, сутки

без перерыва. Леди В. размахивала руками, говорила, что все будет хорошо, и жгла противные, удушающие благовония. Спасли ребенка Клеменси и Люси, и они же, надеюсь, спасли Руфь. Кровь так и хлестала. Гусакс и Заг были под кайфом, что-то, как всегда, приняли. Леди В. сказала Маковену: «Ступай и взгляни на Работу» (цитирую точно), и он пришел. Сказал, что чувствует запах крови (еще бы не почувствовал, она все залила). В общем, он вошел, будто жрец, взглянул на Руфь – ее привели в порядок – и свалился в сильнейшем эпилептическом припадке. Лукасу С. и канонику Х. пришлось его держать, сотворить что-то с его языком, и потом его оттащили в постель. Там он впал в коматозное состояние.

Ужас, но есть дела и похуже.

Среди нас была девушка, Элли. Нездоровая, но это в глаза не бросалось. Она очень близко приняла отказ от еды и худела прямо на глазах. Сильнее и сильнее. На днях кто-то поднялся поискать ее – она спала на крошечном чердаке. Ну, даже не *кто-то,* а собственно я.

В общем, она померла. Лежала совсем холодная, с открытыми глазами и ртом.

Я подумала: ну теперь-то они вызовут врача или полицию.

Но они просто похоронили ее в саду, под пение и кларнет.

Вполне прилично и достойно – раз уж умерла, то куда деваться, но ведь это незаконно.

А они, похоже, решили, что ну и ладно, это вполне естественно, ей теперь лучше, ее путь окончен, – так говорит Гусакс.

Аврам, мне кажется, тебе следует обо всем кому-нибудь рассказать.

А кому мне доверить это письмо?

Котелок совсем не варит.

Что мне делать?

Твою мать!

«Зимнюю сказку» решили дать в Большом зале Лонг-Ройстона. Сыграть Леонта Александр попросил Гарольда Бомберга, который был Гогеном в его лондонской постановке «Соломенного стула», а Гермиону он нашел среди университетских преподавателей английского — она училась в Кембридже вместе с Фредерикой, а теперь бы-

ла медиевистом. Остальные роли были отданы университетским преподавателям и студентам. Оставалась только Утрата. Возможно, из сентиментальности, но также потому, что в Блесфордской гимназии ее очень хвалили, он выбрал Мэри Ортон. На премьеру пошла вся семья. Дэниел, а также Фредерика, Агата, Саския и Лео специально ради этого приехали на север. Уселись вместе в длинном ряду: Билл Поттер рядом с Дэниелом, Уинифред рядом с Уиллом, который был с краю, а Фредерика — между Дэниелом и Александром. Перед ними сидели университетские должностные лица и видные жители графства, в том числе Мэтью Кроу, в собственном кресле, закутанный в плед. Винсент Ходжкисс выбрал место не с коллегами, а с Маркусом, позади Поттеров. С ними же был и Лук Люсгор-Павлинс. Он нашел глазами Фредерику — она была в окружении семьи и старых друзей — и отвернулся.

Костюмы продумал Александр. Они были неопределенно-классические, с вкраплениями Елизаветинской эпохи. В первом акте, с его апофеозом ревности и сценой суда, мужчины были одеты в черное с красной отделкой, а женщины — в белое с фиолетовой. На мальчишке Мамилии был миниатюрный вариант черной мантии отца,

с воротником-стойкой, и трико. Он расправил полы плаща и принялся рассказывать историю: «К зиме подходит грустная». Отцу он сказал: «Я весь в тебя, я слышал»[90]; и ушел, и умер от горя и унижения. Герард Вейннобел с удовольствием и изумлением вслушивался в истерзанный синтаксис, напряженную нить речи, которая выражала муки ревности Леонта. Бессвязно в своей связности, невыносимо и совершенно прекрасно.

Лук Люсгор-Павлинс от всех этих слов слегка заскучал и стал рассматривать рыжий Фредерикин затылок. Он давно заподозрил, что она спит с Эдмундом Уилки — они выглядели как пара, — и заметил, как она прикоснулась к руке Александра Уэддерберна с особым оттенком нежности. А что? Она женщина свободная. Может, пойти поговорить с ней? Хотя зачем.

Маркуса внезапно осенила изощренная мысль о геометрических закономерностях в расположении узлов побегов, образующихся на стебле подсолнуха. Он отчаянно огляделся в поисках мнемонических ассоциаций.

«И жизнь моя во власти ваших снов», — говорит Гермиона.

---

[90] Примечания: 90

Здесь и далее «Зимняя сказка» цитируется по переводу Т. Щепкиной-Куперник.

«Сны мои — твои поступки», — отвечает ее муж-изверг.

От герметичного совершенства этой сцены слезы подступили Фредерике к горлу. Она вспомнила сон с Люсгором-Павлинсом. Как он связан с теперь уже тоже почти сновидческими воспоминаниями о том, что произошло? В антракте подавали напитки. Лук решил с Фредерикой все-таки поговорить, пересек фойе, рядом с ней были Лео и директор школы.

— Раз уж Мэри играет Утрату, Мамилием надо быть тебе, — ворковала мисс Годден.

— Не надо ему быть Мамилием, — сказала Фредерика, обняв сына. — Лук, привет. А он все равно играет в спектакле у себя в школе. В «Волшебнике Страны Оз».

— Я хотел быть Боязливым Львом, но играю Болвашу. Я там пою и пляшу.

— Я бы посмотрел, — сказал Александр, а потом обратился к Биллу: — Вы как? Выдержали?

— Первая часть превосходная. Как и всегда. Стихи, ритм, вы все ухватили. Но вот клятая статуя… Жду не дождусь, хочу посмотреть, что вы, черт побери, придумали — какие механизмы использовали?

— Вам придется задействовать воображение.

— Никогда не выходило. Ни разу. Если *он* стал самодовольным старпером, это не значит, что и я…

Лук почти не понимал, о чем тут говорят. Он обратился к Фредерике:

— Я видел передачу, где ты беседуешь с герпетологом. И ты упомянула мою работу. Многие это отметили. То есть отметили, что обо мне говорят в телевизоре.

— Прости.

— Нет-нет, не в этом дело. Признание всегда приятно. Я как раз хотел сказать тебе спасибо.

Фредерика вспомнила предыдущее «спасибо». Лицо ее застыло, и Лук отступил. Началось второе действие.

Стригалей овец, пляшущих пастушков и пастушек Александр нарядил в яркие розовые, голубые и желтые цвета — вошедшие в моду цвета шестидесятых годов, цветовая гамма хиппи, краски, которых еще не было, когда Фредерика играла юную Елизавету в 1953 году на Большой террасе. На улице и в помещении — зима, и Александр решил заполнить сцену — пространство под хорами, под гипсовым фризом из мраморных мужчин и девушек под белыми ветвями леса — искусственным летом из шелковых цветов:

маков и лилий, роз и дельфиниумов, ноготков и вьюнка, созданных умелым китайским художником, которого он нашел в Сохо, где тот работал за гроши.

Вышла Мэри Ортон в скромном белом хлопковом платье и цветочном венке, невесомая и изящная. Начала произносить «цветочный» монолог Утраты:

О Прозерпина, Где те цветы, что с колесницы Дия Ты в страхе разроняла?

Дэниел не ожидал, что это произведет на него такое впечатление. Она играла барышню на год-два старше себя и держалась, ясно выговаривала великолепные стихи с подчеркнутым достоинством. Она была в своем мире, очаровать не пыталась, но очаровывала. Перед ним предстала не его дочь, а его жена. Всего на мгновение, но совершенно отчетливо. Но, вспомнив жизнь, он машинально вспомнил смерть, и глаза его наполнились слезами. Рядом послышался тихий звук. Билл Поттер сердито утирал выцветшие глаза манжетом. Театральная публика — это один и много, они тронуты каждый сам по себе и все вместе. Дэниел смахнул слезы с ресниц, другой рукой коснулся колена Билла, чтобы показать, что он понимает, что они понимают.

Пьеса продолжалась, начала разбиваться на раздражающие маленькие сценки, в которых великий драматург увиливал от признаний, воздаяний, кульминации, которых все были вправе ждать, подсовывал зрителям косвенную речь в момент, когда отец встречает свою прекрасную и живую дочь, которая заменяет ему и умершего сына, и саму себя маленькую, о которой он скорбел шестнадцать лет, на сцене пропущенных. Какой *бедлам,* подумала Фредерика в очередной раз. «Я понимаю, почему он *так* написал, и мы всегда находим, как его оправдать, потому что это *его* замысел, но *какой бедлам*…»

И все ужималось, неслось и гремело ради клятой статуи.

Александр, как многие до и после него, вложил в эту сцену все старания. Он поставил женщину на пьедестал и накрыл ее так, чтобы стало похоже на виртуозные мраморные скульптуры XVII века — метафорическое каменное одеяние, а под ним метафорическая каменная плоть. Лицо мертвой королевы окутывал тонкий муслин, скрепленный сзади безопасными золочеными булавками, и казалось, будто ветер дует в сумерках безветренного подземного мира. Муслин был влажный, и можно было разглядеть очертания лица — нос,

скулы, глаза, губы, брови. Все подсвечивалось белым прожектором — белым светом, таким чистым и холодным, какой в 1953-м создать было нельзя, мертвенно-белым, рождающим беспримесные тени.

Паулина, психопомп, ведет раскаявшегося гневливого короля, ярость которого уже улеглась, в склеп. За ним следуют отвергнутый друг, с которым он помирился, дочь и ее возлюбленный.

Совершенно немыслимая скрипучая сценическая машинерия.

Леонт

Смотри, мой брат, —
Она как будто дышит,
и по жилам
Струится кровь…

Поликсен

Да, дивная работа.
Уста ее горячей жизнью веют.

Леонт

Недвижность глаз в движенье переходит…
Как может лгать искусство!

«Лгать», — одними губами произнес Билл Поттер. Дэниел заметил. Освещение по замыслу Александра сменилось на розово-золотистое, и все пространство под хорами наполнилось жидким мерцанием, в котором под звуки ребека, гобоя, лютни накрытая фигура с натянутым на лице погребальным покровом плавно спустилась с пьедестала и двинулась по сцене. Декорации, изображающие склеп, были испещрены бесцветными шелковыми цветами, прозрачными, как диски лунника или крышечки, затворяющие раковины улиток на зиму. Розово-золотистый свет преобразил эти россыпи призрачных лепестков, насытив их цветом. У Мэри-Утраты один такой диск застрял в волосах и теперь ловил новый свет и сиял как живое пламя. Статуя — единственное движущееся существо меж ошеломленных людей — подплыла к королю, подняла вуаль, как невеста, и подставила омытое розовым светом лицо для поцелуя.

Одурманенные ложью искусства, Дэниел Ортон и Билл Поттер плакали и смахивали слезы.

По окончании спектакля начались обычные восторги и поздравления. Билл Поттер хотел рассказать Дэниелу о снизошедшем на него откровении — в конце концов, пережили они

его вместе, — но Дэниел проталкивался сквозь толпу к дочери. Поэтому он решил поделиться с Фредерикой.

— Я только что все понял. Лучше поздно, чем никогда. Дело в том, что в поздних комедиях — в том, что там происходит, какое впечатление они производят, — нет цели подсунуть нам счастливый конец, хотя мы понимаем, что это трагедия. Речь об искусстве, о необходимости искусства. О человеческой потребности в том, чтобы тебе солгали при помощи искусства, — и ты получаешь счастливый конец именно потому, что знаешь, что в жизни такого не бывает. Старость позволяет оценить иронию счастливого конца — потому что ты в него не веришь… Ты слушаешь?

Фредерика рассеянно искала ученого. Тот надевал пальто, собираясь уходить.

Дэниел нашел Мэри. Он хотел сказать: «Где бы ты ни была, чем бы ни занималась, только не умирай». Он обнял ее. А она вертелась, живая девушка, в его объятиях:

— Я все делала *как надо,* я все запомнила, каждое слово — как будто они сами выговаривались…

Подошла Уинифред:

— Наша ненаглядная Мэри. А кто-нибудь видел

Уилла?

— Он сидел рядом с тобой, — ответил Дэниел.

— Но он встал и ушел — сразу после сцены стрижки овец, — и я подумала, что он пошел в туалет, в этом здании он довольно далеко. Но он не вернулся.

— Может, пошел домой? — предположил Дэниел. Подумал и добавил: — Пойду поищу.

— Он просто куксится, — встряла Мэри.

С чего ему кукситься, она не сказала. Ей и не нужно было: она же была паинькой.

Дома Уилла не оказалось. Постепенно выяснилось, что он там побывал: исчезли его куртка и велосипед, а ящики в столе были вынуты и перевернуты, хотя никто не знал, что именно он оттуда взял, так как все уважали его личную жизнь, а он вечно устраивал у себя кавардак.

А вот велосипед наводил на тревожные мысли.

Возможно, Уилл просто решил покататься и в конце концов вернется. Были и другие гипотезы. И никто не знал, что делать. К тому же ноябрьская ночь была зябкая, густой туман окутал йоркширскую пустошь, а значит, на дорогах стало опаснее, по овечьим и пешеходным тропкам не поездишь, а поедешь — бог знает, что случится.

Несколько раз ездили на разведку в туман.

Позвонили школьным друзьям, но никто ничего не знал. Прошла ночь. Утром полиция сообщила, что некий фермер видел одинокого велосипедиста, мчавшегося по краю Миммерс-Тарн в тумане, который на мгновение раздвинулся в свете фар, как занавес, и его заметили.

— Он ходил слушать, как играет этот Заг. Когда там была палатка. Ему нравилось, как он играет. А мне не понравилось, — сказал Лео.

Дэниел поехал с Фредерикой в Дан-Вейл-Холл: патлатые юноши на въезде сказали, что никого не видели. И пройти им нельзя.

Фредерика вспомнила, что нечаянно узнала, как Лук Люсгор-Павлинс проникает внутрь через Ограду — проверять своих улиток. Лук примчался во Фрейгарт на своем синем «рено». Вся семья была в тревоге и отчаянии. Мэри сидела в углу и плакала, чувствуя, что минута ее славы обернулась катастрофой, и, как часто бывает у братьев и сестер, винила в несчастье только себя. Билл названивал по телефону. Лео был бледен и дрожал. Лук смотрел на Фредерику, которая, не обращая на него внимания, разговаривала с сыном и вместо приветствия только коротко улыбнулась. Сына она не успокаивала. Она говорила, что сейчас надо действовать. Ее угловатое лицо было

сосредоточенно, такого *взрослого* выражения Лук у нее никогда раньше не видел. Когда он и Дэниел уезжали в Дан-Вейл-Холл, она сидела, обняв мальчика. Оба смотрели в окно, настороженно и мрачно. Они были друг на друга очень похожи.

Когда Лук и Дэниел пролезли через Ограду, туман на пустоши был все еще густой. Они шли через вереск и поля к усадьбе и благодаря туману смогли подойти к задним воротам фермы незамеченными. Вокруг них вились густые серые клубы влажного воздуха. Бдительные невидимые гуси разгоготались. Дэниел на что-то указывал: к пристройке был прислонен велосипед.

— Что теперь? — спросил Лук.

— Вытащим его оттуда, — ответил Дэниел.

Они шагали, двое мужчин, темный и грузный и бойкий, огненно-рыжий, через двор в сторону кухни. Там толпились женщины, неспешно мыли и стряпали. Все они были одеты в одинаковые длинные бледные платья. В воздухе висел пар, густой, как туман на дворе. По всей кухне висели белые ткани, расшитые белыми изображениями солнц, лун и звезд, подсолнухов, дынь и винограда. Висели они и как стяги на длинных штангах с блоками, на которых раньше сушили белье.

Ткани были разложены и на комодах и тумбах с ящиками, а сверху стояли свечи и светильники. Пахло мехом и перьями, собаками, овцами и курами.

Кто-то сказал, что посетителям тут не рады.

Дэниел сказал, что пришел за своим сыном.

Кто-то другой сказал, что сына его тут нет.

Дэниел сказал, что намерен его найти.

Лук стоял в дверях, настороженный и собранный.

Дэниел пробрался сквозь толпу женщин и оказался в прихожей. Дом был старый. Когда-то в нем обосновались пуритане и нонконформисты. За этим кухонным столом проповедовал сам Джон Уэсли. Дэниел остановился у подножия лестницы и бросил взгляд на мутное витражное окно, на котором, хотя он и не мог этого разглядеть, были изображены Христианин и Уповающий, пересекающие Иордан на пути к Небесному Граду, а трубы уже играли им на другом берегу[91].

На повороте лестницы возникла темная фигура. Это была Ева Вейннобел. Выглядит, подумал Дэниел, подбирая точное слово, как мумифици-

---

[91] Примечания: 91

Снова отсылка к сюжету «Путешествия пилигрима» Джона Беньяна.

рованная. Волосы, как всегда, блестели, подведенные глаза, красные губы. Затуманенный взгляд. Смотрела не на него.

— Вам здесь не место, — сказала она.

— Я пришел за сыном.

— Вы, быть может, его не найдете. Если он здесь, то, подобно Марии, а не Марфе, избрал лучшую долю.

— Чушь! — бросил Дэниел.

Он прошел мимо, вдохнув запах ее бальзамирующих духов.

— Это место не для вас, — сказала она.

— Это уж точно. Я уйду, вот только отыщу сына.

Он поднялся по лестнице и пошел по коридору, дергал за ручки дверей, заглядывал в спальни и захламленные шкафы. Наконец он открыл дверь длинной чердачной комнаты и потерялся в мельтешении света, похожего на рябь на стенах подводных пещер, на всплески искр от вращающихся зеркальных шаров в танцевальных залах. Под потолком действительно висел такой шар.

Комната была похожа на коробку из зеркал — обшитая зеркалами, зеркала за зеркалами, до одури отражающими друг друга. Стоял там и телевизор, с белым шумом на экране. Низкие

столы со свечами всех видов в стеклянных подсвечниках — столь же разнообразных. Огромные белые подушки или валики, на которых в белых платьях сидели Слышащие мужского пола — по крайней мере, часть из них. Он увидел Гидеона, увидел каноника Холли в длинных белых рубахах — два высохших, морщинистых старых бука с усталыми глазами. Увидел Лукаса Симмонса: лицо херувимчика сияло над невинным одеянием. Уилла не нашел, но заметил Зага, развалившегося на куче подушек, — белая рубаха поверх серебряных трико напоминала плащ крестоносца. Гусакса не было, не было и Джона Оттокара.

— Я пришел за сыном.

— Вы вряд ли его найдете. Здесь.

— Тогда я хотел бы поговорить с Джошуа Маковеном.

— Он с чужаками не разговаривает, — сказал Заг.

— Тогда я пойду его поищу, — настаивал Дэниел.

Надо сказать, что еще до поездки Дэниел поговорил с Пертом Спорли из клиники «Седар маунт». Тот был обеспокоен делами терапевтической группы Дан-Вейл-Холла и сам обратился к Дэниелу, потому что он был и в Четырех Пенни,

и работал вместе с каноником Холли, и вообще считался человеком с головой на плечах. Спорли рассказал ему историю одиннадцатилетнего Джошуа и о том, какая участь постигла его отца.

Дэниел поднял свою лохматую голову и зарычал:

— УИЛЛ! Если ты здесь, выходи, иди сюда. УИЛЛ! ИДИ СЮДА, СЕЙЧАС ЖЕ!

Одновременно открылись две двери: одна — в маленькой нише под карнизом, другая — за рядом зеркал в дальнем конце комнаты. Из ниши, пошатываясь, на четвереньках вылез Уилл.

Лицо его было мокрым от слез. Он поднялся на ноги и упал.

— Они дали мне кубики сахара, белые кубики сахара, — промямлил он.

— Это они зря, — сказал Дэниел.

Джошуа Маковен, который появился из другой двери, вышел на середину комнаты и остановился лицом к Дэниелу, сцепив руки за спиной.

— Я пришел за сыном.

Они взглянули друг на друга. Маковен смотрел на смуглые черты Дэниела среди множества собственных образов, стоял перед бесконечным рядом отраженных дверей, наполовину скрытым завесой крови.

Дэниел моргнул и увидел кровь, моргнул еще, и она исчезла.

— Дурной улет — это не духовное путешествие, — произнес он. — Нельзя вредить детям. Я забираю его домой.

— Домой? — переспросил Маковен. — Все едино перед лицом эвакуации и изгнания. Идет битва. Он решил сражаться. Но возможно, он не готов или недостаточно силен.

На мгновение Дэниел ощутил потусторонность, инаковость этого человека, который был где-то далеко, в мирах мысли и духа, где блуждают потерянные, созерцающие, смелые и безрассудные. Когда-то и он чаял попасть. Стоящий перед ним человек был священнослужителем в таком смысле, в каком ему не бывать никогда.

Дэниел стоял, расставив ноги широко, как лесоруб, и смотрел на высокую, слегка колышимую фигуру с опущенной головой и белой гривой.

— Вы плохо выглядите, Джошуа Маковен. Жизнь утекает из вас, как вода из ванны. Губите вы себя. Вам бы отдохнуть.

Джошуа Маковен смотрел на зеркала и свет, на зеркала, и кровь, и Свет. Он двигался и говорил в воющем хоре невидимых голосов. Он слышал своего отца, объясняющего, что чистые поля

белого света — там, по ту сторону распада, что он всегда знал об этом и поступал мудро, как теперь должен поступить и Джошуа, не сумевший умереть вовремя.

— Я жрец Света, — сказал он, — но исход не предначертан, и Мани это знал. Какой жребий нам выпадет, неизвестно.

— Вы выглядите очень плохо, Джошуа Маковен. За вами нужен уход.

— Осталось недолго.

— Губить себя — ваше право, но губить других вы права не имеете. — Своими сильными руками он обнял сына.

Перед Маковеном предстали мертвые женские губы и выпавшая челюсть.

Перед Дэниелом — губа Стефани, загнутая вверх, какую он видел каждый день.

Они взглянули друг на друга.

— Ступай, — сказал Маковен. — Здесь все идет своим чередом.

Дэниел жестом обвел комнату, предметы, одежду:

— Разве вы не видите, что это все *только человеческое*? Скарб из шкафов и ящиков рассудка — обложились им и задыхаетесь. Тут от человека больше, чем в готовности плюнуть на религию

и гулять, посвистывая, по пустоши. Всего лишь человеческое все это.

— Откуда тебе знать? Ты не хочешь познать тайну.

— Я знаю, что человеческого, человечности недостаточно. Создавать религию из просто человеческого — пустое дело. Религия человеческого — приторная конфетка по сравнению с истиной. Пустышка для младенцев, в этом мы с вами сходимся. Мой сын говорит, что я не религиозен. Возможно, он прав. Но я делаю то, что должен же кто-то делать в нашу пору смерти религии. Не ради «человечества», а потому, что мы религиозны по природе и забота друг о друге — все, что осталось от того, что мы знали, во что верили. Я набожен, и Бог — не человек, и я не знаю, что Он такое. Вот. Сына я забираю с собой.

Уилл, дрожа и рыдая, скрючился на полу. Дэниел присел рядом и обнял его:

— Послушай меня, Уилл. Да, я, не ожидая благодарности, забочусь о сирых и убогих, о богатых невротичках с наркотической зависимостью и ночными кошмарами, но ведь надо же кому-то это делать, отчаиваться нельзя. Это бремя лежит на нас, кто его возложил — не знаю. Когда не видишь того, что видела Мария, приходится до-

вольствоваться уделом Марфы, которая пеклась о том, что можно потрогать. Ничего другого у нас нет. Камни клали один на другой, чтобы устроить место, где люди могут думать о добре и о том, что крепко и не развалится на куски. Развалиться — это легко, поверь мне, трудно — не развалиться. А теперь пошли домой.

Уилл, шатаясь, поплелся за ним, огромные глаза смотрели на тающие двери и притолоки, убывающие туннели. Спускаться по лестнице было опаснее всего, но темная фигура исчезла, оставив лишь безошибочно узнаваемый запах. Дэниел провел сына на кухню. Руфь, застыв у раковины, чистила морковь.

— А ты, Руфь? Идешь с нами?

Она открыла рот. Но звука не издала. Выбежала из кухни. Лук, все еще стоя на пороге, почувствовал, что ему в руки что-то сунули. Вернулась Руфь, протянула Дэниелу сверток, и тому пришлось выпустить руку Уилла. Это был малюсенький, слабенький младенец, завернутый в обрывок одеяла.

— Возьмите ее! — сказала Руфь. — Заберите. Она мне не нужна. Возьмите.

— Возьмите, — шепнула Клеменси Фаррар.

Дэниел, боясь снова упустить Уилла, отдал

малютку Луку. Она постанывала, лопотала, но не плакала.

— Есть у нее имя? — спросил Лук.

— Нет, — ответила Руфь.

— София, — донесся из темного угла голос Люси Нигби. — Ева называет ее София.

— Отдайте ее Жаклин, — сказала Руфь Луку.

К дыре в Ограде и синему «рено» они возвращались очень долго. Уилл постоянно падал — в почерневшем вереске ему мерещились обрывы — и бормотал, что вокруг них шастают твари — с глазами, огоньками, факелами. Лук нес младенца, очень неумело, и думал: что-что, а уж ребенок Жаклин сейчас совсем некстати. Туман вился и менял очертания, цеплялся за землю, как гигантское живое существо, упирался в нее кургузыми конечностями, ощупывал пальцами, струился, сгущался, растягивался, дышащая, липкая кожа. Уилл снова сел и сказал, что больше не может, задыхается. Лук заметил, что это водяные пары. Небо пытается задушить землю, ответил Уилл. Дэниел возразил: не задушило еще и вряд ли удастся.

То, что сунули в руки Луку, оказалось письмом некоему доктору Аврааму Сниткину, с указанием

его лондонского адреса. Марки не было, поэтому пришлось поискать (нашла Уинифред); наклеили и отправили. Англичане чужих писем не читают. Фредерика знала, кто такой Сниткин, но не знала, где он сейчас. Маркус же видел его в Образовальне, но не знал, кто это такой.

XXVI

Дэниел потом часто думал, не из-за него ли произошли последующие события. Спустя две ночи — на этот раз ночь была ясная — тот фермер, который видел Уилла на велосипеде, заметил над пустошью красное зарево. Слышащие — об этом было известно — иногда разжигали «всякие там костры», но их свечение казалось более тусклым, дыма от них было больше, то и дело вспыхивали снопы искр. Сообщил он об этом мимоходом, уже вернувшись домой и выпив чаю. Когда из Блесфорда приехала пожарная машина, весь Дан-Вейл-Холл был охвачен дымом и пламенем. Телефона там не было, на помощь никто не позвал. Кое-кто кое-где — в том числе Дэниел, Жаклин, Лук Люсгор-Павлинс и Фредерика — встревожились, сели в машины и поехали помогать.

Оказалось, что там разожгли очищающий «живой огонь». Его добывают трением дерева о дерево, искры зажигают пропитанную горючим тряпицу, прикрепленную к деревянной раме, и через эту раму прогоняют зараженный скот или,

как в данном случае, грешников. Для чистоты обряда заниматься трением должны поочередно братья-близнецы. Так и вышло. Все эти сведения были получены от Бренды Пинчер, только она из всех Слышащих, когда огонь перекинулся на одежду, постройки и кусты, выбежала на дорогу, пытаясь остановить проезжающие машины. Помощники нашлись, и она неутомимо, даже отчаянно забегала в горящие хозяйственные постройки и выгоняла скот и птицу подальше от пожара. Та же Бренда Пинчер показала пожарным, где комната детей Нигби, и те успели поставить лестницу и вытащить их.

Все бегали, перепачканные сажей, сами на себя не похожие. Фредерика, хлопая барашка Тобиаса по крупу, гасила тлеющую шерсть и думала о пропасти между теми, кто был внутри — кто был частью огненного представления, — и теми, кто был снаружи и пришел, привлеченный, по крайней мере отчасти, вечной потребностью наблюдать за чужим несчастьем вблизи. Даже если при этом ты тоже пострадаешь от огня, думала она, это не то же самое. Ее легкие разрывались от одного только бега и таскания тяжестей. Во дворе она столкнулась с Луком, который сдерживал нечто, завернутое в опаленное одеяло. Это

бесформенное нечто подпрыгивало и крутилось, вырвалось из рук и оказалось Джоном Оттокаром: его прекрасные волосы почти совсем сгорели, лицо было обожжено.

— С тебя хватит, — говорил Лук. — Иди, тебе нужен врач, выбирайся отсюда, с тебя хватит.

Джон Оттокар стоял с покорным видом и вроде бы слушал. Лук выпустил его и повернулся к Фредерике.

— Похоже, на чердаке кто-то остался, — сказал он, глядя на пустые окна, за которыми полыхало алое зарево и клубился иссиня-черный дым.

И тут Джон Оттокар бросился обратно в дом.

— Вот черт! — Лук побежал за ним.

Фредерика остановила его:

— Бесполезно. Он безумен.

Она задыхалась. Их покрытые сажей руки соприкоснулись, и они пошли за помощью. Нашелся пожарный, грузный и вооруженный всем необходимым.

Джон Оттокар выбежал из дома, он выл и тащил за ногу брата — в свете пламени серебрилась штанина — человека с таким же лицом, на диво спокойным, с такими же обгоревшими белокурыми волосами. Пожарный бросился к ним с одеялами.

Фредерика повернулась к Луку, он обнял ее.

Что-то в доме взорвалось, и все бросились наутек.

Погибли трое. Думали, что жертв окажется гораздо больше. Среди разбитого и оплавившегося стекла — зеркал, телевизора — нашли Джошуа Маковена, от которого остались обгоревшие кости. Распознали только по зубному мосту. Ева Вейннобел, похоже, умерла, сидя в кресле, уставившись на приближающуюся стену дыма и огня.

Сгорбившись под подоконником и обхватив голову руками, лежала Руфь. Золотистая коса обгорела, но осталась целой.

Близнецы Оттокары выжили, их положили вместе в ожоговое отделение больницы в Калверли. Они лежали лицом друг к другу, повязки и лоскуты пересаженной кожи выглядели жутковато симметрично.

Фредерика пришла их навестить. Они молчали. На губах были повязки.

Элвет Гусакс пришел в себя в «Седар маунт» и сразу встретился глазами с Пертом Спорли. Тот смотрел очень сердито, но с большим облегчением. Сильных ожогов не было, но легкие от дыма

пострадали.

— Это я виноват, — сказал Спорли. — Я.

— Мы все виноваты, — прохрипел Гусакс.

— Некоторые больше, — ответил Перт Спорли.

На поворотах того, что осталось от лестницы, на площадке перед комнатой, в которой погибла Ева Вейннобел, были найдены затвердевшие кучки обгоревших книг.

Газеты писали о «неизбежной катастрофе», «жуткой судьбе», «самоубийственном религиозном культе». Один журналист высказал мнение, что случайностей не бывает, и привел слова Д. Г. Лоуренса о том, что каждый сам творит себе судьбу. Большинство культов уничтожают себя изнутри, писал этот газетный мудрец, погибают так же, как ульи, муравейники и курятники.

Дэниел Ортон, который знал, что такое гибельные случайности, пошел в церковь во Фрейгарте и помолился за человека, смерть которого была предопределена ему отцом, пытавшимся спасти его от всесожжения. Дэниел сидел внутри рукотворной громады, сложенной из камней, и размышлял о произошедшем при свете своего разума. Он судил, сурово и ясно. Потом судить перестал, ведь важнее была доброта, Уилл, важнее

были заблудшие души, которые чудом спаслись от огня: Люси и Гидеон, Клеменси и каноник Холли, Оттокары и маленькая хлопотливая Бренда Пинчер, которая с самого начала казалась там чужой.

Бренда Пинчер нашла Аврама Сниткина. Он лежал в своем фургончике в майке и заношенных трусах и храпел. Патлы и борода разметались по грязной подушке без наволочки. В Антиуниверситете, кроме него, почти никого не осталось. Палаток больше не было, домики опустели, их продезинфицировали. Представители университета попросили уехать и его, он ответил: «Да-да, конечно», но все не уезжал.

Она разбудила его:

— Где мои письма?

Он фыркнул и что-то пробормотал. Залез под диван-кровать и вытащил полиэтиленовый пакет, потом другой, в них были нераспечатанные конверты.

— Счета, — сказал он. — Повестки. Плоды воображения.

Бренда Пинчер огляделась: чем бы его огреть? Схватила книгу Толкотта Парсонса и огрела Аврама Сниткина по плечу. Она била его, била, плакала и смеялась, а он отбивался, морщился

и улыбался.

Уже потом, когда выйдет ее знаменитая «Между нами, девочками», она опубликует монографию «От группы к культу: этнометодологический анализ формирования структуры верований».

После пожара Лук отвез Фредерику в Лодерби. Они позвонили во Фрейгарт, убедились, что Лео крепко спит. Лук вскрыл банку томатного супа, красного, сладковато-густого, и они сели на террасе с горячими черными чашками, греясь в холодную ночь. Смотрели на звезды, на кромку пустоши, темнеющую на фоне иссиня-черного неба, и болтали. На Луке была куртка с капюшоном. Фредерика дрожала. Он принес стеганое пуховое одеяло, обернул ее — получился неровный конус, из которого свисала нога. Одеяло было легким и теплым. Фредерика прижала край своим острым подбородком. Снаружи оно было украшено пейслийским узором[92] из «огурцов», который она не любила за банальность. «Огурцы» были пунцовые, алые, оранжевые. У некоторых была бахрома, как у морских слизней, у некоторых — хвосты, как у маленьких китов, а иные

[92] Примечания: 92

По названию шотландского города Пейсли, где в первой половине XIX в. стали ткать ткани с характерным узором в подражание кашмирским.

смахивали на узоры вроде разветвлений вен или перьев папоротника. Фредерика была в том состоянии усталости, когда все воспринимается очень остро, четко и ясно. Она поблагодарила Лука за тепло и обратила его внимание на узор.

— «Огурцы» на Востоке имеют какое-то символическое значение, но я не знаю какое, — сказала она. — Мне они никогда не нравились. Но если присмотреться, это замечательный пример бессмысленной и восхитительной человеческой изобретательности.

Лук заметил, что не любит символические значения. Некоторые из этих узоров напоминают ему те причудливые фигуры, которые видишь, если закрыть глаза и слегка нажать на веки. Оба попробовали. Фредерика увидела голубые озера, а Лук — вереницы ярких искр. Лук сказал, что теперь эти узоры неизбежно напоминают ему увеличенный снимок самки клеща, который ему когда-то показал Билл Гамильтон. Я использовал его как иллюстрацию в своем докладе — ты, наверное, помнишь. Да, помню, отозвалась Фредерика. Клещ живет в плесени в гнилом дубе. Там два разных вида невылупившихся самок и несколько самцов, самцы оплодотворяют самок, потом происходит кладка. Некоторые из вылу-

пившихся оплодотворенных дочерей становятся особой «морфой-распространителем» — у них клешни, похожие на клешни омаров, которыми они цепляются за мохнатые передние лапки насекомых, садящихся на дуб. Самцы, добавил Лук, никогда распространителями не бывают.

Фредерика, угревшаяся под одеялом, сказала, что благодаря ему она по-другому смотрит на весь мир, и это была правда. Поглядели на звезды. Фредерика, верившая в поэтическую силу астрологии, смогла опознать только три звезды из Пояса Ориона.

— Вон Близнецы, — сказал Лук, — а там Овен, Треугольник, Телец и Кит.

Он не мог понять, почему им дали такие названия. А понимает ли Фредерика, что мы можем видеть ночь — тьму — только потому, что Вселенная расширяется? Если бы она не расширялась, куда бы мы ни смотрели, наш взгляд упирался бы в звезды. Как когда смотришь на деревья в лесу. Все небо было бы сплошной поверхностью звезды и сияло бы вечным звездным светом. Но поскольку Вселенная расширяется, у нас есть и тьма. Расширение ослабляет свет далеких звезд и галактик, обращая их в точки. Мне нравится тьма, сказал Лук, сидя в полумраке на каменной

стенке террасы, откинув голову в капюшоне. Острая бородка вырисовывалась темным силуэтом на темном фоне.

О том, что случилось в Дан-Вейл-Холле, они почти не говорили. В их сознании это место навсегда запечатлелось как стена пламени вокруг рушащихся каменных стен, за которыми таились немыслимые устремления, немыслимая боль и гибель. Теперь это было далеко. Фредерика осторожно сказала, что произошедшего ей не понять. Религии в ее жизни не было, ее раз и навсегда выбил оттуда отец, воинствующий атеист. Лук, глядя вдаль, сказал, что ему, напротив, все понятно, потому что он когда-то был набожен. У него были переживания, которые, как ему казалось, можно было объяснить христианским учением. А потом появились… другие переживания… вроде бы то же самое, но с более рассудочным объяснением… и он удостоверился, что первые переживания — заблуждение. Выдумка. Ошибка.

— Второе озарение многое, так сказать, прояснило. Мир стал реальным.

Он задумался, все еще глядя вдаль.

— После этих двух озарений я разуверился в самых разных словах, — сказал он. — Реальность — одно из них. Подлинность. Творение. Любовь.

Слова эти утратили смысл.

Фредерика, обернутая пухом, сидела тихо, безмолвно, наблюдая за его тенью в ночной тьме.

— Вот, скажем, «творение», «творчество», — продолжал он. — Мои датские религиозные предки были уверены, что творит только Бог, и мне иногда кажется, что я избегаю этого слова в силу остаточного уважения к религии. А еще — я пока обдумал не до конца — потому, что, по-моему, теперешнее употребление этого слова таит в себе религиозную подоплеку, а это мешает мыслить. А есть она вообще — разница между действительно умным произведением и *творческим* произведением? Я видел твою передачу на эту тему с Элветом Гусаксом и Пински. Мне не понравилось.

Фредерика поежилась.

— По личным причинам, — сказал Лук. — Да уж, задним числом мы видим, что бедняга Элвет Гусакс дрейфовал в сторону юнгианской мистики и всего прочего, что случилось с этими бедолагами. Пински — тот держался молодцом. Конечно, можно возразить, что я себе противоречу, что в этой истории были и стечения обстоятельств, и случайные совпадения, но я в случайность не верю.

И он рассказал Фредерике о Жаклин и ребенке, которого не было, напомнил, как Пински ссылался на Фрейда насчет ассоциаций со словом «aliquis», о собственной досаде и ярости. Так и сказал: «ярости». И передача о «свободных женщинах» была не лучше.

— Ну, в ней я вообще не к тебе обращалась.

— А ты вообще знаешь, к кому обращалась? А я смотрел. Полюбуйся: Жаклин теперь кандидатка в очень преуспевающие и свободные женщины.

Фредерику передернуло.

— Прости. Я будто в чем-то тебя обвиняю. Было бы глупо. О чем ты думаешь?

— О птицах-шалашниках. О павлиньих хвостах, о твоей лекции, о павлиньих перьях и луннике в твоих вазах. Об ужасе, который испытывал Дарвин при виде роскошного хвоста павлина, — он, конечно, был прав, пытаясь отделаться от мысли, что Бог создал его на радость Адаму в Райском саду. Но теории полового отбора не объясняют, почему люди считают павлиньи перья красивыми. Или, если уж на то пошло, почему нам интересны шалаши птиц-шалашников. А эти птички нам нравятся, потому что они — наше отражение. Они используют перья райской птицы — как ты сказал на лекции, — лазурные цветы, ракушки

и другие предметы; ты сказал, что это все для привлечения самок. Но почему птицы-шалашники привлекают натуралистов и специалистов в области эстетики, почему павлины привлекают мужчин и женщин, которые видят образ глаз там, где их нет? Про это ты не сказал.

Лук рассмеялся:

— Убежденный дарвинист ответил бы, что такие вот вещи, как мое любопытство и твой эстетический вкус, способствовали приспособлению. Возьми те же хвостовые перья. Я охотник-собиратель: подмечаю, как живет природа. Улитки, птицы. А ты различаешь более тонкие штуки: перья, что-то более-менее похожее на глаза.

— Ты и сам не чужд метафор. Я заметила: читал доклад о праздности павлиньих перьев и надел шейный платок с павлинами. Фрейд считал, что имя отражает личность его носителя, хотя никто себе имя не выбирает. Какой у тебя знак зодиака, неверующий ты мой?

— Весы. Единственный знак чего-то рукотворного.

— Видишь? Ты этим гордишься. Устанавливаешь надуманную связь. Ты человек.

— Разве я говорил, что не человек?

— Ты художник, как шалашники.

— Эти птицы, между прочим, к самкам беспощадны. Заманивают их, а потом топчут, клюют и прогоняют. И приглашают следующую.

— Как мерзко.

— Природа. Так у них заведено. Так что аналогия неудачная. Хедли Пински бы не одобрил. Люди — не птицы-шалашники, хотя общих генов наверняка множество… Ну что, пойдем в спальню?

От усталости они были нежнее, а проникнувшись уважением друг к другу — внимательнее и поэтому, как это бывает между мужчинами и женщинами, обособились — а ведь по сути они и были разными особями — сильнее, чем в первый, еще стихийный раз. Фредерика вспомнила о Жаклин и впервые в жизни заинтересовалась сексуальной жизнью другой женщины и ощутила приступ ревности. Да, интересно. Быть может, ревность в постели — так принято; в романах уж точно. Спит рядом другой человек, лицо на подушке рядом с твоим, а на губах — смутная довольная улыбка…

За завтраком они сдержанно обсуждали ближайшие планы. Лук сказал, что после новых открытий в популяционной генетике не придет-

ся годами заниматься разработками в области электрофореза. Наука идет вперед. Заблуждения опровергаются в одночасье. Между близкими группами улиток обнаруживаются различия бóльшие, чем между людьми и коровами. Надо идти вперед. Есть американские лаборатории — и еще японские, — где изучают отношения между млекопитающими и уже выяснили, где существа вследствие естественного отбора расходятся. Вместо естествознания — молекулярный календарь. И он хочет в этом участвовать.

Ей бы быть настолько уверенной хоть в чем-то, вздохнула Фредерика. Она сказала, что вернется в Лондон и продолжит работать на телевидении. Стать стюардессой — мечта каждой девушки, и вот теперь она стюардесса. Но хочет она *мыслить*.

— О чем? — спросил Лук, все еще с удовольствием вспоминая Фредерику в постели, вспоминая ее проворность что в постели, что вне ее.

Фредерика сказала, что хотела бы осмыслить сущность метафоры. Когда-то задумала диссертацию о религиозных метафорах в XVII веке. Это интересно, потому что религиозные поэты XVII века — и авторы аллегорических романов — использовали разнообразные метафоры — на-

учные, чувственные, философские, — описывая состояние созерцания небес и прикрывая метафорой *неспособность* это состояние передать.

Наследник Грундтвига и Кьеркегора, Лук оживился.

— У меня была идея, — продолжила Фредерика. — Не моя, об этом много писали еще в пятидесятые, что в семнадцатом веке вера и вправду *утратилась*. И все эти «творение», «реальность» сделались непонятны. И я подумала: если проанализировать метафоры, нельзя ли проследить мыслительные процессы, увидеть работу ума?.. Я хотела найти ту точку, откуда можно было бы в это вникнуть. Почему некоторые формы языка кажутся такими безупречными и красивыми. Мой ум не очень блестящий. Я не смогу придумать новый язык, поставить новые вопросы. Но может, это и не нужно, потому что язык — это то, что есть у всех нас, у него давняя история и он — *наш общий*.

Она растерялась и замолчала.

— Тэк-с… — сказал Лук. — Тебе бы вернуться в университет.

— Вот и Джон так говорил. И Лео бы одобрил. Но я поняла, что не хочу заниматься филологией, завязнуть в английской литературе. Но когда

выступал ты, когда выступал Хедли Пински, я поняла: мир — он шире. У меня на борту может оказаться Саймон Моффит, который расскажет о флоре и фауне Амазонки, и Пински, и ты, если снизойдешь. Рассказал бы про гены, хромосомы и язык ДНК. Знаешь, *новые* метафоры, они сейчас тоже в этом ящике. И войны там же, и верования, и убеждения — как в «Потерянном рае», но там их много больше.

— А еще много ерунды и путаных мыслей, и рекламы, и политиканства…

— Да, но это интересно, все это *есть*… — Она вычерчивала пальцем круги на столе. — Я просто запуталась, вот что. Я — ходячий сумбур.

— Почему это? А как же Эдмунд Уилки? Психологи, специалисты по восприятию, его уважают. Он тебе в ящик Пандоры такого наложит!

— Женщине это труднее.

— Труднее? Да свисти громче. Изо всех сил. Займись ты наукой — университетская карьера была бы обеспечена. Зато так *узнаешь больше*.

— И это самое главное.

— Вот именно.

И если бы он сейчас сказал: «Ах ты моя хорошая», если бы он сказал: «Я хочу, чтобы ты была только моей», если бы снова сказал: «Спасибо»,

Фредерика была бы не так смущена телом и душой. Наслоения перетасовывались. Огонь менял их последовательность. Она была переполнена жизнью, и ей было страшно.

XXVII

Январь 1970 г.

Фредерика сидела у себя на Хэмлин-сквер, методично и безжалостно обрывая лепесток за лепестком с большой красивой тепличной хризантемы, кирпично-бронзовой, которую ей подарил Хью Роуз. Договорились, что зимними вечерами она будет вести два семинара — по «Потерянному раю» и «Королеве фей». Сорванные лепестки источали зимний, траурный запах.

— Кровит, не кровит, — приговаривала Фредерика с сердито-внимательной миной, отнимая очередные два лепестка. — Кровит, не кровит.

Подошел Лео:

— Ну хватит. Она была такая красивая. Хватит.

Волосы Лео сияли густой бронзой.

— Прости. Я что-то растревожилась.

Оборванный медно-красный венчик выглядел сиротливо.

— Цветок ни в чем не виноват. Тебе его подарил Хью.

— Хью тоже ни в чем не виноват. Никто не виноват. Все в порядке. Тебе уже пора в школу.

Опоздаешь.

Лео ушел, и Фредерика завершила начатое. Последний лепесток сказал: «Кровит». Как и большинство предсказаний, это не сбылось.

Жизнь Фредерики, казалось, потекла новым, свободным, изящным в своей мимолетности потоком. Вместе с Александром и Уилки она начала работу над серией образовательных телепередач о живописи. Предполагались интересные поездки: в Амстердам, смотреть Ван Гога, в Мадрид — Веласкеса, в Венецию — Тициана. Вновь проснулся ее интерес к изучению метафор. С Уилки и Лайоном Боуменом планировалась программа о химических механизмах мышления. Был и Лук Люсгор-Павлинс. Свои отношения они не обсуждали, и никому она о них не рассказывала. Осторожничали, радовались встречам, спокойно переносили разлуки. Слов вроде «любовь», «влюблен» избегали — оба по разным причинам считали их безжизненными. Фредерике не приходило в голову спать с кем-то другим или хотеть кого-то другого. У нее появилось пространство, чтобы дышать и быть — как и у него, — и встречались они с волнением и радостью. Этого было достаточно.

На Рождество Фредерика и Лео поехали на

север, во Фрейгарт. Прибыл туда и Лук, но никто из друзей про это не знал. Это — ее личная жизнь. Маркус на сей раз смастерил еще более замысловатые рождественские украшения, объяснил Лео и Саскии ряды Фибоначчи, нарисовав подсолнухи и еловые шишки. Маркус радовался жизни. Он собирался в Кембридж, получил стипендию по математике в Школе Святого Михаила и всех ангелов. Винсент Ходжкисс тоже собирался в Кембридж. После «побоища» он ушел с поста декана и получил должность доцента на кафедре философии. Купил небольшой домик в деревне Ньюнэм, где они с Маркусом собирались поселиться вместе. На Рождество Винсент не появился — он никоим образом не был частью семьи. Как-то Маркус произнес: «А Винсент говорит…» — с почти полной непринужденностью, и все улыбнулись в знак понимания и поддержки.

Жаклин Уинуор тоже приехала, с Дэниелом. Дэниел и Лук обсуждали, стоит ли ей рассказывать, что Руфь, так сказать, завещала ей ребенка. Для Лука это была настоящая пытка, и он ничего решать не хотел. Ребенок, страдавший от недоедания, истощения и последствий тяжелых родов, пока находился в больнице в Блесфорде — в отделении, где когда-то работала медсестрой

его мать. Дэниел навестил девочку. Она вела себя очень тихо. Дэниел решил не говорить ни Гидеону, ни Клеменси Фаррар, где ребенок, если они не спросят, а они и не спрашивали. Они переехали, и никто не знал куда.

Однако он все-таки решил поговорить с Жаклин Уинуор. Передал ей слова Руфи, рассказал, где находится эта девочка, за которой данное Евой Вейннобел имя — София, — похоже, закрепилось. Жаклин, воспитанная по-христиански, задумчиво посмотрела в окно, потом на Дэниела:

— Почему мне?

— Ты была ее другом, настоящим. Если не считать этих…

— Тогда я *обязана*…

— В своей жизни Руфь не всегда принимала правильные решения, а сейчас решение тем более за тобой.

— Мне хочется поступить правильно.

— Мы привыкли думать, что правильно — это не то, чего хотим *мы сами*. Сначала интересы других, потом — наши собственные. Так нас воспитали. Но тебе этот ребенок ни к чему.

Жаклин согласилась. Она хотела поехать в Париж, работать с французскими коллегами-нейробиологами, изучать память. Так она видела

себя и свою жизнь. Потом с беспокойством она вспомнила про Лайона Боумена — еще ей нужно уйти от него. Для него лаборатория — гарем. Он крадет результаты… но он любит науку, у него много сил и энтузиазма. А еще он раздает подачки, как зефир в шоколаде: представил меня Пински, чтобы тот позвал в свою группу «Нити»… Но… я хочу быть собой и быть самостоятельной, пойми, Дэниел. Это не значит думать *о себе*, это значит думать о работе, об экспериментах, о синапсах и аксонах, благодаря которым мы и можем думать. А с ребенком на руках ничего этого не получится. Бедная Руфь, сказала Жаклин и побледнела. Как бестолково. Может, Гидеон…

— На этот счет ничего точно не известно, — отозвался Дэниел.

Может, Гидеон и знает, но с ним говорить об этом нет смысла.

Жаклин согласилась.

— Но это и не твой ребенок, не твоя забота, — сказала она.

— Теперь моя. Раз мне вручили эту девочку.

— Значит, и моя.

— Нет. Такая уж у меня работа — решать неразрешимые жизненные задачи. А ты — нейробиолог.

— Знаешь, мне сейчас не хочется быть *человеком,* — сказала Жаклин, но внезапно почувствовала себя очень одинокой: избранное ею поприще искажает, преломляет природный ход ее жизни.

Дэниел сделал то, чего не делал никогда, — обнял ее. Но он же не из таких, как Гидеон, подумала Жаклин, он совсем другой.

— Эта жизнь — твоя, и только твоя, — произнес Дэниел. — Мой сын считает меня нерелигиозным человеком. Поэтому я, нерелигиозный человек, говорю тебе — будь собой. Ты изменилась. И такая ты мне очень нравишься.

Жаклин приподняла голову и повернула к нему лицо. Для поцелуя, и он поцеловал ее. Сказал, что знает одну славную женщину, которая на грани того, чтобы разрушить свой счастливый брак, потому что не может иметь детей. Усыновить или удочерить кого-то ей не разрешают органы опеки, так как она недостаточно молода. Но Софию, наверное, можно пока к ней пристроить, а потом, если все сложится хорошо…

— Но ты молодец, что мне рассказал. Я бы не хотела совсем об этом не знать.

— Да, тебе нравится «знать». — И он снова поцеловал ее, уже не так нежно. Подумал: что же

он делает? Впрочем, ведь он тоже свободный человек.

На рождественском семейном сборе ни Жаклин, ни Дэниел ни с кем не поделились своими новостями. Фредерика следила за беседой Жаклин и Лука, и ревность покалывала ее, но не больно, а почти приятно. И она, и Жаклин были частью нового мира свободных женщин, которые сами выбирают, чем им заниматься, зарабатывают на жизнь, занимаются наукой и творчеством, а сексом — только когда сами того пожелают. Занятно. Она была довольна собой. Лук, глашатай избыточности мужского, тоже наслаждался такими спокойными отношениями. Пусть все идет так, как идет. Время есть.

Но время внезапно закончилось. Последний месяц она с тревогой думала, не беременна ли, и вот ее опасения подтвердились! Что теперь делать — непонятно. Беременность нарушает равновесие тела и души и всегда в тягость для таких женщин, как Фредерика, которые не могут просто сдаться с достоинством, не могут отказаться от привычки логически мыслить, не умеют на время впадать в бездеятельное оцепенение. Борьба с переменами в теле ее раздражала и не придавала решительности. Она снова и снова

прокручивала в голове возможные варианты действий, и все они казались неправильными. Неопределенность пугает таких женщин, как Фредерика, повергает их в ступор.

Она хотела было позвонить Луку, написать ему, но не знала, что скажет, чего хочет добиться, чего хочет он. Перед тем как говорить с ним, разобраться бы с самой собой, но не получается… а время шло, шло, как это бывает во время беременности, медленно, медленно, но неумолимо.

Лук в свое время хотел жениться на Жаклин. О том, хочет ли он жениться на Фредерике, речи ни разу не заходило.

Более того, она сама не собиралась снова замуж. Эта вторая беременность воскресила давно изгнанные из памяти воспоминания о первой, ужас оттого, что собственное тело становится ловушкой, даже два тела, и ощущение, что ты в них *заперта*.

Создавало это и другие неудобства. Телевидение. Женщина в положении вряд ли может появляться в Ящике как Алиса в Стране чудес.

Опять утомляемость, бессонница… а ловушка продолжится, станет еще более живой и реальной: придется заботиться о ком-то так, как она заботится о Лео. Подобная забота… это ведь и

любовь! Да. Любовь.

Лео и Лук, Лук и Лео. Они не имели друг к другу никакого отношения. Она не может попросить Лука заботиться о Лео. Не может разрушить странную, но вполне семейную сложившуюся конструкцию: Лео счастлив с ней, Агатой и Саскией. А как сейчас обстоит дело в других семьях?.. Доктрины студентов-леваков, утопии контркультуры, религиозные общины… представители всех этих новомодных движений рассматривали базовую, полноценную семью как окаменелость, источник угнетения, превратную форму общественной жизни. Кто отец ребенка — архаический викторианский вопрос.

Агате она пока ничего не рассказывала — та все чаще была в разъездах, возможно из-за успеха книги. Фредерика считала, что должна прежде разобраться во всем сама, но голова ее пока сторонилась определенности.

Очевидным, логичным казалось конкретное решение: прервать все прямо сейчас, быстро и больше не думать.

Фредерика ничего не предпринимала. Или почти ничего. Решила играть по правилам: пошла в клинику, не к своему врачу, купила витамины, чувствовала себя глупо.

Клетки бурно делились. Они распространялись целенаправленными вылазками, формируя поверхности и пространства. Филоподии цеплялись к стенкам бластулы. Оформлялась нервная трубка.

Фредерику тошнило. Биологические часы тикали в такт приливам, отливам, наслоениям клеток.

Что сказать Луку, она не знала, все отчаяннее и одержимее молчала, говорила все меньше. Общение они поддерживали осторожными телефонными звонками и письмами. Случалось это все реже. Фредерика думала, что если Лук действительно о чем-то забеспокоится, то рано или поздно спросит. Он не спрашивал. Сообщил ей, что университет восстановили, и спросил, не собирается ли она на север.

В ближайшем будущем — нет, ответила Фредерика.

Она злилась, но как-то смутно.

Ее раздражало собственное тело.

На телевидении улыбаться у нее получалось. Хотя и поневоле.

Если не смотреть, то как будто этого и нет.

Но оно делилось, росло. Часы тикали.

Лео смотрел на нее, сказал, что там с тобой, не

пойму.

Сама не знаю что.

В апреле вместе с Александром и Уилки она отправилась в Голландию, снимать передачи о картинах. В музее Ван Гога засняли «Жнеца»: синева и золотое поле ржи, готовой к жатве. На поезде отправились в Гаагу снимать «Вид Дельфта» Вермеера: Фредерика знала эту картину только по репродукциям и по Прусту, который определил своему Берготу умереть перед ней. Она укуталась в анорак, надетый поверх удобной бесформенной блузки темно-синего цвета. Сидела в голландском поезде и думала: Уилки скоро все заметит, глаз у него наметанный. Уилки был взволнован «Видом Дельфта», который, как он считал, был написан с помощью камеры-обскуры, зеркальной линзы в темном помещении, ведь капли воды, выписанные на обращенной к зрителю стороне написанных лодок — идеальные сферические фигуры, какими на таком расстоянии для обычного глаза они быть не могут.

Перед входом в гаагский музей Маурицхёйс они постояли на величественных ступенях, полюбовались на темную воду рва, в которой идеально отражались спокойно плывущие белые лебеди. Съемочная группа выехала заранее, чтобы все

подготовить. Здесь же, разглядывая лебедей, к каменной балюстраде прислонились мужчина, женщина и ребенок, девочка. Мужчина обнимал девочку за плечи. Женщина стояла рядом, слегка прижавшись к нему. Семья. Затем они повернулись, высокий мужчина выпрямился, и Фредерика с Александром их узнали. Это были Агата и Саския Монд, улыбались, а с ними — голландец Герард Вейннобел. Семья.

Сначала Агата как будто решила сделать вид, что их не заметила. Посмотрела на Герарда Вейннобела, он улыбнулся.

— Ну вот, как видите, — сказала она.

— Вижу, — отозвалась Фредерика.

— Мы не хотели рассказывать всем сразу. Не хотели торопиться…

В воображении Александра и Фредерики мигом пронеслись целые сюжеты, подлинность которых не подтвердить и не опровергнуть: совместные поездки на заседания комиссии, с чего все, наверное, и началось; интересно, что и когда они сказали Саскии о смерти Евы Вейннобел; где назначались свидания двоих этих влюбленных, о чем они разговаривали.

Повисло молчание.

— А мы фильм снимаем, — сказал Уилки.

— О чем? — поинтересовался Вейннобел.

— О картине «Вид Дельфта».

— Тайна жизни и обновления. Говорят, что реставраторы перестарались и тех точных мазков кисти, той желтой стены, которую так любовно разглядывает у Пруста Бергот, мы уже не видим. Но мазки продолжают жить.

Агата и Саския подошли к нему, он поклонился Фредерике и Александру и удалился со своим новым семейством.

Съемки — долгие и утомительные, от прожекторов идет жар (хорошо хоть великолепный «Вид» от них защищен), дубли, которые должны выглядеть все более спонтанными, изматывают. Фредерика бодро расспрашивала Александра об этом знаменитом панорамном полотне, и он рассказал, как важна была эта картина для писателей — для Пруста — своей неизменностью, рассказывал о великом искусстве, продлившемся дольше жизни. Фредерика боролась с болезненной сонливостью и думала, что этот *petit pan de mur jaune,* «кусочек желтой стены», кажется ей песчаным, почти оранжевым. Из-за того что она устала и к тому же старалась не думать об Агате, им пришлось записать огромное число дублей, и все ради десятиминутной беседы. Вокруг мрачно

сияли картины. Затененные, но словно позолоченные лица XVII века под причудливыми шляпами и шлемами. Огромные невообразимые вазы с цветами — полосатыми, пятнистыми, красными, синими, белыми, розовыми, тигрово-золотыми — на фоне тяжелых каменных окон, а за окнами — смутно угадываемые райские просторы равнин и лесов. Уилки и Александр пошли пробежаться по остальным залам, съемочная группа собирала камеры. Фредерика присела на длинную кожаную скамью перед «Видом Дельфта» и уснула. Очень глубокий сон и очень короткий — сон человека, сдавшегося своей участи.

Проснувшись, она первые несколько мгновений не понимала, где находится. Вокруг было спокойно, тронутые золотом здания возвышались над темной водой, небо — голубое и безмятежное, камень — розовый, а время будто остановилось. Она смотрела на «Вид», который настолько широк, что глаз не может ухватить его весь разом. Она видела его так, будто сама находилась внутри картины, и одновременно видела снаружи — как образец совершенного искусства, где каждый элемент был подвергнут осмыслению, понят, проанализирован геометрически,

химически, и цвета вновь были явлены, восстановлены реставраторами в их полной гармонии. Самого художника нет в следах, оставленных его рукой, — нет подписи ярким росчерком кисти, но Пруст и Бергот были правы, завидуя спонтанности желтых мазков там, куда пал солнечный луч. Дельфт — не рай и не был им тогда. Этот существующий во времени город, его жители с их размеренной жизнью оказываются в гуще исторических событий. Фредерика запомнила мимолетную иллюзию реальности: свет в темном помещении казался исходящим из картины (хотя на самом деле проникал через окно и отражался от ее поверхности). Но свою роль здесь сыграл изобретательный ум Мастера, ставившего перед собой задачи, которые мог решить только он, и он решил их, завещав нам после себя тайну.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказал Лео.

— Слушаю.

— Ты мне не рассказываешь, но я не простачок, я все вижу. И знаю.

Сидящая за столом Фредерика устало подняла глаза.

— Мне надо знать, что ты намереваешься делать. Меня ведь это тоже касается. Но дело даже не в этом. Просто ты выглядишь так жалко. Я уже

не могу. Скажи, что ты решила.

— Не знаю, Лео.

— У каждого ребенка есть папа. У меня уже есть одна *другая* семья. И Саския. Я тебе хотел рассказать. Она ужасно мучилась все эти годы, не зная, кто ее отец. Мы с ней об этом говорили. Чего она только не воображала. Но Агате ничего не говорила. Они вообще это не обсуждали. Но она все время об этом думала. Вот что я хотел тебе сказать.

Она посмотрела на сына. Их двое, ему — десять, но ему приходится быть мужчиной, раз другого нет. Но он еще мальчишка.

— И вот из-за этой истории с Саскией я подумал: а он-то знает?

— Нет, — ответила Фредерика и расплакалась. — Но я не знаю, что ему говорить. Не знаю, что делать. И не хочу это взваливать на тебя.

— Но я есть, — сказал Лео. — И малыш этот есть. И Лук.

Она заметила, что он чего-то боится — то ли ее гнева, то ли того, что он что-то неправильно понял. Она приласкала его.

— Я вела себя глупо. Я тебя люблю. Ты прав, давай ему расскажем. И вместе подумаем, что делать.

— Позвоним?
— Не могу.
— Тогда поедем. А почему нет? Давай, поехали.

Майским утром они прибыли в Северо-Йоркширский университет: Лука не было ни в лаборатории, ни в квартире. Небезразличный коллега из Башни Эволюции сказал, что, скорее всего, Лук уехал на полевые исследования в Норвегию. Планировал он и поездку в Японию.

Фредерика предложила еще поискать его в Лодерби. Поехали по главной дороге через пустошь. Фредерика отчаянно торопилась, как будто в самый последний момент могла опоздать. Лео сидел недвижно и настороженно, оглядываясь по сторонам.

Лодерби тоже, казалось, пустовал. Ставни закрыты, перед террасой лежали полиэтиленовые мешки с мусором, а на компостной куче валялся сломанный букет лунника. Фредерика тяжело присела на подпорную каменную стенку. Лео обошел дом, вернулся и сообщил, что одно окно открыто, а на подоконнике стоит керамический кувшин с недавно сорванным желтым дроком.

— Пойдем, — сказал он. — Он здесь. Надо его найти.

И они поехали прямо по пустоши — дорог там

было немного — в поисках синего «рено» или рыжеволосого мужчины.

Расцвел колючий дрок и раскинулся морем огня по обочинам дороги, по вереску. Яркий-яркий, солнечно-желтый, с пятнами алого и багряного. Он колыхался в бурлящем воздухе, клонился, мерцал, а языки растительного пламени лизали сажистые корни вереска и осоки. Фредерика механически ехала туда, где когда-то они с Джоном Оттокаром наткнулись на собирателей улиток, у наковаленки дрозда. По небу плыли огромные белые скопления облаков, будто летающие замки, будто стаи пушистых чудовищ, будто паруса.

Лео разглядел синий «рено», припаркованный на краю дороги, едва заметный за колышущимися золотистыми кустами.

Они остановились, пошли по тропе, а потом через болото, как охотники или загонщики. Лео пробирался через кусты, волосы горели в блеске цветов. Взлетали птицы, расползались насекомые, мотыльки поднимались бурой пылью. Фредерика двигалась медленно, но целеустремленно. Она размышляла о своей жизни. Удивительно, но она опять думает о «Потерянном рае», который, казалось, неизменно парит где-то за самым краем сознания, как огромный шар, све-

тящийся собственным светом, мир, замкнутый в языке, в религии и науке, учении о Вселенной из концентрических сфер, которой никогда не существовало, но которая сформировала умы целых поколений. Все это было ее, Фредерики, частью. Думала она и о «Королеве фей», о рыцаре-девице Бритомарте, увидевшей своего возлюбленного в сотворенном Мерлином волшебном стеклянном шаре, который был также и башней. Она смотрела на землю под ногами, на паутину и пахнущий медом дрок, на торф и гальку и думала о мире Лука, мире любознательности. Где-то — в той науке, которая могла объяснить нарисованные Вермеером шарообразные капли воды, в гудящих ткацких станках нейронов, которые соединялись, создавая метафоры, — все это было едино. А в ней, Фредерике, еще одно существо, еще один человек, в шаре с жидкостью, которого она словно несла перед собою, повернулся на конце своей привязи, приспосабливаясь к движению.

Лео преодолел кусты, хрустнули ветки. Начал спускаться по следующему склону и увидел Лука, который пробирался навстречу.

— Вот ты где, — сказал Лео. — Мы тебя искали.

Лук поднял взгляд и немного поодаль, на фоне неба, увидел Фредерику. На ней было странное

платье, одно из платьев от Лоры Эшли, сшитых для «Зазеркалья». Она надела его просто потому, что оно было из плотной ткани и не имело талии, расходясь веером от груди. Кремового цвета, с розовыми цветочками и оливково-зелеными листьями. Длинные рукава и оборка у горловины. Заканчивалось платье чуть ниже колена, и длинные, не одетые в чулки, тонкие ноги Фредерики, решительно шагавшие вперед, то и дело мелькали из-под него. Ветер с моря спутал ей волосы и облек платье складками вокруг живота, так что все становилось ясно с первого взгляда. Рядом пробежала пара испуганных овец. И она стала похожа на нелепую пастушку.

Лук прошел через заросли дрока, а Фредерика осторожно спустилась вниз, к нему. Лео держался на расстоянии. Он видел, как они подошли друг к другу, уловил, что разговор на повышенных тонах. Лук кричал. Кричала Фредерика. Ветер развевал их одежду и волосы и тоже кричал. Затем Лук обнял Фредерику, и Лео понял, что все в порядке, и направился к ним.

И вот они стоят все вместе, устремляют взгляд — между зыбистой пустошью и пучиной облаков — в развеваемый ветром простор, где в конце, уже за краем земли, тонкой темной полоской обозна-

чено море. И на непонятном расстоянии от них, на фоне золота, зелени и лазури, — рукотворная Система раннего оповещения: три безупречных бледных огромных шара словно пришельцы из иного мира, то ли ангельского, то ли демонского… Фредерика повернулась к Лео:

— Мы понятия не имеем, что делать.

И все рассмеялись. Перед ними целый мир. Они могут отправиться куда угодно.

— Что-нибудь придумаем, — сказал Лук Люсгор-Павлинс.

Finis

Благодарности

За помощь в написании этой книги я признательна многим. Стив Джонс и Фрэнсис Эшкрофт стоически выслушивали все мои вопросы об улитках, генетике, физиологии и процессах мышления, отвечали на них и ко всему прочему делились творческими соображениями. Джонатан Миллер и Ричард Грегори еще в начале 1960-х пробудили во мне интерес к вопросам зрения, памяти и когнитивных процессов и с тех пор часто помогают мне.

Я также хочу сказать спасибо: Стивену Роузу, Хелене Кронин, Роберту Хайнду, Пэту Бейтсону, Мэтту Ридли, Ричарду Докинзу, Джону Мейнарду Смиту, Антонио Дамасио, Семиру Зеки, Марион Докинз и Арнольду Файнштейну за помощь с научными вопросами; преподобному Марку Окли и доктору Дж. С. Фаунтейну за помощь с религиозными вопросами; Дэвиду Кауте, Мартину Эшеру, Джеффу Наттоллу, Джону Форрестеру, Лизе Аппиньянези и Кармен Каллил за помощь с вопросами культуры 1960-х годов. Майк Дибб и Линн Кляйн помогли мне с вопросами телеви-

дения, а от фильма Линн о дроке я получила и удовольствие, и пользу. Мой интерес к возможностям телевидения был пробужден в конце 1960-х годов Джулианом Джеббом. Клара Содре Гама помогла мне с вопросами дислексии. Неоценимой оказалась этнологическая работа Даниэля Фабра о птицах. Я прочитала блестящую книгу Чарльза Линдхольма о харизме в самый решающий момент и благодарна ему за беседы по электронной почте. Джуди Трезердер уже давно подтолкнула меня к размышлениям о группах и групповой терапии. А задуматься о религиозной культуре 1960-х годов меня побудили Джон Рен Льюис и Джеймс Митчелл, которых сейчас уже с нами нет.

Я чрезвычайно благодарна своим переводчикам Жану-Луи Шевалье, Анне Надотти и Мелани Вальц, с которыми я всегда была на связи. Клаус Бех снабжал меня интересными фактами и словами и всегда был очень чутким собеседником.

Я бы не закончила книгу без Джилл Марсден — она всегда была рядом, набирала текст, предугадывала все трудности и прекрасно понимала сам роман.

Мои издатели, Элисон Сэмюэл и Кэролайн Мишель, вели себя мудро и терпеливо, как и мой

агент Майкл Сиссонс. Редактор Дженни Углоу — мечта любого писателя: светлая голова, страстная увлеченность, читатель с большой буквы.